

· БРАЙАН КЭТЛИНГ ·

18+



ВОРР

*Предисловие Алана Мура
Перевод с английского Сергея Карпова*

ИНАЯ
ФАНТАСТИКА

·БРАЙАН КЭТЛИНГ·

18+



ВОРР

*Предисловие Алана Мура
Перевод с английского Сергея Карпова*

ИНАЯ
ФАНТАСТИКА

Annotation

Рядом с колониальным городом Эссенвальд раскинулся Ворр, огромный – возможно бесконечный – лес. Это место ангелов и демонов, воинов и священников. Разумный и магический, Ворр способен исказить время и стирать память. Легенды говорят, что в его сердце до сих пор существует Эдемский сад. И теперь бывший английский солдат хочет стать первым человеком, который перейдет Ворр из конца в конец. Вооруженный лишь странным луком, сделанным из костей и жил его умершей возлюбленной, он начинает свое путешествие, но кое-кто боится его последствий и нанимает стрелка из аборигенов, чтобы остановить странника. И на фоне этого столкновения разворачиваются истории циклопа, выращенного странными роботами, молодой девушки, чье любопытство фатальным образом изменило ей жизнь, а также исторических фигур, вроде французского писателя Реймона Русселя и фотографа Эдварда Мейбриджа. Факт и вымысел смешиваются воедино, охотники превращаются в жертв, и судьба каждого зависит лишь от таинственной воли Ворра.

-
- [Брайан Кэтлинг](#)
 -
 - [Предисловие](#)
 -
 - [Пролог](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Эпилог](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)

- [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
-

Брайан Кэтлинг
Ворр
Роман

Brian Catling
The Vorrh

* * *

This edition published by arrangement with United Agents LLP and
The Van Lear Agency LLC

Copyright © 2007, 2012, 2015 by Brian Catling

© Сергей Карпов, перевод, 2023

© Василий Половцев, иллюстрация, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Предисловие

Алан Мур

Брайан Кэтлинг – человек многих призваний. У Кэтлинга-поэта на фоне творческого ландшафта конца двадцатого века мрачно поблескивающим обелиском возвышается его выдающийся «Камень преткновения» (The Stumbling Block). Кэтлинг-перформер – явление стихийное и солидное, но в то же время граничащее с некоей алхимией, а Кэтлинг-художник, автор скрупулезных миниатюр циклопов, воплощает жуткие тотемные фигуры из своего личного пространства сна. У Кэтлинга-писателя в дикой и страстной повести «Бобби Шило» (Bobby Awl) чувствуется грубый, телесный шаманизм в воскрешении мертвецов по архивным фрагментам и забытым гипсовым посмертным маскам.

Все эти поприща, однако же, подчинены тому, что в первую очередь Кэтлинг – скульптор. Его поразительное произведение на месте бывшей плахи лондонского Тауэра – подушечка с аккуратным углублением, отлитая из стекла такого раскаленного, что оно потребовало бережного остужения в течение года, по градусу в день, – демонстрирует сочетание энергичного и подчас авантюрного владения материалом с глубокой, прочувствованной человечностью, типичной для его творчества. Ощущение каменной неподвижности в его перформансах – столь же скульптурное, сколь и яркое выражение творческого метода, лежащего в основе поэзии и прозы Кэтлинга, когда чувствуется, как для придания новой формы вручную месят эмпирическое сырье; когда чувствуется, как в ловких пальцах речь приобретает разные и удивительные контуры. Этот процедурный подход виден в сцене успешного создания предмета мысленной мебели в «Камне преткновения» или пронзительном призвании физического из уцелевших измученных черт исторического персонажа в «Бобби Шило».

Однако нигде обращение Кэтлинга с литературной глиной не раскрывается красноречивей, чем на неподдельно монументальных страницах «Ворра». Это представлено и во внушительном весе трилогии, и в искусной комбинации коры, металла, грязи и камня, из

коих возводится здание в разуме читателя; и в мышлении тактильного ремесленника, которое обозначено первой же незабываемой сценой, повествующей о создании легендарного лука. Данную сцену в ее кратком изложении можно было бы принять за стандартный троп фэнтези и мифа, позаимствованный у Толкина, Робин Гуда или Рамы, если бы не материал для производства оружия. С первой же деталью сюжета заинтригованный и шокированный читатель понимает, что если это и в самом деле фэнтези, то весьма отличное от всего, что он встречал ранее в этом претерпевшем немало надругательств и якобы первобытном жанре.

Первобытном потому, что в этой области того, чего никогда не было, мы, возможно, находим самые истоки воображения как человеческой способности, а под немалыми надругательствами имеется в виду до абсурда ограниченная палитра концепций, которые ныне являют собой самые опознаваемые черты и маркеры фэнтези. Уже по определению своему каждый фэнтези-роман должен быть уникальным и самобытным – продуктом индивидуального видения и индивидуального разума, где специфика этого разума питает каждый атом нарратива. Жанр, низведенный халтурными стилизациями до узкого лексикона символов – волшебников, воинов, гномов и драконов, есть жанр, где нет места «Путешествию пилигрима» Баньяна – возможно, самой ранней приключенческой фэнтези-пикареске; «Путешествию к Арктуру» Дэвида Линдсея с его постоянно морфирующими пейзажами и преображающимися персонажами; выдающемуся циклу «Горменгаст» Мервина Пика и шелковистой «Глориане» Майкла Муркока. И это, бесспорно, есть жанр, не способный вместить в себя вегетативную вечность «Ворра» Кэтлинга.

Прошу отметить, это не означает, что сей лихорадочный эпик безжалостно избегает жанровых конвенций, вроде легендарных луков, пугающих чудовищ или, если на то пошло, таинственных лесов. Напротив, в пылких объятьях речи Кэтлинга и в контексте галлюцинаторного и изумляющего антуража произведения столь потенциально заношенный материал с чужого плеча превращается в совершенно иную субстанцию, а эти не поддающиеся классификациям причуды теперь насилу укладываются во взнузданный и окостеневший жанр. Быть может, прежде мы уже и встречали в фантастической литературе зачарованные дебри, но тогда среди их разнообразных

ипостасей не было современных торфяных болот Ирландии или джунглей колониальной Африки. И пускай ранее мы могли натолкнуться в произведениях на ангелов, они еще не бывали одновременно столь вознесены и столь пограны, как павшие Былые. Пусть даже это не так, но «Ворр» легко можно принять за произведение человека, который до сего момента не читал ни строчки фэнтези, – такова его потрясающая оригинальность.

Как и в лучших изводах этого скользкого и неуловимого жанра, невозможно погрузиться в хитросплетения и фантазмагии «Ворра» без растущей уверенности в том, что разворачивающаяся история имеет значение не только и не столько в собственных примечательных извивах и разворотах. Точно так же как ритуальный лабиринт Горменгаста столь пронизательно доносит до нас Англию двадцатого века, а Торманс Линдсея обращается к вопросам и сексуальности, и метафизики, так и в «Ворре» есть мимолетные намеки на мир устаревший и ушедший, радикально перебранный и переосмысленный в виде спекулятивной мысленной картографии грядущих территорий, высланных подлеском личной психологии. Бакелитовые химеры вызывают в памяти бесконечные сепийные жилища рабочих классов 1950-х, а сумеречная викториана навеивает настроение какой-то утраченной книжной «Детской сокровищницы», курорта в дождливые воскресенья, ярких гравюр с неправдоподобными бестиями, дервишами, убанги с тарелками в губах, мужчинами со старомодными ружьями. В эрнстовском коллаже разнообразных элементов и скульптурном ассамбляже в духе реди-мейда размашистый дебют Кэтлинга возводит из драгоценных и ничтожных обломков дряхлеющего прошлого литературу необузданной будущности.

Стоит отметить характерный подход «Ворра» к персонажу и ансамблю героев. Выколуывая малоизвестные, но правдивые истории из оправы реального мира, чтобы в новом свете представить их в своей аляповатой и глубокой мозаике, Кэтлинг дарит нам сцену, в которой Эдвард Мейбридж^[1] – анатом мгновения – получает невероятную, но вполне реальную консультацию у сэра Уильяма Уитни Галла^[2] – предположительного анатома Уайтчепела, – и историчность этих протагонистов ни на миг не выбивается из галереи одноглазых и угрюмых изгоев либо пугающих безголовых антропофагов. В замшелых пределах запущенного парадиза «Ворра» фактическое не

имеет никаких привилегий в своих отношениях с фантастическим, они врываются на территорию друг друга – вкрадчивый ползучий кудзу переписывает память и открывает для вторжения закоснелое прошлое. Остается впечатление – как при чтении любого истинного образчика мифологии или романтики, – что эти невообразимые события в каком-то смысле обязаны были произойти или, возможно, каким-то образом происходят вечно, где-то под шкурой бытия.

Бесспорно, первая веха фэнтези нынешнего века, в одном ряду с лучшими произведениями этого жанра, «Ворр» являет нам обширный нематериальный организм, осыпаящий читателя семенами и спорами, тем торопя новый урожай и грозя новым великим восстановлением лесных зарослей воображения.

Утратившие смысл комедии нравов, разворачивающиеся в мьюзах и полумесяцах^[3], автогероизирующиеся похождения в штампованных псевдосредневековых загонах – наши книги все более отстают от нашего же опыта и слишком узколобы, чтобы описать, объять или хотя бы поименовать текущие обстоятельства. В чащах оригинальности «Ворра» проложены новые тропы, а в зловещей пестрой светотени подразумеваются новые мировоззрения. Пока неизбежно ветшают и исчезают посеревшие уличные сети идеологий и образов мышления, ошеломительный труд Кэтлинга предоставляет нам как жизнеспособные альтернативы, так и содержательный побег вглубь этих тропических возможностей.

Он предлагает нам уйти в дебри.

Нортгемптон, 12 июня 2012 года

* * *

Для Дэвида Рассела и Йена Синклера, которые вручили мне компас, карту и мачете и настояли на экспедиции

Воскрешая в памяти те дни, не могу не вспоминать о том, как поначалу трудно было задействовать дыхание. Технически я делал все

правильно, но если следил за тем, чтобы при натяжении тетивы плечевые мышцы оставались свободными, то невольно сильнее напрягал ноги, как будто все дело было в твердой опоре и стабильной позе. Словно я, подобно Антею, черпал силы от матери-земли.

Ойген Херригель. Дзен и искусство стрельбы из лука^[4].

Энергия демонического – подчинения гению в самом буквальном смысле слова «гений» – разумеется, гибнет вместе с отречением от безграничного lebensraum^[5].

Лео Фробениус. Paideuma. Umriss einer Kultur- und Seelenlehre^[6].

Неподалеку от этого дерева сидели, поджав ноги, еще два костлявых угловатых существа. Один из этих двух чернокожих, с остановившимся, невыносимо жутким взглядом, уткнулся подбородком в колено; сосед его, похожий на привидение, опустил голову на колени, как бы угнетенный великой усталостью. Вокруг лежали, скорчившись, другие чернокожие, словно на картине, изображающей избиение или чуму. Пока я стоял, пораженный ужасом, один из этих людей приподнялся на руках и на четвереньках пополз к реке, чтобы напиться. Он пил, зачерпывая воду рукой, потом уселся, скрестив ноги, на солнцепеке, и немного спустя курчавая его голова поникла.

Джозеф Конрад. Сердце тьмы^[7].

Пролог

*Отроду скверное – не исцелить
Ни временем, ни горькою водой;
В свой срок все зло вернется нас казнить
Иль же незримо течь в крови гнильцой.
И там, где крепче горя тот оплот,
Поруганный свет зорь уж не забьет.*

Редьярд Киплинг. Молитва Гертруды

Отель был помпезен, грандиозен и инкрустирован мглой. Высокие барочные залы и коридоры свирепо осаждал яростный свет, отчаянно силившийся проникнуть за тяжелые занавеси и крахмальные формальности. Нумера Француза были лучшими в отеле, но унылыми и без того иллюзорного блеска, с каким порою дерзкая архитектура кажется естественной.

Француз стоял голым и съезженным в мраморно-стеклянной ванной – последние поблекшие поверхностные шрамы на шее и запястьях пульсировали красным, глубокая рана на одном запястье была зашита. Доза барбитуратов не помогла, и его дразнили полеты позолоченных купидонов и игнорировали порхания безразличных женских фигурок. Он стоял с членом в руке, стараясь не видеть собственного отражения в гигантском зеркале. Он был маленьким и преждевременно состарившимся. Усердие руки оставалось вознагражденным, а жилистый лиловый отросток был измучен больше его самого. Он не мог призвать себе в помощь какой-либо образ, чтобы заворожить и подстегнуть действие, хотя видел многое и воображал еще больше. Он знал, что в соседней комнате ждут Шарлотта – его *maîtresse de convenance*^[8] – и слуга. Он знал, что шофер наверняка привез ему для игрищ какой-нибудь цветок подворотен или доков. Он знал, что всем им столь же скучно, сколь ему. Он знал, что изобрел все в своей и в их жизни – а быть может, и во

всем мире. Иногда казалось, ему приснилась сама реальность. Приснилась вне сна – ныне непрестанно бежавшего его.

Порой наркотик убаюкивал гложащий разум, возвращал в то самое место – но редко. Верная комбинация дозы отказывалась оставаться постоянной. Растущее количество меняющихся коктейлей выжимало его, но без вожделенных мягкости, помутнения. Он велел Шарлотте записывать все. Ингредиенты, пропорции, время. Ведь это место должно быть там – сокрытое в затвердевшем бульоне небытия. Ему нравилось вообразить себя доктором Джекиллом, экспериментирующим с тайными снадобьями. Иногда он сомневался в способности Шарлотты вести точный учет. Она вполне могла легкомысленно ошибаться или лгать о дозировках. Те не производили желаемого эффекта. За последние дни он уже обменялся с Шарлоттой парой любезностей. Она заявляла, что делает все, точно как сказано, старалась успокоить своим раздражающим долготерпением. Но он-то знал, что она дурит его с типичной для хитрых слуг лукавостью. Некоторые вечера и многие утра заставляли его на полу, на четвереньках, уползающего прочь или навстречу тому, что душило его сердце. Он начал спать на полу. Стаскивал матрас, боясь свалиться с трясущейся кровати. Находил лекарство, ванную и снова представал перед усмевающимся зеркалом.

Прошлой ночью на улице были карнавал и фейерверки. Музыка и веселье царапались в высокие окна. Утром снаружи моросило. Он слышал, как тихий дождь смыл сор и потухшее торжество. Привкус серы и нитрата в липком воздухе.

Он поднял глаза к зеркалу и усмехнулся. В позолоченной раме на месте стекла снова стоял Макс Киндер, голый и такой же, как он. Он поднял усталую руку – и Макс в совершенстве отразил движение. Вот великое изобретение этого комика: живое отражение. Номер, что будут копировать на протяжении столетия и долее. Он и сам часто копировал номера Киндера. Безданежного франта, неспособного понять устройство мира. Уморительные жесты резкого шока и остекленелого любопытства вырезали первого постоянного персонажа комедии, украсившего новый мерцающий экран. Француз дернул за усы – и Макс повторил. Тогда Макс показал на открытую рану на руке – глубокую и бескровную. Он умер девять лет назад, на пике славы, в другом гранд-отеле, когда первой себя порезала жена, а он хватался за

бритву в ее руке. Совсем другой зеркальный танец. Француз кивнул и отвел глаза, пока Макс цепенел и превращался в него и в стекло. Француз знал, что истощил свои воображение, богатство и либидо. Знал, что утратил драгоценный дар, но не знал, какой именно. Знал, что некогда был Реймоном Русселем^[9]. Знал, что пустые чувства тоски и вины крепнут и не осталось ни денег, ни воспоминаний, не за что ухватиться. Факты не давались в руки, а выдумки стали избиты. Тогда он понял, что пришло время умереть, и умер.

Часть первая

В их методе натягивания тетивы глаза вышли из употребления. Выемка на середине плеч лука вырезается не фронтально, а наискосок.

Лео Фробениус. Лук, Атлантида, Голос Африки, т. 1

Лук, что несу с собой в глушь, я сделал из Эсте.

Она умерла перед самым рассветом, десять дней назад. Увидела свою смерть, пока трудилась на огороде, увидела места между грядками, где уже не стояла, – вскрытие процесса на дневном солнце. Зайдя в наш простой дом и сняв соломенную шляпу – вернув ее в тень, на гвоздь в северной стене, – она подготовила меня к тому, что должно быть сделано.

Эсте родилась провидицей, и отчасти ее провидение жило в ожидании ухода – как бриз перед волной, перед штормом. Провидцы умирают в трех сгибах, снаружи внутрь. Подробности и положение каждого образования складок мне следовало прилежно выслушать и затвердить без паники или эмоций, ибо затем я принимал иную роль.

Мы распрощались в дни перед той самой ночью. Затем я отложил все чувства; меня ждали более важные ритуалы. Все это я знал давно. Они описывались, проистекали с самого нашего согласия быть вместе. Любовь и отношения росли в окружении стен, где сквозило из постоянно открытой двери этих требований, и потому я втайне учился отстранению и репетировал самообман одиночества.

Я стоял перед нашим прочным деревянным столом, ее кровь высыхала на руках, ее тело лежало, разделенное и разобранные на материалы и язык. Спина и руки ныли от трудов по разъятию, и я все еще слышал ее слова. Снова и снова звучащие спокойные указания, врезавшиеся с напевной настойчивостью, дабы снять как рукой мою забывчивость и скорлупу сомнения. Кровь залила всю комнату – но в это пространство не вторгалось ни одно насекомое: ни одна муха не смела испить из Эсте, ни один муравей не смел кормиться ее костным

мозгом. В эти дни мы были закрыты от мира, а мой труд – решителен, бесхитростен и добр.

Все это она объяснила, когда я подавал ей завтрак в редкое дождливое утро. Черный хлеб и желтое масло словно тарасились с тарелки, издевательски и пристально, фрукты пульсировали и деформировались, превращаясь в омерзительные капилляры и желудочки – и светились в своей невинности, если смотреть на них прямо. Я присел на краю кровати, слушая, как скользят и ладят с дождем простые слова Эсте, пока мой страх разжигал ими бикфордовы шнуры лютого гнева, начинившего мое безвоздушное скрытое нутро.

Я состругивал длинные плоские полосы с костей ее ног. Плел жилы и связки, растягивал мышцы в перевитые листы и перехватывал их льном, собранным Эсте в огороде. Из всего этого я сделал лук, перемежая фибры и волокна ее ткани, пока тугая дуга оружия сгущалась, сворачивалась и усыхала в предназначенных пропорциях. Я извлек ее бесплодную утробу и поместил внутрь отрезанные ладони, запечатав бесформенный шар, иногда двигавшийся на своем месте. Я обрил ее голову, вынул язык и глаза, сложил их в сердце. Закончив, я поместил эти безымянные предметы на деревянную сушилку у раковины. Они лежали в немом величии, сияя своей странностью, нетронутые преступным светом. На столе и полу остались лишь простые отходы. Их я бросил на потребу диким псам, когда оставил это место с распахнутыми дверями и окнами. Три дня я жил с ее выдумками и непригодными крохами, в воздухе, проникнутом ее присутствием, мускусным глубоким запахом ее масел и движений. Сноп ее плотных невымытых волос словно дышал и распухал на лучах солнца, поддвигавшего комнату к вечеру. Эти известные ее части помогали сглаживать тревожные ароматы – суровое железо крови и жаркое насыщенное тление растворенных нараспашку внутренностей. На третий день я схоронил ее сердце, утробу и голову в круглой ямке на огороде, которую она загодя выкопала своими собственными руками.

Я схоронил ее компас и накрыл его тяжелым камнем. Подчинялся без упрека, слез и слов, забрав вырезанную ею стрелу и в последний раз вернувшись в дом.

Лук удивительно изгибался, кривился и ровнялся с тем, как дни и ночи гнули и правили его контуры. В нем чувствовалось сходство с

переменами в самой Эсте во время умирания, хотя тот переход не имел ничего общего со всеми смертями, что я видел или приносил ранее. У Эсте процесс отмечался тоской, исходящей вовне, – как сахар поглощает влагу, а соль ее высвобождает. Каждый час этих трех дней перестраивал Эсте с устрашающей и захватывающей разницей. Каждое физическое воспоминание ее тела – от детства и далее – всплывало к поверхности прекрасного стана. Каждый жест, эволюционировавший в грацию, теперь уходил к своему истоку, чуть ли не с радостью демонстрировал свою неуклюжесть, дергая Эсте за ниточки. Каждая мысль находила путь через кости и выдыхала волны тени с глубокого океанского дна, поднимаясь на солнечный свет и улетучиваясь, встречая наступающее гниение. Я не мог оставить ее. Я сидел или лежал подле, увлеченный и испуганный, возбужденный и привороженный нежным извержением процесса. В ее глазах то нарастала, то убывала память – от бледной прозрачности к высеченному огню. Она меня почти не замечала, но все же могла наставлять и объяснять строгость процесса. Тем она развеяла мои страх и боль; тем противостояла экстазу своего контроля. На вечер третьего дня в моих сновидениях забрезжила память. Та очистила наше время вместе, постоянство присутствия Эсте. Мы не бывали порознь с самого ухода из ее деревни за исключением тех странных недель, когда она попросила меня остаться в доме, пока сама дневала и ночевала в саду. Вернулась она исхудавшей и напряженной.

Теперь лук чернеет, становится самой темной тенью в комнате. Все неподвижно. Я сижу с двумя обернутыми стрелами в руках. От их резьбы пышет голодом и сном, забытыми отражениями моей собственной невозвратимой человечности.

Я тасую предвкушающую пищу из буфетов и с огорода, наполняя свои чувства вкусом и запахом. В комнате поднимаются цитрус и бекон, разворачиваются шалфей и томаты, зеленый лук и сушеная рыба. Жизненная необходимость стесала разлуку – теперь результат лишь осталось закрепить долгому сну без сновидений.

Утром в моих дрожащих руках лук и дверь, в зубах – стрелы. Настал тот самый миг, и я вырываюсь на ослепительный свет – древнее дерево всасывается внутрь и падает с искореженных петель.

Натруженный, дом сдается, в знак капитуляции демонстрируя прежде невидимую убогость. Жара, обузданная светлым ветром, пробуждает меня навстречу миру и превращает съезжившуюся лачугу в пустоту.

Я развязываю темные сухие листья со стрел, прижав лук к груди. Стрелы белые; бесконечная рассредоточенная белизна без намека на оттенок или тень. Они впитывают день в свои снежные глубины, и меня мутит от взгляда на них. Я поднимаю лук – который, должно быть, натянул во сне, – и налагаю одну из стрел на его контраст. Вторая свернута и сбережена напоследок. Между ними я сделаю много новых. Вот момент ухода, ее последний наказ. Я изо всех сил натягиваю тетиву и чувствую, как один этот жест ожесточает каждый мускул тела, чувствую предел напряжения, когда грация тетивы касается губ. При виде великого изгиба мир замолкает, даже ветер задерживает дыхание перед моей энергией и высвобождением. В первый и последний раз лук нем, не считая тихих поскрипывающих вздохов – эха моих упругих костей. Я направляю его в высь, перпендикулярно тропе, бегущей от нашего дома по низким холмам почти вертикальным шрамом.

Стрела спускается сама, исчезая в небе со звуком, чувственно пульсирующим во мне и во всех до единой частицах яви и нави, на виду и вовне. Я знаю, что больше никогда не увижу эту стрелу. Не ей быть путеводной; ту я сделаю иначе.

А первая белая стрела еще проходит спирали воздуха, остро чувствуя кровь ледяным наконечником. На миг я с ней – высоко-высоко над этой ноздреватой землей у моря и его бесконечно бьющихся волн внизу. Над жалкими деревнями и жестокими племенами, склоняясь к заповедному и темному лесу, таящему свой смысл.

Назад, туда, где я стою на тропе, оцепенелый, меня зовет боль. Внутренняя сторона руки обнажена, где по ней хлестнула тетива, сняв слой кожи с легкостью бритвы, с равнодушной волей. Стронувшись, я беру котомку и колчан, приноравливаю широкий шаг к луку на плече и отправляюсь вдаль, в глушь.

Этот край обезлюдел. Слишком много усилий необходимо, чтобы пересохшие поля родили упрямые томаты и пыльные карликовые дыни; это страна стариков, возделывающих свои клочки земли из

привычной решительности – тикают в житейском ритуале последние дни часов, почти размотались со скрипящих колес гирьки. Нет молодежи, чтобы переставить часы, некому каждый день взводить колодец и орошать хищную землю. Молодежь ушла в города и к рабскому труду за границу. Они – под землей, добывают ископаемые, чтобы согреть других. Они – в ядовитых лачугах, плетут химический рак. Они – автоматы в оковах промышленности, коей без нужды характер, язык или семья. Они бесконечно пересчитывают скопленные средства для побега. Одни вернутся на поля, чтобы помочь старым и немощным поднять мятое ведро и заступ; иные тщатся вернуться князьями, скупая новые дорогие и безликие дома в плачевных селах предков. Таких постигнет крах, против них обратятся их дети и земля, усугубят содрогающуюся усталость. Протоптаные следы их потуг стираются под моими ногами, когда я иду по немногим населенным остаткам страны.

Уйдет три дня, чтобы миновать эти места, еще три-четыре – чтобы перевалить за низкие горы и оказаться на краю дебрей. Мы прожили здесь одиннадцать лет, исцеляя увечья и переломы нашего прошлого, прижигая рваные раны воспоминаний солнцем и пылью. Этот разоренный полуостров был щедр, и отчасти меня подмывает спланировать возвращение, хоть я знаю, что тому не бывать.

Жар дня напитался весом, свет стал угрюм и чреват переменой. Тучи уплотнились и сгустились от внутренней тьмы; так рождалась вода – тяжелая и нестабильная.

Туземцы края зовут это дуновение болезненного ветра «бурасио»; ветра, который не дует, а сосет – его жаркое обратное дыхание выражается в движении, но не облегчении. Он играет с ожиданием, оживляя духоту, дразня засушливую землю запахом дождя, пока подземные водоемы, пещеры и каверны тянутся пустотой к небесам.

Потому мы здесь поселились. Эсте говорила, что уединение – лишь часть лечения, по-настоящему тело и дух могут оправиться и развиваться только над ульем из пустот. В таких местах слышны небеса и море. Их обширность и движения отдаются под туго натянутой землей, взбалтывают и прибывают тьму в пещерах к тишине, к невидимым минеральным стенам. Она говорила о единстве подземных голосов – от скромнейшего колодца до просторнейшей пещеры-

собора, – о том, что они подобны трубам разного размера в могучем органе. Органе, замысленном сотрясаться в фугах и фанфарах слуха, а не игры; где какофонии тишины служит контрапунктом одна лишь назойливая капель.

Эсте ведала, что все это влияло на крошечные физические и огромные мысленные и духовные пространства в людях. Я шагаю по поверхности смысла этих пустот и все думаю о том, как ее рассказ о чудесах падал на мои ошарашенные уши. Я думаю о ее голосе – таком близком, таком ясном, – и в шоке смотрю на истину ее костей и плоти в потеющей ладони.

В ночи далеко в море виден свет. Над горизонтом мерцают беззвучные дендриты шторма, разделявая под мрамор изгиб земли на своем пути сюда, навстречу ждущему рассвету. Я приютился в землянке пастухов на краю одной из самых нищих деревень. Террасы полей здесь стесаны, ограды поникли из-за хромой ветхости, и среди упавших камней и пожухлых растений выживание спорит с забвением. В этой вотчине ящериц, мух и кактусов признаки человеческой жизни стираются на глазах.

Землянкой как будто не пользовались многие годы, перелатанная мешковина на месте рудиментарной двери рассыпается в руке прахом. Эту нору выскребли из мягкого желтого камня – не больше, чем надо плюгавому мужчине или мальчику и паре коз. Еще остались обломки: дальний конец пристанища перекрыт низкой кроватью или столом; несколько инструментов с трудовыми шрамами многих поколений; автомобильное колесо с облысевшей крышкой; сухие пустые бутылки с налипшим песком и несколько потраченных дробовых патронов. На гвоздике висит фрагмент ржавых доспехов – сегментированный нагрудник крошечного размера. Настоящий ли это артефакт, раскопанный на месте какой-то неведомой битвы, либо часть карнавального костюма с одного из цветастых праздников, некогда обозначавших путь святого по году, – сказать невозможно. Горячая земля и соленый ветер протравили и протомили его до вида другого времени – времени, ни разу не пятнавшего человеческую память, слишком древнего для того, чтобы даже его представить.

Голая пещера одновременно казалась пустой и переполненной жизнью. Я свернулся в святости этого столь человеческого закутка и

вкусил радость его простоты, приправленную моей внезапной усталостью.

В мой сон проникает гром. Он скользит меж пластами грез с грацией пантеры, его первый звук – не более чем шепот или вибрация. С каждой милей, что гром пробегает, он набирает звук и мощь, с каждой милей, что гром пролетает, он приучает мое сознание не реагировать: каждый новый раскат лишь на долю оглушительнее предыдущего. Его скрытое приближение поедает часы, и мои кошмары впитывают удары, пока он не оказывается прямо над головой и массивный грохот не потрясает землю светом; беспредельная белизна обрушивается на бледное утро с яростью, отвергающей всякое родство.

Деревня проснулась и кипит, люди мечутся из дома в дом, небеса разверзлись, и потоки дождя проливаются навстречу разнузданному аппетиту поднимающейся земли. Всего за минуты поля напиваются вдоволь и образуют озера. Улицы и тропки деревни бурлят ручьями и желтыми притоками стремнин. Селяне падают в эти омуты в великой суете деятельности. Раскатанная мешковина и джут устремляют половодье в колодцы и желоба, ведущие в другие цистерны. Чтобы направлять эту драгоценную бурю, импровизируются бревна и камни, даже предметы одежды. Розни и усобицы, в которых закоснела деревня, забыты – вода и ее сбор важнее крови и ее границ. Ливень нескончаем и злобен, селяне – решительны и мокры от грязи. Люди скользят и бегут, рывкают тем, кто млад, криком просят еще мешков, смеются и падают с теми, кто стар, кто чертыхается. В хлопоты вливаются закоренелые бирюки, хромают и кричат от восторга и смятения. Вся деревня превращается в грязевых существ, под дождем дребезжит хаотическая, целенаправленная мания. Животные наблюдают из стойл и дверей, удивленные и возмущенные энергией, водой и шумом.

Я не могу оставаться в стороне от этой цирковой воронки, так что осторожно прячу в землянке лук и другие пожитки – повыше, подальше от воды и зверей, – и бегу работать бок о бок с беззубым старцем, который строит плотину из камней и палок.

Его усилия бесполезны перед силой потока. Медлительность придает происходящему жалкую комичность, а стену опрокидывает

каждые несколько минут, пока он продолжает ее методично наваливать, словно бы не замечая радостную воду и свою механическую тщету. Вместе мы сумели обратить ручей, послать в угол двора. Он льется в пасть открытого колодца и падает в гулкую глубь с эхом брызг. Наблюдая наш невеликий триумф, я в мгновение ока осознаю, что в голове уже не осталось воспоминаний о кровотечении Эсте, картин крови из тела, – только расплывчатое пятно ее присутствия, иссыхающего где-то в комнате. Неужели окружающие звуки поймали то отражение, сжали происшествие в ладони памяти?

Старец тянет за рукав, и перед глазами все прочищается. Он взялся за очередной ручей и нуждается в моей помощи. Мы два часа вертим потоками, промокшие до костей, но довольные. Гроза проходит, дождь прекращается, и дымящаяся почва начинает высыхать. Птицы, не теряясь, шумно пользуются рыжими лужами, прежде чем те вернутся к праху. Поднимается насыщенное тепло, принуждая прекратить все труды.

Семья старца уговаривает присоединиться к ним в протекающем доме. Наш праздничный пир прост, но сердит: мы пьем терпкое красное вино из сухого и жесткого винограда и едим блюдо из жирного риса и темного мяса, тушенного в гранатовом соке, перемежая вкуснейшим хлебом с запеченным в корке черным луком. Царит веселье, мы разделяем тот язык нужды и алкоголя, когда свое и чужое забываются в возбуждении, а эмоция расшатывает всякий такт грамматики.

Старец ест, как в последний раз. Я походя отпускаю об этом шутку, и мне аккуратно сообщают, что в этом краю у дождей и стариков особые отношения. Ранее до меня доходили слухи, но в нашем уединении многое держалось в отдалении; контакт с соседними общинами был редок. Но весенний ритуал дождя – это правда, и хозяин объясняет его необходимость и премудрости его процедуры, заедая и запивая слова.

Старики, будучи все более неспособными к работе, – бремя их нищей экономики. Потому, миновав стадию полезности, они препоручаются воле весенних богов и на три дня ссылаются с едой и питьем за стены дома. В это время года дожди нежные и надежные в своем постоянстве – совсем не такие, как осенний ливень, который мы сейчас пережили. Старики сидят в молчании, зная, что в их положении

разговоры и мольбы не помогут; лучше поберечь силы. После отведенного срока они снова желанны внутри, возвращаются к своим тревожным постелям. Они понимают, что это более цивилизованное и мягкое испытание, чем было в ходу у их предков. В те далекие голодные години стариков выводили на крутые утесы и оставляли самих искать путь домой, а боги пировали на их разорванных и разбитых останках.

В грядущие недели вымрет четверть стариков; ночной мороз, инфлюэнца или разные феномены божественного вмешательства. Оставшихся будут чествовать, потчевать и почитать еще год. Отец, вычищающий тарелку последним мякишем хлеба, пережил шесть весенних дождей и намерен пережить много больше.

Вечером я прощаюсь с семьей и возвращаюсь в землянку, где сплю мирным путешествием без снов.

* * *

Далеко к югу сумерки пробовали на вкус воздух. В невидимых полях, полных поднявшихся насекомых, юркали и петляли ласточки – неугомонные стрелы, мелькающие в янтарном свете. Один миг – черный силуэт, железный век. Следующий миг – птица ловит в выраже солнце, полыхает темно-оранжевым, бронзовый век. Так они резвились и вертелись в гарцующем времени: железный век, бронзовый, железный.

За ними следили желтые глаза одинокого черного человека, сидевшего на глиняном парапете колониального частокола. Следили и оценивали расстояние и скорость, производя абстрактные расчеты на бесконечной странице неба – хладнокровное определение расстояния и траектории выстрела, которого не будет. На его коленях лежала винтовка со скользящим затвором «Ли-Энфилд» – оружие легендарной долговечности, в идеальном рабочем состоянии и нетронутое чужой рукой с тех пор, как было вручено мужчине, когда подошла зрелость. Он до сих пор помнил, как в руки впервые лег солидный вес, как пахла коричневая промасленная бумага упаковки. Возбуждение от владения могло потягаться лишь с гордостью за то, что он стал членом полиции

бушменов. То было сорок два года назад, и теперь Цунгали снова начал чувствовать, как тяжелеет старая винтовка.

И он, и оружие несли на себе клинописные шрамы и ссадины. Все они были прописаны. Пророчества и отвороты отмечали лицо Цунгали – талисманы против зверей, демонов и людей. Приклад «Энфилда» был зачарован против чужого касания и утраты, для точности и отваги; еще винтовка несла зарубки: двадцать три человека и три демона, с которыми она официально расправилась. Цунгали уже многие годы не сотрудничал с полицией или британской армией. Из-за Имущественных войн его изгнали из органов власти, и много крови тогда было пролито, чтобы убеждения сторон разделились навсегда. И потому он впал в замешательство и тревогу, услышав призыв в столь знакомое и любимое, как дом, место – тот самый лагерь, что на его глазах превратился в злой крааль врагов.

Они сами пришли к нему – не с войсками, кандалами и угрозами, как прежде, но тихо, послав вперед мягкие извилистые слова о том, что он снова нужен. Они хотели поговорить и забыть преступления прошлого. Он чуял западню и принялся вырезать новые защиты, строить вокруг своего дома и участка жестокие физические и психические ловушки. Он говорил с пулями и кормил их, пока они не стали упитанными, зрелыми и ретивыми. С притворной послушностью ждал прибытия – которое оказалось спокойным, благородным и почти уважительным. Теперь он сидел и ждал, когда его препроводят в штаб форта, не зная, зачем он здесь, и удивляясь собственной покорности. Его шокировал родной запах, смутивший охотничий инстинкт. Отгоняя его, он стискивал «Энфилд» и пользовался ласточками, чтобы сфокусироваться до, во время и после встречи. Вливал их скорость в свое ожидание, пока темнеющим небом овладела яркая ярость звезд.

* * *

Я вершу свой путь ночью и выступаю из деревни засветло. Чуть позже тропа просияет из-за звезд иначе, полируя мили впереди горящей невидимой скоростью.

Я иду, словно в русле реки, между высокими стенами белого камня, – эта дорога выхолощена временем, погодой и непрерывным движением людей, кочевых, как птицы. Племена проходили и перепроходили одну и ту же балку, отчаянно проводя черту под вымиранием. С этим стадом призраков я и странствую, один.

Проходят часы, меня останавливает беспокойство зрения. Уже какое-то время я краем глаза замечал мелкие движения – рыбью пунктуацию, прерывающую твердые волны камня по бокам тусклыми бликами, что короче мгновения ока. Стоит встать, как феномен прекращается. Когда я продолжаю, за мной следует поблескивающий периферийный косяк. Сперва я давался диву, но теперь отдался волнению и страшусь чужого разума или галлюцинации. Пока нежеланны оба: я ищу лишь одиночества и отстранения, не желаю общения или интроспекции; мне необходимо понимать с ясностью одно-единственное измерение. Меня уже калечила сложность, и исцеление заняло слишком много лет. Я не вступлю на этот путь вновь и не разделю бытие со всеми теми, кто претендует на мою преданность и препирается за нее. Мне нужно только дышать и идти – но в это время ночи, в этой альбиносной артерии я слышу, как по пятам следует страх.

В руку просится лук – как посох, ненатянутый. В моей хватке Эсте отдает мускусом, и это химическое лезвие доходит до моего колотящегося сердца, тоже побелевшего, но не как камень. Оно касается моего разума, как ее язык, и я лишаясь тревог и веса, готовый к атаке. Ничего не происходит. Я стою как столб. Через какое-то время слегка склоняю голову – вдруг что шелохнется. Сперва – ничего, затем – проблеск, единственная крошечная искра. Я фокусируюсь на этом неведомом духе и двигаюсь к нему, как кошка на звук. Оно не в воздухе, но в белом камне. Я вижу, что оно вкраплено в свою библиотеку мелового периода. Его распалили звезды, и на краю теперь трепещет резонанс тусклого сияния. Это окаменевший акулий клык – инкрустированный в скалу гладкий клинок, с краями ожесточенно зазубренными и грызущими далекий небесный свет. Они испещряют камень сотнями.

Моя тень растрясла их свет, придав впечатление движения. Когда-то эти зубы высоко ценились и, помнится, служили небольшим приработком для местных жителей, которые колупали их и

экспортировали в политические города, где зубы обрамляли серебром и вешали гроздьями на миниатюрное барочное дерево. Оно называлось «креденца» – имя, ставшее синонимичным с названием шкафчика, на котором дерево некогда стояло. Самые богатые и пышные принадлежали семействам Боргезе и Медичи. Когда гостя потчевали вином, его подводили к дереву, где он свободно выбирал клык и помещал в свой кубок, зацепив деликатной цепочкой за край. Если клык чернел – вино отравлено; если оставался незапятнанным, доверие к вину и хозяину подтверждалось и можно было переходить к делам и дружбе.

Я стою в черной ночи, размышляю о далеких шкафчиках и давно позабытой агрессии, о каменной реке из зубов, которые мне пригодятся; их компактная твердость и выщербленные края – залог превосходного наконечника для стрелы. Ближе к утру я вынимаю и зачищаю их, ищу прямое дерево для древка и охочусь на ласточек; их крылья станут моим оперением. Крылья годны лишь тогда, когда их срезают вживую, посему мне придется ставить силки, чтобы уловить птичью скорость.

* * *

Офицер ненавидел эту дыру, ненавидел силы, благодаря которым она так блестяще процветала в противовес всему разумному и упорядоченному. Дважды в неделю он снаряжался в форт, чтобы наладить там дела, прежде чем вернуться в центр одного из более цивилизованных городков. Он знал, что любой его план или порядок сработает с точностью до наоборот и что случится это не назло ему, но просто из-за процесса перевода, переговоров противоположностей – не поиска компромисса, но ритуализации бессмысленного диалога. Подобное раздражало, но доказывало, что мир устроен по меньшей мере двумя разными способами. Знай офицер, сколько поистине существует таких способов, он бы сбежал с поста в криках и вернулся в благочестие линейных городов – или даже к общим ценностям линейного окопа. Он пережил неумолимую войну и был вознагражден. Но командирование на другой континент оказалось библейской наградой: каверзной, слепой и окончательной.

Его нынешняя задача – идеальный пример того управления необъяснимым, неприятного столкновения с примитивными ценностями. Ему сказали добиваться своего убеждением и лукавством. Он предпочитал силу, но уже было доказано, что она здесь не действует и способна произвести противоположный эффект.

Свидетельством тому были Имущественные войны, а возглавил кровавое восстание пришлый. Офицер старался не думать об этом – о погибших, о глупости, растратах и том факте, что в итоге ничего не поменялось. Он бы повесил пришлого за измену и убийство, за то, что предал вверенную ему ответственность, жестоко и напрасно променял ее на ошибку – дерзко замешал невежество с ветхими бессмысленными суевериями и вскипятил до волнения. В три дня мирная и покорная община превратилась в распаленную и разъяренную толпу. Церковь и школу сожгли дотла. Постоянных офицеров застали врасплох и зарубили, радиооборудование разбили вдребезги. Летную полосу и крикетное поле стерли, соскребли с лица земли. Нигде не позволили остаться ни единой прямой линии.

Когда прибыл офицер с тяжеловооруженной дивизией, их встретил убогий раздраз и разор. Все подаренное или достигнутое туземцы намеренно уничтожили, исковеркали обратно до состояния своей вонючей бестолковой истории. В центре резни стоял Цунгали, торжествующий и ликующий, в одних только мундире и кепи, нелепо вывернутом наизнанку. В его волосы были вплетены перья, кости и патроны, а зубы – вновь заточены.

Когда колониальные силы пришли впервые, они казались таинственными и могучими. Им прощалось невежество о мире. Количество необыкновенных товаров и образ их появления переполошил Настоящих Людей. Их руки в опасности колебались и мялись над предложенными сокровищами. Дары нашлись для всех. Цунгали и его братья с недоверием и непониманием наблюдали за аттракционом щедрости, за бесконечным потоком невозможного: звериное мясо без костей в твердых блестящих панцирях, смертоносное железо великой силы и точности, радуги ткани, говорящие клетки, рой прочих вещей и сил без имени.

Когда чужакам дали позволение вырубать деревья и ровнять землю, никто не ждал последствий. Еще ребенком Цунгали увидел первых пришельцев в небе. Они плыли брюхом кверху, как дохлая

ящерица в пруду, полосая небеса прямыми белыми черточками. Цунгали спросил деда, кто они, эти кинжальные птицы с долгими голосами. Дед ничего не видел, ничего не слышал – небо было пустым, они не существовали. В его восприятии не нашлось подходящего шаблона. А если кто-то что-то и видел, то оно явно было родом из другого мира, а значит опасно, лучше не трогать. Шаманы говорили, что это сны еще не рожденных молодых отцов и что их растущая частота предвещает будущую обильную рождаемость. Никто не нашелся с объяснением, когда первая птица угнездилась на выровненной полосе в джунглях; просто незнакомцы имели великую силу, чтобы так просто ее заарканить. Цунгали ходил с дедом на просеку, рука об руку. Они торчали и таращились на поблескивающую твердую птицу. Ее панцирь был таким же, как панцирь у мяса без костей. Старика била легкая дрожь – он видел лишь просеку с хлопчущими чужаками. Их он различал, потому что они были людьми – или созданиями в людском обличье.

Возбужденное дитя шагнуло вперед, но осталось на привязи неподвижности старца. Тот прирос к месту, и любопытный внук не мог освободиться. Мальчику хватило ума не спорить – лишь слезы досады наворачнулись ему на глаза. Старик тоже плакал. Одна-единственная слеза кралась по шрамам на лице, через схемы созвездий и вырезанные карты влияний и владений. Жидкость без имени – она состояла из множества чувств и конфликтов, которые исключали друг друга, пока миг не наполнили одни только соль и гравитация и не сползли по его лицу.

Самолет был полон имуществом – больше, чем кто-либо видел раньше; изумительные вещи, благодаря которым молодежь чувствовала себя в силе и почете, выше любого соседнего неимущего племени. Еще самолет принес священника. В следующие годы чужаки расселились и привезли в деревню семьи и новую веру. Они говорили, что родом из разных земель с разными наречиями, но это казалось неправдой – как и многое другое, открывшееся позже. Наставляли они Настоящих Людей согласно укладу одного и того же мира – где бог стыдился наготы. Они научили, что те драгоценные вещи, которые раньше давались даром, теперь даст работа. Они привезли книги и пение, разменивали величие своего невидимого бога на духов, вырезанных из дерева и камня. И где-то в ходе этой подлой торговли в

ткань доверия вплелось подозрение. Упор на всеобщую вину переводился в уме у племени в мысль, что Настоящие Люди уже за что-то заплатили – за то, что так и не получили, за то, что могло быть как раз имуществом.

Летная полоса поддерживалась в образцовом порядке, товары продолжали поступать. Опустевшие самолеты наполнялись позором разоренных домов. Их пичкали старым оружием, тканями, богами и кухонной утварью – жалкими тотемами развоплощенной истории в изгнании. Взамен жилью набили чистые картины, металлическая мебель и униформа – или так казалось.

Крикет, конечно, принесли англичане. Шестеро вырубili и выровняли полосу и назвали ее «питч» – тем же словом они называли тьму ночи и тьму Настоящих Людей.^[10] Сперва шестеро, затем больше – одетых в белое, совершавших таинства длиной в целый день, что не имели никакого отношения к приколоченному богу. Шестеро, что всегда будут одеты во тьму, показали, что Настоящим Людям навязана великая ложь. А кремень великого возгорания звали Питер Уильямс.

Его вымыло на берег много десятилетий назад, на обломке стола для сеансов № 6 – столешнице с сетчатой клеткой снизу, где лежали металлический клаксон и резиновая груша, маленький тамбурин и латунный колокольчик. Стол около двух лет назад расколола экстрасенсорная сила в мрачной гостиной в Галифаксе, Йоркшир. Случай вошел в историю – неприкрытому невидимому неистовству было много свидетелей. Обломок выкупила миллионерша Сара Винчестер, его как раз перевозили в ее американский особняк, когда злостью кораблекрушение.

Когда Уильямс очнулся, его вывихнутая рука еще цеплялась за дешевое лаковое дерево, два пальца были сломаны и застряли крюками в металлической сетке, пока сам он качался на приборе, за болевым порогом. Несколько часов спустя его, беспомощного, нашло на пляже племя, он метался в бреду, ужасаясь грядущему приливу и близкой смерти. Чужака перенесли в деревню, к жизни. Соль изъела его память, но ему казалось, что его зовут Уильямс. Тогда Уильямса спросили, что значит это имя. Он ответил, что не знает, но что он один из многих.

Легенда гласит, что в следующие пять лет племя ждали рост и расцвет. Ушла хворь, стала обильной дичь, а женщины выносили

новое поколение мужчин – где многие пестрили светлым благословением Уильямса. А потом он исчез, растворился в краю забвения. Сказывают, земля позавидовала племени и возжелала своего собственного бледного двуногого. Сказывают, он был съеден или развян. Он говорил, что один из многих, и теперь они ждали и молились куску стола № 6 о возвращении своего спасителя. Так рос культ Одногоизуильямсов, искупление и тоска обрели семью и имя.

Сара так и не приобщила проклятые орудия и расколотое дерево к своему бесконечному дому, завязанному узлом. Всеразрастающемуся деревянному осьминогу особняка предназначалось вместить неуспокоенных мертвецов, изведенных винтовкой Винчестера; медиум сказал, что она останется в безопасности, покуда не закончен ее дом.

Она отнеслась к этому буквально и начала стройку особняка, что рос вплоть до дня ее смерти. Две дюжины плотников пилили и колотили день и ночь, строили и перестраивали равно беспокойную архитектуру, чтобы уберечь от голодных призраков наследницу того, кто изобрел быстрое и длинное оружие, опустошившее равнины и наполнившее небеса и землю виновными и невинными. Привидения скреблись во все двери – даже фальшивые, поставленные Сарой, чтобы отвести их приход. Она проводила сеансы ежедневно. Лабиринт содрогался от перестука духов, дорогие паркеты стали липкими от эктоплазмы, тупиковые лестницы ныли вслух. Призраки и плотники замирали только тогда, когда Сара садилась за пианино – одна, поздно ночью. Эхо нот находило путь ко всем сплетенным пустым залам, по всем деревянным змеящимся коридорам, во все прислушивающиеся чердаки и башенки.

Ширился и алтарь, выросший из стола № 6. От долгого ожидания в него вбивались молитвенные гвозди. Бусы и колокольчики, молоко и кровь пели, зывали к духам, чтобы те вернулись домой и слились в одного материального человека по имени Уильямс.

* * *

Он был похож на Бога. Грива неухоженных белых волос, длинная устрашающая белая борода и дикие дымчатые брови, сошедшиеся в

схватке над пронзительными, беспощадными очами. Суровое мудрое лицо, повидавшее мир в резком свете, в отмеренных контрастах. Лик Лира, не пропускавший внутрь и наружу ничего, прежде не подвергнув радикальной строгости. Так он и хотел выглядеть – по-библейски, строго, внушительно.

Он исследовал дикую природу, выходил за пределы знаний проводников, валил деревья на нетронутой панораме, чтобы создать желанный вид, сжать в композиционный перевернутый кадр, собрать мир в жгучем свете. Он был с мертвыми и умирающими, видел в своей камере их глаза; однажды убил сам, в холодные мирные времена, вызвав свою жертву с попойки у серебряной шахты на благоуханный пейзаж, стынущий под полной луной.

– Добрый вечер, майор Ларкинс, – сказал он тому, кто щурился в дверях, пытаясь что-нибудь разобрать, так как говорящего озарял яркий свет. – Меня зовут Мейбридж, и это ответ на ваше письмо моей жене.

Он навел пистолет на грудь волокиты и выстрелил. Быстрая кровь брызнула на яркие подвижные листья октябрьских сумерек; жертва прошла весь дом насквозь на заплетающихся ногах и умерла в саду, обнимая дерево. Мейбридж шел за ним, извинившись перед картежниками, чьи руки застыли в неверии.

Но то было в Калистоге – на старом Диком Западе, в восточном округе Сан-Франциско. Год спустя обвинение в убийстве сняли: его оправдали. Всю жизнь он оставался оправданным, и даже сейчас, на семьдесят первом году, был не тем, кому перечат или в ком сомневаются. Он сломил разум жены-изменницы и с уверенностью Авраама презрительно отверг сына. Однажды он и был Авраамом – позировал для серии фотографий, прославившей его во всем цивилизованном мире: нагишом, с топором, с натянутыми мускулами и жесткими сухожилиями, строгий и непоколебимый в свои шестьдесят лет.

Теперь он стоял во весь рост в центре большого амбара в своей родной долине Темзы. Его ждали пятеро человек и лошадь, в раскрытые высокие ворота струился холодный воздух. Они тихо переговаривались, кивая в ответ на его указания. Один вывел лошадь наружу, другие заняли позиции в разлинованном интерьере. Стены и пол были выкрашены в черный – безусловно чисто и четко. В

управляемую тьму вписали белые как мел линии – сетку координат, в рамках которой пространство стало застывшей концепцией, где отсутствовали фермерские запахи. Когда зажгли искусственный свет, тот соскреб все деревенское – шипящая яркость превратила амбар в фикцию. В Калифорнии все было иначе: фотокамеры внутри, яркое солнечное действие – снаружи. В дождливой Англии вся студийная жизнь шла только внутри – со временем именно так Мейбридж предпочитал вести дела.

Для этого дня его вызвало с пенсии правительство Ее Величества. Ему построили физический негатив предыдущей студии – где он фотографировал все, что хотел, без чужого ведома. Ради этих изображений его вытащили из смиренных лет, встроили оборудование в старый амбар, следовали всем его инструкциям и требованиям. Он даже настоял на масти лошади.

– Белая, чистейшей белизны, – говорил он им. – Желательно с развевающейся гривой.

Кое-кто из правительства говорил – втихомолку, – что это нарциссическая прихоть, что он хотел животное, похожее на себя. Но они ошибались: у фотографа на уме была другая лошадь – из стойла безумия и жестоких снов. Но то его дело, не их; он же был готов снять то, чего еще не видел мир.

Мейбридж взял пучок кабелей и кивнул двум людям в дальнем конце амбара. Один заложил пальцы в рот, другой вынул из полированного деревянного футляра нечто наподобие кузнечного молота. Мейбридж окликнул другого, малодушного, нервно переминавшегося у ворот. Дан сигнал. Человек снаружи подхлестнул лошадь к панической рыси. Человек с пальцами во рту засвистал – серия рвущихся нот. Лошадь метнулась между ними в ослепительный бесплотный свет бездонного зала. Другой поднял железо. Гром копыт сотряс нарисованную сетку, лошадь ворвалась в свет. Затворы камер дергались в насекомьем бешенстве и дробили время. Из большого оружия в руках человека вырвался огромный и неожиданный огненный кулак, и последовавший звук проглотил все. Лошадь рухнула на подломившиеся ноги, взметнув тучу черной кружащейся пыли, бьющееся тело зарывалось в белую сетку и забрызгало стены из выходного отверстия в хребте. В предсмертных муках – которые, как и все прочее, показались одномоментными, – она свернула себе шею.

Когда животное испустило последнее фырканье, камеры затихли и амбар захлестнула приливная волна тишины.

Все было неподвижно в оседающем воздухе. Скоро нервное новое электричество выключили. Сцена обрела драматизм в косых лучах из открытых ворот. Свистун и конюх надели комбинезоны и принялись чистить пол вокруг трупа; стрелок убрал чудовищное оружие обратно в иконоподобный футляр, достал бордовый резиновый фартук, перчатки и ящик с ветеринарными хирургическими инструментами. Черная пыль еще вилась высоко в столбах дневного света, заливавшего амбар и придававшего божественную ауру действиям трудившихся. Мейбридж как будто остался совершенно равнодушен к кипучему потоку активности и занялся камерами, собирая их предыдущие мысли и унося с собой, чтобы отпереть в своей черной как ночь часовне химикатов по соседству.

Пистолет «Марс» Габбета-Фэрфакса был одним из первых в своем роде. Самозарядный полуавтомат с поразительной баллистической мощностью – он был похож на топор или молот, а рудиментарное «Г» его корпуса обладало уродливой, уникальной элегантностью твердой стали с тяжелым верхом, гладкой и лаконичной. Задний конец пистолета кишел от накатной хитроумной механики казенника, курка и целика. «Марс» предназначался для массового производства в военных нуждах, но пришел в мир навыворот и не вовремя. Он создавался с тем же соображением, что слало кавалерию на газ и пулеметы Первой мировой войны, в нем жила родословная средневекового поля боя: он мог остановить коня на скаку. Гремел, как конец света. Его отдача могла сломать запястье стрелку и плюнуть раскаленной гильзой ему в лицо. Расчетной кучности боя так и не достигли, потому что боец после первого выстрела так трепетал и вздрагивал перед тем, как вновь нажать на спусковой крючок, что прицелиться было невозможно. Это был самый мощный пистолет, задуманный и сконструированный на рубеже тех столетий, – но никто и никогда не хотел им пользоваться. «Марсов» выпустили меньше сотни. И как один из них, прячась среди «Энфилдов», нашел дорогу в сердце земли Настоящих Людей – неизвестно. Известно, что исчез он в то же время, что и Питер Уильямс.

У моих ног лежат бечева, щепки и невесомые осколки зубов с бескрылыми тельцами двадцати ласточек – их странные обтекаемые глаза глядят во все стороны. Форме глаз вторят крылья – те же крылья, что теперь украшают мои стрелы. Позади меня дыбится трепет моря, и горизонт закрывается створками тени. Я готов оставить эти мрачные рыхлые земли.

* * *

Цунгали расправил свое сидящее тело и бесшумно соскочил на ноги, подождав несколько секунд перед тем, как его вызовут. У длинных босых ступней в замедленном движении мутилась пыль. Он шел за солдатом, сопроводившим его в дверь казармы. Войдя, солдат схватился за ствол «Энфилда». Цунгали гаркнул то ли слово, то ли звук – помесь из множества свирепостей, перенятых у кошек и змей, птиц и ветров. Рука отскочила и повисла покалывающей плетью у дрожащего бока испуганного рядового, словно пораженная током. Глаза Цунгали пробудили внимание офицера. Тот проглотил свое презрение и отослал подчиненного. Дрожащий солдат покинул помещение.

Цунгали вошел и почувствовал себя самого много лет назад – поток воспоминаний наводнил полости его прошлой нервной системы. Ибо так устроены те, кто каждые несколько лет сбрасывает жизни: у них остаются сдувшиеся внутренние каналы, сохраняются в параллель нынешним, исправным; призрачные артерии, которые спят, съежившись, рядом с теми, что качают жизнь. Затихшие лимфатические сосуды – как тихий плющ вдоль бегущего сока настоящего. Деревья нервов – как костяной коралл, обнимающий шепот ревуших коммуникаций.

Старая часть Цунгали налилась сущностью прежнего «я», потеснила настоящее физическим дежавю, и в застывших внутренностях тела возникли два Цунгали, и оба не обращали внимания на застывшего по стойке смирно офицера, который пронзал вошедшего взглядом. Вентилятор на потолке месил сгустившийся воздух, вращаясь с сердцебиением крупного зверя и придавая ритм

москитам, выстроившимся в очередь на пробу потной белой кожи офицера, который выдавил:

– Тебя просили явиться, – горло процарапали когти слова «просили», – по весьма особой причине.

Ночь и насекомые.

– Мы ищем того, кто может выследить человека; того, кому можно доверять.

«Доверять» покорило яйца и диафрагму.

– Того, кто обладает всеми нужными навыками, – воина-бушмена.

Даже офицер услышал свое снисхождение и запнулся об него, улучив момент внимательнее изучить человека перед собой. Тот был высок, но слегка согбен. Крепкий скелет часто ломали и чинили. Плоть и мускулы – жесткое темное мясо, податливое и натруженное, твердое. Кожа теряла свой некогда иссиня-черный отлив, блеск ее жизни припорошила слабо-серая молочность. Форма поношенная и переделанная, перешитая в другую версию – в ту, какой ее хотел он: противоположность своей функции единообразия и ранга. Ее синева блекла, сближалась в визуальной гармонии с кожей. Он выглядел как тень, а может, ею и был: статичная тень, отброшенная тем, что теперь творилось в его клокочущей сущности, прореха в ниспадающем свете, сплетенная из пространства во времени.

В эту паузу офицеру выпал шанс приглядеться к лицу Цунгали, теперь неподвижному – не от невозмутимости, нет, скорее оно походило на единственный кадр из бегущей пленки, выхваченный из смазанного пятна, в неестественном покое. Прошли годы с тех пор, как этот офицер стоял к нему так близко. Тогда Цунгали был в цепях, прикован к полу в зале суда. Свирепость его лица скривилась от дикой страсти движения и злобы. Теперь же оно формализовалось. Морщины скрученной ненависти стали одним целым с символами и хитроумными узорами – душераздирающими криками, выписанными осторожными глифами. Неподвижное лицо корчилось в сбалансированной книге глубоких шрамов, иллюстрированном гобелене кожи – точь-в-точь лицо его деда. Точь-в-точь тело «Энфилда», что само стало резным нарративом.

Офицер уставился на полированный затвор ружья; полированный по причине не помпы или фетиша, а употребления.

– Откуда он? – спросил Цунгали. При звуке его голоса замолкли москиты, прислушалась комната.

На миг офицера вытряхнуло обратно, в непотребство предстоящей сделки, и он не сразу понял вопрос. Потом ответил:

– Он белый.

* * *

Измаил не знал, что он не нормальный человек, потому что нормальных никогда не видел. Добрые темно-бурые машины, направлявшие его от младенчества к отрочеству, от отрочества к юношеству, напоминали Измаила по форме, но отличались материалом. Он рос под их тихой заботливой опекой, зная, что он не такой, но даже не помышляя о том, что он чудовище. В его мире не было чудовищ – в мире глубоко под конюшнями старого города Эссенвальда.

Это был европейский город, импортированный камень за камнем на Темный континент и воссозданный на широком вырубке в периметре леса. Его строили полтора века, а ядро имитации теперь так постарело, что стало подлинным: перепады погоды породили новый вид подделки, подгоняя действие времен года с высокой скоростью тропической истерики. Многие старые дома доставили, пронумеровав для воскрешения каждый кирпич. Некоторые новые особняки и склады пользовались местным материалом и копировали орнаментальное осыпавшееся величие предшественников, добавляя оригинальный художественный блеск в скевоморфный образ ветшания. Город процветал, кипел и наполнился движением, из его неистового сиятельного сердца разбегались каменные и железные дороги. Но только один путь полз в мрачные внутренности леса. В вечную массу Ворра.

Город питался деревьями, пожирал мириады различных видов, буйно произраставших в дебрях. В дневное время всюду жужжали и пели лесопильни и дровяные склады, каучуковые мануфактуры варили вещи из смолы, бумажные – кипятили и отбеливали догола тела, готовые к слову. Лес удовлетворял все эти аппетиты. Поощрял покусывать его опушки и пользовался этим как очередной формой

защиты – малой в сравнении с арсеналом оборонительных средств, поддерживавших вечность Ворра.

Декларация силы и долгожительства Эссенвальда была написана на лабиринтовом манускрипте извивающихся улиц.

Один кривой проезд звался Кюлер-Бруннен^[11] – рукописная табличка была прибита высоко на его бессолнечной стороне. На середине улицы стоял дом солидного возраста; его ядро привезли и погрузили в теплую почву одним из первых – на священном месте, что, по словам некоторых, старше самого человечества. Более поздние пристройки частями копировались в угленосном камне, добытом из давно закрытого карьера. Пропорции и местоположение дома украли у одного из ожесточенных городов северной Саксонии. Окна были затворены. Он тихо мрачнел, отводя любое внимание. В его маленьких опрятных конюшнях размещались три лошади, лакированный экипаж и рабочий воз. Брусчатка и солома придавали безмятежности внутреннего двора движение и запах, тогда как глубоко внизу, под синим и желтым, гудели бурые и хлопотали над белым, которое они растили. Воздух наливался запахом озона, фенола и легкой гари от разогретых тел: то был аромат жизни, мало-помалу идущей к треску и хрупкости, испуская собственный характерный гул, – точно так же, как наше старение сопровождается морщинами и рыхлостью.

Дом был пуст и доволен этим. Он считал, что уже много лет назад отошел от связей с полновременным проживанием. Для поддержания порядка его механически посещал обученный немногословный слуга. Тот, как и его отец, пользовался денниками и лошадьми и ухаживал за ними, и каждый вечер запирал за собой существование дома. Ежедневное использование отполировало яркие тяжелые ключи.

В сбалансированной и уравновешенной пустоте надземных помещений дома номер четыре по Кюлер-Бруннен не было людей. В подвале находился колодец поразительной глубины – дай ему небо, и он отразил бы в беспросветной воде самые далекие галактики. Но колодец оставался за пазухой, за шорами, под спудом твердого дома. В других комнатах внизу были машины в ящиках и прессы в запахах, упакованные бутылки и пустые заляпанные сосуды. Здесь тишина жила в согласии с пылью; ни та ни другая не опускалась. Старый темный дом всегда был начеку и стерек то, что происходило под ним.

Пещера была без света и без фокуса, красной. Ее пропорции расплывались остаточными изображениями из-за алой лампы, не освещавшей, но глотавшей любые следы нормального белого света или перспективы.

Непрестанно текла вода, и в густом воздухе, пропахшем уриной, целеустремленно двигался человек. Он вымачивал руки и стеклянные пластины в слепых емкостях с теплой жидкостью. Закрывая, тряс их, считая вслух, тормозил и будил под пустым красным светом скорбной лампы. Заканчивая, освобождал их и откладывал, давал стеклу обтечь досуха, пока готовил очередную порцию химикалий. Обработав, аккуратно помещал в проектор и раскрывал в виде света и тени на плоском горизонтальном экране. Искоса взглядываясь в сфокусированную поверхность, его глаза почти касались изображения, выискивая изъяны и несовершенства: их не было. Очередная безукоризненная работа. Виднелись каждая крупинка пыли и плевок летящей крови – резкие белые искры на инвертированном черном фоне конской шкуры. Человек быстро перекрыл ток света и с чем-то близким к радости сдвинул под лампу чувствительную бумагу, снова пролил сияние. Поставил громкий будильник и поправил тщательно поддерживаемую температуру крови. Когда зазвенело, он собрал бумагу и утопил в полном лотке жидких химикатов, баюкал их взад-вперед, пока под пассами рук понемногу не возникла тень – тень мрачнее, чем что угодно в этой наглухо закрытой часовне, тень, которая становилась пространством вокруг зияющей бездны лошади.

Мейбридж перенес изображение разлившегося животного из одной емкости в другую и пустил плавать с ее товарками в циркуляции фиксажа. Вытер руки и вытянул навыпуск длинную белую бороду из воротника – ранее он заправил ее, чтобы не макнуть в химикаты и не испортить процесс. Отступил, с удовлетворением выпрямившись, и отодвинул засов перед напором мира.

Час спустя он выложил последовательность фотографий на длинном узком столе своей временной студии, примыкавшей к амбару. Когда Мейбридж шагнул назад, уступая место у своей гордости, над изображением скучились четверо.

Бегущая лошадь была расчерчена, расплющена до силуэта на шкале координат. Фотокамеры удалили звук и тошнотворное третье измерение. Теперь все можно было изучить вне суеты и вони факта. По плотной химической бумаге скакала краса. Лошадь – пока неслась, рухнула и умерла с благородством эстетики – стала классической и потусторонней.

Четверо в восторге вперились в отпечатки. Это были люди от мира механической точности, и линованная бойня доказала ценность нового устройства этого мира. Они собрали наглядные свидетельства, которые приведут к массовому изготовлению, и поблагодарили Мейбриджа на пороге его царства, воодушевленно пожимая ему руки.

Он закрыл дверь за ними. Миг размышлял в узком предбаннике меж комнатами о том, какой эффект чудовищный пистолет произвел бы на анатомию презренного майора Ларкинса, и о том, насколько ярче было бы последнее выражение его лица, ошеломленного от удивления и боли. Даже спустя столько лет фантазия потешила Мейбриджа. Еще больше его потешило бы, если бы любовника молодой жены развалило пополам у нее на глазах. Она умерла от месяцев молчания Мейбриджа после расправы над майором. Удар, говорили одни; скорбь – другие; но Мейбридж знал – причина в гранитной тишине, которую он запечатал в ней: даже после того, как жена ушла из дома, тишина все затвердевала и расколола ей голову.

Момент приятных размышлений перед возвращением к серьезному делу с негативами. Его армейские клиенты получили копии, но у него остались негативы – и собственные планы на изображения. На пике жизненных достижений он решил преследовать в своем творчестве иное качество: символического призрака, пронизывавшего все его фотографии. Решение вело к глубоким размышлениям и нарушениям личных принципов, но не шло из головы. Мейбридж был творцом, фотографом и изобретателем выдающейся важности – и это уже гарантировано, достигнуто вопреки всему. Последние же опыты будут принадлежать только ему, ответят на его вопросы. Он представил лошадь, что ни разу не касалась земли, или лошадь, что мчалась под землей, или ту, что преследовала его во снах, как привидение-простыня. Этот процесс, переборовший страхи, порхал в коридорах его сегодня и немногих оставшихся завтра. Движение, что он улавливал только уголком глаза своей камеры.

Измаил мужал. Его робкое белое тело крепло и перестраивалось для иной цели – хотя ему никогда не быть таким же прочным, как бережно воспитывавшие его бурые. Их тела были совсем иными, идеальными в блеске и глубине полированной поверхности. Каждый уникален – красивая вариация формы и назначения; он вечно дивился их величину, оглядывая рыхлую расплывчатость собственного панциря.

Со временем его все более и более интриговала Лулува; она не походила на других. Не потому, что была самкой. Это ему уже объясняли. В мире есть четыре вида похожих на него существ: мужчины, женщины, животные и призраки. Он мужчина – как Авель и Сет. Лулува – женщина, как Аклия. Но Измаил – из другого вида. У мужчин есть трубки и сила, у женщин – кармашки и нежность. У него – понемногу всего.

Впервые Лулува его распалила, когда убила для него животное. Переломив тело своими длинными блестящими пальцами, она раскрыла зверька и объяснила, что эти внутренности – копия его, состоят из тех же веществ, в отличие от ее, созданных из другой субстанции. Она описывала, что толстый мягкий покров сберегает тепло и что со временем подобный будет и у Измаила – и если он внимательно приглядится под лампой, то уже увидит крошечные следы поросли на податливой коже. Она протянула свою гладкую грациозную руку и продемонстрировала отсутствие этих «волос». Он зарделся, чувствуя стыд и неудачность своего склада. Ему хотелось задержать дыхание и втянуть все следы животного обратно в панцирь, хотелось, чтобы волоски съежились и глазировались, стремясь к ее идеалу.

Она уже объясняла, что в своей мягкости он может расти, распространяться изнутри, раздаваться. Она же была сформировавшейся и негибкой. Он не понимал – зачем ему к чему-то расти, когда уже есть она, безупречная? Лулува постучала по бурому панцирю и сказала, что ее кожа жестка и хрупка, а его – поддается касанию и лезвию, что они оба уязвимы по-своему. Он сделан из мяса, как звери, а она – из бакелита, как мебель.

Лулува двумя идеальными пальцами погладила его затылок, развеивая сомнения Измаила насчет своего места в мире, отличий и ее

ласкового принятия. Твердость и холодок от прикосновения возбудили его и напрягли равнодушную мягкость к набухшей мимикрии. Она притворилась, что не заметила, и ушла от его шока, испуская волну тягучих щелчков и внутреннего шипения – звуков, которые он будет помнить всю свою спутанную жизнь.

Он поднял неловкий взгляд от коленей и смотрел, как она идет по продолговатой комнате. Поступь ее была целеустремленной, плавной и точной, словно все сотни миниатюрных подстроек, необходимых для движения и равновесия, осознанно продуманы наперед, внимательно просчитаны за доли секунд, что невозможно и вообразить. Он знал, что если сам будет так же думать на ходу, то упадет через пару шагов. Столь совершенный контроль недостижим для его нестройной и смехотворной моторики. Лулува была грациозна и постоянна, тогда как он становился все более неуклюжим и случайным. Приливы чувств и извержения идей мотали его пестрое истекающее существо на непредсказуемых бурунах, вынудив изобрести себе в спутники сомнение, создать нервозность как зеркало для совершенства – хоть он и знал, что увидит в нем только себя, отражений других там не будет, они лишь молча пройдут мимо.

Иногда, когда он наблюдал за ними во сне, во время подзарядки, его завораживал их покой. Он садился очень близко к Лулуве и кому-нибудь еще и ловил глазами движение. Однажды Сет, стоявший позади, спросил, почему он так пристально вглядывается.

– Потому что мне кажется, что они мертвы, – ответил он без раздумий. Сет положил руку на плечо мальчика и издал горлом звук ротации. – Как животные, когда те сломаны, – сказал мальчик через плечо, не сводя глаз со спящей женщины. – Они целиком сделаны из движения, а если их сломать, все прекращается. Куда пропадает движение?

Сет присел бок о бок с мальчиком, наблюдая вместе с ним.

– Это правда, все живое движется, и движение есть жизнь. Правда и то, что мертвые не движутся. Но иногда движение спрятано в мелочах и кроется от глаз. Я тебе покажу.

Исмаил перевел взгляд, чтобы следить за речью Сета, смотреть, как с беззубого рта спадают слова, сфокусироваться на дрожащем лоскуте, танцующем в челюстях.

Сет ускользнул к шкафу у противоположной стены и открыл ящик. Вернулся быстро, целеустремленно, со стеклянной трубкой длиной в свою руку и маленькой стеклянной воронкой. Снова присев, на сей раз меж Лулувой и мальчиком, один конец этой трубки он приставил ко лбу спящей, а ко второму примкнул воронку. Приложил палец к губам, зашипел и подмигнул. Мальчик понял уговор, они двигались скрытно, чтобы не разбудить ее. Сет приложил широкий конец воронки к уху мальчика, деликатно подведя трубку к уголку закрытого глаза Лулувы. И так застыл, в полуобороте наблюдая за лицом мальчика.

Сперва Измаил не слышал ничего, кроме собственного волнения. Затем – в трубке – раздался крошечный звук. Да, и снова – жидкое шипение, как слюна во рту, так слабо, словно с другого конца вселенной. Да! Вот снова – нерегулярно, но быстро и мерцающе, шепот пульса. Он отнял ухо от трубки.

– Что это за звук? – спросил он.

Сет посерьезнел и скромно улыбнулся:

– Это движется ее глаз. Под твердым веком, – он всмотрелся в мальчика, – Лулува видит сон.

* * *

Питер Уильямс поступил на далекий форпост сразу после сезона дождей. Его путь туда начался с зачатия. Простыня цвета хаки в темной сперме цвета хаки – его отцы три поколения носили винтовку и хоругвь. Сомнений никогда не было; быть ему солдатом. Со дня рождения до дня исчезновения перед ним всегда лежала лишь одна дорога.

В синейших уилтширских небесах сплелось великое желтое солнце. Рождение Уильямса было резким и легким, его сияюще-рыжая голова заскакала на теплом свете. Солнце всегда было его принципом, и он искал объять его.

Ему предлагали посты на выбор, и милее всего оказалось далекое захолустье. Он отчаянно хотел сбежать из Европы. Шрамы от удавки Первой мировой войны еще были свежими – если эти слова вообще можно использовать в одном предложении. Гниющие окопы врезались

гангреной в сердце старых стран, сбившихся вместе, как старые девы в грозу, – что друзья, что враги. Он два года просидел в скользкой яме Пашендейля, где солнце не грело забытую богом землю. Коли дневной свет и был, то зараженный и тяжелый, густо висел на черных шипастых кульнях расщепленных деревьев – редких вертикалях в море грязи, дыма, мяса и металла. Единственный ясный свет, что он помнил, – свет несуществующий. Уильямс был одним из тех, кто видел призрачные видения, плывущие над размазанными останками людей и мулов. Их нарекли Ангелами Соммы. Сиянье чистоты, выжатое из мерцающей скверны на пустошах. Он так и не понял, что видел на деле, но это помогло ему выжить и стереть из памяти невозможную реальность резни.

В возрасте двадцати трех лет он был готов к далекой стране жара и жизни. С момента, когда сошел с самолета на утрамбованную летную полосу, он ощутил удовлетворение, словно это место встречало его с улыбкой. Что-то в аромате джунглей и влажности, что-то в кишасей жизни, пульсирующей в каждом дюйме земли, успокаивало его. Возможно, экстаз противоположностей – или уверенность, что прежде увиденное не может повториться здесь. Что бы он ни вдохнул в тот день всей своей душой, оно только крепчало, когда он шел через поющий тропический лес в казармы поступью блудного сына.

Форпост лежал к юго-востоку от Ворра, в двух сотнях миль от города – и в двух тысячах лет. Племя, владевшее местностью, жило здесь с каменного века; их землей был перешеек в устье великой реки, бежавшей от моря, чтобы ее проглотил Ворр. Они же говорили, что все наоборот, что это сердце леса обливало и истекало водой, чтобы изобрести и поддержать море. Они звали себя Настоящими Людьми – и были ими уже вечность.

Возвышение Настоящих Людей привело к выживанию их расы и уничтожению их значения. Когда вступил в права двадцатый век, было сочтено необходимым и желательным сфокусироваться на развитии племени, особенно чтобы после долгого периода нищеты здесь процветал торговый речной маршрут. Три европейские страны насильно способствовали развитию аборигенов. Британцы последними присоединились к благородному делу и поучаствовали всем своим характерным арсеналом очарования, цинизма и вооруженного родительского контроля.

Форпост был многосложным предприятием. Когда прибыл Уильямс, как раз заканчивали крышу церкви – вплоть до безрадостного колокола для призыва новообращенных. Под ружьем было шесть профессиональных солдат, двое – с семьями; священник и десяток полицейских-бушменов, в возрасте от сорока двух до пятнадцати, заарканенных из самых значимых членов племени. Они очень серьезно относились к своим позициям. Что за порядок они поддерживали, оставалось под вопросом, ведь никакого свода формальных законов не вводилось, а предыдущие механизмы договорного существования быстро изживали себя. По крайней мере так полагали захватчики.

Во время Первой мировой Уильямс служил каптенармусом, и здесь тоже экипировал солдат и обучал новое полицейское формирование владеть снаряжением за пределами их ожиданий. Он прибыл с грузом оружия и амуниции, которые любовно доставал из солидных ящиков.

Пережитая безнадежная резня только доказала ему, что алчность, гордыня и слепота, вместе взятые, становятся механизмом ужасающих оборотов и что людей без воображения лучше держать в клетках и ежовых рукавицах. Ни разу за весь конфликт и бесконечность ран не угасли его любовь и интерес к оружию. Да, эти машины великолепных конструкции и исполнения служили только одной цели – но не они ее порождали. Он знал, что их единственное предназначение – отнимать жизнь – претворялось бы в любом случае, даже будь орудиями острые палки и тяжелые камни. Что там – он видел, как окопная война переходит в рукопашную схватку, когда штык становился слишком дальнобойным, а самодельные дубины и правленая сталь рубили мясо в скользкой слепой ярости. Если уж убивать, то убивать профессионально, точным орудием в опытных руках. Утешаясь этой логической неувязкой, он мог продолжать делать свое дело.

Он распаковывал ящик с винтовками «Ли-Энфилд», когда осознал, к своему удивлению, что это не старые запасы, как ожидалось, а партия новеньких блестящих моделей в отличном состоянии. Более того, поставка никак не проходила по бумагам. В партии встречались странные и необычные ящики, нигде не упоминавшиеся, и он просиял от удовольствия, от волнения при виде разнообразных сокровищ в этом месте на краю любого внимания.

Он плохо понимал местных. Их язык был непроницаем, пути – окольные, и, хотя их человечность бросилась в глаза сразу же, методы оставались сомнительными. Но его стало завораживать то, как они наблюдали не глядя, стал радовать их смех, как будто оторванный от происходящего, и интриговать их потрясение перед новыми предметами и жестами. Более того, любопытство сплავило его с ними прямо пропорционально тому, как он отдалялся от прочих колонистов форпоста. Уильямс того не замечал. Ежедневная работа по демонстрации оружия и организации стрельбищ поглощала самоанализ и обнуляла гложущие сомнения. А инцидент с девушкой и ангелами довершил его отчуждение и припер к стене изоляции и угрозе трибунала.

* * *

Голландский священник был односторонним человеком – двигался только в одну сторону, вперед. Неустрашимый миссионер, он достроил церковь в рекордные два месяца. Каждый день ее наполняли верующие – или те, кто ими казался. Но в тот день, когда он стоял снаружи и робко заглядывал в стонущий зал, она казалась прискорбно пустой. Вокруг свежепокрашенных ступеней начала собираться кучка зевак – аномалию слышала почти вся деревня.

– Что случилось, падре? – спросил первый старший офицер, подоспевший к священнику.

– Одна из женщин, – отвечал он. – Она сошла с ума.

Лейтенант прошел мимо священника и раскрыл двойные двери, чтобы восстановить порядок. В церкви все еще пахло краской, дисгармоничная белизна дезориентировала. В проходе на полпути к алтарю стояла на коленях женщина в окружении книг, с раскрытым перед ней большим тяжелым томом. Она была голой и обильно менструировала. Из ее глуби рокотал низкий нечеловеческий стон – звук, что слышится на расстоянии, из центра ледника, или смертельно близко, когда урчит лоснящаяся невидимая тьма большой кошки.

Лейтенант оглянулся на священника и понял его нерешительность. «Это всего лишь девушка», – сказал он, выдав самую большую ложь, на которую был способен, ведь тоже съезжился

от страха. Тестикулы втянулись в тело, волосы встали дыбом. Это создание в церкви представлялось девушкой лишь в своих изгибах черной поверхности: сущность и действия его были не от мира сего. Все внутри этой девушки было совершенно чуждо современному образованному разуму, и оно переписывало законы явлений на наречие с неисправимым привкусом страха.

У входа в церковь столпились второй офицер и куча зевак. У первого офицера в руке уже появился револьвер, и он нес его перед собой, как распяты, готовый что угодно обуздать силой. Он видел дрожащее пятно. Звук разладил его, обращал в бегство. Он чуял страх собравшихся вокруг, его мочевой пузырь ослабел и подтекал. Нацелив свою трясущуюся защиту вдоль прохода на отвратительное черное помутнение, он зажмурился и сжал спусковой крючок.

Ничего не произошло. Боек ударил, но лишь по мякоти указательного пальца левой руки Питера Уильямса. Тот схватил пистолет и предотвратил срабатывание, вывернул вниз, поставив коллегу на колени в криках боли. Отнял пистолет и заправил за пояс. Взглянув в проход, он двинулся к девушке, присел рядом и закрыл книгу. Тишина настала моментально, страхи и содрогания тут же исчезли.

– Куртку, – сказал он собравшимся у двери.

Спустя миг куртку принесли и почти подали – бросили на последних футах. Он накрыл девушку и помог ей встать, затем медленно сопровождал из церкви, оставляя след крови на новом полу. Думал, что снаружи она уйдет сама или что ее заберут свои. Но этого не случилось. Против ожиданий каждый раз, когда останавливался он, останавливалась и она; когда двигался он, трогалась с места она. Так они ушли из лагеря вместе и через тридцать минут углубились в буш.

Тогда-то он остановился, стирая пот с лица тыльной стороной ладони, чтобы посмотреть на нее. Теперь она была спокойна, без единого следа испарины. Подняв голову, взглянула сквозь него – глазами цвета опалов, яркими и пугающе ясными, устремленными в даль, которую он предпочел не замечать. Тогда она произнесла одно слово, словно не совпавшее с движением ее губ: «Ирринипесте».

Он не понимал, пока она не повторила. Он услышал слово в глубине разума, где обретался старый мозг. Зацепилась только частичка, и он повторил ее: «Эсте».

Она кивнула и ждала. Возможно, его имени? Уильямс медленно назвал. На втором повторении она задрожала, потом затряслась. Он думал, что, возможно, ее опять охватят судороги; кровь текла по ногам с устрашающими темпами. Но она подобралась и пошла, потянув его за собой.

Они вышли на поляну с шестью-семью большими и богато украшенными жилищами. Шастали из-под ног куры, наблюдал за всеми и вопил павлин. Уильямс огляделся и хотел кликнуть живую душу, как вдруг появился старик. Его татуированные руки в браслетах протянулись к девушке. Она прильнула к нему и отпустила Уильямса. Оглянувшись, тот увидел, как между ним и ею стоит ее красота – отдельная, древняя, захватывающая дух.

* * *

Ярким солнечным утром я пускаю следующую стрелу. Изгиб оперения поет в энергичном воздухе над моей тропой из твердого камня, поднимающейся в далекие холмы.

С каждым шагом я словно выбираюсь из прошлого, поднимаюсь из плоской гравитации ожидания. Впредь воспоминания будут течь лишь вперед и ждать моего прибытия – как заведено во снах, которым они придают последовательность и движение. Точно так же прежде меня летят стрелы, чтобы прощупать бездну, распробовать ее цвет и поименовать ее случайности. Лук написал мое понимание всего этого высоко, прямым росчерком продолжительной траектории. То, что ждет во снах, когда я вступлю на новый отрезок пути, объяснится мне между перелетами стрел. Мое странствие между ними распутает знание, пока стопы проходят путь всех их прибытий.

Воскресным утром коренастый йомен Муттер закрыл за воротами дома номер четыре по Кюлер-Бруннен свои обязанности. Повернул ключ в пудовом замке, упиравшемся против запора, отчего Муттеру пришлось привстать на цыпочки. Просмоленная влажная сигара, зажеванная в уголке небритых губ, перемежала его частое дыхание на холодном воздухе. Он возвращался домой, в роскошный разбухший мускус жениного обеда, и его внимание размазало между вчерашним шнапсом и насыщенным сном, клубившимся по ту сторону плотной еды; возможно, потому замок не слушался и он выронил ключи в ледяную слякоть.

– Доброе утро, Зигмунд, – протрепетал голос над его шарящими карачками. Он прокряхтел к вертикальному вниманию, чтобы ответить женщине, лучившейся улыбкой над кучей его тела в кротовьей шубе. Ее рост подчеркивался бежевым зимним пальто в пол, которое светило вокруг нее: лучезарность обрамлялась шарфом с ярким узором, державшим широкополую шляпку на кудельной копне каштановых волос. Зеленые глаза сияли силой, вселявшей дискомфорт.

– Доброе утро, госпожа Тульп; нынче славный прохладный денек.

На миг они зависли между жестами. Улица, поднимаясь в холм, сужалась, сосредоточивалась от широкого колена для экипажей в горлышко крыш, труб – кривых и пытающихся подражать каллиграфии деревьев, горело-черных на фоне маренового неба. Высоко на загравке улицы виднелись часы, нерабочие и грубо закрашенные – из-за решения без истории. Как и циферблат, встреча внизу казалась равно онемевшей.

– Как поживает декан Тульп? – выпалил Муттер с гаркающей громкостью, разоблачившей желание уйти.

– У отца все хорошо, – любезно ответила она, зная, что может позабавиться с неполноценностью этого недалекого человека. С церковной площади вырвался ветер и прервал ее просчитанную игру, встряхнув тяжелую дверь так, чтобы она заметила незапертый замок.

– Передавайте благие пожелания вашей жене и малышам, – прощebetала госпожа Тульп. Муттер неуклюже моргнул, с трудом веря

в легкость избавления. – И велите ей не волноваться из-за просроченной платы за дом; мой отец понимает, как тяжело приходится людям в это время года.

За сим он поторопился прочь, хлопоча побитой шляпой на перхотной голове и желая здоровья всей ее родне. Она осталась на пустой ветреной улице, пока ее интерес отчетливо дребезжал в скважине замка.

Главной задачей Муттера было приглядывать за домом и лошадьми – животиной, которыми он с семьей пользовался по своему усмотрению, когда не возил ящики в подвалы под домом и обратно.

Каждую неделю он забирал пронумерованный ящик из склада в часе езды, доставлял к дому и заменял на использованный с предыдущей недели. Он понятия не имел, что внутри этих красиво сбитых и простых деревянных коробок, они его не заботили. Таков был его темперамент; агрессивно надежный, как у отца, и, если повезет, у сыновей. Не его и не их дело совать нос в предприятие, обеспечивающее им достаток и занятость последние восемьдесят лет. Так или иначе, подобный интерес был недоступен его классу. Воображение – неизбежно разрушительная деятельность на службе у тех, кто состоит в услужении сам.

Коробки были разного веса, и изредка он брал с собой одного из сыновей, чтобы помогать с самыми тяжелыми. Мальчикам полезно увидеть и понять дом, чтобы в будущем повторять свои обязанности и стеречь тишину. Они знали здание с того самого момента, когда учились ходить. Мальцом Муттер тоже стоял за ногами отца, пока открывались ворота, пугался размера лошадей и сочности их запаха, очаровывался покоем высоких пустых комнат, всегда ожидая, что появятся хозяева. Но их не было. Он ни разу не видел внутри ни живой души, потому что дом пустовал. Ключи имелись только у отца.

Однажды, когда ему было двенадцать и он ждал на кухне, болтая ногами на высоком стуле, ему показалось, он видел что-то в противоположной стене – бурую лакированную тень чего-то скрывшегося из поля зрения. Даже тогда он уже подспудно понимал, что ему не по рангу это видеть, и потому избавился от воспоминания и никогда о нем не заговаривал, особенно с отцом.

Теперь он был в той же подвальной кухне, опасливо волочил ящик к средней стене, где за панелью лакированного дерева скрывался

кухонный подъемник. На кухне господствовал прямоугольный мраморный стол, занимавший свой объем с достоинством предназначения. Раньше он был в фокусе всех кухонных работников, обстрипывающих дом или отдохавших и ужинавших в конце дня.

Муттер с одышкой поставил ящик и выпрямился, уперевшись в холодный камень и утирая мокрое красное лицо полотенцем, которое всегда держал сложенным у отъезжающей стенки. За годы он отточил технику подъема и приема ящиков из внутренностей лифта, но теперь это становилось все труднее. Не из-за слабости, но из-за медлительности, как будто разъедавшей его энергию, как пламя – воск свечи. От образа холодной желтушной лужицы, скопившейся в белом блюде с поникшим и тонущим фитильком, по его грузному телу пробежал холодок. Он подобрался и взвалил ящик в подъемник с гулким грохотом, проглоченным глубиной шахты, уходящей глубоко под пол. Лифт работал наоборот. Вместо того чтобы обслуживать комнаты наверху, как полагается, он отправлялся вниз в самодостаточную и замалчиваемую часть дома. Муттер всегда предполагал, что странный лифт как-то связан с колодцем, который должен был находиться здесь и который дал название дому и улице.

Муттер закрыл дверцу и задвинул панель на маскирующую позицию. Вытащив из помещения легкий использованный ящик, он медленно затворил за собой дверь, на миг помешкав, пока не услышал скрип лифта на долгих толстых веревках.

Он прислушался – не из любопытства, что было бы непозволительно, а из чувства наступающего удовлетворения. Его долг и дело снова исполнены.

* * *

Ящики были педагогической библиотекой. Каждый содержал отобранные наглядные образцы внешнего мира: для объяснения предоставлялись структуры, материалы, животные, орудия, растения, минералы и идеи. Некоторые экземпляры – консервированные, в банках; некоторые – свежие, даже живые. Попадались там и фотографии, распечатки и репродукции.

Родичи – так они промеж собой называли друг друга – открывали ящики вдали от ученика. Заглянув внутрь, замолкали и коченели. Ему казалось, они прислушиваются к указаниям или активируют свою память. Но никакого голоса он ни разу не слышал – только протяжный пронзительный свист.

Они объясняли Измаилу чудеса по очереди, иногда специализируясь на конкретных темах. Авель описывал материалы и процессы; Аклия объясняла растения, минералы и почву, где они росли, а также сопутствующих насекомых; Сет демонстрировал инструменты, разыгрывал историю или показывал изобретения; Лулува растолковывала животных, как они устроены и к чему пригодны.

Внутри большого ящика всегда находился маленький. Этот доставали и изучали на кухне, а затем превращали в еду для Измаила. Он любил слово «кухня»; заучил его одним из первых. Оно значило питание, благоухание и тепло, он чуял его звучание задолго до того, как чувствовал его вкус. А еще это слово казалось очень странным в чужих ртах. Измаил, весь внимание, следил, когда его произносил один из них. Это, сколько он помнил, было первое, что его рассмешило, – он сам не знал почему, просто из-за их реакции. Почему-то, когда они пусто уставились в ответ, стало еще смешнее.

Они смеялись лишь раз – через несколько дней после того, как он им показал как. Они наблюдали за демонстрацией с таким тожественным вниманием, что натужный смешок превратился в полноразмерный хохот. Но когда они вернулись и рассмеялись для него, это было ужасно. Он не мог объяснить почему. Просто неправильно – режущая противоположность того, что чувствовал и слышал он во время своих спонтанных приступов. Они репетировали для него, ради него, чтобы поддержать смехом, но им не хватало глубины традиции. Такого в их ящиках не было. Они обещали больше не пытаться. В ответ он обещал больше никогда не кричать, не плакать навзрыд.

Их забота и нежность лучше всего выражались в действии, движении и прикосновении, в мягком предоставлении знания, общества и еды.

День, когда Лулува показала, как его тело может продолжиться в ее и произвести нектар, ошеломил. Она закончила урок о мухах, и он

задал вопрос о том, что она называла «удовольствием». Он знал, что это как сухой белый «сахар» или густой желтый «мед» – не снаружи или на языке, а везде сразу. Она сказала, что у его вида много способов обрести удовольствие и все они связаны со знанием. Она сказала, что удовольствие сделано из сливок, как ее мотор.

Несколько недель назад Авель показал ему одну часть их тела – изогнутую полость бакелитового панциря. Их внутренность была во вмятинах и отметинах извилин, углублений и канальцев. Всю поверхность покрывали бугорки – очень непохожие на гладкое совершенство их блестящей внешней стороны.

– Мы полые, внутри нас только жидкость, – говорил Авель, – в отличие от тебя и других животных, напичканных тканью и органами. Мы устроены иначе. Все наши силы хранятся в густом креме; все, что мы есть, живет в этом креме, питается им и говорит с изнанкой нашего панциря через эти сложные желобки и схемы, – он показал на тыльную сторону фрагмента в руке. – Мы не понимаем их действие, нам запрещено интересоваться и изучать процесс. Гораздо больше мы знаем о тебе, чем о себе.

Измаилу хотелось знать об удовольствии больше, и он потребовал у Лулувы описания. Она сказала, что словами это не передать.

– У твоего вида есть связь между размножением и сладостью – ваше возбуждение устроено, как магниты в уроке 28. Оплодотворение следует тому же конструкту.

Он хотел больше.

– Да, – сказала она. – Пора тебе показать. Ты как животное, которых мы видели: чтобы размножаться, ты должен поместить свою трубку в кармашек самки. Затем семя оплодотворяет яйцеклетку. Это тебе известно. Но ты узнаешь, что это действие пронизано удовольствием.

Измаил понимал слова, но не их значение.

– Когда ты выпускаешь семя, – сказала она, – звучит великая песнь тепла.

Он смотрел и прятался в себя. Она прильнула к нему. Твердая блестящая рука поглаживала его бедро. Жесткость панциря вызвала эрекцию.

– Я покажу тебе, что создана по подобию твоего вида, чтобы объяснять эти чудеса. Эти уроки о людях преподали явно только мне –

для тебя.

Она показала ему застежку в складке между ног, обычно скрытую от глаз. Попросила расстегнуть ее, и он нащупал механизм этого секрета трясущейся рукой. Через какое-то время она присоединилась, ее ловкие пальцы спустили бегунок по всей длине, раскрыв долгую расщелину.

– Коснись внутри, – сказала она.

Тепло и мягко. Он пригляделся, запустив теперь и ладонь, шаря пальцами в складчатых слоях.

– Ламинария, – сказал он. – Это сделано из ламинарии, ламинария была в уроке 17. Банки из моря.

Если бы она могла улыбаться, то улыбнулась бы. Взамен погладила его по голове и сказала:

– Нет, но очень похоже. Этого материала ты еще не видел, – она надавила на морщинистую грушу, и его осязание залила влага.

– Ты течешь, как я, – сказал он. – Как я и животные. Раньше так не было.

– Это не одно и то же. Это не жидкие отходы, но особая смазка, позволяющая тебе двигаться внутри меня без трения и боли.

Уложив навзничь свое тело, она направила его к себе и с той же внимательной концентрацией, с которой препарировала животных, ввела в себя. От ее внутренней хватки Измаил поморщился, но она исправила это, надавив левой рукой на его копчик и издав свистящие щелчки, объявлявшие удовлетворение, – с теми же звуками она радовалась, когда он схватывал другие ее уроки. Его захлестнула растущая волна приторной победы, и он начал вдаваться глубже. Его руки вцепились в жесткий идеал изгибающихся бедер – в контрасте с ним жаркая внутренность казалась чудесным благословением.

Это отличалось от всего, что она ему показывала. Понимание проявилось во всем теле, бурлило от сахаров, наделивших его прямой силой, о которой Измаил раньше и не мечтал. Он почувствовал мощь и господство, и невозможную радость отступления, пока она скармливала его пугливое детство прошлому. Они двигались вместе, и он восклицал – всхлипывающее удовольствие в ее объятьях, бумеранги чувств с постоянной энергией. Внезапно она затряслась, содрогаясь каждым суставом, насаживая голос на разболтанность звука. Такого с ней еще не было, и она не знала цели или значения процесса. Только

Измаил знал, что один из ее внутренних желудочков излился напрямую в шунтовый механизм сна и режима перезарядки, переключился на абсолютное восприятие, пока Измаил реверберировал рядом с ней, так что она включалась и выключалась с быстрым мерцанием сознания и забвения, производящим в ее старом рабочем теле из соков и резьбы нечто вроде удовольствия, скроенного из удивления. Пока в силе правило Родичей, ей не осмыслить собственную реакцию. Эта тайна была доступна пониманию лишь одного Измаила.

* * *

Всему виною были ангелы. Священник долго толковал о них с девушкой, однажды более часа. Он объяснял, что сами они не боги – как и множество кланов духов, ранее наводнявших их верования, – а крылатые слуги, посредничавшие между богом и человеком. Ошибкою стало показать страницы «Потерянного рая» – большого издания с великолепными иллюстрациями Гюстава Доре.

Он показал ей ангелов; иногда попадались и демоны. Это было ничего: ей понравились все, особенно с расправленными перед полетом крыльями. Потом они дошли до страницы об Адаме и Еве в саду перед падением; книга пятая, 309–311.

Адам воззвал к жене:
– Спеши, о Ева! Посмотри на нечто,
Достойное вниманья твоего:
С востока, из-за рощи, к нам идет
Созданье дивное. Как будто вновь
Денница в полдень вспыхнула! Посол,
Возможно, с вестью важной от Небес
Явился, и возможно, гостем он
Сегодня будет нашим. [\[12\]](#)

На сопутствующем изображении была пара под деревом. Она – на камнях спиной к читателю, он – перед ней, показывая вглубь картины,

откуда к ним направлялась ангельская сущность. Поблизости, уравнивающая сцену, были два оленя – один возлежал с мирным, но бдительным львом. Пейзаж цвел буйным цветом; трава и растения на первом плане придавали изображению яркую, шершавую реальность.

Иллюстрация произвела на туземку жестокий и ошеломительный эффект. Она тут же утратила вид небрежного интереса, вскинулась и оцепенела. Затряслась всем телом, широко распахнув глаза, словно бы истязаемая пытками чрезвычайного ужаса. Начала срывать с себя одежды, стонать и драть ткань, пока не оголилась и не стала откровенно пугать, испуская острый запах пота; голос стал глубже, распространял волну заразного ужаса. Тогда она и начала кровоточить. Священник одновременно испугался и смутился. Она периодически ловила его взгляд, хлеща наружу как кнутом обращенным внутрь фокусом, пока наконец его не переполнили страх и стыд. Отвращенный каждым элементом сцены, он сбежал из церкви.

После возвращения из джунглей атмосфера в лагере стала невыносимой. Прибытие Уильямса пустило почти видимую рябь энергии; местные мгновенно замерли, потом отвели лица, потупили взгляды на землю или то, что было у них в руках. Один из самых подобострастных рекрутов побежал в офицерский клуб; другие следовали за ним поодаль, чтобы посмотреть, что будет.

На веранде де Траффорд, командир части, расправил плечи перед белолицым подчиненным и показал на дверь. Они молча вошли в офицерский клуб. Скоро краткая тишина уступила оглушительным крикам и еще более громкому молчанию.

Гнев Уильямса скрутила строгость иерархии. С лицом из камня он слушал, как де Траффорд плевался выговорами за подрыв покорности среди туземцев, винил напрямую в «неспровоцированном нападении этой дикарской суки». Он требовал ответить, что Уильямс с ней делал, раз так возмутил порядок, и заявил, что всерьез подумывал «прикончить суку». Уильямсу было нечего сказать, и он запер ярость за ходящими желваками и стиснутыми зубами. Он действительно чувствовал ответственность за девушку, но такую, какой де Траффорду не понять никогда. По краям нежности, что он испытывал в ее присутствии, нарывала глубокая, изнывающая привязанность. Все то, в чем его обвиняли, случилось в его отсутствие, но он знал, что

виновен во всем – а чем, не смог бы объяснить и сам, особенно себе. Произошла цепь невозможных событий, а он остался вне их всех.

Он оставил всех и вернулся под опасливыми взглядами застывших туземцев в прибежище хижины, назначенной арсеналом. Нашел утешение в распаковке оружия, пока священник прокрался обратно в церковь, чтобы очистить ее от аномалий, которые могли там поселиться. Но когда Уильямс открыл тяжелый футляр в форме книги, его день изменился к лучшему. Подняв «Марс Фэрфакс» из бархата облегающего ложементы и почувствовав в кулаке внушительную твердость, он посмотрел на небо и, взводя массивный казенник под зычный колокольный лязг, кивнул с улыбкой понимания.

* * *

Гертруда Элоиза Тульп была единственным ребенком. «Единственным» в великом множестве смыслов: в том, что одному ребенку дается все; в том, в каком это слово истолковывается как знак естественного превосходства, перерастающего в неоспоримое право; в ее сиятельном восторге от единственности без примеси одиночества.

Она была предметом гордости, труда и восхищения отца – второго в городе лесоторговца в третьем поколении, давно оставившего простейший быт унаследованной империи слугам и обратившего свой острый аппетит к политике и церкви. Она была скромна видом, обаятельна манерами – с высокой стройной поволокой, по большей части скрывавшей очаг ее собственного голода. Все двадцать два года ее жизни были наполнены добротой и образованием, но ни то ни другое не растопило боль из-за рождения в незнании. Она хотела открыть все и овладеть всем. Немедля.

Она ненавидела оставаться в стороне. Немногие смели пренебрегать ею в социальном отношении – ее влияние простиралось слишком широко, чтобы играть с огнем. Но большинство пыталось запереться от нее буквально – латунными и железными загадками, в слепую услужливость которых так глупо верят. Уже с семи лет она начала понимать их механику, принципы и – вслед за этим осознанием – какие дивные власть и удовлетворение лежат по другую сторону манипуляции ими. Она получала доступ ко всем часам дня и ночи. Она

кралась на цыпочках по самым запретным уголкам. Она видела королевские секреты: как ее родители слагают зверя о двух спинах; как люди прячут сокровища; как гниют за разговорами мертвецы в катакомбах под ее домом. Она видела интриги, инцест, коварство, ложь и удовольствие, закрытые предубежденному оку.

Теперь она стояла в подмышке соседнего здания, пока этот шут Муттер исчезал в сторону своего дома. Она выждала танталовый срок, наблюдая, как на улице оседает покой, наслаждаясь сдержанностью, прежде чем коснуться двери и увидеть меню для ее любопытства. Она быстро перешла пустое пространство и толкнула холодные ворота. Те сдвинулись, тяжелые под опойковой перчаткой.

Ее удовольствие вскружилось и безмолвно взвизгнуло: каковы запрет и экстаз! Дом являлся главным секретом ее жизни – тем единственным, в чем отказывали ребенку, у которого было все. Никто в семье о нем не говорил.

– Ах, ја, дом на Кюлер-Бруннен, – отвечали они и сменяли тему. Все дни своей жизни она глазела на него, изучала и следила за ним мимоходом, от коляски до зрелости. Дом постукивал по ее панцирю, тревожа внутри пробуждение. И теперь она преодолела его внешнюю стену, закрыла за собой ворота в защите от вульгарных вторжений.

Она помедлила у денников, стоя на простой конструкции двора, прежде чем подойти к входу, пока в душе разыгрывалось предвкушение. К ее радости и удивлению, дверной замок был прост – старый и известный тип, какой она уже много лет исподтишка взламывала в домах, принадлежащих семье. Дверь этого дома – не ровня ее навыкам, и она упивалась мыслью о том, что поглотит так долго скрываемые секреты.

Она вернулась обратно через двор. От ворот оглянулась на замок и рассмеялась – чуть ли не чрезмерно громко. И вот это нелепое устройство столько ее сдерживало? Она бы могла открыть его уже много лет назад. Понадобилась всего одна пантомима дурости со стороны Муттера, чтобы дать ей разрешение вырвать билет к удовлетворению.

Она захлопнула и заперла ворота на навесной замок и ушла по темнеющей улице, напевая до самого дома и смакуя свою силу и сладкую слабость всего вокруг. Теперь ни к чему торопиться; развязка энигмы цепко сжата в ее руках. Она растянет потенциал, вместо того

чтобы перескочить к развязке; пусть окупятся столько лет досадного недопущения. Теперь ей принадлежит каждая воображаемая комната.

Шесть дней спустя, когда Муттер ушел вновь, она проникла в дом.

* * *

Говорили, что многие годы никто не доходил до центра Ворра. А если и доходил, то уже не возвращался. Предприятия расширялись и процветали на самых южных окраинах, но из чащи до людей не доходило ничего, кроме мифов и страхов. Отец всех лесов; древнее речи, старше любого известного вида и, как говорили некоторые, их распространитель, замкнутый в собственной системе эволюции и климата.

Многослойная зелень и неохватные стволы, дышавшие здешним насыщенным воздухом, предлагали человечеству многое, но могли и поглотить тысячу людских жизней в микросекунду своего непрерывного, непостижимого времени. Столь обширна была площадь леса, что утвердила свои собственные временные требования, расплосовав путь трудолюбивого солнца на часовые пояса вне обычных мерок; теоретическому страннику, пересекающему всю ширину Ворра пешком, пришлось бы остановиться в центре и ждать по меньшей мере неделю, пока нагонит душа. Столь густым было дыхание леса, что оно проминало окружающий климат. Бурлящие облака взаимодействовали с его тенью. Масштабная транспирация сосала соки из ближайшего города, который кормился лесом, пила из легких его обитателей и насыщала небеса кислородом. Лес вызывал грозы и не имеющие равных сдвиги погоды. Иногда он подражал Европе, на неделю-другую украдкой пронося лжезиму, роняя температуру, так что город выглядел и чувствовал себя подобно своему прародителю. Потом взбивал ветра и жару, чтобы кладка трескалась после оков невозможного мороза.

Ворр не смел перелетать ни один самолет. Непредсказуемый климат, головокружительные аномалии компаса и невозможность посадки превращали лес в кошмар пилота и штурмана. Все его маршруты превратились в заросли, джунгли и засаду. Племена, что, по

слухам, там обитали, были едва ли людьми – кое-кто говорил, там все еще рыскают антропофаги. Безнадежные создания. Головы, растущие ниже плеч. Ужасы.

Лесовозные дороги обегали его периметр, позволяя коммерции опасно покусывать незащитные краешки. Не было иных коммерческих способов войти или выйти из его твердой тени, кроме поезда. Бездумно прямые пути, бежавшие к сердцу, выкладывались рельс за рельсом с голодом до древесины. Протягиваясь, железная дорога тут же забывала свое прошлое. На своих однообразных милях она несла сон.

Большей частью ходивший по ней поезд состоял из открытых платформ и железных цепей, созданных для свежесрубленных стволов. Но были и два пассажирских вагона для кратких и обязательных визитов или для тех, чье любопытство превосходило мудрость. Были и рабовозы – простые коробки на колесах, предназначенные для переправки рабочей силы внутрь леса. Рабы менялись на глазах у хозяев. Они преображались в других существ – существ, лишенных цели, личности или смысла. Вначале считалось, что недуг лишь последствие их заключения, но скоро выяснилось, что в них оставалось слишком мало человеческого, чтобы страдать от таких тонкостей эмоций или чувствовать их. Сам лес пожрал их память и переродил древозависимыми.

* * *

Зоопраксископ устарел. Его вытеснили, превзошли другие машины, определявшие движение и проецирующие поступь реальности. Но эту затею Мейбридж бросил уже в Америке. Он и его медная гидра из линз, шестеренок и света давно достигли того, что теперь опошливало. Еще никто не видел новую машину – она оставалась скрытой от чужих глаз в проклятой комнате восточного Лондона.

Возвращение в Кингстон-апон-Темс после стольких лет и стольких путешествий казалось естественным. Мейбридж связался с оставшейся родней и попросил ее помочь ему постареть. «Дядя Эдди»

стал мировым именем, человеком значительного влияния: они, конечно же, согласились.

Он знал, что не завершит последнюю машину. Ее эффект был бы катастрофическим – все, что принесло ему славу, в сравнении с ней казалось детскими игрушками, и он решил унести секрет с собой в могилу.

Много лет назад по крику, взывавшему из всех его архивов движения, Мейбридж понял: вплоть до этого момента он всецело заблуждался. Размеренное вычерчивание, занимавшее его жизнь, было ложью. Наблюдение – *не* первичная функция фотографии, а побочный эффект истинного предназначения. Постоянный поиск изображений жизни – это только добыча сырья. Весь смысл лежал в следующей части процесса – зерне, готовом дать вкус после беспощадного перемальвания: камера собирала не свет, а время, и больше всего она ценила время на пороге смерти.

Камера могла заглянуть между швами реальности и выискать суть, упущенную в континууме повседневности. Она питалась утечкой между мирами, недоступной невооруженному глазу и обывателю. Впервые Мейбридж это заметил, когда делал портреты побежденных вождей модоков^[13] – столько лет назад, – хотя видел и в Гватемале, и в некоторых инвалидах, украсивших его портфолио движения. Они глядели в жизнь – и в камеру – отлично от прочих. Их портреты пели против мира, их глаза прошивали взгляд зрителя.

В стеклянных слайдах чувствовалась аура невидимой вибрации – но эффект переливался перед эмоциональным взором, а не в реальности. Это каким-то образом передалось снимкам: изображающие благородных или увечных моделей, обрамленных в пространстве, они гудели от явно выраженного резонанса, расщепляющегося в субъективном разуме зрителя. Поразительно, но эффект усиливался, когда снимок только проецировался на бумагу, а не наносился.

Зоопраксископ двенадцатого поколения не походил на другие. Явно не на первые четыре. Он просил другого имени – такого, что по-прежнему пугало изобретателя, хоть он его так и не нашел. Глядя на хитросплетение линз и затворов, никто бы не поверил, что может этот аппарат. Все бы ждали очередных красивых картинок, танцующих на

стене, но встретили бы рябь света, вырезающую из оптического нерва хлыст движущихся образов...

Несмотря на самодовольство, Мейбридж оставался проницателен и достаточно умен, чтобы понимать: подобное заявление – на публике – повредит его положению и поставит под удар завоеванное место в истории. Те умишки, что чернили его достижения, легко бы растоптали Мейбриджа, буде посвящены в это открытие – но им никогда не украсть его триумф или секрет. Он позволит секрету просочиться, только когда от них останутся гнилые кости. Пусть его гений провозгласят другие, еще не родившиеся люди – как Хаксли для Дарвина или Рескин для Тернера, – люди растущего века, которые признают его просвещенность. Он скопит силы и, быть может, проживет достаточно, чтобы застать это воочию. Он создал устройство, он сказал новое слово. Но он насмотрелся, как иных его возраста в последние годы жизни предавали поруганию, как они пали жертвой собственной щедрости, давились крошками мудрости, слишком свободно розданной толпе. Ему было что передать будущему – и кое-что получше, чем объяснения. Он уже слишком стар для споров и сомнений. Он оправдан и прав.

И он вернулся в Англию – скрыть свои знания о медном создании, творившем невидимое, и избежать врожденного любопытства и вытаращенного интереса американцев, которые ранее так блестяще эксплуатировал. Теперь хотелось спрятаться в угрюмом безразличии Англии, быть незримым, пусть даже на виду.

Давным-давно – сейчас уж кажется, сотню лет назад, – он навещал остров Мэн, древний риф в Ирландском море между Англией и Ирландией, забытый обоими враждующими островами. Родители возили его туда показать, как крестьяне работают на плотной твердой почве и в жестоком всклокоченном море, и избежать вопросов семейного ужаса, тлеющего дома. В редкий раскаленный полдень, без теней и других укрытий, ему доверили в одиночестве исследовать округу, пока мать и отец прогуливались по пляжу, наказав не удаляться далеко от того места, где он мотался и шатался, не находя ничего интересного.

В убежище чашевидной скалы, прибитой к утесу выкрашенными в белый цвет коттеджами, он повстречал рыбака. Скука мальчика была как наживка для старого морехода, топившего собственное

бесконечное уныние в мертвящем труде. Они говорили урывками, роняя фразы в песок, чтобы наблюдать за ними без комментария. Вода отошла и уступила завывающее пространство для их дыхания, позволяя речи принять форму соленых пузырей. Пиком общения стало содержимое побитого ведра с морским рассолом, которое рыбак принес и драматически вывернул в песок на изучение мальчика. Из ведра слышались скребущиеся, лязгающие звуки. Мальчиком тут же овладело любопытство. Подойдя и заглянув внутрь, он увидел пять крабов разных размеров, мучавшихся в скудной воде и отвесных жестяных стенках своей тюрьмы.

– Они пытаются сбежать? – пролепетал мальчик. – Выбраться?

– Вестимо, – кивнул рыбак после табачной паузы.

– Но почему у них не получается? – спросил мальчик. – Их же больше, чем воды.

– То мэнские крабы, – ответил мужчина. – Вишь – всякий раз, как один чуть-чуть не выползает, другие назад тянут.

Мальчик увидел это, понял, что это правда, как сам океан, и тут же испытал благодарность за факт из взрослой жизни. Он знал – даже тогда, – что будет пользоваться им всю жизнь.

Единственный раз он закрыл на него глаза на свадьбе, когда дважды испытал всепоглощающую любовь, что потрясла его строгое древо познания до корней.

Молодая жена вошла в жесткую жилу холостяцкой жизни новой кровью, согревающей и озаряющей каждую частичку упорядоченного бытия Мейбриджа, принося радость, которую он не умел ощутить, – и впервые не желал. Рождение сына ошеломило его скопом чувств – больше, чем он мог понять; каждый раз, когда он брал в мосластые руки ребенка, внутри Мейбриджа горел и ерзал шар жизни. Но то были помехи – то, что задумано преходящим, моменты обмана, лишаящие чувства цели. Теперь сука сдохла, ублюдок сбит с рук в другой дом, а он снова свободен. Свободен продолжать и никогда более не позволять столь вероломным чувствам отравлять его волю. Когда друзья приносили вести о растущем ребенке или о поразительном сходстве с отцом, которым сын уже обладал, Мейбридж отбрасывал их, отрезал от своего праведного разума. Он снова и снова менял дома – блуждал в пустынях и высоких горах без Христа или сатаны в спутниках. Он никогда не оглядывался.

Француз был единственным современным существом, исследовавшим Ворр, вошедшим под его сень и задокументировавшим некоторые подробности о нем. Единственным – причем все его опасное приключение было выдумкой. Разве есть способ лучше вторгнуться в сакральное и запретное?

Он, конечно, прочел или взвесил в руках любой связанный с существованием Ворра том. Он усвоил все малопонятные и фантастические повести путешественников, оказавшихся на волоске от гибели, сбежавших от антропофагов, артабатитов, псоглавых киноцефалов и всевозможных сказочных обитателей – представителей всех лесов на свете, затянутых в мифический омут Ворра. Он знал о лесном спасителе – легендарном Черном Человеке о Многих Лицах – и видел в нем очередную переработку европейского Зеленого Человека; ему принадлежали копии и частные переводы Эвтимена из Массалии и позднесредневековые версии Скилака Кариандского; он дивился басням сэра Джона Мандевиля, историям об ужасе и чудесах в нехоженых глубинах неизведанных земель. Он осилил труды Абу Абдуллы Мухаммеда ибн Батутты, даже пытался найти знаменитые мумии, купленные Рене Кайе и отправленные изнурительным морским маршрутом через Тимбукту обратно во Францию, где в недавние годы забывчивости они были «утеряны». Он читал все были и небыли и в свои последние дни нужды и интриги вывел собственную версию^[14] – вырубил ее из джунглей чужих слов, перевел скользкие тени значений в плотный уток описания. Он заново увидел каждый момент и задник вечного дикого леса. Его текст дал лесу жизнь, со всеми подробностями о населении.

За годы до этого он, Шарлотта и ворчливый шофер приехали в Эссенвальд – через предместья грязи и тростника к обожженным цоколям импортированной немецкой догмы. Их огромную машину качало и кидало на глубокой колее. Это был самый первый автотрейлер – грандиозное столкновение барочной гостиной и дорогого бензинового грузовика, который Француз изобрел специально для дальних переездов. Днем три путешественника жили порознь, каждый мариновался в собственном салоне – лакированных

темно-коричневых интерьерах, томящихся в коробящей жаре. Шоферу запрещалось снимать форму, даже в зной. Только по ночам ему допускалась нагота и отпускалось имя.

Француз приказал остановить машину, когда впервые почувал кровь. Они ехали через окраины города, вихляя и скача к его каменному европейскому сердцу. Святилище – одно из множества высоких красных строений с раноподобными окнами – испускало пронзительный аромат, на его поверхности из засохшей грязи еще виднелись отпечатки зодчих рук. Каждый день здесь сыздавна забивали коз, и одна сторона башни дочерна пропиталась кровью и молоком. Француз вышел из автомобиля на ослепительное солнце, где пыль еще крутилась поземкой у неподвижных колес.

В этом околотке сказочного города улицы были безупречны в своей грязи. Достав костяные очки из котикового футляра, он водрузил их на глаза; щелки сузили его зрение и притворили солнце. Очки были из Гренландии, приобретены у недавнего исследователя тех ледяных бесплодных мест.

Француз был наинелепейшим из путешественников, блестяще подготовленным ко всему, пока оно не случалось. Его туфли ручной работы тут же перепачкались в красной земле, как и кремовый костюм. Он стоял и смотрел на башню, ожидая, когда его заметит толчея местных прохожих. Они видели его – коротышку на пяточке прибытия, – но куда больше интересовались его огромной пыхтящей машиной, закрытой со всех сторон. Они замедляли шаг и сворачивали к ее металлическому телу – кое-кто осмеливался дотронуться со слепой стороны. Скоро Француз встретит молодого человека, который станет самым значимым явлением в его пасмурной жизни, но пока толпа просто прижималась к окнам фургона, пытаясь подглядеть салон. Женщина внутри вцепилась в ридикюль. В его надушенной темноте хранился серебряный «дерринджер» – ладонный пистолет американского происхождения; он покоился в умбровом кошеле яркой запятой. Пистолет был сделан так, чтобы удобно сидеть в руке при выстреле. Тупоносый и неточный, на малой дальности он бил смертельной пощечиной. Француз никогда не отличался чувством мужской заботы о слабом поле, даже о тех, кого терпел и уважал. Со своей оплачиваемой спутницей он был скован грубой демократией, выросшей из эгоизма, желания и унижения.

Отвернувшись от рассерженного шофера и нервной женщины, Француз подошел к башне на открытой улице.

– Куда держите путь, отец? Вы не заблудились? – из солнца выступил молодой человек – с нимбом у головы, выжженным яркостью. – Куда ваш путь? – спросил он снова на французском – с акцентом, отражавшим окружающий их зыбкий мираж из песка.

Француз безгласно уставился на молодого человека, сосредоточившись на лице. Резонанс в тоне потревожил еще не разгаданное, но тем не менее известное место в загрубевшем сердце. Жутковато сдержанным голосом он сказал молодому черному, что прибыл увидеть Ворр – взглянуть своими глазами на сказочный лес.

Пылкая улыбка человека стала шире, и он посмотрел за пыль и плечо Француза. Показал татуированным пальцем на горизонт. Француз быстро обернулся, посмотрел в осыпающуюся щель между рядами зданий, где за северной стороной города смыкался тенью и непроницаемым контрастом мрачный занавес. Краснота земли, животных, растений и домов обрывалась у его массивного края.

Эта внезапность тут же напомнила Французу театральные декорации и мыслями вернула в оперу, виденную в детстве. Она была яркая и ошеломительная – сюжет нечеток, музыка бесстыжая и горланящая. Но зачаровали его декорации: на сцене растянулся лес из нарисованной тьмы, ослепительно искусственный, а листья, корни и висящие лозы переполнили голодное воображение тоской, с неустанной настойчивостью глодавшей все остальные реалии, – та же сцена промелькнет в последнюю миллисекунду его жизни, когда он ляжет в кафельном безразличии отельной ванной, посеянный в кислороде, давясь и желая поглощения.

То был лишь второй раз Француза в театре, хотя мать часто о нем рассказывала. Она приходила пожелать доброй ночи, пока он был в ванной, и его няня останавливалась, не донося мочалки, отступая в восхищении перед всплывающим видением. Мать всегда поражала – своими светскими платьями и блестящими украшениями. Она рассказывала о театрах и балах, куда ходила; о балете и опере; сюжеты о принцессах и королях, демонах, девах, магии и заклинаниях. Иногда касалась его спины или руки шелковыми перчатками, отчего по влажному возбужденному телу пробегала дрожь. Но никогда не задерживалась, и это няне доставалось вытереть насухо его

остывающую надежду и одеть ко сну. Парфюм матери не выветривался из сердца еще долгие часы.

Наконец, когда до Ворра было рукой подать, Француз понял, зачем забрался так далеко. Но стоило ему бессознательно сделать шаг к лесу и всему тому, что разбалансирует его жизнь, как шофер начал колотить по клаксону – позабытых спутников совершенно застила непроходимая стена зевак. Какофонический вопль, воспоминания и запинаящееся любопытство стянули узлом движение во времени, выхватили из-под него следующий шаг, уронив ничком в дурацком удивлении навстречу красной земле. Его неловкость поймал длинными черными руками молодой человек, поставил прямо их обоих.

Француз боролся в объятьях. Он любил, чтобы его касались только тогда и там, где указывал он. Он уже готов был кричать караул, когда что-то от твердой нежности объятий все же прокралось сквозь гадливость. Он взглянул в лицо державшей его высокой тени. Теперь спаситель весь был силуэт на фоне слепящего солнца, черты лица и глаза скрылись. И все же выражение можно было различить; его глаза излучали благодать. Француза держала благодать, что ходила по жизнерадостной земле. Молодой человек ничего не сказал, но показал длинной тонкой рукой, зыбкой от кудрявых волос, на тень низкого здания. Француз склонился к плечу человека и позволил себя вести. Молча они вошли в тень благоуханного бара, где сидели и пили мятный чай и пытались говорить. Молодой человек начал с того, что представился и объяснил, что, несмотря на лохмотья, он благородных кровей.

– Я буду звать тебя Сейль Кор, – провозгласил Француз.

– Но это не мое имя, мастер.

– Не суть. Сейль Кор был великим героем, и я хорошо знаю его имя. На это приключение ты будешь им.

Молодой нахмурился из-за такой причуды, но принял прозвище, чтобы потрафить маленькому человечку. Беседа стала серьезной, а когда Француз объявил, что пройдет весь лес, пространство меж их знанием и пониманием разошлось и треснуло.

Сейль Кор отвел взгляд от собеседника и посмотрел на горизонт.

– Ты можешь дойти до развалин святых, – сказал он с твердостью и отрешенностью, – но не далее. Прочее заповедно. Тот путь заказан,

тебе придется свернуть. Сынам Адама не можно войти, ибо там ходит Бог.

Заинтригованный, горящий от азарта, Француз распалился от столь смелых и фундаментальных заявлений.

– Живущие там боги и монстры должны быть более дикими в центре, – усмехнулся он.

При этих словах на лице Сейль Кора появилось выразительное терпение, и он повернулся, снова уставившись в разговор и проведя рукой над сердцем.

– Не боги древних народов, – сказал он мягко. – Единственный Бог. Твой Бог; мой Бог; Яхве. Великий Отец, сотворивший все сущее и подаривший Адаму угол в своих владениях, чтобы тот жил и рос. Там ходит Он. Это Его сад на земле. Рай.

Вокруг разверзлась внезапная тишина.

– Сейль Кор, друг мой, не хочешь ли ты сказать, что в Ворре расположен Эдемский сад?

– Да, это так. Но Эдем – лишь угол Божьего сада; прочее – это места, где ходит Бог, чтобы думать о мирском. То невозможно на небесах, где все одинаково, без формы и цвета, температуры и перемен. В мирском саду Он носит платье чувств, сплетенное с нашим временем. Он позволяет камням и скалам, ветру и воде облечь Его невидимые идеи. Он воображает нашу жизнь в материи, из которой мы сделаны.

Француза шокировали и тронули такая вера и скрепляющая ее ясность. Отложив на время цинизм, он отчаянно попытался составить следующий вопрос вне своего обычного снисходительного безразличия.

– Откуда ты это знаешь? – спросил он.

Сейль Кора смутил вопрос. Неужели его собеседник действительно так недалек?

– Так сказал Он, – ответил Сейль Кор.

Любые дальнейшие расспросы, к которым подмывало Француза, оборвались. Они расстались, уговорившись встретиться на следующее утро и начать путешествие к краю Ворра.

Француз вернулся к слугам и нашел отель, твердо стоящий в центре города, на прочных дорогах, откуда была изгнана пыль. Той ночью Француз почти не говорил с Шарлоттой. Лежа в постели, прислушиваясь к подлунным звукам за окном, он молился о сне. О сне

библейской вескости, о яркости сада, необитаемом тысячи лет. Но поджидавшие его сны не знали пощады и пришли с хищной грацией шакалов.

* * *

Тишина дома возбуждала ее, завывала ожидания, делала вкусней переходы крадучись из комнаты в комнату. Она медленно открывала для себя двери и дом, двигаясь с убежденностью, ласкавшей момент. Поиски в полной свободе ночи лишь усиливали удовольствия.

Несколько лет назад она прочла «Сердце-обличитель» в третьем издании, упиваясь коварством По и стоя рядом с протагонистом, когда тот скользил к спящей жертве. Она дивилась способности автора описать подобное самодостаточное зло на фоне обыденной, скучной скорости жизни; тому, что он знал нюансы скрытности и умел передать в словах тихий, искусный злой умысел. Рассказ современного американского автора тронул ее и подарил надежду. Хотя его чуть не испортил намек на манию, она знала, что По поистине понимал власть и представления высшего интеллекта, в конечном счете увлеченного проницанием собственного развития.

Теперь, в этом пустом старом доме, она могла практиковать собственные таланты. Вооруженная фитильным фонарем с окошком, прислушивалась к человеческим звукам – тому шепоту движения и дыхания, что всегда выдает их присутствие. Уши силились ловить любой намек, но не слышали и малости жизни. Убедившись, что она в особняке одна, Гертруда позволила ногам расслабиться и прекратила ходить на цыпочках. Спешно двигаясь по низкому коридору, она едва не пропустила запертую дверь в подвал.

Подняв фонарь, чтобы осмотреть свою коллекцию стальных булавок, она выбрала две из них с подходящей кривдой и применила к латунной скважине. Произвела обычные повороты и извороты, но ничто не сдвинулось. Она сменила отмычки на те, что покрепче; этот замок был другим, его внутренний механизм – упорней; возможно новей. Она бормотала под нос в натуге. Не должно быть так сложно; что она делает неправильно? Гертруда остановилась и снова прислушалась к пустому дому. Ничего не изменилось, так что она

снова вставила отмычки и вдруг осознала, что она-то права, но не прав запор: он был левым – левые сувальды, коварно установленные в замок на правой стороне двери. Она перевернула щупы вверх ногами и повернула против логики. Замок уступил.

Гертруда открыла дверь и оказалась в заметно другом пространстве – на лестничной клетке, нависавшей над мрачными глубинами подвала. Вход соответствовал всему, что она видела дотопе, но в атмосфере отличие было налицо: здесь кто-то жил. Ладони взмокли, во рту вдруг пересохло. Голову вскружило одновременно от восторга и тошноты. Она не видела, не слышала и не обоняла перемены, но все фибры разума говорили, что она уже не одна. Обостренные чувства, зависшие на грани открытия, тронул другой индикатор: тепло. Статичный и нейтральный мускус отсутствия надушило крошечное повышение температуры. Там кто-то был – прятался под домом.

* * *

Все чаще их ежедневные уроки перемежались требованиями Измаила практиковать спаривание; его диету соответственно адаптировали, дабы компенсировать перемену в привычках и потерю жидкостей и минералов. Долготерпение Лулувы объяснялось ограниченностью ее функций – чертой, которая, очевидно, наделяла ее неугасающим энтузиазмом к чему угодно.

Бывали дни, когда они спаривались часами. Другие занимались вокруг своим делом, носили еду и уроки, игнорируя их или наблюдая, слегка удивляясь энергии и однообразности действия. В одном случае Сет их поправил, чтобы они не соскользнули со стола, на котором так сильно возились.

Измаил все еще учился по ящикам, но предпочтение отдавал влажным безмолвным урокам – с безграничным энтузиазмом, пока усталость не замедляла до сна. Тогда Лулува укладывала его, затемняла комнату и понижала температуру. Укутывала в глубоком изнывающем сне, прежде чем оставить святость их покоев и подняться в сам дом, тихо войти в подвальную кухню, где однажды жили люди. Она снимала кожухи внутренних механизмов и промывала в

фарфоровой раковине. Занималась она этим в темноте, потому что машинам не требовался свет для функционирования, даже если им дан лишь один зрячий глаз.

* * *

Гертруда вздрогнула от шума воды. Теперь она наверное знала, что здесь кто-то есть, что она – нарушительница. Еще она знала, что, кем бы они ни были, они не желали, чтобы их нашли; свидетельством тому было их подпольное проживание. И все же возбуждение перевесило любой трепет из-за преступления – а кроме того, никто не поднимет руку на Тульп.

Шум прекратился. Навостренные уши уловили шорох защелки, и Гертруда последовала вниз по лестнице на звук, стараясь подняться от пола всем длинным телом и стать невесомой, пока пальцы деликатно прощупывали каждую ступеньку на предательство, прежде чем доверить ей полный вес.

Спуск занял больше часа, и к этому времени в ночи уже завозилась заря. Старая подвальная кухня была просторной и пустой. Из высоких окон на восточной стороне сочился тусклый паучий свет. Сад на улице зарос по краям; свет на его пути в неподвижную комнату приправляли свалявшиеся лозы, пыльная листва и газ паутин. Она стояла в проеме и прислушивалась. Ничего. Впервые она ощутила холодок волнения – не страха, но легкого нервного воспарения, которым теперь наслаждалась. Она оглядела комнату, чтобы оценить ее нынешнее предназначение и пересчитать двери. Между мраморным столом и люком кухонного подъемника лежали остатки ящика. Брошенные – вероятно, этим дураком Муттером – щепки и короткий ломик. Потом она увидела свет в чулане; дверь была слишком маленькой, чтобы вести куда-то еще. Гертруда присела, чтобы изучить ее. Ни скважины, ни ручки; заподлицо со стеной. Некогда дверь не бросилась бы в глаза – так плотно посажена, что невозможно разглядеть. Но возраст размыл ее границы, так что теперь о другой стороне говорил клинышек света.

Поставив фонарь, она подняла лом и без колебаний вывернула стоическую дверь. Не чулан, но изгибающийся и спускающийся

коридор предстал пред ней. Она согнулась под стать туннелю и пошла-поползла, пробираясь вдоль его длины.

Не подозревая о ее наступлении, Авель и Лулува занимались деталями завтрашней учебы – «Урок 314: Характерности деревьев» – в тусклой спальне с тихо храпящим Измаилом. Аклия была в смежной комнате – концентрация прикована к открытому ящику, голова склонена, глаза всматривались так, словно читали что-то внутри. Сет заряжался на стойке, набираясь энергией для следующего дня.

Ни Авель, ни Лулува не заметили, как начала отходить дверь в стене; не зафиксировали они и пришельца, попытавшегося разобрать их формы. Когда ее глаза привыкли к комнате вне света коридора, мозг попытался осмыслить увиденное. Он допускал обман зрения, он предполагал иллюзию, вызванную усталостью, он даже выдвинул сон в качестве объяснения ее открытия. Но вот скользнула по спине своим холодным щупальцем реальность, и Гертруда отдернулась от отвращения, страха и голода.

Ее невольная судорога толкнула дверь, хлопнувшую в замершем помещении. Брат и сестра вскинули головы, загородив от нее просыпающегося мальчика, занимая хищную стойку защиты – почти на четвереньках, вздыбившись, как кошки. Гертруда проникла в комнату, подталкиваемая удивлением от этого уникального момента и слишком страшась обратиться спиной к этим маленьким гибким существам. Она медленно развернулась в пространстве и подняла на высоте груди лом, как нерешительный штык. Голова коснулась потолка; существа едва доходили ей до плеча. С растущим утренним светом она увидела, что они не существа, но машины, и в силу вступил извращенный рефлекс собственного превосходства. Корка самоуверенности обрела голос, и она уже готова была заговорить, когда Авель раскрыл челюсти и издал высокий шипящий визг. В противоположной двери тут же появились Аклия и Сет – в той же стойке, что и Родичи. Измаил, разбуженный переполохом, потер лицо и сонно обернулся к конфликту. Дремота улетучилась в тот же миг, когда он понял, что выход преградила Гертруда. Ее лицо спровоцировало ужас, и его стошнило пустотой от увиденного уродства: у нее было два глаза.

На миг все в комнате оцепенело в морозном напряжении. Только позывы к рвоте Измаила разбили ледник времени.

Затем он хило пролепетал:

– О, о, на помощь!

Авеля науськала эта жалкая команда, и он быстро сделал три шага к Гертруде, пронзая оком ее бледное нависающее лицо. Остальные Родичи сгрудились позади. Он был в метре от нее и приближался, когда лом отделил шею от плеча. Голова вместе с куском торса задрезбуждала по полу, а рот бешено трещал, пока на растрескавшемся лице вращался единственный глаз. Тело же упало на колени и окоченело, плеснув из-за судороги внутренним кремом за зазубренный край расколотого тела. Даже в разгар событий Гертруда мгновенно вспомнила, как в детстве занималась вивисекцией жуков. Тот же хрупкий панцирь, лопающийся под ее лезвием, тот же белый гной, бегущий из полости хитина. Крем скользнул за шоколадно-коричневый край и разлился по кафельному полу.

Остальные теперь издавали тот же звук, что и разбитая голова, без удержу трещали жесткими челюстями. Зубы Гертруды стучали в унисон, зараженные звуком от этих устройств и ужасно безобразного ребенка, который скорчился на металлической койке. Но стакато ее зубов напиталось адреналином восторга, так что в хоре доминировала его настойчивость.

Мальчик застонал и закрыл глаз от уродства в симметрии этой великанши. Внезапно Родичи отступили – задом наперед, не отворачиваясь, – в противоположную дверь; они ступали с деликатной устойчивостью, ни разу не отнимая глаз от вторженки, – все еще в полуприседе, словно для нападения, но в обратном направлении, отматываясь. Они достигли двери и исчезли за ней. Лулува ушла последней и сразу перед тем, как исчезнуть, посмотрела на мальчика, который почувствовал ее взгляд, но обернулся слишком поздно, чтобы увидеть. Все, что осталось от его защитников, – закрывающаяся за ними дверь.

* * *

Проснулся он мокрый от пота, с порозовевшей подушкой – спросонья шарил по голове и телу в поисках раны, объясняющей заляпанную ткань, но ничего не находил.

Сон выхолостил его; в нем не осталось ни следа покоя, когда он выполз с постели в утро, побежденный и измочаленный. Кипяток не помог; пятно ночи не смывалось. Француз нехотя оделся, плотно застегнувшись в костюм из кусачей, раздражающей лжи. После глотка черного горького кофе вышел из комнаты в день, не говоря ни слова. Снаружи отеля поджидала готовая наброситься жара.

Сейль Кор стоял в тени пальмы через улицу.

– Бонжур, эфенди! – окликнул он, взмахнув рукой в интенсивно-синем небе, когда на солнце показался ослепительно-белый костюм. Француз, едва успевая за шагом Сейль Кора, обнаружил, что его восторженно влекут по улице.

– Мы отправимся прямо в Ворр, – говорил его знакомый. – Но по пути я хочу вам кое-что показать.

Француз согласно пробормотал, но внутренне ужасался мысли идти пешком. Он не имел намерений на пешее путешествие, и все же его тащил по главной дороге грязного городишки незнакомец. Раздражение росло с жаром дня; на душе скребли когти прошлой ночи, завистливые и живые.

Шагая по приподнятому деревянному настилу под галереями из изогнутого песчаника, он вспомнил выверенные архитектурные красоты Берна, где проводил некоторое время с матушкой, гуляя по ярмаркам в дни перед Рождеством, когда на улицы без цели падал снег, легкий и постоянный. Ни единая снежинка не коснулась их, когда они переходили из лавки в заветную лавку, – сводчатый Альтштадт предлагал уютный туннель цивилизованных пропорций, напоенный радостями теплого коричневого вина и ароматами соснового ледяного воздуха.

Так же внезапно, как Француз впал в фантазию, извращенность сравнения сплюнула его назад, не давая времени на наслаждение или подготовку; снова собственный механизм творческой изобретательности обернулся против него. К тому времени это случалось все чаще и чаще; у блеска его литературной лжи был злодейский близнец, который не понимал, почему все эти игры слов, если они так остроумны, должны функционировать единственно в рафинированной прозе. Каждый день он повсеместно применял те же правила композиции и выдумки, низводя удовольствие и опыт до жалких шуток. Хватался за воспоминания Француза и выворачивал их

замысловатыми мотивами, тучными от странности, заставляя глупость и гордость трахаться на священной земле его гения. Вокруг все было скроено из гниющего дерева и держалось лишь на вони тлена. Ничего подобного изяществу Швейцарии; даже величественные каменные дома бледнели до незначительности.

Раздражение Француза росло, обращаясь на него со всепожирающей радостью. Загоняло его обвинениями: в основе сравнений дышали какие-то поблекшие детские сантименты – их же должны были выбить из него уже много лет назад? И что он вообще здесь делает? Он никогда не покидал номеров или автомобиля, зачем же согласился на встречу с этим безмозглым дикарем?

И так без конца. Вокруг головы жужжал рой мух – нимб падальщиков, – только чтобы лишний раз подчеркнуть мысль. Француз сплюнул одну изо рта, дико размахивая руками, чтобы отогнать остальных, и выронил трость, застучавшую с тротуара на нечистую дорогу. Сейль Кор только рассмеялся при виде этой пантомимы нового друга. Вспыльчивого и в лучшие времена, Француза мгновенно залучила злость, и он плевался оскорблениями в лицо невежественной черни. Ничего не случилось. Сейль Кор не выказал шока или гнева. Даже не дрогнул, только сменил открытый смех на серьезную хмурую улыбку и подождал.

Шипение последней ругани обернулось пшиком; Француз был готов развернуться и протопать обратно в отель, когда одним простым и плавным движением Сейль Кор снял с головы свой легкий шелковый шарф и небрежно повязал на красное ходящее ходуном горло коротышки. Мир пропал. Сплавилась синь ткани и неба, свежий ветер остудил сердце и успокоил разум.

Когда яд и стресс ушли, Сейль Кор взял Француза за руку и потянул за собой, подводя к дверям близлежащей церкви. Он направил ошалелого компаньона внутрь, и они сели в прохладе зала на одну из темных резных скамей. Француз пытался найти слова извинений, но так давно ими не пользовался, что остался нем.

– Я привел вас сюда, чтобы вы поняли Ворр, – сказал его проводник. – Этот Божий дом – для тех путников, кто проходит рядом с его священным сердцем. Пустынные Отцы основали эту церковь еще до того, как на ее месте стали столпить камень на камень, до того, как для нее срубили хоть одно дерево. Они пришли из Египта, как пророки

былых времен, пришли стеречь и ждать, защищать нас и тех, кто путешествует в нас.

Француз огляделся. В иконографии доминировали образы деревьев; деревьев и пещер. С лица, как будто вырубленного топором, глядели черные сурьмленные глаза. Белизну пристального выражения Отца обрамляли темные волосы до плеч и спутанная борода. В одной руке он держал Библию, в другой – посох. Он сидел в пещере, окруженный глубокой зеленью непроницаемого леса. Сцена была исполнена на квадратной доске толстой и узлистой древесины. Француз уставился на икону, пока над его головой говорил высокий черный человек.

– Ворр был здесь до человека. Божья длань осенила эту землю не сдерживаясь. Деревья росли в великой тени познания, изобилия. Древнее молчание камней сменилось молчанием леса, слышимым. Сим было создано место для человека – чтобы дышать и быть благодарным. В центре тени раскрылся сад, и Ворру был дан обитатель. Он до сих пор там.

Глаза Француза оторвались от взгляда святого. Он повернулся и поднял голову к Сейль Кору.

– В Библии говорится, что дети Адама покинули обетованные земли и ушли в мир.

Сейль Кор провел ладонью над головой – словно отгонял запах или поглаживал нимб.

– Да, так написано – но Адам вернулся.

Они продолжали беседу, пока вокруг храма рыскала дневная жара. Француз отказался от последних остатков сексуального влечения к спутнику. Вначале оно присутствовало – насыщенный, густой мускус фантазии, будораживший их встречи. На первых порах Француз не видел причин, почему не овладеть черным принцем, не добавить к списку беспризорников, матросов и преступников, приправивших сточную канаву его сексуальной алчности. Сейль Кор был красив и наверняка одарен физически; очевидная бедность упрощала его кратковременное приобретение.

Но слова в устах Сейль Кора, убежденность представлений и доброта в глазах смыли прочь это сальное амбре, заместив эфирной отстраненностью, шокировавшей самую гордость и кровотоки краеугольного цинизма Француза. Усталому призраку хандры

пообещали полноту и надежду. Француз ощутил в Сейль Коре – с некоторым страхом – вкус искупления. Даже поймал себя на том, что стал придавать вес нелепым мифам о Ворре и бившейся в них сердцем душеспасительности. Вдвоем они толковали о змеином грехе, об избавлении, о звездной короне и происхождении предназначения; доме Адама в раю, его многих коленах, наказании Евы и всех преступлений познания. В эти моменты блуждающие глаза Француза вернулись обратно к святому и его братьям, занявшим стены. Он охватывал черно-белые картины ангелов; в некоторых узнавал страницы из книги – вырванные и обрамленные выжимки из представлений Гюстава Доре о рае и аде. Изображения были твердыми, почти мраморными с виду, такими непохожими на сердитых патриархов – Пустынных Отцов с икон, с одинаковыми глазами, с невозможным сочетанием температуры бесконечности и категоричного, точеного авторитета. Француз ушло в голову, что у Сейль Кора молодая версия этих самых глаз и что они дозреют до того же взгляда строгой мудрости.

Когда беседа подошла к концу, Француз заметил другую картину. Меньше остальных и в дальнем углу храма, вдали от всех источников света, она была исполнена левкасом на том же плотном дереве, но в процессе, очевидно, что-то пошло не так, поскольку пигментация лака почернела. Он приблизился, чтобы изучить ее; казалось, картина пуста или вмещает только нарисованную ночь. Он коснулся кончиками пальцев заскорузлой поверхности, различая рельефные очертания, контуры головы – проглоченного обитателя картины, невидимого в дегтевых пучинах.

– Что здесь? – спросил он проводника.

Молодой человек стал стеснительным и уклончивым, отказывался смотреть прямо на плаху мрака.

– Что здесь? Прошу, ответь.

– Некоторые истории из Ворра старше человека, и их путают с Библией, – ответил Сейль Кор. – Думаю, это одна из них. Сказано, что после того, как умрут все сыновья Адама, древо придет оберегать некая сущность. Зовут его Чернолицый Человек. Это может быть он.

Француз пригляделся к картине. Сейль Кор же при этом отвернулся, сказав, что им потребуется целый день, чтобы обсудить посещение Ворра, а этот день стал отступлением для поиска другого

знания. Такова жизнь – чувствовать направление ветра или падение человека. Этот день был посвящен храму и их месту в колесе времени. Сейль Кор со стуком подобрал трость Француза со скамьи и передал ему – теплую и легкую. С ее набалдашника взвихрилась пыль, как дым в косых лучах поджидавшего снаружи дня. Больше они не говорили о той скрижали тьмы.

* * *

Женский голос раскатился вязким воем. Она была отвратительна, но человечна, и отчасти он узнавал в ней себя. Она стала первой своего рода, кого он видел или слышал, и была она чудовищем – переросток с лицом, от вида которого его то и дело тошнило. Мороз от мысли, что он брошен наедине с этой тварью, пронизал до мозга костей.

Превратно понимая его отвращение за страх, Гертруда пыталась сказать заточённому чаду что-нибудь доброе, что-нибудь, что донесет: она не причинит ему вреда. Она упражнялась в доброте, и от этого незнакомого ощущения ощутила в себе праведность – в самом чистом смысле, что когда-либо знала.

Долгое время она оставалась почти неподвижной, говорила мягко, чтобы подчеркнуть дистанцию и сдержанность. Измаил поглядывал на нее уже не с той опаской, убирая руку от прикрытого глаза и постепенно привставая в кровати. Она увидела, что он не ребенок, а низкорослый подросток, крошечный и жутко обезображенный, но весьма человечный.

Высоко над ними в перевитом саду вставало солнце, шугая цепляющийся туман и разоблачая ярко-синее небо. Его свет слепил кухню, слал толстые завивающиеся лучи, пронзившие подвальные окна. Без сквозняка или любых других движений поднялась упиваться неподвижностью пыль. Комната пела и ликовала в своей незанятой красоте – как и все комнаты, оставленные на столь долгий период времени: не запятнанные даже легчайшими следами переделок или лихорадочной воли людей, вновь овладевшие своими замыслом и расстановкой.

Гертруда с опаской двинулась через комнату к юнцу; руки широко разведены, лом оставлен позади – она чувствовала, как обладание наполняет ее будущее и оправдывает настоящее. Она медленно прошла мимо накренившихся останков Авеля, но ее осторожности не хватило, чтобы не дать ему опрокинуться, разлив последнюю жидкость шумной лужей. Это вызвало в Измаиле неожиданную ярость, что растеклась по всем уголкам его страха. Его бросили. Лулува оставила его, не сказав ни слова. Родичи не смогли защитить – в сухом остатке вся забота их труда и проведенное вместе время ничего для них не значили. Он смотрел на сломанное бакелитовое тело, окоченело и неуклюже завалившееся в молочном болоте. Безжизненная голова Авеля еще лежала на другом конце комнаты, но воспоминания об их разговорах уже начинали ускользать от Измаила. Его смятение и гнев встретились на распутье, где их уже поджидала тень этой гигантской женщины.

Она быстро свыклась с болезненным прищуром съезженного подростка, чувствуя прилив заступнических чувств – новинку, примешавшую к ее смятению благочестие. Она никогда не переживала таких эмоций, как когда дотронулась до Измаила, но он отпрянул от контакта – эта мягкость была бессмысленной, тошнотворной. Он натянул на свою наготу легкое синее одеяло и закусил кулак.

Из словаря художественной литературы Гертруда извлекла:

– Тише, ты в безопасности, – слова комкались в горячем рту, как его импровизированная набедренная повязка. – Эти создания ушли, и я тебя защищу.

Он знал, что имеет в виду двуглазая, но не мог понять, почему она это говорит. Голосом Родичей – хрупким трепетом – он ответил:

– Это была моя семья, мои друзья.

Гертруда была уязвлена. Она не дозволит этим омерзительным куклам задерживаться в его бредовых мыслях ни секунды долее. Отбросив последние остатки незнакомства, она обеими руками помогла ему подняться из койки, присела, притянув его лицо к своему, и сказала:

– Это чудовища. Тебя держали здесь в плену, вдали от своих. Это мерзости. – Он моргнул и пустил слюну. – Их найдут и уничтожат за то, что они сделали с тобой и твоим лицом.

Она усадила его на пол и крепко запахнула на нем одеяло, подоткнув полы под его дрожащий вес.

– Не двигайся, – сказала она. – Я скоро вернусь.

Она быстро дошла до места, где исчезли Родичи, и заглянула в соседнюю комнату, где нараспашку оставили еще одну дверь. Опасливо протиснувшись мимо зарядных отсеков и открытых ящиков, добралась до крошечной кухоньки на противоположной стороне комнаты. Оттуда открытая дверь вела на винтовую лестницу с темнотой в основании. Внизу была полость – куда больше, чем ее же архитектурная структура. До Гертруды донесся резонанс – плотная пустота, звеневшая в тишине: тот самый пресловутый колодец.

Там не двигалось ничто, кроме самого объема, который вытягивался ко дну столбом ожидающего эха. Она не стерпела его превосходства и пустила в него крик.

– ЧТО!

Слово нашлось во рту, минуя мозг. Выплюнулось само – не вопрос, а скорее вызов или брань, плевков звука, чтобы застолбить территорию и показать, что она не отступит. Он должен был быть непокорным, но дрогнул. Слишком поздно она поняла, что это самое последнее слово – на любом языке, – которое стоило прокричать в подобную нарезную бездну. На такие вопросы рано или поздно приходит ответ, и она молилась, чтобы он пришел сейчас, так как страх наконец захватил ее ощущение контроля. Но снизу пришел сокрушительный рокот, и она почувствовала себя мелкой перед такими глубинами знаний. Реверберация «ЧТО!» прокатилась по лестнице, шипя и грохоча между магмой и звездами. На микровечность все внутри нее лишилось краски и подвижности. Белая кровь закупорила сердце, наглухо забила уши и сгустилась в глазах, спеклась в капиллярах мозга; пленка белого дыхания встала во вратах легких; белые мускулы прикипели к белой кости; белую мочу подмывало обжечь белые ножки, а белые нервы перещелкивались между собой от мутности и прятались в прозрачности воды.

Пока эхо еще содрогалось, она отдернулась обратно в жизнь и побежала. Грохнув за собой дверь, она понеслась через аккуратный застой следующей комнаты, сталкиваясь с упаковочными ящиками, соломой и банками с образцами, тревожа столы и ссадив ногу. Влетела в следующую дверь, подхватила Измаила в руки и выскочила в тесный коридор наверх, поскользываясь на свернувшейся жидкости, когда-то бывшей Авелем, и пнув голову, та опять затрещала по мокрому полу.

Гертруда забурилась в яркий туннель, ее платье визжало от трения с гладкими стенами. Задыхаясь на фоне всхлипов мальчика, она выехала на влажных четвереньках на тихую кухню, через взломанную панель тайной двери. Косой свет глазировал помещение, даруя благословение, но Гертруда едва зафиксировала его на бегу со своим подопечным, из кухни по лестнице, и ворвалась наконец в спокойное достоинство старого дома. Она хлопнула дверью и, глубоко вздохнув, одной рукой повернула свой ключ от всех дверей, пока второй приперла обмякшего мальчика между бедром и стеной. Запор встал в гнездо. Слезы встали в глазах. Приготовилось к высвобождению облегчение, но тут она услышала что-то позади. Разворачиваясь, она призвала ярость в брызгах голоса, пота, слез и безымянной каши от разбитого Родича. Оголив зубы, с руками-когтями, она столкнулась лицом к лицу с Зигмундом Муттером.

* * *

Оба устали от компании друг друга. Дело кончено, уговор заключен. Цунгали дал согласие на охоту. Он заберет жизнь неведомого человека и опустошит ее – где-нибудь в глуши.

Войдя в ночь, он вошел во власть над своим миром. Богами и демонами он лепил из него свое понимание сил – каждая со своей ценой, отмеренной в крови. Он прошел к концу лагеря, где в тени таился угнанный мотоцикл – пумовый скелет стойкого металла. Уверенно оставил «Энфилд» в латунных ножнах на мотоцикле. Винтовку звали «Укулипса» – «колыбель» на языке его матери. Она плотно села в тусклом расцарапанном металле – сама расцарапанная и мятая от потертостей и сотрясений, но теперь погруженная в крепкий сон нежелезистой насыщенности, оберегавший от влажности. Здесь Укулипса была в безопасности – плоть деревянного цевья, мышцы и кости механизма защищала тугая гулкая темнота, слабо отдававшая металлической кровью. Он проехал мимо часовых в толстые бревенчатые ворота, из бывшего дома – во мрак своей неколебимой уверенности. Шины рокотали и с регулярным пульсом скакали по красной почве, пока он приближался к своему биваку и задаче, к которой приступит с легким сердцем.

В нем не было ненависти к белым – это отняло бы энергию у целеустремленности. Он просто знал, что все они наперечет воры и лжецы. Когда его произвели в полицейские офицеры в двадцать лет, он уже был важным пророком своего племени, жрецом-неофитом, ожидавшим возмужания, чтобы войти в полный статус. Сама чтимая Ирринипесте видела его ценность и хвалила за отвагу. Быть замеченным шаманом такой силы – великое благословение. Когда она попросила наушники его двоюродного брата, он отдал их с готовностью.

Брат погиб за неделю до повышения Цунгали, после инцидента с захватчиками. Многие Настоящие Люди старались понять и перенять новый уклад, перевести заморскую бессмыслицу в какую-то прикладную частичку реального мира. Его брат – в их числе. Он наблюдал за их укладом и увидел самый дорогой фетиш. Он наделал копий того, что было у них под охраной и в почете, полагая, что уже одно подобие прояснит все, даже раскроет смысл их слов, и тогда все смогут причаститься великой мудрости. Он делал компрессы из листьев и земли, скреплял слюной и смолой. Лепил из них черные слитки, которые белые жрецы звали библиями. Даже носил свою собственную у сердца, словно падре захватчиков.

Но на эту преданность белые ответили злом и конфисковали все розданные имитации. Когда он удалился в лес и начал строить хижину, они как будто успокоились и радовались его уходу.

Хижина вмещала брата в полный рост. Над ней он поставил очень длинный шест, связав вместе тростник и самые прямые сучья, какие нашел. С этой шаткой мачты свисала длинная лоза, которую он привязал к самой верхушке. Лоза проходила через крышу и соединялась с двумя половинками кокоса, скрепленными между собой изогнутой веткой. Те брат водрузил на голову – по половинке на каждое ухо. Как белые, он слушал голоса духов, парящие в воздухе. Как у белых, мачта ловила их на свою леску и переливала в чашки и в его голову. Он сидел целыми днями, крепко зажмурив глаза, в абсолютной концентрации. Когда захватчики нашли его, они смеялись до розовых слез. Он тоже смеялся, и дал им наушники – как они их называли, – чтобы они послушали голоса.

Офицер взял скорлупу, все еще стирая смех с глаз, и приложил к ушам. Улыбка тут же спала, и он отбросил их – отшвырнул, как змею.

Закричал на брата и приказал своим людям сжечь хижину. Но брат отказывался уйти, говорил, что так хотели духи и что огонь пройдет по столбу и хижине в воздух, где будет ждать, чтобы однажды войти в столб на хижине белого человека. Там брат и сгорел. Цунгали подобрал выброшенные наушники и смотрел с остальными, как хижина и мачта духов рушились вокруг сидящей в дыму фигуры.

Никто тогда не понял инцидента, даже захватчики, прочитавшие молитвы по огню и за упокой души его двоюродного брата. Это понимание будет зреть еще несколько полных лет.

После этого столкновения Цунгали и назначили полицейским. Для равновесия, думал он, и потому, что он так и не взял ту твердую библию. С первого же дня он стал превосходным полицейским, подчинялся всем приказам и исполнял все задания. Это было проще, чем казалось: он объяснял своим людям, что хотели видеть белые, те соглашались – и готово, новые хозяева верили, будто их желания воплощаются в жизнь. Столь хорош был Цунгали в глазах хозяев, что три года спустя его вознаградили – перевезли на самолете из его земли в свою; долгое и бессмысленное путешествие, чтобы показать величие их происхождения. К прилету в грандиозную европейскую метрополию он уже лишился компаса, гравитации и направления; его тень осталась дома, изумленно глядя на пустое небо.

Его тело раздели в гладкие ткани, волосы зализали. На ноги натянули перчатки и заостренные ботинки; прозвали Джоном. Водили в великие чертоги на встречи с множеством людей; он идеально исполнял свои обязанности, говорили они. Он достоин доверия, говорили они, – новое поколение его клана, достижение их империи.

Он только наблюдал и закрывал уши от гула голосов. Касался всего, щупал текстуру и цвета, чтобы помнить разницу, размер и о том, что все там было облезлым, сглаженным и блестящим, словно море из миллиона людей точило дерево и камень, изгибая занозы и приглушая шкуру. От их еды сводило и саднило рот, обжигало изнутри и пронзало так, что он без конца гадил; даже это у них было упорядочено. Его не пускали в подстриженные сады, а запирали в камерке, где следовало оставлять отходы, смывать в холодную каменную чашу. Он мог вынести все, так как знал, что скоро вернется.

Но музей изменил все и объяснил масштаб их лжи. Как церкви, где бывал Цунгали, музей оказался высоким и темным; все шептались

и ходили тихо, уважая живущих там богов. Один из солдат провел Цунгали по всему музею, показывая ящик за ящиком невозможные вещи, заточённые в стекло. Они плели ложь – картины, провожатый – о людях, живущих во льду и спящих с собаками; показывали на крошечные тотемы, светившиеся в темноте; бормотали свою магию; кивали вместе. Все более поддаваясь отвращению, он прошел вперед и свернул за угол, замерев перед следующим огромным шкафом. В нем светились все боги его отцов. Их держали в тюрьме из стекла и дерева, очищенных и гордых, чтобы все вокруг могли видеть их силу и поклоняться. Но на полу тюрьмы лежали без понимания и толку ценные орудия и заветное имущество его клана: вещи мужчин и женщин, утварь и тайны, парные и спаривающиеся, непристойно выставленные напоказ и раздавленные текстом. К каждому предмету привязали бирки, накарябанная ложь белых вцепилась в каждую ценность – звери в капкане; украденные и покалеченные браконьерами. Все то, что отняли, признали за дрянь и заменили сталью. И там, в центре, было жертвенное копьё его деда. То, что шло к Цунгали поколениями, из древесины, чреватой потом и молитвами семьи. То, чего он так и не коснулся. Цунгали вошел в кладезь всего значимого, всего заветного – всего украденного.

Посетители затихали перед предметами и божествами, испытывали кротость перед их воздействием. Один из старейшин в форме встал на колени, почти касаясь носом стекла, чтобы приблизиться к вырезанному воплощению Линкку – богини плодородия и полей.

На противоположной стене были картины. Почти в состоянии транса Цунгали подошел ближе к ним – в память о деревне, приколотой к стене и обесцвеченной. Это было последним кощунством; выставка сакрального, мертвого и душ живых.

Его покровители наслаждались визитом, довольные его внимательным поведением. Они наблюдали, как он уставился на фотографию старейшины своего племени, сидящего перед жилищем с замысловатой резьбой. Это был важный снимок антропологической ценности – первый документ контакта, показывавший непотревоженную культуру во всем ее домашнем блеске. Цунгали уставился на своего деда. До этого старика ни разу не фотографировали, и он не представлял, зачем чужак накрывает лицо и

трясет перед ним коробкой. Он сидел на ступенях Общего дома, с мухобойкой из хвоста животного в ступне, пытаясь незаметно прикрыть рукой яйца; с замешательством на лице, со слегка склоненной головой, чтобы заглянуть за ящик, подглядеть лицо фотографа. Глаза и рот деда только что уязвила странность – он слишком оторопел и растерялся, чтобы отвести событие. Стены Общего дома инкрустировались прыгучими, ползучими и жестикулирующими духами. Все их резные и раскрашенные лица были живыми, говорили с чужаком, смеялись над его повадками.

Старик смотрел сквозь ящик, сквозь чужака – до самого своего отражения – и как будто содрогался. Дверной проем дома был темен, но все же внутри едва-едва проступала еще одна фигура. Мальчик – счастливый и ухмыляющийся, сплошь зубы и глаза в темноте, открытое улыбающееся удивление. Это был Цунгали – застигнутый молодым, противоположность наготы, потрясению и боли его любимого деда.

Слезы наполнили его глаза, когда он втайне умолял снимок сдвинуться, отвернуться или вернуться – что угодно, лишь бы не атаковать память такой упрямой утратой. Он больше не мог смотреть. Найти своего деда под стеклом, прибитым к стене, так далеко от дома и земных останков – это за пределами кощунства и святотатства. Это глодало Цунгали, всю его генетическую лестницу – эмоциональное, скрытое, проедающее до самого вымирания. Он ускользнул обратно в толпу и быстро растворился в сутолоке. Сбежал из того места и затерялся на улицах лжецов.

Его, разумеется, отыскали и водворили обратно на родину, где доверили объяснить славу и верховенство хозяев. Вместо того он объяснял, что богов Настоящих Людей украли и заменили скрещенными палками, что всё, чем был народ, чему однажды поклонялся, отдали другим. Объяснял, что хозяева обхитрили их, украли предков и заключили в узилища из стекла. Объяснял, что на подобную нечестивую профанацию есть лишь один ответ: третьего июня, ярким весенним днем, он начал Имущественные войны.

На следующий день две трети захватчиков умерли или умирали, их дома сожгли, а церковь разрушили; взлетную полосу выворотили уже вскоре, а крикетный питч осквернили до неузнаваемости.

Питер Уильямс исчез в мифе. Как и блаженная Ирринипесте – дитя, которое так и не постарело, дочь Былых и сердце Настоящих Людей.

* * *

Трудно сказать, чье потрясение было сильнее. Они без слов дрожали до столовой старого дома, Муттер – громко сглатывая, пытаясь не глядеть ни на кого очевидно, но то и дело отрывая глаза от пола, чтобы увериться в зрелище пред собой. Гертруда беспощадно суежилась, промокая и соскребая грязь с платья тряпкой, выхваченной из кармана Муттера.

А Измаил? Невозможно угадать, о чем думал маленький полуголый циклоп за своими ладонями, которые он сомкнул на лице в тот же миг, когда Гертруда выпустила его из своей защитной хватки. Она же и нарушила тишину приказом.

– Муттер, ты никому об этом не скажешь.

Он взглянул на ее властность, на пыле которой быстро улетучивалось унижение, чей пар отдавал привкусом гнева. Муттер машинально кивнул.

– Ты обязан помочь мне спрятать это несчастное измученное дитя, – она положила руку на плечи Измаила, чтобы подчеркнуть слова. Приводя себя в порядок, она игнорировала мальчика, так что он подскочил от внезапного объятия. – Сюда еще кто-нибудь ходит? – пожелала знать она.

Муттер заверил, что ключи доверены лишь ему одному и что он никогда не видел здесь ни владельца, ни кого-либо еще; как и его отец.

– Хорошо, – сказала она себе. Теперь она думала проворно, и ее радовала ясность мысли. – Есть ли у тебя ключи от комнат наверху?

– Да, госпожа, но двери не заперты, – сказал Муттер со скрипящим в голосе беспокойством. В комнате холодало, и Гертруда заметила дрожь подростка.

– Поди принеси ему одежду. Что угодно. И разожги огонь, – она показала на приемную по соседству. – Ступай и ничего не говори.

Муттер кивнул и подался к двери.

– А, и... – окликнула она, когда он собрался уйти. Зигмунд обернулся с вопросом в глазах, и она встретила его на полуобороте, сунув четыре тяжелых монеты в ладонь. – Принеси еду и питье – да горячее.

На этом он моментально пропал за дверями. Она вернулась к Измаилу и крепче затянула на его белом теле простыню.

Двумя часами позже мальчик был одет с плеча детей Муттера. Они поели, и в комнате стало тепло. Усталость клонила циклопа в сон, и у Гертруды появилось время для планирования. Она экзаменовала тревожного слугу, визнавая о незримых хозяевах, доме, ящиках и о том, как все эти годы его семье платили. Осознав, что ему ни о чем не известно, она начала возводить собственный дворец лжи.

Основания сего барочного строения укоренялись в потребности и страхе: страхе Муттера лишиться работы или понести ответственность за ущерб и так глубоко его озадачившую странность послужил ей опорой для восхождения к обману. Она не без подробностей объяснила, что похищение человека – преступление, караемое строжайшим из вердиктов; что он единственный человек с ключами; что многие видели, как каждую неделю он носил в дом еду. Более того, больше здесь никого не было, а показания Измаила не примут, если ему вообще дадут слово.

Потребность же принадлежала ей. Она хотела оставить маленькое чудовище себе одной, узнать больше и не делиться – до времени – с множеством и недомыслием. Но она жила в отчем доме. Ей требовалось другое место, чтобы спрятать его, и дом номер четыре по Кюлер-Бруннен подходил в точности. Она запечатает нижний этаж и любую мерзость, что там обитала, и будет держать уродца на чердаке – или в комнатах на третьем этаже. Станет навещать каждый второй день – никто и не узнает. Главным для успеха плана был Муттер. Он будет двигателем, приводящим в действие повседневный механизм секретности, а растопит она этот двигатель устрашением и деньгами. Единственным неизвестным оставалась реакция невидимых хозяев, когда они узнают о ее вторжении и уничтожении одной из их кукол.

Она ждала их появления, но того не последовало. Тем временем Муттер работал как работал – забирал ящики, вез в дом, открывал, тасовал содержимое, накрепко забивал и вез назад. Он приносил обычную еду; он чистил стойла и приглядывал за лошадьми. Теперь он

получал двойной оклад за ту же работу ключника и замок на своих устах и глазах.

Верхний этаж был полностью обставлен, так что обустроить пригодное жилье будет несложно. Она приступит к созданию уютного и уединенного дома. Но прежде того предстояла работа в подвале. Она сказала Муттеру принести инструменты, замки и оружие.

Придвинув стул к подвальной двери, проинструктировала о том, что нужно сделать внизу. С его ключами в руке и дробовиком на коленях она говорила только самое необходимое, выкрикивая указания вниз по лестнице, с которой недавно сбежала. Ему предстояло спуститься вниз – мимо старой кухни в то погребенное место. Ему предстояло собрать останки той отвратительной твари и сбросить в колодезную шахту. Ему предстояло сменить все замки и заколотить все двери. Она же будет сторожить дом и прислушиваться к его прогрессу с лестницы.

Муттер был не семи пядей во лбу, но понял, что служит ей лакмусовой бумажкой, канарейкой в клетке, – что спускался он приманкой для чудовищ. По коже бежали мурашки, когда он сошел вниз. Она стояла и прислушивалась – телом в коридоре, головой в темном лестничном колодце, со стволом, направленным навстречу ожидаемому. После трех часов и долгого грохота молотком и пилой Муттер вернулся, с облегчением от ухода и удовольствием от завершения. Гертруда лучилась улыбкой, радуясь окончанию работы не меньше его, пока он не сказал, что прибирать было нечего – только пятно на полу. Останки, которые она расписала в столь мрачных красках, пропали. Она снова и снова расспрашивала его, хотела убедиться, что он не ошибся комнатой, а потом сдалась. Кто-то или что-то перенесло улики и переписало все роли в этом странном событии.

В первые недели ее план как будто бы работал. Она придумывала для семьи все новые оправдания своих удлиняющихся припадков отсутствия. Наслаждалась хитроумной сложностью, тем, как бочком плыла вдоль стен дома и проскальзывала внутрь незамеченной. Семья верила каждому ее слову. У них не было причин для сомнений, и потому они не связывали ей руки и не путались под ногами. Она прекратила ежедневные походы на кухню, чтобы давать советы повару, и больше не требовала у дворецкого новых трат на содержание

хозяйства. У нее осталось меньше расходной энергии на то, чтобы обращать материно внимание на новую моду и способы развлечений, и вовсе никакого времени, чтобы противоречить отцу в его делах. Покой застал семейный дом врасплох. Между слуг даже ходили слухи, что в ее жизни появился мужчина, что она наконец нашла ухажера, способного угодить ее многочисленным ожиданиям. Эта перспектива вызывала немало насмешек и ухмылок, стоило прислуге сгрудиться у круглого стола на кухне.

Муттер делал как велено. Время от времени она слала его вниз, проверить замок и прислушаться к движениям в заколоченной комнате, но ничего не было слышно. Раз она прокралась вниз вместе с ним, чтобы перепроверить его слова. Улыбнулась при виде растущих слоев пыли и прочности преград. Ничего не заметив, успокоилась. Ее план работал, с ним устанавливалась регулярность, создававшая в странном старом доме отрадный ритм быта.

Величайшим сюрпризом стало то, как легко адаптировался к новой среде циклоп. Он был спокоен и задумчив, проводил время в одиночестве за чтением принесенных ею книг. Он словно позабыл – или хотя бы списал со счетов – время в убогом закутке под полом. Он ни разу не упоминал о мерзостях, державших его в плену. Он прекратил звать их Родичами, когда она объяснила, как это гадко. Он казался довольным новым домом и вращался в новую роль взрослого.

На пятую неделю она заметила, что Измаил растет и в буквальном смысле, растягивая чужую одежду в пародию. На седьмую неделю он перерос второй костюм, который она со всеми предосторожностями приобрела всего несколько дней назад. Измаил вымахал, раздался в плечах; ел все то же, хотя и с большей добавкой, но одно это не произвело бы столь неожиданного эффекта. Она гадала, не в пространстве ли дело.

Она уже видела нечто подобное – годами ранее, когда ее золотую рыбку перевели из маленького стеклянного шарика в куда больший аквариум. На то время ей было шесть лет. Столь замечательной стала метаморфоза в малом существе, раздувшемся до размеров, более соответствующих увеличенному окружению, что она обвиняла в подмене всех в пределах слышимости. Даже в том возрасте она до конца стояла на своей уверенности; никакие объяснения не подвигли бы ее поверить, что это естественный феномен, и с той поры она

лелеяла пятно злопамятности против неопознанных заговорщиков. Теперь же впервые засомневалась. Одно дело – заменить рыбку экземпляром того же вида больше и старше, но найти другого человека-циклопа? Никак невозможно. Значит, это должно быть правдой: он рос вопреки к габаритам нового пространства.

К сожалению, это совпало и с переменами в темпераменте. Циклоп становился апатичным и угрюмым, находил ее визиты все менее и менее интересными. За нитки дергал проблеск закипающего гнева, маневрируя его телом в хмурых, скучающих рывках. Его глаз избегал ее, нарочито. Она хорошо знала эти движения – они много лет были важной частью ее собственного словаря, но никто еще не смел обращать их против нее.

Гром грянул буквально в вечер грозы. Она пришла позже обычного, взбежала по лестнице, сбрасывая сырой дождевик. Он ждал, с настроением сгустившимся и пасмурным. Сперва она не приняла это всерьез, хлопоча по прибытии, снимая мокрую шляпу и перчатки, манипулируя своей скоростью, чтобы прорезать напряжение, которое он транслировал в комнату. Но в тот вечер ей это не удалось.

– Где ты была? – спросил он надтреснутым и гортанным голосом, на три октавы глубже знакомого ей. – Почему не приходила так долго?

Безошибочное ударение на «где» и «почему» – слова впились в воздух.

– Прости, дождь стоит стеной, а мои уроки затянулись, так что...

– ТВОИ уроки! – гаркнул он. – ТВОИ уроки? Уроки раньше были у меня! Теперь я просто сижу, ни с чем и ни с кем.

Она опешила от горячности этого утверждения, от гнева и тоски, душивших пространство между ними.

– Ты говоришь не думать и не говорить о тех, кто держал меня раньше, ты говоришь, они были нечистыми и опасными. Я ГОВОРЮ, ОНИ ОБО МНЕ ЗАБОТИЛИСЬ!

Она заметила в скисшем свете, что на его шее высыпала красная сыпь, а уши горели алым.

– Я приносила тебе книги, – вяло отвечала она.

Этого хватило для последнего удара.

– КНИГИ НИЧТО! ТВОИ КНИГИ НИЧТО! – заревел он, схватив одну и швырнув через комнату. Та ударилась в затворенное окно и разорвалась по корешку, упав изувеченной и изломанной, как пернатая

дичь в поместье ее отца. – РАНЫШЕ МЕНЯ УЧИЛИ. – Дом словно шумно хлебнул памяти из колодца внизу, поощряя продолжать. – Учили с заботой, учили с умом, – сказал он, давясь пеплом гнева.

Ужасающая тишина раздвинула комнату в обратной перспективе, разделив их на своих концах оглушающей дистанции. Муттер давно ускользнул, предпочитая держаться в отдалении, занимаясь с ящиками внизу. Он не хотел иметь касательства к этой драме или страстям, стремясь только закончить работу без помех. Он тихо оставил дом, неуклюже пробравшись на цыпочках по мощеному двору.

С кончиков ее брошенных перчаток, скользящих со стола на немой ковер, бесшумно капала вода. Одна страница смятой книги превратилась в окаменевшую гримасу, страшась быть увиденной в свои последние мгновения.

Наконец она сказала:

– Я буду тебя учить.

Он хрюкнул – этот звук задумывался презрительным фырканьем сомнения, но с новым и непривычным голосом прозвучал схоже с кашлем, налитым мокротой.

На следующий день все еще было сыро, но без хлещущего горизонтального ветра с теплого моря, неустанно гнавшего дождь. Во время завтрака Муттер вспомнил, что должен забрать очередной ящик. Шмат хлеба потерял вкус на полупережевывании, и он простонал сквозь тающее масло. Он решил вернуться в дом немедленно – когда, как он знал, там не будет Гертруды.

Зигмунд запряг лошадь в двуколку, вывел из денников и через двустворчатые ворота. Отпирая их, бросил опасливый взгляд на третий этаж. Знал, что ничего не увидит в окнах; он сам плотно закрыл ставни и навесил замки, как было указано. И все равно чувствовал, как тварь размазывается по стеклу, желая омыть глаз городом.

Через сорок минут он прибыл на склад на другой стороне города. Со скрипом костей и рессор спустившись с двуколки, отпер замок – больше своего сердца и в шесть раз тяжелее – и распахнул ворота внутрь, втянув лошадь. Вошел на склад, волоча за собой пустой ящик. Он привык действовать механически, наслаждаясь постоянством пополнения. Никаких вопросов – только обмен объектов. После драматических перемен в доме номер четыре по Кюлер-Бруннен он страшился встречи с хозяином дома. Его сочтут предателем

обязанностей, вверенных семье и исполнявшихся без сомнений и обмана два поколения кряду. Неужели он все безнадежно испортил? Тут он увидел слепящую белизну конверта, прервавшего тропу между дверью и ящиками, и заподозрил, что да. Муттер запаниковал. Письма – прямоугольные схемы его невежества, маленькие бумажные лезвия, угрожавшие ему всю жизнь. Муттер не умел читать, но это никогда не составляло трудности. Мир труда и мускулов, выдержки и неопределенности не требовал писем для руководства или описания его жизненной важности.

Он подобрал конверт – с опаской, чтобы его не коснулся яд. Увидел паучьи чернильные следы словес на поверхности и не знал, что делать.

Затем заговорил голос:

– Зигмунд Муттер, ты хороший человек, и мы тебе доверяем.

Муттер вздрогнул всем телом и ошарашенно огляделся, в удивлении и облегчении от услышанного. Голос доносился от всего склада и все же отчего-то казался личным, близким.

– Семейство Муттеров было нам угодно много лет. Твой отец, ты и твои сыновья навек заслужили наше доверие. Весь ваш труд и преданность высоко ценимы. Отнеси это письмо госпоже Тульп и молчи о нашем разговоре. Ты под покровительством, и твоя семья будет обеспечена.

По дороге домой Муттер сидел на облучке как во сне. Черная двуколка изгибалась и гнулась по улицам, колеса и копыта говорили через бразды с его холодными руками. Он поставил лошадь в денник и перешел в дом, держа письмо перед собой, как дохлую рыбину или живую сороконожку, – в вытянутых руках. Войдя в особняк, он попал на Гертруду, бесцельно суетившуюся в прихожей. К его появлению она нацепила равнодушие, пока ее восприятие не задела его переменившаяся манера. Подняв взгляд, она заметила непредсказуемый фокус Муттера и письмо в руке. Он сунул письмо ей и ничего не сказал.

Г. Э. Тульп

*Ты совершила преступления проникновения в чужую
собственность и незаконного проживания. Ты подкупила*

моего слугу. Это никому не известно. Как и о других предпринятых тобою действиях.

Это известно мне. Однако я желаю того же, что и ты: молчания.

Ты в моем доме, и у тебя мой ребенок. Я присутствовал при твоём рождении; твои родители в моем ведомстве и власти. Не усомнись в этом – или пропадешь.

Тебе доверено следовать своим собственным планам. Ты под покровительством. Не оставляй и не умаляй своей украденной ответственности. Через год я обращусь к тебе вновь.

Он знал, что добыча пойдет одним из двух маршрутов. Первый – главная торговая артерия – вел напрямиком в город, через главную улицу, через промышленный фланг, а затем – в Ворр. Другой – старая тропа, блуждавшая по длинной долине, прежде чем войти в город через его многослойную историю. Она пересекалась о кучку старых зданий, где встречались река и шесть других дорог, а затем ползла к городу, Ворру и другим, менее известным сторонам. Эти маршруты медленные и едва ли использовались обычными путешественниками; они приберегались для тех, кто хотел вкусить прошлого, тех, кому было что скрывать, тех, кто не желал мешаться с обычными людьми. Часто – для первых, вторых и третьих, вместе взятых. Цунгали знал, что, хотя его добыча не желает быть увиденной, ей по мере приближения все равно придется отдыхать, покупать еду и сведения. Старая дорога идеально отвечает этим нуждам.

Приблизительно в полутора днях пути от города был покрытый шрамами мост, пристроенный к рабочей мельнице и россыпи хижин. Он висел над излучиной крутой каменноугольной и известняковой долины. Здесь протащили свой сбрывающий вес ледники, прорезая петляющие каньоны и выдавливая русла, над которыми щерились нависающие стены торчащих утесов. В одном месте, у самой мельницы, высокие отвесные стороны почти соприкасались – приближались друг к другу с обостренным напряжением, возможно из-за воспоминаний об исторической связанности. Говорили, что иногда солнечный свет проникал между ними на час в день; в других случаях не могло быть и того и внизу клубилась тьма.

Мельница и сопутствующие постройки отличались равно смутной историей; большинство путешественников за версту обходили их тени и преступления. Но здесь любой мог остаться без лишних вопросов, насладиться заниженными ожиданиями и избежать угроз этого места.

Цунгали сидел промеж скопления камней, глядя сверху вниз на мост. Четыре пролета над рекой были могучими и компактными в своей солидной структуре. Мост сносил сухую, обжигающую жару ударного лета или жестокий мороз зимы, скалывающей скалы. Он

жутко вторил эхом своих сводчатых изгибов худосочному ручью. Он выстаивал против половодий, метавших в его сваи целые деревья, и ловил свет от воды, отбрасывавшей полифонии в его арки.

Цунгали наблюдал молча. Он просиживал очередной из множества прекрасных дней, подстерегая добычу. Он уже навещал мельницу, чтобы принюхаться к ее внутренностям и предназначению, силе ее жильцов. Ему были известны их число, цвет и вера. Мотоцикл он затаил в высоком бамбуке возле реки и прошел сюда вброд, ступая между рябзящими камнями. Преодолеl путь до этого поселка – пяти построек в неровной линии, с поднимающимися от двух чумазных лачуг завитками душистого дровяного дыма. Местная возвышенность и множество деревьев фильтровали и приручали дикий солнечный свет до прохладной пестроты, предполагавшей покой, хотя его жесткое бледное безразличие марало воздух бедой.

Горбатый домик, привитый к боку мельницы, был питейным заведением, о наличии которого далеко вокруг вещал шум. Цунгали подошел к двери и распробовал на вкус то, что находилось внутри: запахи стряпни; выпивку; дым и громкие голоса; лихих людей. Внутри оказалось еще хуже; солидный декор мужского напряжения, припавшего между громким гогомом и угрюмой тишиной, порою разбавлявшийся порывами алкоголя.

Он сел на стул – место черного, – спиной к стене, в тених. Отсюда исподлобья наблюдал и оценивал компанию. Притворялся, что пьет, кутит с горячительным, выливая его за рукав и под стол. В трех посетителях мгновенно узнал убийц. Одним оказался Тугу Оссенти – сотоварищ по полицейской службе, до Имущественных войн. Оссенти отправили в отставку после обвинений в пытках. С тех пор было известно, но не доказано, что он убивал за деньги и иногда для удовольствия. Он бы не узнал Цунгали, который тогда был куда моложе и светлее кожей, к тому же с незаточенными зубами в последний раз, когда они сталкивались лицом к лицу.

Оссенти якшался с близнецами. Тощие, белые и нервные – в них жила внезапность мелких рептилий, их глаза и руки постоянно бегали. Цунгали знал по опыту, что любые близнецы даже порознь умеют думать как один. Он уже видел это в деревне – наблюдал, как двое работают в унисон, без слова совета или указания между собой. В боевой обстановке подобные враги могут быть непредсказуемы и

неодолимы. Их быстрая бдительность встревожила его куда больше, чем сила и история их спутника.

После пристального изучения он позволил взгляду мазнуть по дымному неровному помещению. В дальнем углу сидел одинокий пьяница – в тенях, растворявших его черты. Его осанка читалась даже в сумраке, и Цунгали не стал на нем задерживаться. За круглым столом посреди комнаты громко сидели четверо. Они казались гуртовщиками. В заплетающейся беседе их подпирала поношенная одежда и толстые башмаки. На кожаных крагах спеклась грязь, отваливаясь кусками у неповоротливых ног. Они провели за этим столом часы.

За стойкой навтыяжку сидел высокий худой мужчина, изображая безразличие. Его узость и одеяние предполагали духовенство; его хребет был самым прямым предметом в зале. Потягивая прозрачную жидкость из стакана через длинный бамбуковый побег, он пил без рук, вяло обвисших по бокам. Он вперился перед собой в ряд бутылок за стойкой, чьи задние стороны отражались в зеркале, охватившем скособоченную комнату своим треснутым затуманенным оком. Выбеленное искаженное лицо мужчины плавало в расфокусе стекла. Кроме него присутствовали только кабатчик, хрипящий старик в задней комнате и дурковатый юнец с собакой.

В стойке у двери оружия не стояло, а значит, все его прятали на себе. Здесь не место для наготы, но Укулипсы с Цунгали не было. Она лежала в своих латунных ножнах высоко в листьях бамбуковой рощи – патина металла совпадала с цветом шепчущей листвы; к тонкой закрепившей ее веревке привязан амулет невидимости. В этом окружении ему требовались спутники ближнего боя; в складках коленей ждал тупоносый бескурковый пистолет, а под мышкой висел длинный крис; под мостом был скрыт дополнительный арсенал.

Он прочел мужчин, затем изучил помещение, чтобы снять мерку боя или бегства, выходы и ракурсы возможного насилия. Черный ход, окно и открытый камин. На верхние этажи можно было попасть только по лестнице снаружи. Сидя, он проецировал на помещение бойню и перебирал сценарии защиты и нападения. Он не сомневался, что все остальные сделали или делают то же, кроме пса и старика, который дребезжал и метался в чужих снах.

Один из близнецов уловил вибрацию его прикрытых глаз и что-то пробормотал остальным. После уместной, но нелепой паузы Оссенти

повернулся, притворяясь, что потягивается, склонив голову, чтобы глянуть прямо на тень Цунгали.

* * *

Шарлотте платили за то, чтобы она была под рукой – пожизненным компаньоном своего соседа в восьмом аррондисмане. Эту обязанность она несла с пониманием и благодарностью, а также потому, что ее тянуло к дворнягам – даже благородным.

Его мать платила за внимание – платила за все. Она знала о слабостях сына – и кое-что о его гении. Она окружила его заботой, и любовь поглотила бы его полностью, не будь у нее в жизни другой любви. Той любовью был героин, и он решительно выигрывал во всех конфликтах эмоций и заботы. Так в дублиеры матери наняли Шарлотту – на роль видимого женского столпа, к которому Француза публично посадили на привязь. Так ему будет с чем бороться не внутри себя, а вне, и всегда будет куда вернуться, обо что почесаться и что оскорбить.

У Шарлотты было лицо, которое следовало любить. Ее ошеломительные глаза говорили все самое чуткое и чувствительное – так, что смотреть больно. И взгляд подкрашивала боль – боль не за себя, но за тех, кто вокруг, кто страдал и присасывался своим существованием к вечной печали. Она была сильна, потому что была тиха. Не безмолвна, а спокойна. Ее красотой была красота слуха и сила щедрости; в углях ее взгляда тлело знание – больше, чем понимание. Она видела и чувствовала все, она отдавала больше любви, чем получала, – больше, чем ей когда-либо платили. Это поддерживало жизнь в некоторых ее друзьях, особенно тех, кто родился с одной половиной души в лимбо: окоченевших, беспомощно блуждавших в бедности или богатстве навстречу гибели. Ее тянуло к ним, тянуло пролить свет на их безысходное путешествие. Они бы не смогли признаться, что вампирили ее спокойствие и стойкость, не могли бы показать, как изнывали по ней. Но все же были по-своему вечно признательны Шарлотте, даже преданны, особенно когда умирали по ту сторону своих гнева и отчаяния. Они слали обратно свои призрачные языки – глубоководных океанских рыб, прозрачных и

сияющих, – чтобы часто шептать благодарности в ее давно оглохшие и уже мертвые уши.

* * *

Мейбридж ненавидел выдумку. Он не видел в ней смысла, когда столь силен и странен факт. Особенно он ненавидел выдумки о науке и открытиях. Обычно он брезговал подобными произведениями «литературы», но по какой-то причине люди без конца слали его неблагодарной персоне копии своих нелепых потуг в этой области. Они словно бы воображали, что между их фантазийным бумагомаранием и трудом его жизни – трудом точности и гениальной изобретательности – есть что-то общее, тем паче разжигая его презрение. В основном писанина шла из Франции – очередная уважительная причина ей не доверять. Первым ему досадила Жюль Верн, а потом не заставили себя ждать подражатели. Мейбриджу пришлось стать экспертом в этом тривиальном вздоре и следить за ним, чтобы тот никогда не отразился на его репутации.

По возвращении домой оказалось, что Англию своими историями о путешествиях во времени, невидимках и генетических мутациях засорял Герберт Уэллс. Эти басни казались терпимыми только потому, что были легкими и краткими и писались как для детей. За год до смерти Мейбридж видел «Путешествие на Луну». Наблюдал, как фильм Жоржа Мельеса осквернил и обрек движущиеся картинки на будущее лжи, наблюдал, как его техника вышла за пределы его же понимания.

Именно легкость и подмену правды на ложь Мейбридж считал ленью ума в этих людях прозы – людях, не отличавших один конец отвертки от другого. Они описывали то, чего быть не могло, и превозносились за свое воображение. Скрупулезная красота его изображений – со всей их бережностью, организацией и наукой – попиралась в незначительности этой беспечной выдумкой.

Его новые машины положат конец этому издевательству; проекция кружащего подкрашенного света напрямую в разум зрителя очистит от аддикции ко лжи и заместит наносное пятно творчества истинным ожогом искусства – во всей его безошибочной ясности.

Машина была заперта в комнате на другой стороне Лондона; он планировал спасти ее и привезти в Кингстон-апон-Темс, но правда была в том, что Мейбриджа устрашала уже одна мысль снова пустить машину в дело, как бы ни выросло его понимание ее потенциала и предназначения. И Мейбридж мешкал с решительным действием, снова и снова. Его руки слишком постарели и тряслись, чтобы переделывать ее, и ему хватало соображения не доверять технологию другим, чтобы потом смотреть, как ее крадут. Все это и вдобавок призрачное воспоминание о той женщине и произволе, который он от нее претерпел, подтачивало всякие планы на ожидающий механизм.

* * *

Сладко вставить толкать вставить суке в моей цепкой хватке толкать снова и снова прижать к земле чуют всё вставить сладко толкается мое сердце пульсирует она хочет сдвинуться но я держу крепко вставляю гну мы ворочаемся в пахучей пыли мои зубы на ее хребте толчки сердца сладко она скользит глубже не вырвется толкать она дрожит ерзает я кручусь нога скользит мы разрываемся катимся толкаемся касаемся земли запах земли выгнута спина мой член смотрит вперед она теперь другая сторона меня хвост к хвосту толкать сладко кружиться сцепиться вцепиться Потом порезы камни дети бросают камни мы связаны и не можем цапнуть они это знают мы кружим все еще сладко вставляю сцеплены выгнута вонь детей боль в обе стороны ебать кусать ебать кусать кровь от камней ай глаз толкаться крутиться камни она скулит я рычу вставляю теперь на нас вода другие трогают растаскивают она убегает полная моего семени я не могу стоять все еще сгибаюсь неуправляемый рефлекс ебать воздух нагнуть нагнуть ебать ничто снова и снова и снова кусать ебать кусать ебать выгнуть хребет все еще ебать ничто все еще все еще дети смеются но бегут от моих челюстей когтей в земле зубы ищут яйца пустые сладко она все еще у меня в носу пасти члене обтекает лизать сладко.

Все, кроме священника, дернулись взглядом к спящему псу, содрогаящемуся под столом. На миг их взгляды оттаяли от прежней

целеустремленности и стряхнули бдительность, чтобы приобщиться к дрожи, покусывавшей и сотрясавшей спящее животное, отцепились от напряжения и провисли в забытьи. Он проснулся в судороге. Стол убийц забыл о тайном внимании Цунгали и вернулся к предыдущему секретному разговору.

Когда Цунгали вышел в полусвежий воздух улицы, за его движениями следила одна пара глаз. Снаружи он чувял, как на высоких кронах оседает вечер, как овраг начинает петь вернувшимися птицами. Он знал, что это станет важным для него местом, но еще не знал, когда и чем. Оптимизм захлестнул его опаску, и он прочел молитву с одной рукой на талисмানে на шее, второй – сжав пистолет в глубоком кармане плаща из кожи и брезента. Он не убьет свою добычу здесь; он чувял, что это место припасло для него что-то другое. Он забрал кургузый дробовик из укрытия под мостом и перешел через ручей обратно к мотоциклу. Убьет он дальше по тропе.

* * *

Она приказала Муттеру принести следующий ящик на третий этаж. Он подчинился без охоты и пыхтел, потел и спотыкался на каждом повороте лестницы. В пункте назначения она велела вскрыть ящик и уйти. Зигмунд подчинился беспрекословно, хотя в руки и впились спорые разъяренные занозы.

Она убрала деревянную стружку и прочий упаковочный материал и заглянула в коробку. Внутри по трафарету было написано: «Урок 315: Песни насекомых». В ящике плотно угнездились сорок банок с завернутыми крышками; инструкций не прилагалось. Гертруда опасливо вынула один из контейнеров и подняла на просвет. В крышке были пробиты маленькие отверстия для воздуха, напечатана буква «J». Внутри содрогался элегантный черенок, который обнял толстый коричневый сверчок. Она стала доставать все банки, расставляя в алфавитном порядке на обеденном столе. После «Z» буквы удваивались: «AA», «BB», «CC».

Внутри стеклянных тюрем цвиркали существа всех видов. Внезапно – словно по неведомой команде – они как один застрекотали и зазвенели, их растущие голоски протискивались в жестяные дырочки

и вибрировали стекло, пока комната не стала переливаться от сонической красоты. Гертруда впала в транс, заломив руки в жесте спонтанного удовольствия. Измаил следил за ней, ожидая начала урока. Муттер внизу услышал, как ожил третий этаж, покачал головой и раскурил сигару.

Гертруда попыталась объяснить содержимое банок, но скоро обнаружила, что понятия не имеет, о чем говорить. Она кое-как пробралась через первые девять, пока не кончились слова. Она спросила ученика, что он думает. Тот пусто уставился.

– А что мне думать? – спросил он изумленно. – Что это, каково их место?

Она покраснела в своем невежестве и съежилась от неудачи.

Многие из последовавших ящичков были еще более таинственными, лишали дара речи еще до того, как упаковочный материал покидал руки. Спасение пришло с переменой настроения в Измаиле. Он решил оставить свой статус вздорного студента и милостиво слушал, без злопамятности, ранее заливавшей его голод по знаниям. Она действительно обладала опытом жизни в мире снаружи, но у него имелся острый ум для изучения представленных фактов без того, чтобы известная функция слепила их потенциал. Он пытался учиться по ее методу – размышлять о содержимом ящичков и приходить к выводу, основанному на вкладе их обоих.

Так они начали открывать ящички вместе, с новообретенным рвением и – как она верила – с растущей волной взаимоуважения. Это стало отдельным удовольствием: предвкушение, сложение смыслов, гадания. Он становился легче в движениях и речи, углы и грани его предыдущих маньеризмов сглаживались до более мягких, более естественных порядков.

Так проходили недели, пока одним днем, когда они возбужденно изучали текстуру и крепость разных видов кожи, он не спросил:

– Когда мы будем практиковать спаривание?

Она понадеялась, что ослышалась.

– Что ты имеешь в виду? – спросила она с опаской.

– Когда мне можно вложить свою мужскую трубку в твою расщелину? Для удовольствия и практики?

Она зарделась и растеряла слова, ее руки зажали замшу. Она потупила глаза и с удивлением заметила, что его штаны уже

растегнуты и зияют.

– Прошло много времени, и мне этого не хватает.

– Этому не бывать, – прошипела она. – Это неестественно и непристойно. – Она собиралась объяснить моральный кодекс и потенциальные генетические катастрофы, когда его слова наконец дошли до ее понимания. – Когда ты этим уже занимался? – медленно спросила она. – И с кем? – Не успели еще слова сорваться с языка, как она знала ответ, его картина формировалась в далеких уголках разума.

– С Лулувой, – сказал он. – Много раз.

Шок потряс самым странным способом. В рот проник неизвестный привкус; спину пробила дрожь, и ее захватило чувство, что она где-то далеко-далеко, что сама она крохотная, а ее тело распухло, расширилось до размера континента. Глаза залило колышущимся краем обморока, в ее ускоряющемся отдалении все вокруг стало периферийным. А хуже всего, что в этом океане отвращения, страха и омерзения трепетал восторг – на далеком острове, на другой стороне мира: в ее утробе.

Прошло два дня, прежде чем она смогла заставить себя вернуться. Она сама не знала, как сбежала тем днем; память промыло, чтобы освободить место для воображения. В черепе теснился образ их порочной пары – в головную кость упирались локти, колени и пятки. Когда она открыла дверь, он стоял у ставней, колупал краску. Он тут же обернулся и нервно заговорил. Она приложила палец к губам.

– Молчи, – сказала она. – Молчи.

Она подошла к нему, взяла его поднятую руку от ставней и крепко сжала в своей. Тихо провела в примыкающую спальню, направила к кровати и растегнула на себе длиннополый дождевик. Встала перед ним, голая и дрожащая. Он быстро разделся, путаясь в пуговицах, пока она сидела рядом. Избавившись от последнего предмета одежды, он положил руки ей на плечи и почувствовал ее дрожь. Его испугали мягкость и тепло, а ее трясло в возбуждении от неправильности, в страхе перед неизвестным и стремлении к несказанным уровням власти, которыми, она знала, впредь будет владеть. Он провел руками по ее телу, ощущая, как под пальцами наливаются изгибы. Все те же контуры, что и у Лулувы, но прохладная твердость первой учительницы никогда не двигалась под давлением его тела, ее жесткость была пределом его эротизма. Теперь же ему передавались

жар и податливость; она была как он, и они в изоощренной степени обменивались давлением. Пальцы коснулись внутренней стороны ее бедер, оставляя на них хлопья краски из-под ногтей. Когда он коснулся ее лобковых волос, их словно ударил разряд. Он опустил голову и заглянул глубоко в ее наготу. В бледном механизме его почти человечности провернулась неизведанная шестерня.

Они сношались два часа, сменяя позы и ракурсы, пока не достигли всех аспектов. Он заснул, оставаясь внутри, балансируя на ней своим весом. Она смотрела на его спину – на его дыхание. Он уменьшался из нее, оставляя на бедре, в тени своего тела, блестящий след. Его пенис был в форме спирали против часовой стрелки и, втягиваясь, вращался. В будущих сношениях она обнаружит, что с увлечением наблюдает за этим, но пока это движение оставалось скрытым и заявляло о себе щекочущим ощущением, из-за которого она поежилась, разбудив его из тотальной дремоты.

Гертруда впервые спала с другим. Она чувствовала усталость и оживленность. Крови не было – девственности она себя лишила очень давно. Она изучала келейные радости автоудовлетворения часами практики и пользовалась этими секретными актами, чтобы укреплять свои тайные помыслы. Она гордилась своей самодостаточностью, тем, как та возносила ее над обывательскими аппетитами. Этот день стал трещиной в ее сдержанности – той, за которой она будет следить с дотошной бережностью.

Измаил простерся на кровати, в экстазе и утешении от собственного удовольствия, впервые чувствуя, как на третьем этаже установилась его мужская власть. Когда она сдвинулась от него, он потянулся к ней, и только коснулся пальцами бедер, когда она схватила пальто и приготовилась уйти. Хотелось сказать что-нибудь теплое и благодарное, но не хватало языка. Под сердцем грела какая-то тонкая связь, и ему хотелось уметь гладить и успокаивать Гертруду этим нежным огнем. Она ушла, не освободившись от его мыслей, и заторопилась в ванную на втором этаже, где приготовила спринцовку с алкалиновыми солями.

Я чувствую себя так, словно спал, спал слишком долго. Мои сны – если это сны – всегда опережают приход дремы, ждут, чтобы их сюжет продолжал разворачивать их длину. Днем они постоянно ноют. Меня поражает их близость и моя отстраненность. Меня проглотил этот пятачок земли, куда путь прострочили предыдущие стрелы. Я не вижу лук – должно быть, он упал, лежит где-то в этом месте противоречий – здесь, где все пахнет снегом и светится влагой. Раньше ноги держались на земле, но теперь я без привязи, корни и жилы боли гложут мою надежду дурманными, смутными порывами. Меня стирает чувство знакомого – чувство, что мне уже знакомо это путешествие. Тропа стрел оставила меня пустым – таким же, как полуосвященный пейзаж вокруг.

Вот же она; там, в жухлой траве, проволоке и гнилой бумаге, она снова тянется к моей руке. Я слишком медлил в этом путешествии, меня соблазнили воздух и небо. Кровь еще не пролита, а история не может двигаться без этой смазки. Нужно порезать свет кровью, позволить Эсте выдохнуть и выгнуться в моей руке. Сегодня я отделю жизнь и проложу будущую дорогу величием. Довольно низин: на другой стороне великого леса лежат города, и я прожгу к ним путь. Она в моей руке, требует стрел и расстояния.

Я шлю первую синюю стрелу в вечер, навстречу первой звезде, поднявшейся над краем мира и засевшей среди далеких деревьев. Стрела украла цвет у bunga telang^[15], растущей на краю нашего огорода. Маленькие яркие цветки придали ей женский инстинкт, ласкающий изгиб дня, веля встать на этом месте и воспользоваться последним светом, чтобы выбрать направление на завтра. Так я и делаю, пока свежееет ветер, и его прохлада напоминает мне о сне, словно свист, ведущий к нетерпеливой истории.

* * *

Тонкой колонковой кисточкой он скорректировал момент смерти, увеличил крошечные ошибки и удалил их. После сосредоточенных трудов падающая лошадь будет идеальна.

Лошади направляли его жизнь и покалечили его путь. Он согласился на эту последнюю серию изображений, только чтобы убить

лошадь. Много лет назад, когда его мозг пылал после того, как перевернулся дилижанс и голову переустроил твердый камень, столкнувшийся с черепом, он видел их все время – кони галопировали в головной боли, высекали железными копытами искры для дендритных запалов. Он видел, как они идут рысью, белеют, вращают бешеными глазами. Слышал, как они цокают, эхо дразнило безлюдные ночные улицы за окном больничной палаты. Они отмеряли начало и кончину Мейбриджа с равной ритмичной поступью. До аварии он был пуст – человек, наполненный паром, бесцельный и набожный, ищущий того места в мире, где приобретет вес и ценность. Запнувшись о невидимый корень, несущийся дилижанс взметнулся в воздух и раскололся, увеча и разливая изнутри жизни. Выжил один Мейбридж, выброшенный среди развороченного багажа и переломанных брыкающихся мустангов. Он вырезал себя из парусины, детское платье приклеилось к его голове, пока рядом кровь, млея, стекала с копыт, теперь бегущих по небу, пытаюсь зацепиться за умирающие облака.

Суд присудил ему компенсацию для нового начала. На некоторых бумагах он снова сменил имя – под стать сбоям и извержениям в новом мозгу. Его до краев переполняло существование, и это ему нравилось. Мейбридж уже начинал пользоваться известностью, когда обратился к врачу в Англии. Теперь восходящему светилу искусства и науки подобало только лучшее.

Их первая консультация состоялась в больнице у реки, рядом с Лондонским мостом. Мейбридж пришел заранее: так было всегда. Он порицал нерасторопность и гиперкомпенсировал в каждом аспекте жизни. Репетировал самые тривиальные дела: готовился к малостям заранее; держал в руках ключ за четыре улицы от дома; говорил под нос, чтобы иметь убедительный ответ на вопросы, которые так и не поставят. Он заставил себя остановиться на мосту, чтобы медлительность самого времени нагнала его скорость. Уперевшись руками в шершавый камень, он взглянул на бурную деятельность в Лондонском Пуле; грузовые корабли швартовались вдоль берегов в три ряда; их мачты скрипели на фоне колючего леса кранов и новой вертикальности – дыма пароходов, тянувшегося выше зданий, покрабьи цеплявшихся за землю; десятки барж самодовольно толкались и коробили друг друга в беспокойных волнах и кильватере торговли;

туда-сюда сновали сотни мелких суденышек, перевозили лоцманов, пассажиров и сведения. Везде поверхность бурлила и щетинилась рабочими; стивидоры и лихтерщики ворочали тонны товаров и обменивались грузами, как будто в беспрестанной сумятице.

Временами реку вовсе не было видно. Обширная деятельность душила ее, а мусор, порожденный людской суетой, превращался в грубый плетеный ковер, вздымавшийся над скрытым волнением. Не верилось, что это та же река, что столь нежно текла через родной город Мейбриджа. В Кингстоне ее широкая рябь дарила отражение и красоту, служила для рыбалки, катания на лодках и созерцания. Там можно было ощутить жизнь Темзы. Деготь, дым, отходы и близость Биллингсгейта придавали отрезку перед ним совсем другое ощущение.

Он достал из кармана большие часы и со щелчком раскрыл. Часы – то единственное от семьи, что он хранил при себе в дороге; их подарили, чтобы облегчить его отъезд и помочь совладать хотя бы с одним измерением в заморских колониях. Он прищурился на римские цифры. Время наконец наверстало его, и он бодро двинулся на суррейскую сторону.

Уильям Уитни Галл работал по графику. Его смотровой кабинет засел высоко во лбу здания, глядя на реку. Из эркерного окна можно было увидеть шпиль Саутворкского собора и купол Святого Павла.

Как и они, эти двое мужчин были почти карикатурными противоположностями друг друга: Галл – тучный, плотный, лощеный; человек приземленный и владеющий своей жизнью; он сохранил кости своей трудовой семьи и обуздывал их хорошей, но простой одеждой; растущее величие носил с насыщенной весомостью. Мейбридж – сухой и поджарый, тоска в шелухе сомнений; сохмурившийся до библейского статуса; нервный, мятущийся и больной.

Они пожали руки, смерив друг друга взглядами. Мейбридж сел и приступил к повести о своей истории болезни; состоянии черепа со времен аварии, сдвигах восприятия. Галл стоял позади, изучая голову взбудораженного посетителя, чувствуя, как под скальпом реверберируют слова. Охватил чашу затылочного выступа и сдвигал ладонь, пока не нашел хребет брегмы, высшей кости. Ощупал венечный шов, чувствуя напряжение под своим управляемым давлением. Из-за этого движения квадратных рук под длинными

спутанными волосами речь казалась причудливым номером чревовещания; Галл перешел дальше, чтобы определить смещение или рассечение в носолобном шве. Затем сел за свой юрский стол и принялся конспектировать наблюдения.

– Силу удара приняло ваше лицо?

Пациент поднял руку и накрыл глаза и лоб.

– Здесь, – сказал он.

– Ответьте, – сказал хирург, – когда вы пришли в себя после крушения, что почувствовали? Какие сенсорные образы запомнились?

– Я почуял корицу, и несколько дней все расплывалось в глазах, как от двукратной экспозиции, – рука щупала шрам, где в тот ужасный день выглянула кость. – Корица и горелая кожа; немота в руках; и лошадь. Я лежал на земле рядом с одной из умирающих лошадей, глядел на нее, упавшую навзничь, на ползучее наложение множества тел, множества вытянутых ног. Я не знал, кто из нас вверх ногами.

– Как спится?

– Скверно. Иногда не сплю вовсе.

Не удивленный ответом, Галл кивнул и внес пометку в открытую тетрадь на столе.

– Это плохой симптом? – спросил Мейбридж.

– Нет, не для вас. Сон – сложная материя, телу нужен всего час. Но разум просит большего, и потому порой вовлекается душа, и с жадностью.

– Не уверен, что понимаю, доктор Галл, – но прежде, чем Мейбридж настоял на разъяснении, Галл закрыл вопрос и продолжил в ином направлении.

Вопросы длились двадцать минут. Затем хирург подошел к одному из шкафов со стеклянной дверцей и взял изнутри инструмент. Аккуратно развернул его часовые механизмы и закрепил на голове пациента. Приспособление было сделано из латуни и стекла, с деликатным набором складных наглазников и зеркалец, из них несколько затененных гальванизацией. Хирург подтянул стул лицом к пациенту и поправил металлические диски, подведя ближе к встревоженным глазам Мейбриджа. Над устройством работали обе руки, а лица доктора и пациента так сблизились, что они чувствовали запах дыхания друг друга. Поправки оглашались тихими храповыми щелчками.

– Это перифероскоп, – объяснил хирург. – Вам, ученому от мира оптики, он будет интересен. – Затем он сдвинул свой стул и физически повернул голову пациента к эркеру, закрепив зажимы на шее и подбородке. – Прямо как с вашими фотографическими портретами, – сказал Галл любезно. – Теперь извольте смотреть в центральную панель окна и сосредоточиться на куполе.

Пациент хотел поправить насчет старомодных портретов, где модель помещали в металлические копфгалтеры, чтобы она оставалась неподвижной, пока медлительная камера собирает изображение посмертного вида. Мейбридж давно избавился от подобных искусственных ухищрений. Он объяснит свои эксперименты с химической подготовкой пленки, он...

– На купол, пожалуйста! – потребовал хирург. Средний лист стекла отличался от остальных – был яснее, отливал зеленоватым. В его ярких пределах обрамлялся далекий купол. Пациент подчинился. – Теперь, пожалуйста, не двигайтесь, только смотрите на купол.

Это были последние слова хирурга, после чего он обошел с одной стороны на другую – за пациента. Коснулся аппарата, активируя вращающиеся диски и мелкие отражения света – почти невидимые, как солнца и луны далеких планет, что прятались в нестабильной тьме, таящейся в уголках глаз пациента. Ночь, переливавшаяся бесконечным пространством, притянула частицы света изнутри его зрения, из его окружения – даже из сияющего купола. Снаружи менялось время, и волна бурлящей реки уже устремилась обратно к морю. Что-то между двойным куполом затрепетало и сдвинулось в унисон.

Когда моторы остановились и все движение прекратилось, день пропал. Мейбридж сидел впотьмах, холодея, пока на морозном воздухе снаружи поднимались звезды. Галл зажег лампу и накинул на плечи пациента шаль, мягко снимая с головы устройство. Тот сидел на деревянном стуле, освобожденный и затекший, все еще не сводя глаз с эркера.

– Прошу, устраивайтесь удобнее, мистер Мейбридж.

Голос хирурга, казалось, исходил издали, сверху. Постоянная тупая боль в черепе ушла, и он чувствовал измождение. В растущей эйфории он чувствовал себя на удивление невесомым.

– Это ангелы, – сказал Галл. – Ангелы тишины, что скрываются между Шепчущей галереей и внешним куполом собора. Они пересекли Темзу и трепетали у вас в голове – вполне нормально чувствовать оторопь.

Он широко улыбнулся Мейбриджу, который хватался за слова хирурга, как за те же перила головокругительной галереи в соборе Святого Павла.

– Ваши глаза каким-то чудом остались целы. Зигморфные кости лица направили удар назад и вверх, в мозг. Предполагаю, что сила шока значительна, но не причинила долгосрочного структурного ущерба. – Галл откинулся на кожаном кресле и драматически посмотрел в глаза фотографа. – Могут быть побочные эффекты, но, думаю, этим днем я сгладил или хотя бы разбавил их. Периферийное зрение и его территории восприятия практически не изучены. Мое устройство измеряет и снимает лакмус их эмоционального потенциала, их ментальных гуморов, понимаете? Также я произвел у вас некоторые внутренние правки – без потребности в скальпеле или пиле.

Он встал и прошел через необходимые формальности для завершения встречи. Провожая Мейбриджа к двери, спросил:

– Планируете вернуться в Америку?

Фотограф кивнул.

– Рано или поздно.

– Для вас чем раньше, тем лучше. Несколько следующих лет нелишне провести в удалении от людей. Снимайте природу, устремите зрение и воображение вовне. Это пойдет вам на пользу.

Они стояли по сторонам двери, с рукопожатием над порогом.

– Вы пришлете чек? – вспомнил спросить Мейбридж.

– Нет, не думаю, – сказал хирург. – Мы еще встретимся, и у меня может появиться просьба, требующая приложения ваших умений. – Он снова улыбнулся и вручил пациенту белый конверт. – Прочтите в будущем, – сказал он и закрыл дверь.

* * *

Над великим немецким собором высились две башни, которые должны были стать близнецами, но иррациональное время задержало одну в развитии и тем вызвало флуктуацию идей, искажившую зеркальный принцип. Скелетную спираль повредили осколки моды и теологии, выгнув тонкую иглу из симметрии с сестрой. Тонкий серебряный мост соединял башни у вершин и выделял тонкую разницу между ними: на одной были часы, на другой – колокол. Каждый месяц с головокружительных высот этого тонкого перехода трубач приветствовал луну. Церемонию «панг луна» – одну из многих в ведении декана Кассия Тульпа, – импортировали вместе с камнями, замыслом и значением великого храма.

(Также многие туземцы верили, что захватчики завезли и внезапные перемены погоды. Неоспоримая правда, что зимою ночи пронизывал новый холод. Впервые иней увидели после того, как закончили шпиги, и совсем другие облака теперь рыскали над их шпигами и пытались проглотить луну. Но в самом Ворре ничего и никогда не менялось; он томился в жаре и игнорировал всякие слухи о льде.)

Декан стоял в свистящей круглой комнате с бледным музыкантом и одним из младших старост. Все пытели. После подъема по вечно винтящимся лестницам они хрипели острыми облачками посеребренного воздуха в холодном зале, находящемся в шестидесяти метрах над землей. Они стали подобны многим арктическим пожирателям огня: ни у кого не осталось сил на разговоры – и тем более пустыми были их паровые плюмажи речи. Им кружило голову от тошнотворной слабости, пока они отчаянно старались не думать о пространстве под ногами. Неопытный староста уже открыл сводчатую дверь на обледенелый мосток, дрожавший и певший с ветром. Музыкант стал того же цвета, что и платформа, на которой он выступит завтра.

Первым заговорил Тульп.

– Это совершенно безопасно, – сказал он. – Погода весьма необычна, никогда не видел ничего подобного, – прямо как в Старой стране. В таких условиях будет лучше слышно вашу музыку, она прозвучит надо всем городом.

Никто не двигался и не желал думать о завтрашнем дне, и все давно забыли Старую страну. Их мысли были о трении подошв,

прочности полов и крошечной толике личной гравитации, позволявшей противостоять ветру. Они с истовым усердием цеплялись за перила, стены – что угодно, лишь бы твердой природы.

Над полом появилась яркая голова Гертруды и напугала их своей легкостью.

– Вот ключи и лунное кольцо, отец, – она взобралась в комнату, пахнув волной возбуждения, от которой мужчины сжали свои опоры еще крепче. Вручив древний бархатный мешок отцу, она повернулась в ответ на порыв ветра из открытой двери и с целеустремленной радостью вышла на мост. Внутри у мужчин все сжалось, их хребты и животы скользнули за край и рухнули вместе с падающей в воображении девушкой навстречу твердой булыжной земле. Она же смеялась, когда ветер хватал ее за мех воротника и волосы в очередном ревнивом подражании огню.

– Я почти вижу другой конец Ворра! – крикнула она. – Вы только посмотрите на людей – как муравьи!

Ее туфли зазвенели по тонкому металлу, когда она притопнула ногой от возбуждения. За серебряный поручень она держалась только одной рукой; второй махала в бездну. Никто не вышел к ней, никто не посмел глянуть вниз. Завести ее обратно в башню стоило усилий.

В то время ей было четырнадцать, и она умоляла поручить ей ежегодную организацию призыва луны. После десяти дней беспрестанных упрашиваний вперемежку с молчаливой уверенной надменностью декан сдался, и ее вознаградили должностью: первая женщина, и самая молодая в истории.

Теперь, столько лет спустя, она снова стояла на мосту и оглядывала город. Внизу кувыркались стаи птиц, их истошные крики подхватывал поднимающийся из труб дым. Еще ниже в грязи корчился норный лабиринт торговли. Она посмотрела на дом номер четыре по Кюлер-Бруннен, озаренный косыми лучами дневного солнца; на его дворы и сад странной формы; на затворенные окна и на то, что, как она знала, было внутри. Она представила его – как блоху или крупицу пыли, твердую и бессмысленную, инкрустированную в верхних комнатах. Думала, каким крошечным отсюда покажется глаз Измаила. Глядя на улицы, которые он не увидит никогда, она передернулась от его растущей потребности пройтись по ним. Ее поле зрения пересек ворон, закружив над крышей, где спал или ходил он. Ворон

приземлился и взглянул в сад. Она ухмыльнулась от их телескопного сравнения, затем представила, как сверху на ее жалкий пригорок взирает Бог. Эта фантазия ей не угодила, и Гертруда переключилась на более практические материи, решив прийти тем вечером на ужин к родителям. У нее еще остались вопросы о старом доме.

В этот момент пришли в движение стержни под мостом, соединявшие часы с колоколом. Она почувствовала сдвиг их ожидания за секунды перед тем, как механизм подчинился заводу. Рванулся вес, и шестеренки вгрызлись в отведенное время. Ей пора.

Она повернулась к двери и чуть сдвинулась, когда что-то у далеких крыш зацепило глаз: что-то внизу, почти невидимое. Оно щекотало мысленный взор и ввело новое измерение в то, что, как ей казалось, она знает как свои пять пальцев. Гертруда вернулась, высматривая ворона. Вот: башня. Съеженный восьмиугольный дымоход, растущий из угла крыши дома номер четыре по Кюлер-Бруннен. В узорной сложности коньков пряталась плиточная башенка, и на ее кромке сидел ворон, со скользнувшей за край тенью. Очередной секрет дома, который она уже начала считать своим.

Гертруда слетела по винтовой лестнице в гулкой неф, где грохочущий орган состязался с заходящим солнцем, уже разжигавшим огромные витражи с западной стороны. Она знала, что если поторопится, то застанет Муттера до того, как тот уйдет домой на ночь.

Он уже вставил тихий торопливый ключ в замок, когда набросилась она.

– Зигмунд! Идем со мной.

Она вошла в ворота сада и спешно обогнула дом, глядя на крышу. Муттер следовал за ней, со слишком тяжелой от усталости головой, чтобы тарашиться в небо.

– Вот! Вот! – она показала вверх. Ей пришлось почти усесться в кустарнике под высокой стеной в дальнем конце сада. Только под таким острым углом было видно башенку, защищенную ломаной перспективой взаимосвязанных крыш. Она показала вновь. – Вот! Что там? Смотри же, смотри!

Он притопал к ней, хмуро согнулся и уставился наверх.

– Вот, вот! Что это?

Недолго прищуриваясь и сдвигаясь, пока она бешено тыкала в воздух, ответил:

– Это ворон, мэ.м.

В доме они поднялись по главной лестнице. Она стала очень молчаливой и увлеченной; Муттер – жестким, формальным и отстраненным. Он привык к ее приказам, перепадам настроений и надменной самоуверенности. Он стал их ожидать. Но еще никто не говорил с ним так, как сейчас заговорила она. Будь это мужчина, он бы выбил из него покорность и извинение. Ни одна женщина не смела звать его дураком и чем похуже; это ужалило его гордость и поцарапало мужское достоинство. И все из-за птицы, или какой-то вороны, или невидимой трубы! Его пропитала угрюмость, и он нес ее с хмурым отстранением.

Гертруда знала, как неправильно было терять самообладание; ей нужен этот человек, особенно сейчас. Она остановилась на лестнице и повернулась к нему лицом.

– Зигмунд, мне очень жаль за свое непотребное поведение. Ты добрый и верный слуга, а я говорила с тобой, как капризное дитя. Я должна просить твоего прощения – этого больше не повторится.

Он поразился. До того как она вспылила, он втайне начал уважать ее; теперь казалось, она оправдала его вывод. Он не нашелся что сказать, и в нем мелко изверглись сильные чувства, как горсть пенни в шляпе.

– Простишь ли ты меня? – спросила она.

Он выдавил кивок.

– Хорошо. Теперь найдем эту башню, – сказала она, возвращаясь к подъему и возглавляя поход через дом.

На третьем этаже, пока они крались мимо апартаментов Измаила, она приложила палец к губам. Они прошли весь коридор, но никакой другой двери не нашлось, как и в прилегающих комнатах. Муттер показал на потолок и прошептал «чердак», вход туда находился на другом конце здания.

Это была самая заброшенная часть дома, не считая подвалов или колодца, о которых лучше не вспоминать. Внутри крошечной каморки, что когда-то могла принадлежать слугам, Гертруда и Муттер нашли лестницу. Сработана она была иначе, чем прочий дом, – на ней все еще виднелись следы сучьев и органические узлы. Они словно намекали,

что лестница выросла, а не сделана – наколдована из лесу для измеренного предназначения. Ладная и крепкая, она вела к грубо покрашенному люку в потолке.

Муттер зажег масляный фонарь с окошком и полез вверх. Дерево под его тушей скрипело, когда он поднялся, откинул люк и поднял свет в темноту.

– Извольте подождать, госпожа, – сказал он и продолжил подъем, пока не стали видны только его ноги – огромные на изящных ступеньках.

Гертруде на ум мгновенно пришел страшный великан, преследовавший Джека по бобовому стеблю, чтобы наводить ужас на мир. Она подавила смешок и подняла глаза.

– Что ты видишь? – спросила она.

– Немногое, – ответил он.

Она тоже наступила на лестницу, намереваясь подняться, но так шумно запротестовала. Гертруда уловила запах зада Муттера – в сущности своей крестьянский аромат: корнеплоды и мясо вперемешку с тяжелым трудом, табаком и крепкой выпивкой – все умноженное неприязнью к ванной.

Она ступила на твердый пол и более угодный воздух, как раз когда он исчез в стонущей дыре.

– Бог мой! – сказал он голосом, зазвеневшим с сочувствующим резонансом: так ребенок кличет в лютию.

– Что? Что там? – воскликнула она, снова держась за лестницу, но в этот раз с твердым намерением.

– Вам лучше подняться и взглянуть, – позвал он.

Обширный чердак шел вдоль всего дома – с драматичным поворотом под прямым углом в дальнем конце, предполагавшим продолжение над смежным участком. Ее глаза медленно привыкали к сухому сумраку и резонансу, который как будто подстраивался под ее дыхание.

Муттер заговорил с неземной, музыкальной ясностью.

– Осторожней, пол покрыт тросами!

Слова трансмутировали в трепещущий хор ангелов. Если так очистился и раскинулся его грубый гортанный голос, как же прозвучит она?

Потом Гертруда увидела в свете лампы натянутые и мягко поблескивающие струны. Все расстояние разлиновала паучья пряжа, напоминая открытые поля с высоты птичьего полета. «Нитрат калия», – подумала она при виде поблескивающих линий грибниц, – но оно гудело. И вновь ей на язык вскочило то невозможное слово. Так уж стало заведено, что в этом непредсказуемом доме она вечно будет вопрошать странность странностью. Она выдохнула свой зов.

– ЧТО!

Все запело с жидкой вибрацией, окрасившей пространство и пустившей кровь в дрожащих капиллярах в пляс. Осязаемый восторг сотряс кости Гертруды и Муттера и вызвал на лицах улыбки – довольные, как у кота. Когда они вернулись к реальности, чердак был готов показать им больше.

Они увидели вялые нити, свисающие с потолка, почти касаясь струн. Ящики с железными шариками, придвинутые к стене, перемежали ящики с перьями. Горизонтальные тросы прислушивались к ним, замечая и комментируя их движения и искажая шепот Зигмунда. Тросы резонировали от каждого звука. Ее слово все еще пело в воздухе.

Между струнами по чердаку шла узкая тропинка. Не прямая – более логичная для фиксированного разграничения, – но петляющая, принуждавшая напряженные тросы к более случайным узорам – или, возможно, все обстояло с точностью до наоборот. Как и во всем доме, эти загадки не покрывала пыль. Гертруда останавливалась на пути через полукомнату, как в сновидческом дурмане, чтобы коснуться и восхититься предметами. Муттер был осторожнее и сунул руки глубоко в просмоленные карманы. Затем они увидели дверь – и без слов поняли, что та выведет их в башенку.

* * *

Временем, исчезнувшим в высокой комнате у Лондонского моста, промыли рану в его голове; тут Мейбридж не сомневался. Галл и перифероскоп исцелили в нем бездну, и в Америку он вернулся другим человеком. Пройдет еще три десятилетия, прежде чем он сможет лично отблагодарить врача и предложить взамен свои услуги; тем

временем какая-то его частичка упивалась перспективой этой встречи, и он решил поймать невидимое время своим собственным устройством, чтобы вновь повидаться с Галлом уже на равных. Ему было невдомек, что их весомый разговор перевесит сама машина.

Пока же его звали дебри, и он затеряется в их размахе. Мейбридж отправится на север – на Юкон, затем на запад – блуждать по открытым равнинам; он высосет их суть прессованными вручную линзами и заключит их великолепную мрачность на бумагу, познавшую затмение под его крепнущими руками.

Он знал это потому, что уже все видел – в пространстве, где раньше жила боль, спроецированным ярче, чем сама жизнь. В пространстве, захваченном между сном и явью и ограниченном рамками его зрения. Мешало лишь одно: иногда приходилось делить это пространство с чем-то еще – чем-то сродни зловещей встающей луне. Вот почему теперь он стоял на палубе, глядя на настоящую луну, плывущую высоко над черными волнами. Под ее белым сиянием, вдали от освещения корабля, он снова открыл мятый конверт Галла. Хирург знал об остаточном изображении и о том, как это пятно может осадить будущую ясность зрения.

После моего осмотра и суггестивной терапии вы увидите остаточный ожог. Он проявится в виде отсутствия – светящейся пустоты в разуме, что подчас будет докучать, но большей частью не отвлечет внимания. Это негатив купола, на который вы так долго смотрели в моем кабинете, – и в моей шутке об ангелах лишь доля шутки.

Я не выпишу препарата, дабы сгладить эти манифестации или же изгнать их. Я рекомендую усердный труд в избранной научной области, свежий воздух, солнечный и лунный свет в огромных количествах. Через некоторое время форма сего духа изменится, и вы заживете с ним в единстве. Желаю доброго здоровья и успеха во всех предприятиях.

У. У. Галл

Движение моря успокоило сомнения. Луна омывала свою внутреннюю сестру, пока написанные слова трансформировались от диагноза к пророчеству. Корабль вспенивал тьму – искра света, скользящая по великому изгибу воды. В обширном пространстве под ним резвились, бежали и смеялись миллионы гадов, тогда как в извечной тишине наверху множились и ревели звезды.

* * *

Цунгали следил за тем, как приходит день. Он снова переместил лагерь. Знакомился с участком, которому суждено стать его бойней. Дух убитого будет отправлен к предкам, и ритуал трансмутации произойдет здесь, в этой долине, чьего названия Цунгали не знал.

Он сидел у быстрой воды, наслаждаясь ее скоростью, ее величественным безразличием и звуком ряби, молча наблюдая за длинноногими птицами с их пронзительной кривизной клюва и крика. Он упивался жизнью, чтобы знать ее здешний вкус, знать блестящее богатство ее владений, в точности знать, что он отнимет у человека, который умрет на этой земле.

Взглянув вверх по течению, он попытался вспомнить некогда темневший там лес. Цунгали очень давно его не видел. Визуальная память поблекла, в отличие от легенд и дедовских сказок – по-прежнему горящих светло.

Но в основном он видел в мыслях раскрашенную картинку леса, парившую в конце реки. В пещере стоял бородач. Вокруг пещеры раскинулись бесконечные дебри – их силы омрачали небо. Перед пещерой бежала река, в виде синего петляющего потока. Под ее краской против течения плыла рыба, чтобы поглядеть на человека, что вскоре покинет каменное укрытие и войдет в лес, где встретится со своим Богом или демонами. Цунгали уже хотел отпустить образ прочь, когда тот вдруг стал ему знаком. В реальности снов или в воспоминаниях о другом мире что-то откликнулось на него. Цунгали закрыл глаза, искрящаяся вода замерцала на веках; он вперился сквозь них, искал. Вот ответ – фотография из музея, где у входа в резной домшкатулку сидел дед. Оба образа слились, и Цунгали вгляделся в раскрашенную тень за стариком, снова ожидая увидеть себя. Но теперь

там прятался не худой мальчишка с улыбкой. Там раскрылись огромные крылья человека, которого он помнил как святого или пророка. Они заполняли пространство в пещере и не смогли бы пролезть в зазубренный проход. Цунгали широко распахнул глаза, наконец-то узнав выражение на бородатом лице.

* * *

Циклоп не находил себе места. Он исследовал каждую щелку и уголок ее тела и своих апартаментов, а теперь желал большего. Он хотел разнообразия и различия, контраста и сопротивления. Он знал, что они снаружи, чуял их напор на ставни. Еще он знал, что у всех остальных снаружи по меньшей мере два глаза. Следовало догадаться. Однажды он задал Лулуве вопрос, почему у всех животных, что она приносила, слишком много глаз. Она ответила, что они – существа низшего достоинства. В то время ответ казался истинным. Возможно, как и сейчас. Он не видел ничего великого в Гертруде или Муттере – уж точно не в сравнении с ним или Родичами. Но, будучи запертым в четырех стенах, он никогда не доищется правды. Было слишком много секретов и тайн. Никто не знал, кто слал ящики или платил жалованье Муттеру. Это циклоп открыл нечаянно; он учился лжи, наблюдая за остальными, подсматривая недомолвки и переглядывания. Ему хотелось устремить свой могучий и неразделенный взгляд глубже в мир, но Гертруда не позволяла. Для его же блага, говорила она. Заявляла, что бережет от неизбежной жестокости за стенами дома. Но она не могла знать, что ему преподали уроки жестокости – на примере содержимого двух ящиков, доставленных вместе уже так давно.

Он знал, что за ним следят. Слышал наверху движение, слышал приглушенные голоса, когда в доме должно быть пусто. Ему не полагалось заметить маленькое отверстие, появившееся в орнаментальной лепнине потолка, – прореху, позволившую им заглянуть в его заточение. Он, в свою очередь, ковырял краску у замка ставень, отколол щепку, которую можно было вернуть на место слюной и ловкостью рук. Видел двор, животных и иногда улицу, когда открывались ворота.

Иногда по ночам ему снились Родичи: бурая твердость их доброты; неколебимое касание Лулувы; водянистое шипение в ее теле. Иногда по ночам он составлял вместе данные ему уроки и низал на нить смысла целиком своего изобретения. Если она не позволяет увидеть мир снаружи, тогда Измаил не позволит увидеть мир, что он сооружал внутри.

* * *

Шарлотта провела в номере отеля немало свинцовых часов, особенно после переполоха прибытия. Она до сих пор чувствовала в ладони жестко сжатый «дерринджер» и удушающую толпу ухмыляющихся лиц, размазанных по окнам. Она странствовала с Французом по многим местам, но никогда – столь примитивным. Раньше он всегда оставался с ней, в сообщающихся номерах. Никогда не выходил на такую улицу, никогда не назначал встречи и планы без нее. Она волновалась из-за него, зная, как легко он попадает в неприятности. Склонность к бедности и преступности вела его в самые злачные и опасные уголки города. У него был нюх на подобные трущобы, и он мгновенно находил их даже в самых новых, самых незнакомых краях. Но никогда не гулял там один. Они всегда прочесывали улицы и переулки вместе на массивном автомобиле, часто закупоривая дорогу и царапая осыпающиеся стены, становясь сенсацией. Иногда, когда Француз предавался сибаритству и уже не хотел искать добычу, он разворачивал карту местности, наливал бокал любимого эльзасского и часами ее изучал. Представлял себе улицы, вынюхивал подворотни и, наконец, выбирал место. Отряжал туда ее с шофером, чтобы залучить или поймать партнера для его ночи удовольствий. Эта обязанность претила ей больше всех, и только из-за нее она чувствовала себя грязной. Они никогда не похищали невинных и никогда не забирали человека против воли: любые сомнения у избранного быстро лишались голоса предложением денег. Но ей было стыдно возвращаться на машине обратно, особенно когда они расспрашивали, что от них потребуется и какова в этих утехах роль у нее. Она никогда не была ханжой, но последние пять лет расширили ее опыт до невероятного.

Трудность заключалась в ее доброте. Она могла описать сексуальные детали и затейливые грешки, которые изощряли избранных для встречи с Французом. Она могла прояснить ожидаемые от них манеры поведения и уровень жестокости. Но не могла выразить им мгновенную разлуку с человечностью после того, как все будет кончено. Внезапность изгнания, ускоренную абсолютным отвращением к их существованию. От этой части ритуала она скрывалась сама – закрывала все двери в своих комнатах, предоставляла шоферу распорядиться унижительной процедурой, что, как она подозревала, было ему в радость. Шарлотта не испытывала иллюзий, будто эти действия оскорбят использованную мразь улиц; более того, многие были вне себя от восторга, когда сбегали из липнувших страстей эстетской постели, упиваясь допьяна с пачкой банкнот, ухмыляющихся в карманах. Она испытывала к ним жалость, но по-настоящему ее огорчала развращенность Француза.

Он был не просто испорченным баловнем, проматывавшим состояние семьи на свои капризы; она знала многих таких. Он владел чем-то еще – или оно владело им: изувеченной душой, что еще могла бы расцвести в гений, позволь он прорасти рваным ошметкам радости. Она это видела и знала, что подобное ближе к его стремлениям, чем измождение сердца и отравление тела. Она знала, что в тех, у кого всего в изобилии, всегда существует разрыв, пропасть, которую ничем не заполнить. Задолго до встречи с Французом, до того, как его мать даже подумала предложить ей стать спутницей ее любимого сына, Шарлотта извела голод и многие его проявленья. Бесплодный каток эмоций, подгоняемый и удушенный автоканнибализмом совести. Унижение от животного поведения, впадение в жестокость утраченной приязни. Она приняла предложение из доброты и потребности подарить возможность перемен. Они думали, ей нужны деньги и социальная позиция получше, – возможно, что так. Тем не менее сделка оказалась хорошей. Сыну досталась компаньонка, которой он учился доверять, которая отбрасывала блик красоты на все его деяния. Он мог с гордостью носить ее в парижском обществе – а она ничего не ожидала и не требовала взамен. Мать могла доверить сына умному и элегантному созданию, которое удержит его хотя бы в одной колее, считавшейся в приличном обществе респектабельной и нормальной;

более того, мать заполучит молодую девушку, но не пострадает от махинаций и желчности невестки.

Но то были злонамеренные и трагические фантазии; мать знала, что аппетиты сына требуют противоположного. Предыдущие попытки пробудить в нем маскулинность кончились прискорбными катастрофами. На двадцатый день рождения она предоставила ему милovidную любовницу, но бедняжку сводили с ума от скуки бесконечные вялые чтения нескончаемо долгих стихов ее предполагаемым любовником. Столь чудовищным было оскорбление, что она потребовала у пожилой женщины сто тысяч франков компенсации – возмещение слухового и временного ущерба. А Шарлотта? Она какое-то время могла не спорить и притворяться. В ее жизни не было потребности в браке – по крайней мере пока. Вот так и вышло, что два незнакомца стали свидетелями общей жизни.

Но Француз по-прежнему не шел. Шарлотта справилась о времени, чахнушем в легком деревянном футляре напольных часов на другой стороне ее номера в колониальном стиле. Думала позвать шофера, но не вынесла бы его одноцветного безразличия. Ужин был в семь, и после придинок Француза к меню она страшилась реакции повара на задержку. Подошла к окну, толкнула звенящее стекло и вышла на балкон. Это был единственный отель в Эссенвальде, чей уровень удовлетворял привередливым требованиям Француза. Балкон тянулся вокруг всего здания. Она двинулась по прямоугольному периметру. Вглядевшись в толпу внизу и прикрывая глаза длинной изящной ладонью, всмотрелась вдаль.

Там виднелась черная тень Ворра, запечатавшая город с севера. Шарлотта искала Француза в лицах и походках оживленных улиц, но не могла отыскать в постоянных сдвигах и суете. Вдруг она осознала, что один человек в толпе стоит и смотрит на нее. Он был высок и неподвижен, лицо закрывала туго затянутая гутра из черного шелка. Она чувствовала его взгляд даже на расстоянии нескольких сотен метров. Холодок ковырнул ее оптические нервы костяным гвоздем, в глазах померкло от напряжения, и она схватилась за скрипящую дверь. Позади, на площадке перед номером, раздался стук. Приближающиеся шаги, незнакомые и тяжеловесные, увели ее от улицы и незнакомца в комнату, когда она взяла себя в руки и приготовилась к гостям. Никто не постучал, но латунная ручка медленно повернулась, и внутрь тихо

вошел Француз. Она так обрадовалась ему, что не сразу заметила странность его поведения.

Шарлотта приветствовала Француза лаской и теплом. Он нежно улыбнулся и коснулся ее руки. Неслыханно. Ее взяли тревога, оторопь и онемение. Из него словно вышел весь воздух, когда он сел в одно из огромных марокканских кресел и сказал, уже закрыв глаза:

– Шарлотта, дорогая моя, я самую малость устал.

Они находились в двенадцати годах от другого отеля; отсюда туда пролегла дорога упадка и зависимости. Палермо ждал – с позолоченным и мраморным в барочной печали окончанием. Но этот вечер был отдан роскошному покою. В номере трепетал аромат жасмина, проскользнув через кованое железо балкона. В сумерках подкрадывающимися затмениями трепетали мотыльки, ускоряли свой хор лягушки и цикады. В комнатах установился покой. Француз уснул в том же кресле, на которое рухнул. Шарлотта убедилась, что он здоров, затем разула его, снесла в прихожую шляпу и трость. Последняя казалась на удивление невесомой – Шарлотта же излишне напрягла мышцы, а потому удостоилась иллюзии левитации, отчего даже рассмеялась.

Француз проспал три часа кряду, прежде чем медленно проснуться, скрипя в коже и моргая в комнате, где она зажигала лампы. В его глазах была прежде не виданная мягкость. Она увидела ребенка в мужчине, удивление и удовлетворение там, где раньше скреблись цинизм и алчность. Этого человека она всегда знала, но почти не встречала.

– Сядь рядом со мной, – сказал он. – Я хочу рассказать тебе о своем черном друге и его видении леса.

Они проговорили долго, прерывая беседу только на то, чтобы принести вино и перенести ужин. Он рассказал о новом друге, о его доброте и его уроках, о часовне, святых и живом Адаме где-то в сердце дикого леса. Он хотел, чтобы она познакомилась с его Черным принцем и причастилась этим сказкам о вере и чуде. Тихо, ни с того ни с сего, он спросил:

– Серебряное распятыце, что ты порой носишь; великую ли sentimentalную ценность оно для тебя имеет?

Шарлотта слегка смешалась, так что он продолжил:

– Дело просто в том, что я хочу сделать своему Принцу подарок; могу ли я его у тебя приобрести?

– Оно не имеет для меня никакой ценности, – солгала она. – У меня есть несколько других – прошу, возьми.

Он обрадовался и быстро пересек короткое расстояние между ними, чтобы поцеловать в щеку. Его губы оказались на удивление холодными. Удовлетворив свою просьбу, он продолжил рассказывать о прошедшем дне.

Они перешли в столовую, без перерыва в его воодушевлении и без паузы в ее изумлении. Ужин был куда легче, чем Француз требовал обычно; этим вечером – только шестнадцать перемен блюд. Во время красноречивой трапезы он временами перенимал голос Сейль Кора и над столовым пейзажем трапезы сдабривал витиеватый французский богатыми арабскими страстями и торжественной интонацией. Она громко смеялась над произношением, ее так радовало ликование Француза. Он был гением подражания. Умел копировать любые голоса, незнакомцев и друзей, животных и даже неодушевленных предметов. Однажды он зачаровал поэтов на творческом приеме, достоверно изобразив старые петли. Она обожала, когда он был игрив, когда его дар не кис от злобы.

Почти в полночь он оставил стол и сел с сигарой за пианино. Шарлотта вышла на балкон в блестящую ночь. Город уже спал, небеса внимали звукам существ внизу, звезды аннотировали трель и звень, звучавшие во тьме, как стекло. Из номера к ним присоединился шепот Сати, и в этот бесподобный момент казалось, что между временем и близостью всего сущего настало согласие, словно у неуклюжего человечества может быть свое место во всей этой бесконечной идеальной тьме – если оно будет играть в сторонке. Где-то подальше, с закрытыми глазами, – но в согласии.

* * *

Враг наблюдал снизу, стоя среди деревьев близлежащего сада, глядя на красивую женщину, чье излучение было впору и в пару ночи. Слабая музыка оказалась совершенно неизвестной, но она касалась и переиначивала сердце необратимым и загадочным способом; словно

вставала в тенях ранее незаметных мест. Женщина на балконе была желанной, уникальной и очевидно чужой в этой стране. Она простояла долго, впитывая звезды, тянулась своей жизнью навстречу всему существу. Враг чувствовал температуру ее сердца, глубину понимания и чистоту надежды.

Потом он ушел, унося в дыхании ее частичку и растворяясь в интимности дремлющего города.

* * *

Это было идеальное место для спланированной засады Цунгали. Здесь дорога у воды была очень узкой, она вынудит странника замедлиться и смотреть, куда он ступает.

Он не знал, сколько придется ждать, – нельзя исключать возможность, что его застигнут врасплох или что жертва проскочит, пока он спит. Но белые всегда извещают, где они. Они рассылают носовую волну, так что земля и животные ропщут задолго до их проявления. Их след глубок. Попранной и зараженной, земле приходилось оправляться даже после самых мягких из их путешествий.

На тропе Цунгали разложил ловушки, по прикосновению выпускавшие в воздух пары и примеси. Ловушки, что сменяют цвет птичьей песни или вынудят насекомых надолго замолкнуть и прислушаться, выдавая наметанному уху крошечные вибрации предостережения. Он сидел за рекой, подняв пыливый прицел винтовки для дальнего выстрела. Это простое убийство, так что он искусственно создал себе преграды, чтобы отточить мастерство. Последних двоих он убил вблизи и слишком быстро. Ему вновь хотелось воспользоваться «Ли-Энфилдом» и доказать свою меткость.

Цунгали рано поужинал свежей речной рыбой и стоял в бамбуковой роще, когда небо высоко над головой рассек свист; свист сменился на легкий тонкий ритм изошренного перестука. Ровный и сухой, он красиво соскользнул к Цунгали по листьям с постоянной переменной акцента и пауз. От его вида Цунгали прирос к месту; в шуршащую листву пред ним нежно пала длинная синяя стрела с прозрачным оперением.

В этом вечере он не один. Должно быть, у него есть соперник в борьбе за кровь топчущего белого – а любое существо, способное сделать такой выстрел, не стоит недооценивать. Подняв стрелу, он поразился отсутствию веса. Изучил наконечник и нашел там крохотную семенную шапку из клювов, по отдельности сшитых нитью в форме гексагональной скорлупы, позволявшей воздуху ворковать в обтекаемых контурах. Судя по высокой траектории, стрела пришла издалека, но Цунгали все равно торопливо осмотрелся и почувствовал, как по телу ходит дрожь.

На следующий день, рано утром, в миле от него на минуту-две прервались птицы. Он нашел насиженное место и поместил Укулипсу в желобок, найденный на плоском камне. Он был готов. Он ждал, когда на мушке покажется неизбежность.

В двери башни не было скважины – только щель со сглаженными от использования и крысиных зубов краями. Гертруда вложила внутрь свою плоскую ладонь, пальцы коснулись шнура. Она зацепила его между лакированными миндалями ногтей и вытянула.

– Вернемся на свет, госпожа, – сказал Муттер.

Она услышала в его голосе настоящую заботу, а не страх. Масляная лампа чадила, вокруг чернились клубы ночи. Волшебное стало уступать жуткому.

– Да, – сказала она, отпуская шнурок на другую сторону двери. – Мы вернемся поутру. В новом свете мы увидим куда больше.

Они слезли в цивилизованную часть дома. Потерявшись в мыслях, она вышла из лестничного колодца, смахивая со складок платья паутину и пыль. Не сразу она заметила, что ее действия чисто механические, задуманные обозначить возвращение – с одежды нечего было снимать.

Свет провозгласил, что сегодня будет славный день – сперва вяло драпированный водой, но затем, к полудню, – с озаряющим накалом, сжигающим след всякой тени. Они поднялись по лестнице на третий этаж в насыщенной яркости, следовавшей за их восхождением, – тончайшие лучи солнца кружились в поющем чердаке, создавая великолепный ландшафт с меняющейся перспективой. Добравшись до цели, Гертруда снова достала шнурок и энергично подергала. Дверь с мясистым щелчком открылась, и они взошли на очередную лестницу.

– Иногда я задаюсь вопросом, закончится ли когда-нибудь этот дом, – сказала Гертруда, начав подъем в этой обшитой деревом трубе. На вершине под красивыми изгибами крыши-купола ждал большой круглый стол. Латунный стержень и рычаг указывали на диск, укрытый поблекшим шелком. Она мгновенно поняла, что это, и ее сердце забилось от восторга.

Она сдернула ткань с диска и обнажила его мягкий изгиб. Затем опустила рычаг, взявшись за толстый латунный набалдашник-ручку на конце стержня. В потолке отворилась панель, бросая пестрый свет на

стол. Она повернула ручку настройки, и содрогающиеся пятна явили смысл в виде города под ними. Муттер опирался на белую поверхность, когда по тыльной стороне его ладони пробежала лошадь с экипажем. Он отдернулся как ужаленный.

– Все хорошо, Зигмунд, – сказала Гертруда. – Это всего лишь картинка.

Она вращала ручку – и город вращался и растягивался, покорный ее власти. Постоянно подстраивая рычаг и стержень, она по желанию выбирала и фокусировала отдаленную жизнь. Трала контуры горизонта и черную тень Ворра, прежде чем увеличить вход в собор. Дивясь своему идеальному отстранению, ловила лица выходящих из огромной двери, а их целеустремленность и активность редуцировались и размазывались по белому блюдцу – ей на обозрение и потеху.

Тогда Гертруда увидела еще одну возможность, поднимающуюся из этой молочной белизны; камера-обскура послужит решением для недовольства циклопа. Отсюда он сможет наблюдать за городом с безопасного расстояния, утоляя любопытство движущимся изображением. Она решила преподнести сюрприз и привести Измаила на чердак, не объясняя зачем.

На следующее утро на городской площади проводили уличную ярмарку, а Гертруда одела циклопа потеплее, отперла двери и повела через дом. Он не выходил из комнат с самого травматического дня прибытия Гертруды и кончины Родича. Он озирался и дивился произошедшему съезживанию в сравнении с его собственным ростом. Муттер возглавлял поход на чердак, за ним следовал Измаил, замыкала Гертруда. Они вошли в поющую комнату, и в нежном камуфляже сдержанности она поймала его ладонь. Вопреки их ожиданиям, Измаил мгновенно узнал приспособление.

– Чудесно, – воскликнул он. – Это устройство Гёдарта.

Муттер и Гертруда оторопели.

– Что? – спросила она.

– Устройство Гёдарта, один из редких и уникальных инструментов Йонгуса Гёдарта.

При слове «Гёдарт» пол зазвенел с более глубоким и значительным резонансом. Циклоп отстранился, чтобы изучить

струны. Гертруда почувствовала, как в ней поднимается иррациональный гнев.

– Пойдем дальше, – сказала она, быстро двинувшись через комнату с Муттером по пятам. Но Измаил отказывался торопиться, и он шел к ним медленно, наслаждаясь тросами и их реакцией, когда в них бормотал. Он коснулся всех, дергал за провода, привязанные к крыше, поглаживал перья и взвешивал металлические грузила со всевозрастающим удовольствием.

– Мы пришли смотреть не на это, – сорвалась Гертруда, чувствуя, как важность ее дара разбавляется посторонним и не имеющим отношения к делу вмешательством и пониманием. Измаил нехотя оставил свои изыскания и нагнал их, на пути тренькнув в нестройном взмахе пятью струнами. Вместе Гертруда, Измаил и Зигмунд поднялись в темный восьмиугольный зал и встали вокруг круглого стола. Она схватилась за рычаги управления и с драматическим жестом оживила проектор. На крыше прорезалась узкая щель, и на стол выпрыгнула ярмарка, переливающаяся от деятельности, красок и суеты. Муттер, чувствуя прилив эмоций, вернулся по лестнице на чердак в поисках окна или проема.

Гертруда следила за циклопом. Тот стоял совершенно неподвижно, слегка склонившись над столом. Его глаз посреди лба был огромным, пугающим. Сам он стал бледен, маслянистая пленка испарины на коже отражала свет сцены перед ним. Внезапно ее тело переиграло то отвращение, которое она испытала в их первую встречу; теперь казалось, будто этот момент был десятки лет назад. Их интимность и ее растущие чувства к нему сделали его лицо нормальным: интерес и секретность заретушировали известные аномалии, а близкие отношения и желание зашили различия между Измаилом и Гертрудой.

Ее захлестнул шок от старого чувства, особенно сейчас, когда они стояли вместе, а момент мог переломиться в любую сторону. Ошибка ли привести его сюда? Отчего у него такой вид? На светящийся диск капнула слеза, ненадолго создав еще одну, маленькую линзу. Из глубин груди Измаила вырвался нераспознаваемый звук. Сперва она подумала, что это сплав тоски, но звук, проскользнув по всему диапазону ее восприятия, менялся, принимая более резкие и тревожные оттенки. Упала вторая слеза, и Гертруду охватили

потребность подойти к нему – прикоснуться и успокоить – и желание сбежать. Стол как будто становился ярче, пока комната вокруг чернела.

Он начал раздеваться, пока она смотрела, не в силах что-то сделать или сказать. Расстегивая пряжку, он заметил ее неподвижность, как совершенство неподвижности мнет воздух, и со злостью ткнул пальцем в ее блузку, стягивая с себя штаны. Когда она не отреагировала, указующий перст превратился в сжатый кулак, который схватил послушные кружева и выгнул девицу к себе. Жемчужные пуговицы разлетелись во все стороны, и она уже было прикрыла свои пугливые груди, когда он крикнул: «Для меня! Ты – для меня!» Она закрыла глаза и медленно сняла испорченную блузку и тонкие бретельки корсета. Он разметал оставшуюся одежду, топча ее и хрустя нетерпеливыми, непослушными ногами по упавшим пуговицам.

Пурпурный член Измаила был огромным, спиральный ствол изворачивался и телескопировал туда-обратно под тяжелый бой сердца. Когда Измаил уложил Гертруду на столе, его глаз продолжал ронять слезы, теперь ей на ноги. Толпа в мутном расфокусе и уже неуклюжая архитектура размазались по ее голому животу и рваной одежде. Тела объединились в немом свете, и глубоко внутри она сдалась, мечтая теперь, чтобы у нее забрали ключи. Ей вновь хотелось быть ребенком безо всякого соображения; разорвать свое лицемерие всезабывающей утробой и баловать у теплого очага чадо, позволить молоку залить ее лайм и самой вывернуться наизнанку, облачить собой чужую жизнь, которая сопроводит ее к нежной улыбающейся смерти, когда все заговорят о ее мудрости и любви. В долгий период молчания перед тем, как он отодвинулся от нее, в нем развернулась безжалостная автоматическая доброта, и эта тяжесть совпадала с шоком возбуждения, втайне смеявшегося в Гертруде. Обнаженность выражений сковала их стыдом, столь величественным в глубине своих противоречий.

Измаил отвалился, пока она истекала на полированную поверхность ноздреватого неподвижного стола. Внизу, по правую руку, невидимый для их задыхающихся тел, открылся на неизмеримые доли секунд ящичек. Он обнажил полость, аккуратно скрытую изогнутым шарнирным кусочком полированного дерева. Изучи они его, обнаружили бы крохотную щель, смазанную вечной влагой и

спрятанную под клапаном-языком. Та ожидала, совершенно незамеченная парой. Когда они отвернулись друг от друга и комнату наполнило только их белое дыхание, отверстие исчезло, снова стало невидимо, заподлицо.

Измаил стоял, все еще не раскрыв глаз; слова существовали где-то вне его. Она распростерлась на столе и окинула себя взглядом. Какая-то предыдущая частичка ее бытия хотела поправить плеск красок, двигавшийся по телу, – свернуть фокус к детальности и отмотать часы назад. Она наблюдала, как Измаил возвращался в реальность; начал щипать стол большим и указательным пальцами, пытаясь поймать суетившиеся на улицах лилипутские фигуры, поднять их. Она решила, что он шутит, но не разглядела на строгом и перекошенном лице ни следа забавы.

Когда они покинули башню, то обнаружили на чердаке свет и аромат древесного дыма. Муттер нашел и открыл окно на крышу. Он уже давно ушел, спугнутый их звериными звуками, скользившими вниз, чтобы дразнить и мучить раскинутые провода.

Они вернулись на третий этаж. У двери своего обиталища Измаил протянул к ней руку. Она ответила взаимностью, тронутая жестом приязни. В миг, когда их руки встретились, она поняла свою ошибку. Его растопыренные пальцы были красноречивы в своей холодности.

– Нет – сказал он, – ключи.

Так циклоп сменил свой статус в тихом доме на Кюлер-Бруннен; начался следующий эпизод их совместной жизни.

* * *

Когда молодой Цунгали вернулся из заморского путешествия, слухи об Одномизуильямсов разбежались далеко за границы Настоящих Людей и достигли побережья. Войдя в деревню, Цунгали в ужасе узнал, что избранным был тот самый офицер, который дал ему Укулипсу. Англичанин проявил к нему доброту и научил метко бить из ружья, выделялся из остальных белых и выказывал родство с Настоящими Людьями почти с момента своего прибытия; он рискнул неудовольствием своих начальников и сделался изгнанником, когда спас великий дар – блаженную шаманку Ирринипесте – из церкви и от

мерзости, которой ее подверг священник со скрещенными палочками. И все же Цунгали задавался вопросом, можно ли верить этому человеку, восстанет ли он против своих, когда это будет важнее всего, и поможет ли изгнать лживых захватчиков навсегда.

Сомнения оказались скоропреходящими. Уже спустя минуты после возвращения пришли новости, что брата Цунгали и двух их друзей удерживает морское племя, которое требовало возвращения долгожданного Одногоизуильямсов на побережье, где народ с нетерпением молился о своем мессии.

Цунгали немедленно сообщил о ситуации Уильямсу. Рассказал ему о похищении и о встрече с Морскими Людьюми, просил пойти со спасательным отрядом, о помощи в переговорах; чего он не упомянул, так это что сам англичанин и был обменной монетой – вождем племенным трофеем, который гарантирует безопасное освобождение соплеменников.

Они встретились на песке: джунгли по одну руку, море – по другую; шестеро Морских Людей держали трех заложников. Цунгали привел представлять их племя пятерых: трех воинов, полицейского и, конечно же, Уильямса, который стоял слегка в стороне, неподвижно, прижимая к себе маленький рюкзак. Он снял ботинки – те висели у него на шее, связанные шнурками, – утопая босыми ногами во влажном вязком песке. Заложники были связаны вместе и стояли на коленях перед пленителями, вооруженными копьями и клинками. «Энфилд» Цунгали не взял. Вместо него принес церемониальное копьё с привязанной эмблемой власти: он говорил от имени своего народа.

Вожак Морских Людей гаркнул свои условия и внушительно завершил речь, стукнув древком копья по затылку брата Цунгали; глаза того перебежали между путами, братом и чужеземцем.

Они уже заканчивали с формальностями встречи, когда Уильямс поднял руку и выступил вперед. Он извлек из рюкзака маленький сверток и бросил его между двумя сторонами. Произнес десять слов на языке Настоящих Людей, а потом достал из сумки чудовищный пистолет, подошел и в упор застрелил брата Цунгали и вожака Морских Людей. Раны плеснули на ослепительно свежем свете, сила отбросила тела на песок. Никто не сдвинулся с места. Уильямс поднял зазубренное копьё мертвого вожака и подошел к Цунгали, забирая отмеченное копьё из его цепкой хватки. Произнес еще два слова и

отправился в лагерь, и звук его шагов совпадал с сердцебиением застывших воинов.

Пленников отвязали от умирающего, который бился и туго натягивал веревки, пока кровь пропитывала песок. Никто не говорил ни слова – все просто рассеялись, пустившись каждый своей дорогой в джунгли и на побережье.

Брошенный между ними сверток был шаманским знаком перемирия великой силы; никто не смел его оспорить. Тот факт, что он принадлежал Уильямсу, подтверждал истинность как его слова, так и воли. Его речь подтвердила, что он действительно Одиноуильямсов; что он вернулся. Но предательство племен и все содеянное значило, что впредь он не принадлежит никому. Необходимо принести жертвы, чтобы умиловить его гнев и удержать племена в постоянном равновесии.

Цунгали догадывался, откуда взялся сверток, кто его сделал и вложил в Уильямса слова. Весь инцидент прошел под надзором шаманки; это она предупредила Уильямса и дала ему власть для торжества.

Стал подниматься прилив, вода заполнила отпечатки на песке, где стоял Цунгали. Он думал о ее опаловых глазах, наблюдавших за ним в этот момент, думал о ее изумительном величии. Она станет ключом к восстанию; ключом, который только что провернул Уильямс.

В Цунгали не было ни ярости, ни печали. Все сгладил сверток; здесь свершилось праведное. Он поднял останки брата и вернулся домой, где уже закипал гнев его племени.

Вслед за ним пришло море и забрало кровь. Блестяще-красное вихрилось с желтым песком под кристально-зеленой водой. Сверток подняло и унесло – далеко от суши, где и растворило в пульсирующих волнах. Когда море отступило и бесконечное солнце превратило жижу обратно в поблескивающую пудру, не осталось ни следа людей, ни последствий их поступков.

Атмосфера в лагере натянулась до предела. Де Траффорд, побагровев, плевался оскорблениями в лицо Уильямса на глазах у всей роты. Солдаты стояли в полном обмундировании, в маленьком опрятном геометрическом строю, перед дерганой лавиной Настоящих Людей, силой, кипящей от гнева и предательства. Соплеменники

много думали и переспали со всем несправедным, что описал им Цунгали, – двуличием и злом всех этих белых. Всех, кроме одного.

С каждым помпезным словом старший офицер накручивал их напор. Сразу перед разрывом из центра поджавшихся воинов прошелестело тихое движение, медленно проскользнув между застывшими солдатами, втайне упивавшимися унижениям Уильямса.

Она подплыла к обвиняемому, как пар, и коснулась его руки. Он взглянул на возлюбленную шаманку, в ее невозможные глаза. Де Траффорд бушевал над ними, а потом заметил их равнодушие. Он скатился со своего пьедестала и схватил девчонку. Взяв за горло, попытался оттащить ее в сторону, но это было как тянуть гранитную колонну: ничто не шелохнулось, а его пальцы кричали. Он дернул, но свалился на землю, так и выкрикивая приказы, с одним лишь сорванным амулетом и клоком платья в руках. Его неистовству не было конца. Он лаял приказы из грязи; он лаял приказы, поднимаясь на ноги. Он все еще лаял приказы, когда пуля .303 калибра из «Энфилда» прожгла его грудную клетку и пронзила громкое разбухшее сердце. Последовал хаос.

Она вела Одногоизуильямсов мимо схлестнувшихся волн людей, орудовавших металлом; от начала Имуущественных войн – в Ворр, чтобы исцелить вчерашние, сегодняшние и завтрашние раны.

* * *

Проснувшись, Шарлотта учуяла кофе; более того, именно его горькое тепло и могло залпом выпить ее сны. Она накинула желтый халат и открыла дверь в комнату Француза; тот уже встал и сидел за столиком для завтрака. Обычно он не поднимался с кровати раньше полудня. Слегка встревоженная, она присоединилась к нему за столом с пустой чашкой в нерешительной руке, не спуская глаз с его возбужденного выражения. Он улыбнулся:

– Чудное утро, Шарлотта!

– Да, – ответила она, впервые замечая плотные лучи солнца, разделившие комнату, и выразительно плывущие в их столбах пылинки, одновременно вызывающие впечатления оживления и неподвижности.

– Я говорил тебе вчера, что сегодня отправляюсь в Ворр? – спросил он. – Сейль Кор придет за мной этим утром.

Впервые он назвал нового друга по имени; прежде говорил «туземец», «черный» или порою «Черный принц».

Шарлотту не тронуло имя и не удивило, что он наделил молодого проводника тем же прозвищем, что и персонажа в своих «Африканских впечатлениях». Она никогда не бралась всерьез за его книги, стихи или сочинения; только за адресованные ей письма. Это не входило в ее обязанности. Она знала, что мнение о его трудах разрушит их отношения: она всего лишь женщина – и оба предпочитали, чтобы так и оставалось. Но однажды она пролиستала его африканскую книжицу. Шарлотта нашла ее запутанной и непонятной. Несомненно, это было искусство, ведь она знала его за человека опасных appetites и абсолютного эгоизма. Вот почему улыбчивый авантюрист, сидящий перед ней сейчас, так сбивал с толку.

– Я собрал сумку для трехдневного путешествия, – сказал он.

Потрясение от открытия, что он знал, где хранится багаж, усугубило откровение, что он способен его собрать.

– Я возьму «Смит и Вессон», с жемчужной рукояткой, и оставлю тебе для защиты «кольт», «манлихер» и «кловерлиф». Не одолжишь ли ты для моего маленького путешествия свой «дерринджер»?

– Ну разумеется, – ответила она, – все, что пожелаешь.

Они всегда путешествовали с маленьким арсеналом – якобы для удовольствий спортивной стрельбы, но всегда с оправданием в виде защиты. Он был превосходным стрелком и любил учить ее владеть и стрелять из его коллекции пистолетов. Также оружие придавало ей толику уверенности в оказиях с «уличными посетителями», которых он часто водил домой или которых посылал искать шофера. Его вкусы заходили глубоко на территорию преступности и черного ручного труда. Таких людей было легко найти, и они удовлетворяли все его сексуальные патологии, но от них было непросто избавиться после – отскрести с подошвы. Несметное число раз она возвращалась домой и заставляла за общариванием ее имущества какого-нибудь полуголого беспризорника или портового грузчика, исторгнутого из спальни после измывательств, пока Француз в одиночку тонул и барахтался в истинной пучине своей изменности. Несметное число раз ей приходилось и торговаться за цену плоти. Монета корысти стала

ходовой в ее лексиконе; она обращалась с ней эффективно и отстраненно. Какой-то далекий уголок ее сознания наслаждался обсуждением интимнейших пороков с экзотическими низами общества. Она чувствовала себя орнитологом или энтомологом, наблюдающим ужасные чудеса не с того конца идеального телескопа. Но она не терпела шантажистов – тех, кто заходил слишком далеко и позволял жадности просочиться вместе с секретами тел. Сколько уже было замятых дел, коварных угроз разоблачить его одержимость. Она сторговалась со всеми. Иногда приходилось заручиться поддержкой шофера, который любил в переговорах с самыми упрямыми наматывать на кулак металлическую цепь.

– Ты пойдешь с Сейль Кором один? – спросила она опасливо.

– О да, – ответил он с театральным равнодушием. – Он не из моих «пассий», – добавил он с просочившейся в речь знакомой едкостью. – Он друг и благородный представитель этих краев – я бы очень хотел представить вас друг другу.

– Благодарю, – ответила она. – Охотно познакомлюсь. Не забудь это, – она протянула ему крошечный аккуратный конверт из сложенной салфетки, внутри лежало дешевое распятие с серебряными пластинками, которое ей подарила ее первая любовь в возрасте тринадцати лет.

На ступенях отеля ослепляло солнце. На Французе были эскимосские очки и пробковый шлем, костюм, для ухода за которым требовалось по меньшей мере пятнадцать местных носильщиков. Он по-детски сжимал чемодан и силился разглядеть на свету друга в кружащих пыльных облаках прохожих. Шарлотта стояла рядом, со сложенными руками и растущим трепетом.

– Вон! – воскликнул он. – У дерева, он машет!

Она едва различала отдельную фигуру – только бурю деятельности в озаренной пыли. Француз сошел с лестницы прямо в толчею, маня за собой Шарлотту, но пыль была невыносима, и она прикрыла рот ладонью, отводя лицо прочь от натиска. Он дошел через улицу до Сейль Кора и попытался рассказать о встрече с Шарлоттой, но та затерялась в толпе, а проводнику не терпелось выдвигаться. Француз поддался потоку событий, и они выбрались из толчеи – так началось их путешествие в Ворр.

Сейль Кор повел Француза к себе домой, в старый квартал на другом конце города. Оттуда до станции было всего десять минут ходьбы, обещал он.

– Почему мы сперва идем к тебе домой? – спросил Француз.

– Переодеться, – ответил Сейль Кор без интонации.

– Но это мой костюм для путешествий, – занял Француз, которого начинал раздражать пересмотр планов.

– Поверьте, мастер, вам лучше раствориться в толпе, стать одним из нас. Так вы больше увидите и подойдете ближе к сердцу леса. Нам предстоит целый день ехать поездом, и я хочу, чтобы вам было комфортно.

Они спустились по большой улице среди стен грязи, сменявшей изгиб каждые пятнадцать шагов. Через частые интервалы вдаль уходили переулки, создавая впечатление, что за извивающимся фасадом скрывается огромное население. Они снова свернули, вступили на долгую прямую улицу с двумя древними деревянными дверями, врезанными в осыпающуюся поверхность. Сейль Кор забарабанил по первой двери, и спустя мгновение открылась вторая.

Они вошли на широкий двор цвета песчаника, с квадратным колодцем и пальмой, господствующей в его роскошной простоте. Из-за калитки вышел маленький улыбающийся мальчик и закрыл за ними. Сейль Кор громко хлопнул в ладоши над головой, и открылись двери приземистого длинного здания, занимавшего одну сторону двора. Вышли ярко одетые женщины с ковром, низким складным столиком, латунными и медными мисками с фруктами и сладостями. После недолгой суеты все это расставили в тени дерева, и Француза препроводили к месту гостя в центре. Женщины вынесли на пробу денди охапки туземных платьев и головных уборов в арабском стиле. Эта игра пришлась ему по душе, и стоило преодолеть врожденную неподатливость, как Француз совершенно увлекся своим преображением. Он любил одеваться и часто примерял национальный костюм стран, которые посещал прежде. Но это никогда не было так реально, а его проводник никогда не отличался такой грацией, такой участливостью. Француз перепробовал множество стилей и цветов, крутился и хихикал, пока женщины и мальчик хлопали в ладоши. Он поклонился. В этой пантомиме невинности все лучилось радостью. В беспечности и заблуждении он надумал последний штрих к ансамблю

и вытащил из чемодана пистолет, лихо засунув за пояс. Радость застыла. Сейль Кор поднял руки, а женщины прикрыли глаза.

– Мастер, что это, зачем вы это принесли? – его костлявый палец трясся, показывая на оружие. – Прошу, оставьте это в сумке. Мы идем в сакральное место, подобное будет кощунством.

– Но как же хищные звери и дикари? – пролепетал Француз.

– Мы пойдем с Господом Богом; его ангелы сохранят нас.

Француз бросил пистолет обратно в сумку и медленно отступил от нее. Сейль Кор встретил его улыбкой и подошел к другу, взял в утешение за руку.

– А! Один момент, – сказал Француз. – У меня есть кое-что для тебя, – он достал из-за пазухи сверток из салфетки и аккуратно развернул, подняв, на восхищение своего нового друга, поблескивающий крестик.

– Это мне? – спросил Сейль Кор с неподдельным удивлением.

Француз кивнул и вручил цепочку; Сейль Кор тут же повесил ее себе на шею. Крест ярко засветился на угольно-черной коже, и остальные провожали гостей аплодисментами до самого порога, откуда они приготовились отправляться. Когда они переступили порог, Француза было не узнать. Он чувствовал себя счастливым, непринужденным в развевающемся облачении. Князь пустыни, подумал он, – если бы только заполучить фотографию для коллекции. Он решил сделать одну по возвращении, на ступенях отеля, когда они с Сейль Кором предстанут пред очи мадемуазель Шарлотты в триумфе удачной экспедиции.

* * *

В доме все менялось. Все ритуалы, иерархии и конвенции заезжали друг на друга, чтобы найти новые места; Измаил свободно перемещался между третьим этажом и чердаком, и камера-обскура стала фокальной точкой для всех, даже для Гертруды. Единственным, что продолжалось неизменным, оставалась коллекция ящиков Муттера – дважды в неделю, без нареканий.

Благодаря постоянному использованию помещения становились Измаиловы – его вотчиной. У каждого пространства было свое

собственное звучание, и Гертруда с Муттером могли узнать его передвижения в любой части дома. Он часто топал в своих комнатах, занятый перестановкой мебели. На чердаке о его присутствии пели струны, часто часами напролет. Это уже было не вспомогательное помещение; он придавал ему новую значимость.

Время в башне обскуры, когда он там бывал, отмечалось тишиной, молчаливей самого сна. Его погружение в исследования держало дом в неподвижности, брало за загромок, так что неподвижность отзывалась до самого основания – хотя именно там оставалось единственное место, куда он не ходил: место, силы притяжения которого Гертруда так боялась, где ему легче всего было ее предать. Она ничего не оставляла случайности и чуть ли не ежедневно заставляла Муттера перепроверять замки и преграды к подвалам. Она ясно высказала Измаилу, что это место под запретом для всех – единственное правило дома. Он не ответил, но кивнул в понимающем одобрении. И все равно она велела Муттеру приглядывать и за ним, и за подвальной дверью.

Старому слуге были не по нраву перемены. Он любил, чтобы все оставалось на своем месте, с четкими разграничениями. Ныне же от пребывания в доме на душе становилось нехорошо. Он не знал, где и когда объявится циклоп, и все еще побаивался его внешности. Более того, Измаил становился фамильярней: он искал беседы, забрасывал вопросами о работе, семье, внешнем мире. Муттер никогда не был хорошим собеседником, и от этого странного создания ему было проще сбежать или спрятаться на дворе, с лошадьми. Он наслаждался их глупостью; насыщенный запах тел и аромат соломы успокаивали, и он часто обедал там, вместе с ними. Курил горькие сигары в их немой компании и наблюдал, как сменяются времена года – неторопливо и по большей части безопасно. Иногда он остро ощущал, как за ним наблюдают сверху. Представлял свое изображение, размазанное по круглому столу той безбожной машины, и злорадное око, пробующее его на вкус, словно у какой-то ужасной рыбы. От этой мысли Муттер холодел и забирался в конюшню глубже, радуясь ее теплу и временному убежищу.

Однажды, вернувшись в дом поздно, он нашел циклопа у лестницы на первом этаже, глядевшего в направлении запретной

двери. Это встревожило Муттера; он знал, что должен что-то сказать или предпринять, но для такого у него не было ни готовности, ни желания, он не мог найти системы координат, в которой можно начать потребный разговор. Зигмунд встал, раскрыв рот, неопределенно двигая вялыми руками в унисон, как сломанная калитка на ветру или заброшенная водокачка, пытающаяся поднять каплю воды из каких-то неизмеримых недр.

– Герр Муттер, где старые ящики? – спросил Измаил, заступая в брешь сомнения и переламявая ситуацию, овладевая вопросом. – Я хотел кое-что посмотреть, прежде чем вы завтра их сдадите.

– Они в каптерке, рядом с денниками, – тонко ответил йомен.

– Покажите, – потребовал циклоп, направляясь к двери. Муттер открыл ее перед юным хозяином и ткнул пальцем, ожидая, что это честное указание будет отмечено и на том вопрос закроют.

Вместо этого Измаил вышел из двери на двор, лишив Муттера дара речи и действия. Циклоп сдвинул щеколду на каптерке и деловито вошел. Муттер с силой заморгал, надеясь, что быстрое движение расставит все на свои надлежащие места, что эта невозможность обратится и он реабилитирует глупую ошибку. Но, увы, это не помогло. Он бросился по брусчатке и ворвался внутрь за плечом беглеца, небрежно изучавшего стенку длинного тонкого ящика. Не выказывая никаких признаков ажитации, циклоп спросил:

– Во сколько вы заберете их завтра?

– В одиннадцать, сэр, – автоматически ответил Муттер.

Слово «сэр» попало в рот Муттера по привычке и потому, что ему не нашлось альтернативы. Впервые Измаилу был придан статус – и это отметило дальнейший сдвиг в их динамике отношений: циклоп понял, что стариком можно с легкостью помыкать.

– И куда вы их везете?

– На склад.

– Хорошо. Я бы хотел выехать с вами.

Сердце Муттера прекратило ход и ушло в пятки. Циклоп прошел мимо него на двор, остановился и посмотрел на крышу, потом за нее, на пряткие облака.

– Но, сэр, – пролепетал Муттер, – это невозможно, госпожа...

– Никогда не узнает, – dokonчил Измаил. – Ведь не госпожа платит вам деньги или заботится о вашей семье, верно? И не госпожа

заботится обо мне. За наше благополучие несут ответственность человек или люди, которые следят за этим домом, Муттер. Вашу семью наняла моя. И сейчас я желаю нанести им короткий визит, увидеть на миг единственное место, которое связано со мной.

– Но, сэр! Мне велено никого туда не водить. Даже мои собственные дети смогут туда поехать только тогда, когда будут готовы принять мою работу.

– Зигмунд, – сказал циклоп искривленным, закаленным тоном. – Ты не понимаешь, что все изменилось? Я больше не дитя. У меня есть дом. Скоро твоим хозяином буду я. Гертруде необязательно знать о нашей небольшой вылазке.

Муттер замолчал на ужасном распутье. Перевел взгляд с потертых башмаков на упрасивающий глаз, потом обратно.

– Или ты предпочитаешь, чтобы я отправился сам?

Муттер проследил за его взглядом до ворот и увидел, что они держатся на засове, а не двойном запоре, как ему приказывали. Он знал, что циклоп расторопен и достигнет ворот задолго до него; единственный способ его остановить – ударить или повалить на землю. Он посчитал, что к такому поступку невидимые хозяева отнесутся без благосклонности. Зигмунд начал паниковать, когда Измаил улыбнулся и нанес решающий удар.

– Я не имею желания вовлекать тебя в неприятности, Зигмунд. И уверен, никто из нас не хочет, чтобы Гертруда знала о сегодняшней маленькой оплошности; она боится, что я убегу, и может перегнуть палку. Потому я не скажу ни слова, когда она придет сегодня, а завтра утром мы нанесем короткий и тайный визит на склад, да? Что думаешь? Совершим вместе маленькое путешествие и вернемся обратно без чьего-либо ведома?

Муттер сдался; выбора не осталось. Обрадованный циклоп удовлетворенно захлопал в ладоши.

– Превосходно! Ну же, обсудим мой план, – сказал он, толкая павшего духом старика к денникам и сказав прихватить по дороге инструменты.

На следующий день они дожидались в разных углах старого владения, пока Гертруда уйдет. Муттер оставался в денниках, с загруженными на воз ящиками, тогда как она завтракала с Измаилом.

Закончив, она ушла через парадную дверь, объявив, что вернется этим вечером к семи. Измаил нетерпеливо ждал, пока ее проворные шаги исчезнут с улицы, потом вскочил на ноги и отпер дверь. Поторопился к конюшне, тихо проскользнул внутрь и взошел на ожидавшую двуколку.

Длинный тонкий ящик, бывший «Уроком 318: Копья и луки (Старые Царства)», надежно привязали к открытой телеге. Его содержимое извлекли, и теперь оно скрывалось за старым пыльным занавесом в дальнем углу денников; его замена выжидающе присела в укрытии. В боку коробки просверлили дырку, в полуметре от закрытого торца, и Муттер, затворяя за собой ворота, видел проблеск глаза. Этим утром он не проронил ни слова; инстинкт говорил ему подчиняться в стоической, бездеятельной манере, пока внутри отчаянно билось желание, чтобы все кончилось как можно скорее.

Трясущиеся и потрясающие фрагменты внешнего мира, которые увидел Измаил, поразили и взволновали его. Смятение масштаба и запахов заводов высвободило такие сенсорные реакции, о существовании которых он и не подозревал. Цвета были куда ярче, чем на проекциях в башне, и он чувствовал огромность всего, пока город взрывался разнузданной энергией. Он не ошибся насчет глаз; Гертруда говорила правду, и скоро он узнает, говорила ли правду Лулува.

Когда они достигли склада, Измаила переполняли вопросы, он давился ответами. Муттер отворил ворота и провел лошадь на двор, привязал дымящееся животное к балясине разгрузочной платформы и вернулся к входу, чтобы запереть изнутри. Он достал из-под облучка огромную связку ключей, затем грубовато постучал по ящику циклопа. Измаил показался, щуря единственный глаз, пока привыкал к свету.

Они вошли на склад. Муттер принялся за обычные дела – искал указания и узнавал подробности следующей поставки ящиков. Он обернулся объяснить важность своей функции циклопу, но того и след простыл. Старик закончил с делами и подождал, когда Измаил вернется и поможет поднять коробки, но шли минуты, он терял терпение и злился и, наконец, решил самолично загрузить повозку. Два новых ящика отличались от остальных – ярлыки были надписаны уже не красным, а ярко-голубым.

Уложив груз в фургон, Муттер отчаянно старался выдумать правдоподобную историю о том, как оказался в этом положении. Его

выдумки были чудовищны, одна нелепее другой; даже он видел, что они совершенно невероятны. К возвращению беглеца он решил, что единственный выход – правда.

– Отправимся? – спросил Измаил.

Тонкий ящик остался на возу, и циклоп втиснулся обратно, крепко затворив за собой крышку. Гробовое возвращение домой, хотя по-прежнему насыщенное событиями, затмилось странным зрелищем на складе; мысли не могли успокоиться. Когда ухабистый путь был окончен и они вновь оказались в стенах конюшни, циклоп медленно выполз из своего заключения с театральным усилием.

– Благодарю, герр Муттер, – сказал он. – Этот секрет останется между нами. Никто и никогда не узнает о нашем времени вместе.

Слуга открыл дверь и впустил его в дом. Облегчение было чудесным, и он снова запер циклопа, вернувшись к семье до появления госпожи Тульп; он не собирался общаться этим вечером еще и с ней или позволять ей заглянуть в свои слишком честные глаза.

На следующий день он вернулся в дом с великой легкостью в сердце. Он планировал задать корм лошадям, провести день в их великолепном нехитром обществе и позволить хитросплетениям дома самим заботиться о себе.

Он уже снова почувствовал себя как дома, возился с навозными вилами, когда в ушах внезапно и скрипуче грянул голос из склада:

– Герр Муттер, вы разочаровали нас и непоправимо предали наше доверие. За это вы будете наказаны. Буде это повторится, кара умножится, а наше благословение на вас и вашу семью прекратится и обратится во гнев. Сегодня были отняты руки вашего старшего сына, Тадеуша. Их поменяли местами и пришили наоборот – левую к правой и правую к левой. Отныне его ладони всегда будут смотреть вперед. До выздоровления ему предоставят лучший медицинский уход. Его руки будут бесполезны для труда, но идеальны для паперти. Вы можете спасти его от подобного будущего, но не от операции. Такова ваша расплата. Крепитесь, герр Муттер, и помните о нашей заботе и защите вашей семьи все эти годы. Смиритесь со своим проступком, покайтесь и верните наше расположение.

Когда Муттер этим вечером отправился домой, он страшился реальности, обещанной голосом, но надеялся, что это бред, дурман.

Вошел он с гниющей в сердце вечной мерзлотой. Накатившая волна тепла и объятие сжавшегося звука не помогли оттаять. Жена сняла его тяжелое пальто и усадила за прочный стол, а дочь, Мета, поднесла кружку густого черного пива. Он следил, как они хлопочут над дымящимися кастрюлями и звенящими тарелками. Пышная энергия дома, богатая и непрерывная, взбалтывала из осколков нужды свечение постоянства. Еду подали, все воодушевленно ели. Но стул Тадеуша пустовал, и Муттер глупо тарачился на бессмысленное блюдо, чей запах ничего не пробуждал внутри.

– Где Тадеуш? – выдавил он.

– О! Радость! – прощепетала жена. – Пришло письмо с предложением работы, и он отправился в восточный квартал; вернется с минуты на минуту.

Стол ухнул прочь из виду, и резкие внутренние слезы пролились бритвенной цепью медленных сокращений в горле; оно сжималось с каждой восторженной ложкой, которую съедали родные. Никто не заметил перемены, даже многолетняя супруга, и он затопил ужас и совесть густым тяжелым пивом, саднившим с каждым задушенным хлебком.

Тем вечером Тадеуш не вернулся. Не видели его и на следующий день, и через день. Из-за отсутствия сына Муттер отправился на склад и преклонил колени; он дал слово зданию, что навечно останется верным и непоколебимым слугой. Придавленный отчаянием, он вернулся к своим обязанностям.

Рано следующим днем Тадеуш стоял перед семейным домом с усталым измождением в непонимающих, но посуровевших глазах. Он был безупречно облачен в шелковый костюм, его волосы – элегантно уложены на манер принца, прекрасные новые туфли – сияли на пыльном солнце, руки – разбинтованы, ладони – смотрели на родительскую дверь.

* * *

Его добыча шла впритирку к реке, как и предсказывалось. Цунгали услышал его за полчаса до появления и следил в бинокль, как

тот выходит на свет: всего лишь очередной невежественный белый, с кучей бесполезного снаряжения на спине. Тут Цунгали заметил лук. Этот вид встряхнул, инстинкты брыкнулись против доводов рассудка. Он опустил линзы и поправил винтовку; все его внимание шло вдоль ствола, предугадывая цель: стихийный изъян в стрельбе – и смертельная практика для снайпера. Его разум остановился; теперь было только ружье.

Белый прижался к скале, ненамеренно подставляясь самой лучшей мишенью, пока проворно пробирался по тропинке бочком. Цунгали сжал крючок. «Энфилд» глубоко рывкнул в распадок, и человек упал с тропы. Охотник сработал затвором и заново взвел оружие, затем поискал вдоль берега биноклем, чтобы найти тело. Его не было. Он поднялся, чтобы посмотреть, вдруг оно упало за камень или как-нибудь соскользнуло в реку, но не видел ни следа мертвеца или его снаряжения. Тот улетучился.

Цунгали споро собрал вещи и побрел через реку, прижимая винтовку к груди. На полпути его глаза метались между далеким берегом и быстрой ледяной водой, бегущей по гладкой гальке. Когда он остановился, чтобы высвободить подвернувшийся ботинок из-под камня, ударила первая стрела. До вспышки синей боли он не видел ничего. Стрела прошла ладонь насквозь, пронзила приклад «Энфилда» и показалась с другой стороны, разбитый наконечник зарылся в ребра. Цунгали закусил язык и барахтался в воде, тщетно пытаясь найти глазами противника. Вторая стрела врезалась в зубы, пробив рот и свернув стиснутую челюсть. Она расколола сустав и рассекла державшие ее сухожилия, выйдя у самой пульсирующей яремной вены, где древко указало охотнику за спину, как согнутое перо. Разбитый рот был полон крови и синих перьев. Оперение уперлось в порезанный язык, набилось в горло и душило, в чистую воду плюхались сгустки крови. Третья стрела убила бы его на месте, но он бешено развернулся и оскользнулся, упал в стремнину, которая милосердно унесла его от атаки. Он держал голову над поверхностью, глотая воздух, кровь и реку в равной мере.

Час спустя он наткнулся на берег и выполз на гравийную кромку. Даже в боли и поражении он знал, что двигался куда быстрее белого, что тропа, где тот остался, уже во многих милях; у Цунгали было время спрятаться и прийти в себя до продолжения битвы. Древки стрел

сломались, река вымыла перья из раненого рта. Рука ослабла от раны, но он сумел удержать «Энфилд» и мешок, болтавшийся вокруг тела и частично выпроставшийся в свирепствующую реку. Морщась, он нерешительно поднес ладонь к болтающейся челюсти и заполз по гравию в тростник, волоча за собой расколотую Укулипсу.

Он залег в траве, глубоко дышал и старался не всасывать холодный воздух у обнаженных нервных окончаний. Он обсыхал и зарастал, уставившись в меркнувшее вечернее небо. Боль наливалась и гудела; каждый раз, когда он глотал, его мутило от мысли, что он глотал частичку самого себя. Впереди не осталось зубов, позади не осталось голоса. Рваными полосами ткани он накрепко привязал челюсть из страха, что та отвалится окончательно.

Он был в ярости от промаха по такой простой мишени, от того, что не убил жертву вплотную, как других. Почему он так недооценил способности этого странного белого? С какой силой он столкнулся? Стрелы не только нашли его с легкостью, но и, ни разу не свернув, прошли все уровни защитных чар; так не мог ни один белый. Цунгали знал, что вынужден был сбежать от устремленности Лучника. С великим усилием он проглотил корешок из мешка и почувствовал, как несколько убывает боль. Он следил, как небо превращается в насыщенную тьму, и, теряя сознание в ее объятьях, с упавшим сердцем смирился, что боле он не охотник. Роли сменились: теперь он дичь.

В ту же ясную ночь вышла полная луна, принося с собой ветер от далекого моря – бриз, входивший в силу, когда несясь вглубь, к Ворру. К четырем часам – час спустя после того, как добрый пастух Азраил собрал свое стадо из мира живых, а ночь осела тьмой в последних трех своих саженьях, – ветер потряс Эссенвальд с почти буреносной скоростью. Задрожали старые окна самого лучшего отеля; перевернулась на другой бок в уюте сна Шарлотта, не встревоженная порывом, – только ту же запахнув хрустящую простыню и клетчатое одеяло на своем нетронутом теле. Ей снился американец, который придет в ее беспомощность и спросит о сегодняшней ночи. Она была в Бельгии, где спала целыми днями, а часы без стрелок говорили, что сейчас невозможный 1961 год. Молодой американец говорил ей, что он поэт. У него было большое, доброе, мягкое лицо, но слушать его было

трудно из-за дребезжащего стеклянного звука, исходившего от его карандаша и блокнота.

Ветер стонал и завывал вокруг комнатушек, где спало семейство Муттеров. Йомен слышал, как тот возносится и падает, ухаает в коридорах и пустой кухне, где мыши – меньше катышков – бегали, как иголки, пытаясь сшить порывы. Он смотрел, как беспокойно спит жена, на ее судороги то в такт, то не в такт с дыханием. Он знал: на следующий день она ему скажет, что не сомкнула этой ночью глаз. Зигмунд не запомнил, смог ли заснуть сам. Он метался на тернистой постели вины и злопамятства, гнева и поражения. Не понимал, как будет смотреть в глаза семье или миру, как будет продолжать служение, что нельзя закончить. Его полый дом вздохнул, и Муттер попытался не думать о следующем дне или существе, которое теперь презирал.

От горбатой лачуги Муттера ветер изгибался выше, к блестящему особняку Тульпов. Гертруда спала в натужной лжи своей детской, лицом во влажную подушку, с головой под толстым одеялом, чтобы утишить стук – как она надеялась, всего лишь от хлещущих по окнам деревьев.

В дом номер четыре по Кюлер-Бруннен ветер принес меньше волнений. Двери были крепко закрыты, сработан дом был точно и плотно; ветер слышался только там, где имела место какая-нибудь обветшалость. Он ревел в запертых нижних этажах и угрожающе шептал у лестницы над древним колодцем. Он зудел на чердаке, но в комнате циклопа с пустой кроватью сохранялась неземная тишина. В башне ветер следил, как жилец фокусируется на лунном свете, изучает тусклое свечение миниатюрного лабиринта опустевших улиц. Измаил был гол, по его бледному телу ползла гусиная кожа, словно предлагая указатель или сжатые сноски к наблюдениям за столом. Его глаз прижался вплотную к поверхности; скользил по улицам, словно ложка.

Сухая гроза той ночи могла бы достать до луны, таков был ее размах. Но ее внимания требовала бóльшая сила, и она задувала на север под влиянием могучей, властной сущности: ее навечно глотал Ворр.

На другой стороне мира он следовал советам врача до буквы. Мейбридж так удалился от человеческого общества, что трижды едва не умер от голода. По великим равнинам начала расходиться легенда о стойкости этого человека, доходя до индейских племен. Многие безрассудные исследователи пробавлялись на этой земле, просыпавшись сюда из голодных отчизн, из ледяных погромов и непрерывного деспотизма, чтобы выйти на палящее солнце и огромные бесконечные пространства. Они искали золота и серебра, шкур и земли. Они пришли, чтобы переродиться и прибрать своими бледными голыми руками все, что могли.

Но он отличался от них. Говорили, он охотится на неподвижность, а вместо кирки и лопаты, оружия и карты несет на спине пустую коробку – коробку с единственным окном, поедавшую время. Кто-то утверждал, что он носит стеклянные пластинки-тарелки, на которых подает ту неподвижность. Он ел с черной тканью на голове, дочиста вылизывая их в темноте.

Европейцы и китайцы обходили его за версту. В этих новых землях, где что угодно могло распространиться и раздуться до опасных последствий, необычное поведение считалось нехристианским и подозрительным. Другие белые говорили, что его ящик ворует души тех, кто оказывается перед ним, но откуда это знать тем, у кого души отродясь не было? Туземцев заинтриговали рассказы, и они хотели сами взглянуть на охотника за тишиной. Он находил их священные места и держался рядом. Не вмешивался и не осквернял их энергию и силу. Долгими часами сидел со своей коробкой неподалеку от племени, иногда днями кряду, а потом молча снимался с места и шел дальше.

Мейбридж нашел человеческую породу, которую мог стерпеть, и они приняли его во множество своих кланов, хоть он и был Потерянным – самым страшным существом для всех маленьких сплоченных сообществ. Он был человеком, который выживал вне племени и семьи, человеком, который освободился и одичал. Но этот человек хранил понимание и тишину, был предан неподвижности; а такие качества всегда чтимы племенами равнин. Ему позволялось фотографировать великих вождей и шаманов. В конце концов ему дали увидеть и сфотографировать Пляску Духов. Он слал в Англию картины одинокого запустения, ошеломительные пейзажи нетронутой, гигантской чистоты и портреты могущественных, благородных людей,

глядевших в камеру и не видевших себя. Многие он слал мудрому хирургу, дабы продемонстрировать свой прогресс и напомнить о благодарности; инстинкт подсказывал, что человек в высоком эркере над Лондонским мостом поймет.

Мейбридж почувствовал себя исцеленным; его крепнущая уверенность в себе распрямилась во весь рост на полых лавовых толщах плоских равнин Тул-Лейк. Он обратил свой ящик на Модокскую войну, загружал образами исчезнувших земель и их дрожащих обитателей. Оккупанты хорошо ему заплатили, так что он стал официальным фотографом американской армии; неподвижность могла подождать, пока пластинки заполнялись пемзой поражения и исхода. В конце всего он собрал новую славу и одержимо копившиеся гонорары и вернулся к городским огням и хрустящему белью Сан-Франциско, чтобы отбыть к радостям брака, родительства и убийства.

* * *

Теперь Измаил мог говорить только с Гертрудой. С самого их совместного путешествия Муттер избегал его всеми силами; как бы Измаил ни старался завязать разговор, старик отказывался в него вступать. Он едва смотрел ему в глаза, а если смотрел, то мстительно и подозрительно. Измаил считал это чересчур драматическим и угрюмым поведением из-за столь небольшого преступления правил. Однако дурное настроение слуги не могло отвлечь Измаила. Он заметил, как в последние два дня меняется рыночная площадь, как ее простой кадр украшается между обычными действиями. Что-то готовилось. Он припер Гертруду к стенке, когда она пришла сменить постельное белье.

Ее визиты в недавнее время стали реже, а вела она себя отстраненно, не проявляя интереса к его расспросам. Уж точно она потеряла аппетит к совокуплению, не имея показать или рассказать ничего нового. Он еще сохранял здоровый интерес к этой теме, но, когда предложил другие способы сношения, она закрепостилась и поскучнела. Не желая повредить своему комфортабельному положению в доме, он решил оставить свои страсти без ответа.

Кроме того, бóльшую важность приобрела его потребность снова выбраться наружу и исследовать город подробнее. Она рассказывала ему об угрозах, втолковывала, что такая диковина, как он, будет в опасности среди толпы. Рассказала о маленькой цветастой птичке, что жила у нее в детстве. Ее плюмаж был пунцовым с желтым кантом, а голос – изысканным, и часто она ставила ее на окно, чтобы та пела солнцу. Птицы местного происхождения слетались вокруг, чтобы послушать и насладиться великолепной расцветкой. Однажды Гертруда сидела с птичкой, покорной на жердочке пальца, и вела беседу, обращаясь к яркости ее внимания. Она не заметила, что окно слегка приоткрыто, и, когда взметнулась штора, птичка почувствовала воздух и вылетела на свободу. В ужасе Гертруда бросилась к окну и смотрела, как она порхает и вьется скудными тесными кругами. Она звала пташку, и та обернулась в ее сторону; Гертруда видела в ее глазах возбуждение – сразу перед тем, как ее растерзала на клочки та же серая стая, что наблюдала за ней ранее.

Его ждет та же судьба, объясняла Гертруда. Экзотическую самобытность сочтут угрозой, его признают чудовищем. Но он знал, что лучше двуглазых, и уже это доказал. Ей это было невдомек, а время просветить ее еще не пришло.

– Гертруда? – спросил он, пока она работала спиной к нему. – Почему улицы внизу украшают?

– О! – счастливо воскликнула она. – Для карнавала!

– И что такое здесь «карнавал»? – спросил он.

– Ну, каждый год люди устраивают праздник, чтобы возблагодарить лес за его дары. Он длится три дня и три ночи, все бросают работу, и улицы оживляются музыкой, угощениями и танцами. Украшается все, даже собор. Люди наряжаются в костюмы, которые шьют весь год. Дамы и господа мешаются с мещанами и плутами, не зная ранга или статуса друг друга.

– Как это возможно, если все друг друга знают?

– Благодаря маскам! – воскликнула она, захваченная инерцией удовольствия.

– Маскам? – переспросил он.

– Да! Вычурные, таинственные маски всех видов – ангелы и демоны, звери и чудовища...

– Чудовища? – медленно промолвил он.

Она вдруг замолкла и не знала, куда спрятать глаза.

– Возможно ли, – гнул он свое, – что в такой оказии «диковина» может спрятать свою странность, что экзотичная птица может скрыть свою красоту и что *чудовище* будет в безопасности среди множества других чудовищ?

Так и случилось, что чудовище отправилось на бал.

Они замерли в самых воротах дома номер четыре по Кюлер-Бруннен. Из них вышла замечательная пара – в перьях и самоцветах, в масках и платьях, из-под плащей пикантно подмигивали свободные и чувственные шелка.

– Все будет как в сказке, которую ты мне читала, которую ты так любишь? Про часы и цветные комнаты, от которой у меня были кохмары? – спросил он.

– Кошмары, – поправила она. – Да, но не так торжественно. Здесь все куда приземленнее. Все перепьются и будут непристойно себя вести.

– Насколько непристойно? – спросил он опасливо.

– За маской ты можешь быть кем угодно, делать что угодно. Нет виновных, нет невинных; в эти три дня зачинают больше детей, чем за весь год. И через девять месяцев, когда рождаются дети, никто не выискивает семейное сходство.

– И никто не разоблачается?

– Никогда! – сказала она с большей убежденностью, чем в себе чувствовала. Действительно, под защитой новой личины человек ощущал некую свободу, и под маской она уже совершала мелкие преступления и незначительные пакости. Но никогда еще ей не хватало духу вступить в открытый разврат. До сего момента.

Они выглянули в щель и коснулись трамплина своих нервов, готовые взметнуться в вихрящуюся сутолоку грез, галдевшую и толкавшуюся на улицах снаружи. Гвалт был колоссальным. Улицы наводнили шарманщики и дудочники, внося замешательство в огромный паровой орган, игравший от сердца рыночной площади. Фейерверки и пистолетная пальба, трубы и пение, крики и смех.

Внезапно ворота открылись, Гертруда и Измаил пропали. Муттер накрепко запер за ними и сплюнул на мокрую мостовую.

Кончились мои нежные годы. Неожиданное путешествие заново разожгло давно забытый голод, и я чувствую, как его энергия алчно курсирует по моему телу. Убийца за водой пробудил поджавшуюся реакцию – я чую его кровь, даже на расстоянии. Что за повод мог найти человек, чтобы меня убить, остается тайной. Мои сношения с другими людьми – дела давних лет, а все, что было раньше, стерто. Лишь моя жена хранит воспоминания в своих плоти и влаге, которые живут в луке. Мы найдем убийцу и извлечем из него ответы; мои противники в этом незнакомом и коварном мире не останутся безнаказанными.

Я отдохну и разобью вечерний лагерь. На следующее утро сделаю новые стрелы и обозначу ими свой путь, смету любых врагов. Человек в воде не захочет торопить новую встречу, и в следующий раз первый выстрел будет за мной.

* * *

Священник знал, что будет не один. Он медленно приготовился за кухонной пристройкой, позади таверны, глубоко в звериной тени примитивной архитектуры. Перехватил трость большими руками, поправил шляпу и боковые панели очков с зелеными линзами.

Обойдя дом, он на негнущихся ногах вошел в бар, как будто не замечая других гостей и их раздражения из-за его появления. Он прошипел название напитка с заморским акцентом, лишаясь остатков симпатии собравшихся. Его спина стала оскорбительно квадратной перед лицами рассеявшейся клиентуры; его глаза были невидимы, но сами собирали все детали в зеркале. В растрескавшемся мутном стекле измерялось и взвешивалось все движение.

Близнецы обменялись скверным взглядом и продефилировали к нему с ухмылками, по дороге прервав столб света. Он был выше их на три головы, неумолимый и смертельно спокойный. Близнец с сержкой репетировал уместно ядовитое и оскорбительное обращение, когда левая рука клирика отползла от черного бока к копчику и внезапно остановилась, а один оттопыренный перст угрожающе ткнул в них – истукан обвинения. Парочка застыла, сбитая с толку непредсказуемым и необычным жестом. Второй близнец начал смеяться странной

стороной недавней ухмылки. Рот его брата превратился в колеблющийся разрез злости.

– В кого ты тыкаешь, тонконогий мудака? – спросил он, приближаясь к руке. – Мы вырежем у тебя легкие, ты-ы-ы!

Теперь все широкоплечее тело медленно развернулось ему навстречу, и близнец залпом проглотил свой голос. Теперь уже в каждого близнеца было направлено по пальцу, а на запястьях незнакомца, словно палочка заклинателя, балансировала трость. Лицо над руками было длинным, широким, белым и совершенно неестественным – вытянутое вареное яйцо с крошечными глазками и расплюснутым сломанным носом. Оно казалось незаконченным и податливым, словно близорукий скульптор умыл руки на полпути. Близнецы встречали и убивали самых разных мужчин и женщин, но никогда им не попадалось такое видение, никогда они не стояли в присутствии столь неукротимой неправильности.

Голосом, подобным бумажному порезу, клирик прошипел: «Разделенный! Ты умер!» Он с великой церемонией извлек из трости клинок на манер коммивояжера, демонстрирующего бесценный антиквариат. Когда он задержал лезвие на уровне глаз, в его полированном блеске отразилось все помещение. Слова, выгравированные по всей длине, переливались в свете у всех на виду.

Было невозможно сказать, сколько времени прошло со слов священника: может, доля секунды, а может, и целый день. Близнец с сережкой вздрогнул, выйдя из ступора, оценил протяженность клинка и извлек из-под куртки искривленный кинжал. С траекторией, что наверняка покалечит незнакомца прежде, чем тот обратит лезвие в оборонительную или атакующую позицию, он напал, не сводя глаз с одного из сияющих слов: «ИСТИНА». Из всех сил он бросился на клинок, а тот со щелчком вырвался из другого конца деревянной трости и вздернулся – расчеркнув его надвигающееся горло.

Смертельно раненный близнец выронил нож, хватаясь за шею в безнадежной попытке задушить кровоток. Брат кинулся ему на выручку, одной рукой держа пистолет, другой – безнадежно витая над рваной раной, не зная, сражаться или спасать. Конфликт разрешил сверкающий кончик расписного меча, который пронзил его глаз и достал до задворков разума – близнец уловил проблески текста, когда слова пронесли мимо замешательства его второго ока.

В детстве оба близнеца получили формальное образование. В ранние годы им преподавал элементарные азы грамматики местный приходской священник. Позже они два года посещали близлежащую семинарию, где их навыки чтения и письма многократно развились. Они не выползли из канавы, как большинство из их братии, но вышли из уважаемой семьи зернопродавцов; городок, где они родились, жил в умеренном достатке. Но в нежном возрасте двенадцати лет они свернули с праведной стези науки и сутаны и своевольно покатались по кривой и горькой дорожке, которая привела их сюда, где теперь они плясали в собственной крови.

Незнакомец приблизился лицом к трепыхающемуся человеку и прошипел: «Писание меча гласит: „ПУТЬ“! – он сильнее надавил на лезвие, загоня слова глубже, – „ИСТИНА“! – наконечник царапнул и уперся в затылочную кость, – „И ЖИЗНЬ“!» – на этом он прибавил вторую руку, пробив сталью череп, надев трясущуюся голову на середину клинка. Священник провернул его – слова с хрустом исчезли – и выдернул из судорожной куклы одним ловким и плавным взмахом. На мгновение замерев в резиновом равновесии, жертва недолго казалась детской игрушкой или танцующей мартышкой. Не отпуская умирающего человека, священник протер кощунственный клинок о лацкан подергивающейся куртки жертвы, прежде чем выпустить ее на дымящийся пол.

Пес, доселе пассивный, с дрожью открыл глаз. Но все произошло так плавно, при столь минимальном движении, что смотреть было почти не на что, и, не заметив ничего существенного, он удобно вытянулся, уложил голову обратно на каменный пол и вернулся ко снам.

Все действия были сосредоточенными, точными и уверенными. Расправа – холодной, как сам меч, а мощь ее ненависти казалась чистойшей в своей неудержимой точности. От казни пахло восторгом.

Убийца обернулся к трактирщику, который на протяжении всего времени оставался неподвижным, и положил на стойку две тяжелые монеты и плоский деревянный футляр. Раскрыл последний и продемонстрировал скрижаль из дерева твердой породы, покрытую золотыми письменами, с сургучом у основания и печатью на том сургуче. Взгляд трактирщика не отрывался от монет.

– Деньги для того, чтобы ты навел здесь порядок. Знаешь, что это?

Толстяк кивнул, стараясь не смотреть в лицо незнакомца.

– Я Сидрус, и этот сектор в моей юрисдикции, – он раскрыл руку, чтобы показать ту же печать, набитую на ладони. – Долго ли эти двое здесь ждали? – задал он вопрос.

– Одиннадцать или двенадцать дней, – ответил трактирщик, опасливо прибирая монеты и взвешивая в сжатой лапше. – Они и еще один, черный.

– И где он?

– Не знаю, уже два дня как не было.

Священник знал, что трактирщик говорит правду; он следил за кабаком и вошел только после того, как черный отбыл.

– Проходили этой дорогой за недавние недели другие? – спросил он.

– Только бродяги да странники, надолго не задерживались.

Человек, одетый как священник, подозревал, что добычу ищет много больше охотников – больше убийц стремится за человеком с луком, прежде чем тот подберется к Ворру. Сидрус не знал, со сколькими придется расправиться, чтобы защитить Лучника и позволить ему совершить невозможное путешествие через лес на другую сторону, где будет поджидать он. Сам священник войти внутрь не мог и будет вынужден обходить лес по периметру, чтобы перехватить Лучника. Только один путь до этой выгребной дыры отнял у него два месяца.

Тела близнецов прекратили подергиваться. Обступив озеро их крови, священник забрал продемонстрированную деревянную табличку и направился к двери. На его пути по оплошности торчал глуповатый паренек, выпучивший глаза и приросший к месту, пока в его медленном мозгу переигрывался инцидент.

– Киппа! Киппа, брысь с дороги! – рявкнул трактирщик.

Священник остановился и поднял трость. Он знал, что от немощного угрозы нет, но не намеревался проявлять милосердие на глазах других пьющих; даже пес пробудился от угрозы и наблюдал за ним из-под стола, обнажив зубы.

Киппа по-прежнему оставался недвижим, не в силах отвести глаза от приближающегося демона. Клинок описал широкую дугу –

замысловатый матадорский взмах, лишенный хирургической точности предыдущего. На подъеме он порезал подростка между ног, отсекая его созревающее достоинство и убрав его самого, опрокинутого и визжащего, с целеустремленного пути ходячего щерящегося кошмара по имени Сидрус.

* * *

Он полз по полу на четвереньках – длинный белый хобот принюхивался, усы трепетали, когда он кивал из стороны в сторону. Стройные бледные лапы как будто и шли на цыпочках, и скользили по лакированному деревянному полу. Верхняя часть тела была в зеленой шелковой шкуре, ловившей аляповатый отсвет от сияющих факелов на балконе за окнами. Нижняя половина – обнажена, огромный разбухший фаллос болтался, словно отдельная сущность, пока создание приближалось к следующей цели. Последняя кровать была в большом беспорядке, у мягко храпящего и истомленного тела неряшливо комкались простыни. Комната наполнилась шепотками и смехом; по ландшафту изобилия рябили маленькие звериные звуки голода и насыщения. Спутанный аромат фимиама, мускуса и алкоголя позолотили вздохи.

Он добрался до следующей кровати и скользнул руками в перчатках под простыню. Те мгновенно угодили в гладкую дрожащую хватку поджидавшей женщины. Она втянула зверя и накрыла их обоих. Ее тело было старше, большое и пышное, а лицо – тоже искаженное: как у совы, где черные перья акцентировали белую, как слоновою кость, широту глаз. Он взял себя под клюв и задрал его, обнажив нижнюю половину лица, чтобы во время занятий любовью был виден и активен рот. Прижав его, она страстно целовала. Он, испуганный, отскочил, чуть ли не падая с кровати. Ни Лулува, ни Гертруда не проделывали подобного; этого ему не объясняли, а Гертруда во время сношений всегда отворачивалась.

Незнакомка приблизила его еще больше.

– Не стесняйся, – сказала она.

Он позволил ей снова присосаться к губам, и это было сладостно и возбуждающе. Он целовал в ответ, и его достоинство превзошло все

предыдущие измерения и ожидания.

Даже в перенаселенной гуляками комнате звуки Сова и ее нового спутника поднялись надо всем. Их постель бешено сотрясалась, и что-то необычное вырывалось от их союза; другие пары и тройцы ловили себя на том, что их внимание подцепили и тащат через пульсирующий мрак прочь от их собственных компактных интимностей, и взирали на неименуемую величину, находившуюся за пределами их собственных мелких содроганий и вздохов.

Был почти рассвет, когда он выполз из ее кровати, чтобы найти в комнатах свой плащ черного бархата.

Сова, проснувшись, зарыдала. Она стянула маску и подняла крик. Неверным шагом подошла к окну, с руками на лице, и возопила.

Сову звали Сирена Лор. Ей было тридцать три года, и она была слепа от рождения. В раннем свете послекарнавальная пора, с нервными друзьями и незнакомцами над плечом, она содрогнулась у окна, нагая и ошеломленная, глядя на блистательный рассвет, желтый и свежий в этот ее первый зрячий день.

Как он это сделал? Что за кудесник вошел в ее постель и подарил ей зрение? Она должна его найти. Как только убедится, что не грезит, она найдет его и отблагодарит на коленях.

Оставшиеся гуляки в ее особняке быстро одевались. Один поднес Сирене халат и обернул в его теплые складки, пытаясь увести эмоциональную женщину от окна обратно в постель. Но она отказывалась уходить, и тогда ей принесли кресло с высокой спинкой и осторожно усадили. Большая часть толпы, занимавшей ее комнаты, исчезла без следа; комбинация разоблачения и лицемерия оказалась невыносимой для их хрупких личностей, и они бежали, пока по дому полз шепоток. Чудеса всегда неудобны; для похмельных, распущенных и анонимных – нестерпимы.

Четыре недели спустя она свыклась с видящими глазами. Завершились все доступные исследования, и врачи единодушно сошлись во мнении: у нее превосходное и долговечное зрение.

Две из этих четырех недель она с помощью различных спутников посещала город, который так близко знала, и добавляла к его звуку и текстуре цвет, форму и тон. Часами тарасилась в лица друзей и немногих живых родственников. Новые подробности нагоняли и начинали обретать смысл. Лишь сны оставались медлительными и

слуховыми; картинки приходили, но не держались, хлопали и обвисали на жестких скелетах звука, становились прозрачными. Пройдет еще год, прежде чем они утвердятся в доверии.

Она заново обставила свой восхитительный дом. Раздала всю старую одежду бедным и ударилась в роскошный кутеж, чтобы облачить тело в богатые краски и роскошные фасоны своих самых неумных фантазий. Бесцеремонно сожгла белые трости на костре садовника – сладкий запах дыма от листьев замаскировал их хрупкую вонь страха. А затем сосредоточила все свое рвение на поисках чудотворца – чтобы стать его преданной рабой или завладеть им.

* * *

Теперь челюсть пришта на место. Во все стороны торчали клоки просмоленной бечевы. Она больше не двигалась, и он не мог ни жевать, ни говорить. Но все образуется; сейчас же ему нужно было не теряться и убить Лучника прежде, чем тот коснется новой стрелы.

Цунгали ждал перед мостом и мельницей, высоко в скалах, где уже был ранее. Он знал, что его добыча пойдет этим путем, чтобы найти тропу через проклятый лес. Он держал «Энфилд» в неловком хвате. Первая стрела перерубила в правой руке три сухожилия, так что два пальца работали без какой-либо предсказуемости. Но в этот раз он не совершит ошибки; выстрел на близком расстоянии при поддержке тупорылого дробовика довершит дело.

Он не смел показывать изуродованное лицо в трактире; спрашивал себя, рыскают ли там по-прежнему остальные убийцы. Знал, что они примчатся на его выстрелы, а в его текущем ослабленном состоянии шакалы даже могут утащить добычу, объявить ее своей. У него не хватало проворности для бесшумного убийства или сил для того, чтобы отбиться от трех-четырех сильных и вооруженных конкурентов; у него были только время и смекалка, так что он разложил ловушки вокруг запланированной зоны и ждал.

Немного погодя его внимание было вознаграждено, но он не ожидал увидеть двух людей разом. Они шли вдоль реки бок о бок, слегка заплетающейся и неуверенной поступью, – черный и белый.

Белый громко говорил, его соратник как будто бы одобрительно кивал. Оружия они не имели.

Цунгали никогда не видел свою цель отчетливо, не мог знать приметы лица или одежды. Но он знал, что этот человек – одиночка и вряд ли сговорился бы с этим пьяным негром, так что Цунгали не стал стрелять и не остановил их на пути в таверну.

Они прошли под ним, и Цунгали аккуратно, тихо приподнялся, чтобы посмотреть на их лица. Он моментально узнал Тугу Оссенти и по выражению его лица понял, что тот не пьян, а тяжело ранен. Цунгали взглянул на громко смеющегося белого и не увидел радости: то было лицо, которого не могло быть, – лицо, которое он знал слишком хорошо. Увидел он и лук, скрытый за спиной, и вскинул дробовик на несхожую пару, в нетвердом развороте отправив по склону осыпь камешков. Когда он выстрелил, белый поднял Оссенти, как марионетку, – вздернул за подмышку, где вонзил кинжал, которым и вел негра притворной пьяной походкой. Черный закричал, затем первый выстрел лишил его затылка, а второй врезал по широкой спине. Белый стряхнул подергивающийся остов в сторону и быстро нырнул под каменную полку, где стоял Цунгали, – с глаз долой и вне досягаемости оружия.

После грохочущего рева долина замолкла. Птицы прекратили песни, ветер затаил дыхание. Где-то на мельнице хлопнула дверь, а вторая фигура осмотрела поле боя на предмет следующего хода, прежде чем отступить в безопасное, скрытое место. Все оставалось неподвижным до наступления ночи, затем испарилось во мрак, пока кожа всех участников зудела от потенциальной атаки. Их следующей встрече суждено случиться в лесу: это было неизбежным с самого начала. Ничто не отведет свирепость их predetermined судьбы.

* * *

Гертруда первой вернулась в дом номер четыре по Кюлер-Бруннен. Она ожидала найти там Измаила и поднялась по лестнице, чтобы прислушаться у дверей, но он еще отсутствовал, хотя карнавал закончился предыдущей ночью. В голову мимолетно пришла мысль, что он уже никогда не вернется, и какое-то время кружилась в голове с

излишним блаженством. Затем Гертруда испугалась за него, испугалась за них обоих и, наконец, устрашилась разоблачения.

Первые три часа они держались вместе, совокупляясь в глубине первой комнаты первого дома, где пронесся праздник. Он прижал ее к шелковой стене, пока она глядела ему через плечо на другую пару, яростно напивавшуюся из кубков друг друга, разлегшись на соболином ковре. Руки крепко сжимались от возбуждения порочности, прежде чем расплестись в угожьях одного из больших домов, где текла и вихрилась омутами толчея танцующих фантазий, по прихоти сцепляясь и сменяя партнеров. Ее унесла маленькая бурная кучка молодежи, разодетой в переливающуюся флору. В этом году лейтмотивом стал Зеленый Человек. Первую ночь она провела с Ивой, чья томная галантность распространялась на все его удивительные атрибуты. Ее время с Измаилом окупилось; улетучились последние ее стеснения. Она смаковала открывшийся контраст; у Ивы и циклопа не было ничего общего, и она отмечала и сличала разницу, решая, к чему поистине лежит ее душа. Она взвешивала страсть против техники, голод против сдержанности и властность против покорности. К утру она знала, что ей нужно больше материала для сравнений. Карнавал поспособствует экспериментам. Она примет вызов и расширит кругозор о тайном искусстве манипуляции и о широте собственного сенсуального аппетита.

Ей казалось, она видела его на следующее утро в живой картине в холле Де Селби. Он – или кто-то, одетый как он, – стоял так же неподвижно, как прочие нагие фигуры, в классической сцене, где Венера и Три Грации обезоруживали Марса. Помещение заполнилось и сосредоточилось. Новоприбывшим, вливающимся в холл, шикали, и она увидела, как он перешептывается с женщиной по соседству, увидела, как та стиснула его руку и тихо рассмеялась, как ее ладонь прикрывала острые зубы на клюве маски. Гертруда приняла женщину за одну из несметного числа шлюх и куртизанок, что врывались в дома богачей. Ее подмывало выйти и обнародовать истину за маской, но она решила, что предпочитает долгоиграющую перспективу его секрета скоротечной демонстрации собственной власти. Кроме того, некоторым из собравшейся компании вполне могла прийти по сердцу его безобразность; многие из этих женщин нашли бы ее

достаточно извращенной, чтобы возбудить их зачерстневшие и порочные страсти.

Измаил вернулся в дом номер четыре по Кюлер-Бруннен днем. Он заблудился на пустых улицах, броский в своем костюме. Не он один бродил как в прострации или спал в парках и подворотнях: многие местные из гуляк все еще шатались в гротескных нарядах, теперь мокрых и заляпанных после дождливых ночей и утренней росы. Но, в отличие от него, все сняли маски, чтобы разделить с другими свой срам и позабыть его. Любой, кто носил личину дольше волшебного часа разоблачения, становился добычей для поношений, даже нападений. Та же толпа, что перешла столько границ, позволяла обмен ложью, жидкостями и грезами, мгновенно вернулась к косной чинности остальных трехсот шестидесяти двух дней года. Все, что было в этих трех ночах, забывалось навек; все с этим соглашались и строго придерживались. Незнакомцы, оставшиеся в масках на четвертый день, являлись ренегатами и угрозой договору. Хуже того, они вопиюще бросали вызов анонимности группы своим дерзким самодовольством и становились мишенью для всех, от лордов до псов. Измаила бы разоблачил и признал первый встречный; его бы побили и прогнали по улицам унижения.

Циклоп не знал об этих правилах, покидая кровать Совы. Когда он переходил одну из круговых артерий улиц, все его усилия были направлены в попытку сориентироваться вопреки совокупному эффекту спирта и недосыпа, не говоря уже о пылком внимании, уделенном спутницам. В воздухе мокрыми и измотанными висели кумач и нити бумажных цветов, пока ветер придавал им пугающее впечатление одушевленности; они хлопали наперекор обычной гравитации с беспардонным презрением. Как раз проходя мимо украшений, Измаил услышал, как его окликают:

– Ты запоздал, друг, больше скрывать нечего; час пробил!

Он не обратил внимания на двух мужчин и женщину, вышедших на дорогу прямо перед ним из узкого переулочка.

– Ты что ж, не слышал? – гаркнул высокий, отступая от остальных двоих, которые словно подпирали друг друга, сомкнувшись против неизбежности. – Я сказал – снимай, покажись!

Он встал на дороге Измаила, но циклоп был быстр и ловко обступил здоровяка, одетого в пингвина. Его движение обозлило мужчину, выкрикнувшего предупреждение своим друзьям. Измаил оказался зажат между ними, когда первый обернулся и зарычал.

– Что дает тебе такое право? – сплюнул он. – Возомнил себя лучше нас, а?

Измаил отскочил, но второй выставил ногу у него на пути, и он неудачно споткнулся, упал на листья и твердые камни мостовой, с силой ушибив колено и голову. Некоторые его глиняные безделушки разбились при падении и рассыпались по канаве. Здоровяк смеялся, поднимая его на здоровое колено и срывая маску; разорвалась и прыснула нить фальшивых изумрудов, украшавшая циклопа, заскакала по укрытиям в трещинах сумрачной дороги.

– Так-то лучше, – глумился здоровяк. – Теперь ты один из нас, – затем его глаза сфокусировались на том, что он так крепко держал в руках. Он тут же отпустил, словно его ошпарили или ударили током. Измаил вспомнил звук, который иногда издавали Родичи, и криком пустил его по своему заволновавшемуся языку. Мужчины сбежали, оставив женщину сползать по стенке. Она не видела его лица, когда свалилась на мостовую. При падении ее возглас рассыпался хихиканьем.

– Терь те придется меня нести! – взвизгнула она.

Он наклонился к ее лицу и ухмыльнулся с преувеличенным смаком князя тьмы. Она взглянула на него в упор и закричала. Он опрокинул ее в канаву и пинал по голове, пока не сорвал подошву, а она не прекратила визг. Она лежала, тихо всхлипывая, пока циклоп хромал прочь, вычисляя безопасный маршрут до дома. Он поднял свой раздавленный намордник и ермолку, где их обронил тот трус, и вернул на место. Большинство усиков выпало, а поврежденная форма придавала ему новый комичный вид – сродни игрушкам, обезображенным избытком любви, которые сжимали и обнимали для придания характера, переделывали слюнявой аффектацией хозяев, пока не бросили.

В конце концов он нашел дорогу и поплелся назад, потрепанный, мокрый и усталый, с растущей внутри тошнотой. День дистиллировал его триумфы ночи и превращал мощь и завоевания в пустую кашу холодного отвращения. Он отчаянно мечтал о горячей ванне и долгом

сне без видений, чтобы расслабиться после всех липких отчаянных тел, бальзамировавших вязкостью своих объятий его свет. Хотелось избавиться до последнего атома от их вкусов и запахов, которые совсем недавно он лелеял; вычесать их гнилые вздохи и улыбки и больше никогда не касаться человеческого существа.

Пройдет три дня, прежде чем он снова заговорит, до того просидев взаперти в своих комнатах и отказываясь отвечать на мольбы Гертруды. На четвертый день, войдя в дом, она услышала музыку. Она проследовала к ее источнику, поднимаясь по лестницам и прислушиваясь, зачарованная жутковатым резонансом. Когда она добралась до чердака, громкость и сложность возросли. Устройство Гёдарта настроили и пустили в ход. Свинцовые грузила с перьями были привязаны к концам тросов, отвесно свисавших с потолка. Они качались долгими маятниковыми дугами, и перышки в каждом своем пролете задевали горизонтальную струну пианино, вызывая у дрожащих прядей металла мелодичный голос. В сумраке играло около тридцати струн, каждая своих длины и тембра. Щипковые гармонии отдавались из угла в угол; на движениях маятников переливался свет из открытого оконца. Все пело.

Исмаил сидел в дальнем углу, привалившись к стене, сложив руки на коленях. Гертруда нашла себе место и тоже села; она догадывалась, что сейчас не лучшее время заводить разговор. За следующий час маятники теряли магнитуду, пульс менялся и громкость падала, перья легонько гладили по струнам, в итоге обретая на них покой. Ближе к завершению человеческий слух силился выловить на чердаке любой тремор восприятия, от которого замирало сердце. Кончился концерт, и они сидели в долгой тишине, предчувствуя ее нарушение.

– Холодает, – сказал наконец циклоп.

– Да, – ответила она, – жаркие дни и холодные ночи.

– Я ухожу, Гертруда, – произнес он наконец. – Навсегда.

Ей стало еще холоднее, и она обхватила себя руками. Взгляд уперся в пол; она знала, что спорить бесполезно.

– Куда ты пойдешь? – пробормотала она вполголоса.

– В дебри, – ответил он. – Прочь от людей. В Ворр.

Сытая жизнь и молодая розоволицая жена осчастливили его, до поры. Мейбридж научился улыбаться во весь рот без задней мысли, предвкушать встречи с новыми людьми и радоваться возвращению домой. Однажды соседи застали его за тем, что он шел по улице вприпрыжку – с очень успешной встречи с влиятельной элитой Сан-Франциско (которая, к его удовольствию, уже слышала его имя, хотя он успел опять сменить его) на очаровательный ужин, приготовленный женой. Когда она забеременела, а Мейбриджа приняли в свете, они оба начали округляться.

Гложущую пустоту сменил растущий, вращающийся вес, распухший от гордыни, амбиций и укрепившейся веры в уникальное русло его потенциала. О его навыках прослышало семейство Стэнфордов и приобрело некоторые фотографии (в том числе негативы), а сам Леланд Стэнфорд^[16] принял Мейбриджа под крыло и изменил жизнь своим пари. Были сделаны первые фотографии на тему «лошади в движении», их гениальности рукоплескал и его патрон, и публика. Мейбридж ходил на суаре и роскошные ужины, давал лекции и чтения; он часто оставлял жену дома: ее неуклюжий размер и неказистые повадки могли запнуться или оплошать, а он не желал ей осрамиться.

И все же среди праздности и триумфа угнетала тень. Какое-то прошлое двигалось к нему в обратную сторону – из путешествия, проделанного в будущем, – и постоянно его донимало. «Сомнение» было слишком мягким словом, слишком неопределенным. А тревожило и умеряло самую первую в жизни радость то, что эта тень была известна. Она узнавалась, не имея лица или имени; словно остаточное пятно от его лечения, словно та клякса луны, о которой предостерегал хирург, – но только возникающая в преддверии события.

Больше всего это резонировало с Пляской Духов – или, вернее, с его невежеством о смысле Пляски Духов. Он фотографировал ритуал много раз и долго беседовал с его зачинателями, но все же ничего не понимал; значение Пляски оставалось для него загадкой. Под изнанкой действий работал механизм – как радужка глаза или только что разработанный затвор по ту сторону объектива; Мейбридж видел желание и последующий результат – словно фотопластинка, получившая перевернутое изображение и отобразившая его; так же он понимал смысл кругового танца, возвращавшего мертвецов в ряды

живых воинов для последней войны. Но не мог прочувствовать ни процесс, ни разлинованную покадровость его осуществления.

Он встречал некоторых людей с интересом к парапсихологической фотографии, но почитал их за дураков. Хотя волей-неволей крохотная шестеренка в мозгу проворачивалась и приводила на ум эффект перифероскопа Галла, но Мейбридж отметал подобные мысли в сторону. Тем не менее до него доходили слухи, что высшее общество все более и более увлекается новой модой спиритуализма, что интерес к ней проявила сама королева. Чувствуя, что на рынке шарлатанов и мошенников найдется место для честного человека, он подпер возможностью разрушавшееся настоящее – просто на случай, если треволнения, подтачивающие его блистательный успех, окажутся звуком столоверчения.

* * *

Она прочесала город и выудила три имени, теперь корчившиеся в ее зубах. Два – обычные ненужные жуиры, несущественная знать плачевной репутации – существа, самое бытие которых противно чуду. У третьего имени не было. Говорили, он пришел спутником одной девицы из знакомой Сирене семьи. Она наводила справки, покупала сведения и расплачивалась с уличными соглядатаями, чтобы те разворачивали перед ней крошки наблюдений или шепотков.

Сирена обнаружила, что человек, которого она так отчаянно искала, прибыл на карнавал с зажиточной наследницей Гертрудой Тульп и что в каких бы отношениях ни состояла пара, те позволили им улечься во множество разных постелей за эти три зрелищных дня, ставших пародией на жизнь. Она выяснила, что немного погодя после того, как он покинул опочивальню Сирены, его видели в уличной стычке, в которой стареющая блудница получила пожизненное повреждение испитого мозга. Она знала, что Гертруда и мужчина живут в доме номер четыре по Кюлер-Бруннен и что его никогда не видели на публике. Она не могла быть уверена, но подозревала, что девчонка Тульп имеет над ним какую-то власть; что она его заточила – свой трофей, свое имущество, над которым теперь алчно чахла.

Сирена стояла перед двустворчатыми воротами, царственная из-за своих знаний и верного триумфа открытия. Сделав быстрый и глубокий вдох кошачьими ноздрями, она шагнула вперед и забарабанила по сотрясшемуся дереву.

В глубине души она не сомневалась, что двери перед ее любовью распахнет он сам; что она увидит его, сияющего улыбкой и красотой, тронутого ее настойчивостью в поисках. В ее разуме уже разыгралась сцена, как Гертруда раскрывает свой великий секрет и уступает перед решительными расспросами и праведной страстью. Чего Сирена не ожидала, так это сутулости и шарканья Муттера, чья кислая реакция как будто даже не признавала ее грандиозности.

– Твой хозяин дома? – осведомилась она, неготовая к звучанию и необходимости этой своей ходульной формальности.

Муттер воззрился на нее осоловелыми глазами. Он извлек из влажных губ дохлый сигарный окурочок и сказал:

– Надо мной их нет!

Ее слегка затрясло.

– Тогда твоя госпожа?

– Отсутствует! – ответил он и начал закрывать ворота.

– Где он? – потребовала она, упираясь ладонью в ворота и сравнявшись в силе с муттеровской.

– Кто? – спросил он, искренне не понимая, кого она имеет в виду.

– Мужчина, – сказала она мягко, через нервную улыбку. – Таинственный молодой человек, который здесь проживает.

Настала долгая пауза, пока Муттер соображал, глядя в ее исступленные выжидающие глаза.

– Нет, – сказал он, – его нет. Монстр ушел, – и на этом захлопнул ворота.

Часть вторая

Слушай же меня. Мир полнится бесконечностью существ. Теми, кого мы видим, теми, кого не видим: наги, в недрах земли живущие. Ракшасы, чудовища из лесной ночи, что людской плотью питаются. Гандхарвы, хрупкие создания, скользящие между нами и небом. Асуры, данавы, якши и долгая блестящая цепь богов, живущих во мраке смерти, как все сущее.

Махабхарата

И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.

Книга Бытия, 3:24

Заря как в первый раз. Свинцово-серые тучи – словно латные руки с влажно и вяло зажатым в них слабосильным солнцем. Ночь все еще висит на высоких ветках, большая и мускулистая, дождь и роса капают на душистую почву. Это час, когда ночь лишается памяти, а с ней – гравитации, что оплетает ее шалью весь лес. Полумесяцеокие охотники чувт сдвиг, чувствуют, как слава тьмы иссякает и в итоге лишается своей чистоты. Вульгарные врата дня не знают пощады, и напористое сияние будет лгать обо всем, изгоняя нюансы в дебри деревьев и на другую сторону неба.

Сияние выпускает людей и всех тех, кто им подобен, а также тех, кто идет по их стопам. Деревья вдыхают и принимают мир заново. Неестественная зелень кукушкой занимает гнезда чуткой темноты, в которых живут великие леса. Люди и другие слабые звери набираются уверенности и смеют верить, что это место принадлежит им. Всего несколько часов они широко шагают и рубят опушку, желая криками сравняться с солнцем. Скоро их зашикают сумерки, вернут лес в его

истинное состояние. Смола по-прежнему поднимается во тьме; насос солнца гонит ее по венам еще долго после того, как спрячется его огонь. Это выжимание, от корней до кроны, находит отклик в стенотической памяти людей. Это силовое поле, подобно магнетизму или давлению, влияет на все схожие структуры внутри леса. Тем может объясняться эффект на современного человека, так находят опору стойкие слухи о подвигах, комфортно проживающих в кольцах деревьев.

Геродот и сэр Джон Мандевиль уже писали о немыслимом: «антропофаги» и «люди, чьи головы растут чуть ниже плеч». Такие существа процветают в этой среде, где у эволюции отняли память, надежду и цель, а искажение не сгладили дарвиновским единообразием слепой жадности.

* * *

Они стояли на перроне. Тот был окрашен в серый. Платформу всегда красили в серый. Слои ее кожи вскипали каждое лето – засыпая, когда садилось солнце, и замерзая во время необъяснимых привозных зим, в страхе пробуждаясь в смутные времена, которые звались весной. Сейль Кор и Француз стояли в хлопающих красках одеяний, в странном сплетении полуденного ветра и пульсирующего пара. Локомотив был позади поезда, его сердцебиение отзывалось во всех деревянных ребрах безымянной станции. Далее шли три пассажирских вагона, за которыми следовали три простые теплушки с надписью «РАБЫ» на боках. Слова уже давно покрасили, но их смысл все равно просочился, отчего только больше бросался в глаза. Далеко за ними и границами станции тянулись грузовые платформы, со спокойным голодом по тоннам истекающей древесины, некоторые – еще влажные после предыдущего путешествия. Словно на перспективном чертеже, они указывали в буйный мрак Ворра.

На перроне находились еще четыре пассажира, но вниманием путешественников завладела плотная группа мужчин, стоявших компактным отрядом рядом с теплушками. Это были основные работники – те, кто совершил подобный путь уже много раз. У них не осталось дома или семьи – лишь работа и сон. Они стояли скопом,

плечом к плечу против холодных хищников, как легендарный овцебык. Но здесь им угрожали не морозные арктические ветра или волки, а какая-то иная внешняя сила. Француз не мог отвести глаз от их выражения взбудораженной пустоты и заговорил, не двигаясь с места.

– Кто они?

Сейль Кор притворился, что не замечает их, и взял время для ответа, который наконец озвучил, только отвернувшись от них и цедя сквозь зубы.

– Это лимбоа, некоторые зовут их Die Verlorenen – потерянными.

– Но что с ними случилось? – спросил Француз.

– Они слишком много раз были в Ворре. Какая-то их частичка стерлась, забылась. Это бывает, если заходить слишком часто или слишком глубоко.

– Грозит ли эта опасность нам, Сейль Кор? – спросил Француз, встревоженный.

– Нет, эфенди. Эти люди голодали по работе или скрывались в лесу, нарушая заповеди и оскорбляя ангелов. Мы же совершим всего одно путешествие и будем держаться ближе к рельсам.

Они инстинктивно обернулись, чтобы пристальней приглядеться к лимбоа, которые мгновенно прекратили движение и повернулись навстречу чужому интересу, уставились в ответ. Затем рабочие в унисон разогнули указательные пальцы на левой руке, подняли их и показали на свои сердца. Француза поразило и пристыдило столь яркий ответ на вопрос, который он собирался произнести, – вопрос, зародившийся между разумом и устами, в парах его сердца, и улетучившийся пропорционально интенсивности их физической реакции.

Раскрылись двери рабских вагонов. Группка мужчин, понурившись, опустила руки и, забыв о своем едином взгляде, двинулась внутрь. В теплушках не было сидений – лишь ряды узких коек. Француз наблюдал, как они забирались на свои полки и пристегивались широкими кожаными ремнями. Его меланхоличное любопытство жестоко извел свисток локомотива – истошный исторгнутый пар объявил об отправлении. Вместе с Сейль Кором они поднялись в собственный вагон и приготовились к долгому медленному путешествию вдаль от нерешительного города. Француз хлопотал с багажной полкой над головой, передвигая и поправляя свое

упакованное имущество на изысканно вырезанных волютах плюща и дубовых листьев, украшавших дерево. Он все еще возился, когда поезд тронулся. Сейль Кор дотронулся до его руки и отвел к сиденью, где тот мог остыть и прекратить свой одышливый бубнеж.

После первого часа Француз перестал смотреть в окна. Вид состоял из деревьев, только деревьев в нескончаемом единообразии. Пути прорезались прямой линией через чащу леса, образуя туннель в живой массе. Поезд создавался для силы и переброски большого веса, а не скорости, и они ехали неторопливо, мягко покачиваясь на рельсах. Машинист сидел в хвосте поезда, сдавая назад – вперед в лес. Во главе долгой череды дребезжащих платформ не было охранника или впередсмотрящего – никого, чтобы выглядывать препятствия или проблемы, потому что их быть не могло. Острый метельник на поезде разбрасывал любые ветки или мусор, попавшийся на пути, но он не попадет. Унылая настойчивая скорость никогда не падала.

– Сколько раз ты здесь был? – спросил Француз у Сейль Кора.

– Это будет мое второе полноценное путешествие. Первое паломничество я совершил в детстве, с отцом. Тогда мне было двенадцать лет. Это случилось за неделю до моей конфирмации.

– О. Я думал, ты был там много раз, – сказал Француз, когда нескрываемое разочарование лишило его громкости.

– Нет, человек может посетить сердце Ворра только три раза в жизни. Я говорил вам, больше запрещено.

– Но ты говорил, что запрещено заходить дальше определенной точки в лесу, а не посещать много раз.

– Это одно и то же.

– Как это может быть одно и то же? Как проникновение в священное место может быть тем же, что и количество посещений?

– Это одно и то же, потому что весь Ворр священный, от дальней опушки до ядра. Время и пространство – вторжение: преступно все.

– Тогда как выживает эта промышленность? Она же явно вторгается сильнее, чем способен один человек, и забирает от священного места еще больше? – Француз не мог выбраться из логического тупика.

– Город берет материалы, – ответил Сейль Кор. – Одиночки входят в Ворр не ради древесины; они ищут другого. Эти пути и восточное легкое, где сейчас валят лес, отданы в дар. Это баланс между Ворром и

миром людей, между теми, кто обитает здесь, и теми, кто обитает в городе.

– Но как возможен баланс, если лесу и его богам не нужен город?

На лбу Сейль Кора пролегла вертикальная борозда. Ему не нравилось слово «боги» во множественном числе, это он уже объяснял.

– Эссенвальд – библиотека леса, придаток. Его привлекло сюда, когда Ворр уже был древним. По физической близости столько людей Бог индексирует нынешние пути человечества; так учатся его ангелы. Это открытая полка.

Француз нахмурился в ответ. Назрел новый вопрос, и он отвел глаза в окно, чтобы его сформулировать, но бегущие деревья размолотили мысли, как движение лимбоа.

Он откинулся на стенку и представил молчаливого великана, бредущего по поляне, в глубоких размышлениях оглаживая рукой длинную белую бороду. Он видел ангелов в развевающихся хламидах, идущих по полуденным улицам города; стоящих в общественном парке, разглядывая отель, где на балкон вышла женщина. Он вырвался из глупости картины, пораженный ее наивностью. Взглянул на Сейль Кора в поисках толики успокоения, но и тот уже расслабился в пути; лишился хмурости и наблюдал за движением снаружи. Его глаза бежали за деревьями, и месмерический покой наполнил его тело и лучился в лице. Француз чувствовал силу и решимость Сейль Кора, видел, как они озаряли его изнутри и проливали свет неприкосновенного совершенства. Он мог часами наблюдать за этим человеком. Восторг подпитывался каждым нюансом позы и выражения; в его обществе Француз мог позабыть о гложащем гневе и злобных видениях в своей голове.

Сейль Кор обернулся на белого, раздетого в фарс цветастых платьев. Он заметил перемену в глазах своего друга, и по его лицу пробежала неуверенность. Француз ответил слабой беззащитной улыбкой.

Они уснули до сумерек, пока вагон дребезжал вперед на своей постоянной скорости. В их купе, да и в любых других, не было ламп. Все спало еще до того, как пришла абсолютная тьма, и останется в дреме до далекого рассвета. Поезд стал невидим, не считая искр и

румянца там, где из трубы валил дым. Деревья игнорировали его мрачное путешествие; живность была слишком занята, чтобы обращать внимание. Некоторые из ночных племен на окраинах ненадолго останавливались и прислушивались к ритмичному линейному голосу. Большинство принимало состав за часть ежедневной рутины Ворра и оставалось на расстоянии. Однажды, в самом начале, несколько невыразимых попытались его убить, встав на путях с копьями, чтобы противостоять скорости чудовища. Их конец был кратким и кровавым, и легенда просочилась к будущим поколениям, научив держаться подальше.

Так, нетронутый растениями, животными или антропоидами, поезд стал почти автоматическим в своем постоянном сообщении между городом и лесом. С трудностями сталкивались только инженеры и кочегары, которые посменно бодрствовали на протяжении гремящих миль. Что-то возражало против их бдения, что-то ощущалось в замкнутом пространстве площадки. Оно тарасилось, пока закидывался уголь, разжигался огонь, плевались уголья. Оно раздраженно наклонялось над горящим маслом и паром. Голоса тревожили трубки и поручни; голоса из проносящейся ночи, что нельзя было расслышать из-за грохота двигателя. Одни говорили, что это ангелы беспокоятся из-за вторжения разума в Ворр. Другие – что это призраки лимбоа, в поисках своих хозяев. Те же, кто работал у топки, говорили все меньше и меньше, потому как слышали больше и больше.

На следующий день они не проснулись. Никто и никогда не просыпался. Следующий день всегда был темнее – возможно потому, что чем дальше углублялся поезд, тем гуще становился лес, его огромный полог вздымался против небес на все более высоких деревьях. А возможно, из-за бормочущей скорости, никогда не сменявшей пульс или темп, ритмичные поющие рельсы насылали на пассажиров пелену гипнотической комы подобно метроному для пианино. А быть может, в этом страннейшем из мест выгибались и гнулись самые естественные законы мира, давно известные и надежные. Здесь ночь могла отличаться иной плотностью, так что приход рассвета, начинавшего собираться на листьях, занимал сорок часов.

Они моргали и потирали глаза из-за нового света, стоя и потягиваясь на свисте поезда. В вагоне висел странный запах – незамечаемый в обычной жизни. Француз знал этот аромат по молодым дням, когда баловался спелеологией в Швейцарии. Он со своим атлетическим проводником должен был проникнуть в мелкий лаз глубоко в артериях Нидленлоха. Целый час они ползли по узкому туннелю. Тогда Француз и заметил его впервые.

– Что это за вонь? – спросил он у своего проводника.

– Это мы, майн херр. Люди.

Молодой Француз понял истинность этих слов чуть ли не раньше, чем они прозвучали. Это был запах чего-то врожденного, исконного.

И в то же время запах был совершенно новым; другая, высокая нотка, сложная и волнительно пронзительная; он принял ее за дыхание самого Ворра. Когда он повернулся к проводнику, чтобы справиться об этом, его глаза упали на багажную полку, и он мигом забыл о вопросе. Француз вскочил на плюшевое сиденье, как нервозная болонка, и дернул за свой чемодан. Тот не шелохнулся. Страхи первого взгляда подтвердились: полка отрастила усики и стебли, деликатные ветви, протянувшиеся из резной листвы и вцепившиеся в его имущество, в непотребной манере сплетаясь на коже. То же произошло вдоль всей полки, и другие редкие пассажиры, заметив его реакцию, осознали, что угодили в ту же беду. Они присоединились к нему, ворошили и расшатывали свои пожитки, вырывая их из хватки новых похотливых побегов. Француз рубил бы заросли, найди он подходящий инструмент, но ему на помощь подоспел Сейль Кор, раздвинул стебли и распутал усики, чтобы затем опустить ненужный багаж к ногам маленького человечка.

Поезд замедлился до остановки, зашипевшие тормоза клинили угрюмую инерцию с визгом, от которого в непроницаемой глуши деревьев сворачивались чьи-то уши. Здесь ждал приподнятый деревянный перрон для пассажиров и пандус для вагона с рабами. Низкие платформы вагонов уходили в даль расцарапанных путей и накатанных колеи. У станции не было названия – она в нем не нуждалась. За перроном стоял маленький деревянный домик. Они собрались и направились к нему, разминая после вагона ноги, все еще спросонья; деревянное похмелье, сшитое на живую нитку амнезии.

В доме был зал ожидания, голый и пустой. В нем оказались лишь скамьи и засиженная мухами карта Ворра, приколотая к стене. Они вгляделись в большую простую бумагу, морщинистую и хрупкую от солнца и дождя. Она показывала город и лес, уравновешенные в нелепых, неверных пропорциях; были размечены пути, как и дом, и от них убегало несколько линий, сходящихся на нет. Неуверенным, поблекшим голубым контуром предполагалось течение реки; была и мрачная область, обозначенная как «Лесничество», и расплывчатый пунктир, петлявший почти по середине карты в сопровождении слова «Заповедно».

Карта задумывалась информативной и авторитетной, но из-за скудного исполнения имела противоположный эффект. Она выглядела так, будто в чернильницу картографа упало заблудшее насекомое, выбралось и вяло проползло по бумаге.

Сейль Кор приложил палец к самой жирной линии, бледневшей от станции до пустоты, и сказал:

– Это наш путь.

Его палец покоился на маленьком сером кратере, почти дырке в карте, – там, где бесчисленные паломники точно так же полагали цель своего путешествия.

Они вышли наружу и вздохнули, глядя на чистое ровное небо, прежде чем свернуть на тропу. Позади у карты встали трое других пассажиров, до сих пор незначительных, и один положил палец на то же углубление, что обозначил Сейль Кор. Француз увидел это и ускорил шаг под сень ожидающего леса.

* * *

Меня вынудили прикончить одного человека и ранить другого, так как они хотели поймать меня, ограбить или убить. Поистине, убежище моего дома осталось позади, когда я встал обратно на пути человеческие.

Эсте на моей стороне, сильна и прямодушна. Когда я нес ее на спине, то чувствую прикосновение, текущее через покачивающийся лук, чувствую ее пальцы на хребте, ее ладонь между лопаток. Она постоянно шепчет и замечает моих врагов, прячущихся в деревьях или

за рекой. Вместе мы видели идущего следом; высокого человека в черном, похожего на тень. Он держится поодаль, но все же чем-то ко мне привязан. Она говорит, он страшнее всех, но в Ворре мы будем в безопасности: он не посмеет войти в великий лес.

Я начинаю узнавать этот край, где никогда не был: уголки, игра света и звука; благоухание, которое находит во мне полости, емкости, чтобы задержаться на секунду-другую; достаточно, чтобы промять углубление, оттиск; эхо воспоминаний, которых нет или не должно быть.

Я держался ближе к реке и нашел лодку, чтобы переправиться к деревьям. Лодочника звали Паулюс. Человек неизвестного возраста, потрепанный путешествиями и кошмарами, сточенный крепкими напитками и воображением. Он рассказывает мне истории о сооруженных им агрегатах – сложных механизмах, пытающихся подражать звукам, которые он слышал, когда спал на воде в Ворре. Это славный спутник, потому что он ничего от меня не просит; от меня довольно быть слушателем.

Он единственный, кто ходит в этих водах и заводит свою лодку – «Льва», подгоняемую попеременно ветром, мускулами и паром, – все дальше в центр и все дальше от человеческих голосов и ушей. В этом у нас много общего, и пока что существующая объективная частичка в разброде его мозга это знает и считает, что это хорошо. Я спрашиваю, как далеко заведет нас река, возможно ли добраться до другой стороны. Он не знает, но думает, что заходил глубже и пробыл там дольше, чем может сказать любой другой.

Он объясняет, что с раннего возраста страдал от нарколепсии, но она унялась, когда он впервые вошел в Ворр. Теперь он остается здесь и постоянно совершает путешествия, чтобы уравнивать свой недуг. Он говорит, вода сочувствует его непокорному сну; она защищает Паулюса от истирания, делает прозрачным голосами существ, что он слышит. Такие слова не вселяют уверенности – уверенность вселяет его преданность делу. Он обещает идти со мной, пока не кончится река, туда, где ее глотает земля или прибирают горы. Он говорит, что там всегда ждут новые звуки, что они стали его пищей. Я верю ему. За четыре дня нашего путешествия он почти не ел, только ковырялся в пойманной и сготовленной мной рыбе из того изобилия, что здесь обитает. Но он пьет. «Чтобы грезить, – говорит он, – чтобы

свернуться на дне колодца и слушать». Он пьет, пока не отнимается язык. Его веки, подернутые алыми венами, ходят независимо друг от друга, как медленные ложки, пытаясь мудро подмигнуть и распробовать проходящую ночь. И все же каждое утро, когда я просыпаюсь, он уже за двигателем, уже прихорашивает его к работе.

Я открываю, что «охлаждающая система двигателя» – сплетение латунных и медных трубок над бойлером – на самом деле перегонный куб. Вдруг бережный уход за системой обретает смысл, а мне остается гадать, так же ли надежно поддерживается двигатель лодки, как алкогольные запасы. Паулюс прибыл сюда из низовий Европы – пади, где Германия встречается с Голландией и Бельгией. Он был Kahnführer на могучей Маас – трудолюбивым барочником, возившим любой груз через некогда нейтральные и дружелюбные земли, до Мировой войны. Но то было уже четверть века назад. Он никогда не говорит, почему уехал, и юлит в ответ на расспросы о мотивах пребывания здесь.

Лишь раз Паулюс спрашивает о луке и почему я не пользуюсь им для охоты или рыбалки. Я объясняю, что тот не для стрельбы, будучи хрупкой и неумелой конструкции. Он принимает ответ, и мы сменяем тему, возвращаясь к его изобретениям. Он рассказывает мне о другом виденном агрегате, на сей раз не его изобретении; агрегате, который проецировал свет, нарубленный на дольки под скорость моргания, так что достигается видимость движения. Всегда одного и того же движения, бесконечного. Одна и та же женщина на одной и той же лестнице, неустанно поднимается по одним и тем же трем ступеням; лошадь, бегущая в никуда; голый патриарх, размахивающий топором. Паулюс говорит, чем больше смотришь, тем больше их время становится реальной, а время наблюдателя утекает, истекает, становится несущественным – как если слишком долго наблюдать за водой.

Я вижу игру теней, написанную на древесной стене. Она совпадает с нашим движением, пока мы нетерпеливо дрейфуем по монотонной волне. Я чувствую, что мое тело узнает пространства между значительным пульсом жизни, оно словно нарезано на секции и воссоединено в кривой последовательности – порезано на грубой поверхности тупым лезвием и смонтировано неправильным клеем.

На пятый день я отделяюсь от лодки. Бестелесный, я нахожусь около деревьев, вижу ее, его и нас, как птица, следящая за путем судна в рамке ветвей, высоко в лесном трельяже, близко к небу.

Паулюс уже не говорит и больше времени проводит, наблюдая за рекой впереди. Его расшатанное ожидание заразительно, и мы оба смотрим на скудный горизонт, который гильотинируютдвигающиеся деревья. А она держит меня за руку с конца пути, пока в теле разбалтывается мое «я», поглощенное встречей с другим, рожденным здесь.

Неожиданно река выпрямляется, превращается в длинный несгибаемый канал без излучин и стариц. Паулюс говорит, что это похоже на каналы Маас, что он еще никогда не забирался так далеко. Двигатель пыхтит и влечет нас едва ли быстрее скорости воды; гладь чистая и отражающая. Пока тянется вечер, лес, что растет из воды и поднимается к облакам, гипнотизирует нас, ввинчивающихся в его дебри среди абсолютной одинаковости; идеальная симметрия, развернутая в идеальную перспективу. Часами ничто не меняется; сумерки движутся медленнее наших глаз, и мы втягиваемся в поблескивающее отражение, позабыв себя. Мы растворяемся.

Оба человека потеряли себя. Такова цена любого посещения леса: мудрецы и олухи расстаются с собой радостно; другие сопротивляются и цепляются, сжигают кости рук до крюкастых культией, пока не выбиваются из сил или не сводятся в ничто.

Лодка посерела, и люди светились в сумеречном течении. Лучник отдал голос воде, его имя поплыло к веткам, а его мозговое дерево стало под стать деревьям в перевернутых небесах, переполненных робкими звездами. Лодочник изобрел новый агрегат – некий водяной ткацкий станок, предназначенный для морей. Его фантазии манят ангелов. Они пробуждаются из-за плотности этого вторжения, от вибрации механизма мысли, хоть произведенная идея и не несет последствий.

Они приходят с пониманием и наблюдают с опаской, видят «я», плывущие против течения, вдаль от людей. Ангелы держатся на расстоянии из страха угодить в янтарь человеческой ауры. В липкое солнечное вещество, сделанное не для здешних мест, льющееся несдержанно.

В конце пути по трехчасовой тропе Сейль Кор поднял руку.

– Здесь мы должны повернуть, – сказал он. – Либо назад, либо направо, – телом он тянется направо, одной ногой уже на дороге.

Француз поднял взгляд на радостное лицо друга.

– Думаю, мы пойдём направо, – сказал он.

Они двинулись по узкой тропинке, желая больше чудес, чем уже видели. День был непредсказуем, но притягательность стоила возвращения в ночи. Они лицезрели струящиеся ветры Ворра – длинные поющие течения турбулентности, летящие и рябящие между контуров земли и обширного полога неподвижной листвы. Глубокий, но не повсеместный ураган еще не выветрился из легких путешественников – чистейший воздух, какой только можно вдохнуть; острый, как лайм, мягкий, как свежеснеженный снег. В своих торопливых частицах он нес молодость и чистоту, прочищал и выравнивал взгляд. Когда он впервые налетел на Француза, тот задохнулся, пока из просмоленной сути вымывало скверну городов и его собственных залежей злобы. С зацементированного бытия спала чешуя, и в кашле он расстался со всем. Не было слов, чтобы связать воедино опыт двух друзей; они делили его между собой в моментах, существующих вечно.

Они вышли на небольшую прогалину, казавшуюся девственной, нетронутой – животные и растения как будто удивились им и бросили обычные занятия, свой континуум, чтобы отметить присутствие незнакомцев, прежде чем исчезнуть в звуке расступающихся листьев. Сейль Кор вышел вперед, на середину прогалины, пристально глядя на землю.

Француз изучил периметр и в изумлении нашел десятки расходящихся путей. Они были обычными, но заросшими, – тропинки, бегущие из центра циферблата. Путь на четыре часа был самым широким, словно проложенный каким-то животным много больше остальных. Француз заключил, что на прогалину со всех сторон приходило целое многообразие животных, чтобы пить или есть, но не мог найти ни следа воды или пищи – ничего очевидного, что могло бы их привлечь. Он повернулся к другу и обнаружил, что тот стоит посреди пространства с желтой книгой в руках: вот и ответ. Француз

подошел к черному человеку, отливавшему синим в пестрящем свете, на его лице появилось возбуждение, приглушенное величием.

– Сейль Кор? – спросил он. – Что это?

– Это то самое место, – тихо сказал черный человек. – Я был здесь раньше. Здесь жил он.

– Кто?

– Святой Антоний, – ответил он, едва ли шепча. – Посмотри на землю, взгляни! Здесь до сих пор есть шрам его жилища.

Глаза Француза изучили прогалину, где действительно виднелось углубление или шрам. Оно напоминало прямоугольный отгиск хижины или домика, выписанный худосочной растительностью, слабый и незначительный. Француз прошел бы прямо по нему, даже не заметив.

– Здесь он жил многие века назад; на этом месте было его простое жилище.

– Откуда ты знаешь? – беспокойно вопрошал Француз.

– Об этом месте я тебе говорил, сюда меня водил в детстве отец; он рассказывал мне историю, показывал знаки перед тем, как я вступил в истинную веру. Здесь мы в тот день молились вместе, – Сейль Кор посмотрел на друга. – Вот почему я согласился прийти сюда с тобой – чтобы ты коснулся этого священного места и узрел путь. Мы можем помолиться вместе. Вот почему я тебя привел.

Француза изумило это откровение. Его вдруг ознобило от злости на друга – от эмоции, которую он вроде бы уже сбросил, той, что больше всего выбивалась из настроения этого места. Момент стал высящейся ошибкой, содрогавшейся громче деревьев и дольше металлических рельсов, что принесли их сюда, в центр глуши.

– Я пришел посмотреть лес, – сказал он со сдержанной вялостью.

Сейль Кор ответил слишком быстро:

– Это место не для зевак, не для любопытства! Не место для того, чтобы поглядеть и забыть. Оно сакральное и всеведущее, здесь люди должны отдаться, пожертвовать какую-то свою частичку или всех себя. Нельзя войти и выйти, как заблагорассудится; это не парк и не городской сад.

Настала пауза, когда существовал только звон в их ушах, донесший внезапное железо издали. В такие мгновения поджимаются челюсти, словно ожидая, когда прекратят отзываться шум и боль.

Звери и птицы, первоначально занимавшие прогалину, давно ушли – их гнала через деревья набегающая приливная волна конфликта. Следующие слова Сейль Кора были далеко не громкими, но они разорвали напряжение.

– Я же говорил, что путешествия сюда ограничены; это будет моим последним, и я дарю его тебе. Я никогда не встречал другого, кому это так нужно. Я привел тебя для спасения – это твой единственный шанс.

Затем он встал на колени, открыл книгу и начал читать вслух; книга была из веленя, с поломанным корешком. Он читал об Эдеме после изгнания; это оказалась другая версия Книги Бытия, которую Француз еще не слышал, полнящаяся местными деталями и непонятными отсылками. Терпение Француза истощилось; его разочаровала мотивация друга. Экспедиция испорчена, превратилась в гротескную евангелистскую уловку, трюк, чтобы обратить его в бредовое христианство ветхозаветного пошиба. Он отвернулся и вышел с прогалины, оставляя нудящий голос перечислять имена ангелов. Француз дождется на станции и там же объяснит свою врожденную сопротивляемость к подобным выходкам.

Он маршировал по тропе, бормоча себе под нос, репетируя все уроки, какие придется преподать Сейль Кору, чтобы их дружба сохранилась. Низкие лозы и обильная поросль цеплялись за лодыжки, он запинался о гальку и плоские камни, оставшиеся незамеченными на плавной досужей прогулке сюда. Он продирался через тропу и ее растущее сопротивление, не прекращая брюзжать о том, как все это стыдно, ненужно. Монолог оборвался вместе с тропой. Он встал, замолчал, широко раскрыл глаза, вперившись в глухую стену растительности в конце этой неверной тропинки. В крови холодно побежала тонкая струйка паники. Оглянувшись, он услышал собственное затрудненное дыхание. Насилу видел тропинку, которой только что шел, – хотя не сходил с нее, все еще прижимал ногами к земле. Он знал, что нужно завладеть моментом. Закрыв глаза, Француз попытался сохранить спокойствие, положив руку на сердце и позволяя крови разогнать страх. Открыл он глаза перед непроходимыми джунглями. Медленно пустился туда, откуда, как он думал, пришел, ожидая в любой момент, что зелень расступится и тропинка станет проторенной и прямой, как прежде, что она расцветет в

колени преклоненного Сейль Кора и путь домой. Но шаги привели его к стволу огромного темного дерева, причем тропинка закончилась так, как не положено кончаться тропинкам. Он обернулся к дереву спиной и уставился в спутанный лес – теперь страх поднимался, словно пары от нехоженой лесной подстилки.

В следующие спутанные годы, которые на деле не могли длиться больше нескольких часов, он кричал и звал, пока не извел голос. Он ходил по всем направлениям в поисках дороги или знака, но везде были только деревья и усиливающийся ветер. Должны же его найти мудрый друг или один из работников? Даже встреча с лимбоя стала бы желанной. Французу померещился какой-то голос, и он заторопился к нему, но тот слился с другими звуками, не приблизив к спасению.

Он необратимо заблудился, почти без провизии – главная сумка осталась в распоряжении Сейль Кора. Он остановился, чтобы порыться в рюкзаке, думая отыскать в его забитых внутренностях надежду на пару с решением. Вместо этого нашел спрятанный «дерринджер», заряженный и с двумя запасными патронами в кобуре. Он мог позволить себе только один сигнал о местоположении; остальные боеприпасы понадобятся для защиты. Бог знает, какие ужасы живут в этих свалявшихся зарослях; он видел картины, слышал басни.

Француз достал пистолетик, осторожно взвел и поднял над головой. Выстрелил в небо – или туда, где должно было быть небо, по ту сторону тонн листвы. Звук прервал тишину и на миг подарил в ответ молчание. «СЕЙЛЬ КОР!» – возопил Француз последними надтреснутыми и зазубренными остатками голоса. Потом тишина хлынула назад, принося хлипкую пену звуков – далекий свист поезда. Казалось, тот где-то в милях от Француза, рассредоточенный, без направления. Несколько мгновений он думал, что это ответ на его сигнал, что там слышали выстрел с этого тоскливого пятачка, определили его местонахождение и приступили к поискам. Потом засвистело снова, и в реверберации звука Француз услышал движение – поезд покидал лес, груженный древесиной и немногими изможденными пассажирами, а он остался позади, забытый, а то и вовсе не виденный. Все, кто заботился и знал о его существовании, остались в другом времени и пространстве, – все, кроме одного, от

кого он ушел и уже никогда не найдет. Ноги подогнулись, и Француз привалился к древнему дереву, сползая в жесткое жилистое гнездо змеистых корней.

* * *

Теперь челюсть двигалась только вбок. Знахаря, выполнившего починку, звали Небсуил, и он жил на глухих островах в самом устье великой реки. Цунгали зацепил его жилище, когда сделал крюк по дороге к Ворру.

Небсуил обладал великим знанием тела, его жидкостей и огней. Его услуги приобретались, но были лучше, когда отдавались даром. Он не был добрым человеком; он применял свои знания не к чужому благополучию. Небсуил занимался хирургическими операциями и дирижировал химией растений, чтобы заглянуть глубже в работу человеческого животного. Истинной его амбицией было выявить соки, сообщающие плоть с разумом и разум с духом. Инструменты и процедуры для подобного занятия были просты. Он разделял и вычитал, прибавлял и умножал боль и ее облегчение, испытывая изнанку анатомии и ощущений. Знахаря не стоило недооценивать, и Цунгали знал, что в его руках мог погибнуть или переделаться. Еще он знал, что если быстро не найдет помощи, то его челюсть не заживет никогда. Голод и отравление крови казались концом куда хуже, чем вмешательство Небсуила.

Ранее глухой остров был лепрозорием. Семья Небсуила жила и страдала здесь от неумолимой болезни – но не он сам. Какое-то могучее сопротивление хранило его «чистоту», пока он наблюдал, как страдают окружающие. Он видел, как чужаки третируют его семью и друзей; в торговых экспедициях во внешний мир наблюдал за открытым отвращением и жестокостью к родным.

Неведомо, как он стал Знахарем, но легенды ходили обильные и жуткие. Одни говорили, что он препарировал мертвецов острова и читал сложные истории их механизмов; другие – что он путешествовал, собирая мудрость многих племен, в том числе заморских. По слухам, он общался с запретными духами и невыразимыми существами, приходившими выменивать знания на

человеческие души, которые Небсуил держал в банках. Слухи не находили подтверждения и становились все фантастичнее в своей расплывчатости. Но о его силе исцеления разнотолков не существовало. В ней не сомневался никто, и она стоила риска заражения и агонии.

Цунгали сидел в большом кресле из прочного дерева, ремни туго прихватили его руки к телу и крепко – к подлокотникам. Со сломанной челюстью он насилу испил микстуру из заваренных листьев, которую подал Небсуил, и теперь его лицо немело и стыло. Сломанные зубы были извлечены и отброшены на земляной пол, где к ним сбежались муравьи, роясь коллективными волнами, чтобы подвинуть трофей по конвейерным линиям неистовых черных телец. Металлические и деревянные щупы раскрыли челюсть, подарив неестественный подступ к поблескивающим внутри мышцам. Небсуил работал с обеих сторон – один палец на наружной ране, где он распустил шов, вторая рука правила и дразнила инструментами во рту Цунгали. Рука охотника, уже обработанная, лежала, подергиваясь, в повязках. Час спустя он лежал в поту выздоровления, просияв улыбкой в боли.

– Расскажи об этом Лучнике, – сказал Небсуил, когда они сели у тлеющего огня три дня спустя. Цунгали говорил, клопоча и плюясь, словно через забитый в рот мокрый носок. Он объяснил свою задачу и как были расстроены оба покушения. Он рассказал о белом с навыками черного, о его хитрости и чрезмерном знании. Он не рассказал о том, чего боялся, о том, что видел вблизи в те недолгие минуты: о шоке узнавания; о лице, которое знал много лет назад, – лице, нетронутым временем, хотя сам Цунгали постарел, а его тело замедлилось. Должно быть, это ошибка, игра разума – возможно, это сын, неотличимый внешностью. Альтернатива, хотя и объяснила бы его силу и автоматическое размещение в памяти Цунгали, была невозможной.

– Я убью его в Ворре, – заключил Цунгали.

– Или он убьет тебя, – без эмоций констатировал Небсуил. – Почему, по-твоему, он направляется в Ворр?

– Потому что там его судьба, какое-то незаконченное дело. То, чего не хотят допустить белые солдаты, – Цунгали поворошил светящиеся угли палкой, соорудив в мерцающем очаге новую

цитадель. – Быть может, он ищет встречи с обитающими там ангелами или демонами.

– А! – сказал Небсуил. – О демонах мне неизвестно, но Былые, кого ты зовешь ангелами, – другое дело, они существуют всюду.

– Ты видел их? – спросил Цунгали.

– Я чувствовал их, ощущал, как они приближаются, наблюдают, когда на моих ножах дрожит душа. Некоторые тянутся к человеческим крайностям, хотят заглянуть глубже и понять – и, может, стать частью человека. Ты ни разу не ведал об их присутствии, работник войны и крови?

Ответа не было, и Небсуил продолжал:

– Былые в Ворре могут быть другими, старше; осадком – как в закрытой трубе или в одной из моих пробирок; скрытые и закупоренные, слишком вязкие, чтобы взобраться по стенкам. Во всяком случае, это совпадает с бытующими о регионе историями.

Он отрывисто провел ладонью над головой, словно приглаживал невидимые волосы над блестящим лысым черепом. Он знал, что Цунгали видел больше, но молчит. За это мелкое проявление эгоизма Небсуил даст ему слабый и недорогой бальзам, чтобы закрыть раны. Поделись Цунгали всеми своими знаниями и страхами, ушел бы с мазью, от которой раны заросли бы в два дня.

За несправедность своей задачи или неспособность отказаться от своей цели Цунгали заплатит дорого, но не тотчас и не этому доктору. Небсуил дал раненому воину приметный запах; еще год за ним можно будет следить, а выдрессированные животные доставят весточку о его местопребывании; так Знахарь найдет Цунгали, если тот больше не вернется, – каким бы ни было состояние тела, оно не коснется эффективности запаха.

На следующий день охотник поблагодарил Небсуила и попрощался с ним. За лечение он отдал три десятка булавок, дюжину синих ракушек, собранных морскими племенами, и пять ампул адреналина, украденных из армейских запасов. Сам того не зная, отдал он и неделю своей жизни, а также возможность успеть в своем поручении.

После ухода пациента Небсуил открыл ларь и достал клочок пахучей свернутой ткани, растянул его между замысловатыми

латунными держателями. Ручкой с тонким кончиком нацарапал на нем музыкальную арабскую вязь. Когда надпись просохла, он снял ткань и скрутил в трубочку, которую ввернул в невесомый жестяной цилиндрок – не больше изогнутого ногтя его мизинца. Привязал тот к лапке черного голубя, воркуя и напевая птице, зажатой в ладони. Вышел наружу и пустил его к небесам, навстречу трепету восстающих звезд, и присвистнул вслед, чтобы придать скорости на пути.

* * *

Священник сидел за круглым столом в своем доме, близ леса. Птица спорхнула из солнца к знакомому насесту и лотку на верхнем этаже башни Лэнгхорн. Ее вес стронул легкий серебряный колокольчик, призвавший к себе сухопарого человека. Он сорвал сообщение с птицы и распрямил свиток:

«Убийца идет в Ворр за Лучником. Он помечен. Действуй без промедления, или все пропало».

Клирик поместил лоскуток в стеклянный фиал и запер в стальной шкатулке. Он никак не мог войти в лес, но все же требовалось предотвратить смерть Лучника. Придется слать другого вместо себя – того, кто устранил неустрашимого воина на хвосте Лучника. Пригоден был только один: Орм.

Орм жил и работал с лимбоа. Он чувствовал себя как дома в их пустоте; он прятался в их отсутствии. В действительности никто не знал, что есть Орм: когда он был нужен, весточка шла всей их пропащей братии. Тогда из них выходило что-то; никто не знал что, и большинство не интересовалось. Говорили, что мозг его черен и тверд как гранит, в отличие от жидкой кашицы, плещущей в черепаха-каштанах лимбоа. Процесс и цена контакта леденили даже прогнившее сердце священника. Но это было необходимо, и он отправился в рабский барак у станции, где держали лимбоа, когда те не трудились под сенью леса.

* * *

Рабский барак стоял на отшибе – три этажа, окруженные огороженным пространством. Это была тюрьма с двух крыльями, где в одном крыле содержались рабы, а в другом – преступники. Большинство преступников являлись теми же беглыми рабами, и в какой-то момент обе части мрачного здания слились. Неудобная история рабовладения была слишком близка; даже в эти цивилизованные времена ее шрамы еще далеко не зажили. В других частях света аболиционизм стал вопросом растущей моральной сознательности. Здесь же работорговля подчинялась естественной эволюции – некоторые говорили, эволюции к состоянию большей деградации. Рабов вытеснило увечное поколение, развившееся в их рядах, заменяя похищенную рабочую силу той, что все это время была скрыта. Постоянное насильное облучение Ворра породило альтернативный клан существ, и в первоначальной армии рабов проросла новая: семя лимбоа.

Большей частью они были черными и местного происхождения, некоторые – белыми, очень редкие прибились из Азии. Принудить к труду их было просто: они все стремились оказаться в Ворре, и их зависимость легко эксплуатировалась в управляемых сменах. Поезд постоянно рокировал отряды тех, кто после недельного пребывания в рабском бараке отчаянно желал вернуться в проглатывающий лес, и тех, кто от усталости не сознавал толком, что уже его покидает.

Рабский барак и его содержание вменялись в коллективную обязанность Гильдии лесопромышленников – общества крупных фабрик и экспортеров, вдоволь откормившихся на лесном изобилии. Лимбоа было куда труднее контролировать и объяснить, чем их похищенных предшественников. В одном уже коллективном присутствии лимбоа имелось нечто такое ужасное, что большинство обычных людей просто не выносили их общества. Надзиратели держались не дольше нескольких недель; даже самые черствые и жестокие разумы обнаруживали, что через несколько дней задаются вопросами о смысле собственного бытия и бренности существования. Те, кто ранее мог засечь человека до смерти без того и никогда не просыпался по ночам от гнева или мук совести, хныкали, когда в их деформированном рассудке всплывали вопросы о вечном. В первые дни казалось, что организовать и сфокусировать эту массу бесплатной

рабочей силы невозможно вовсе. Затем появился мертворожденный и подарил инструмент контроля.

О том царили скудные легенды и убогие мифы, но истина была еще причудливей. Клирик знал эту истину и как пользоваться ею по своему усмотрению. Все началось с Уильяма Маклиша – бывшего сержанта Черной стражи, из тех, что пьет и бьет, человека мускулистого характера и жилистого рыжеволосого норова. Тот добился должности старшего надсмотрщика рабского барака и переехал в новый дом с беременной женой и нехитрым скарбом. Это стало новым началом. Он сменил повадки, работу и страну, и в трезвенническом воздухе ярко воссиял сварливый оптимизм. Три недели спустя, охваченный насланной лимбоа депрессией, Маклиш уже подумывал о самоубийстве. Но его отчаянные планы резко предотвратились, а курс жизни навеки изменился из-за мертворожденного первенца.

Маклиш сидел в ногах постели жены, когда доктор туго обернул безжизненный сверточек и спрятал в холщовый мешок. Снаружи раздался шум – растущая песнь, смешанная с битым стеклом. Первые мысли были о бунте, и Маклиш поторопил не закончившего дела доктора на выход, не в силах видеть возможное столкновение этих двух частей своей жизни в меланхолическом присутствии постороннего.

Удостоверившись, что врач ушел, Маклиш прислушался внимательней. Сто девятнадцать пропащих душ – все население запертого казенного дома – выбили окна в своих спальнях и пели в ночь. Это был зов утраты – нестройный, чистый и душераздирающе жуткий. Склонив голову под песню лимбоа, он слышал, как в плач вплетается пиброх – высокогорные клинки, корчевавшие нервы и пришившие его к детству, столь зияюще забытому. Маклиш стоял в дверях низкой лачуги и тарасился на рабский барак, где окна наполнились зовущими его юродивыми лицами.

На следующий день он перешел из своего дома слез в рабский барак. Там все еще пели. Он отпер дверь, и они замерли, храня молчание, пока он ходил среди них, и показывая на свои сердца. Маклиш вернулся заверить жену, что все хорошо, но та наконец уснула, так что он инстинктивно пошел туда, где доктор оставил сверток, поднял его и сунул за полу куртки. Он сам не знал, зачем это делает; не смог бы дать вразумительный ответ. Маклиш перенес спрятанное из дома в присмирившее, ледниковое молчание барака. На

столе в центре рекреации развернул сокровище и представил крошечный окоченевший трупик всем на обозрение.

Реакция изумляла. Они, словно наэлектризованные, как один выстроились со всех частей трехэтажной тюрьмы в очередь, стекавшуюся к залу и фокусу стола. У первого лимбоя был осколок разбитого зеркала, который он поднес к голове. В пространстве между пониманием и страхом росло напряжение. Когда его костлявые ноги уперлись в стол, лимбоя отвернулся, подняв зеркало обеими руками. Тело и голова повернулись так, чтобы стекло оказалось в сложной позиции – сбоку лица. Он прищурился в зеркало, на обратное периферийное отражение мертвого младенца. Смотрел несколько гранитно-тяжелых минут, затем передал зеркало следующему, кто во всем ему подражал.

Часы спустя все исполнили подобный ритуал, все взглянули одним глазком на ребенка, все проявили уважение. Маклиш выбился из сил и не мог объяснить, что произошло, – по крайней мере не словами: в глубине души он знал: они что-то забрали – не у младенца, но у мира, в который ребенок больше никогда не попадет. Знал Маклиш и то, что теперь все они – его. Он крепко запеленал тельце и отнес домой, пряча под темной шелковой подкладкой зимнего пальто, у забившегося сердца.

В этот странный день было куплено или даровано послушание, а с ним – защита от непонятного, но пагубного влияния лимбоя. Маклиш стал распорядителем рабочей силы Ворра. Добился он этого без насилия или принуждения, и Гильдия лесопромышленников осталась впечатлена. Никто не знал, как это произошло, но новость гуляла на устах всех вовлеченных в лесную коммерцию, а Маклиша отметили как человека далеко идущих перспектив. Это событие изменило все аспекты его жизни и принесло то уважение, какого он всегда отчаянно желал.

Доктор компании вернулся за крошечным тельцем только через несколько дней. Его отряжали на другую сторону города, и он многословно извинялся за свою нерасторопность в завершении неотложной задачи. Они шли по прачечной и говорили на ходу.

– Я не сказал жене, что тело ребенка так тут и осталось, – сказал Маклиш. – Она думает, ты прибрал его в ту же ночь.

– О, понимаю, – сказал доктор. – Что ж, могу только снова извиниться за то, что поставил тебя в такое положение. Я его заберу теперь же и избавлю вас обоих от дальнейших огорчений.

Маклиш повозился с шумной металлической щеколдой чулана, и оба вошли. Из темной ниши в конце узкой комнатухи надсмотрщик произвел на свет старую круглую банку из-под печенья. Неуклюже открыл ее и предложил содержимое доктору, который, с проблеском колебаний, вынул сверток. Реакция не заставила себя ждать. Он глубоко нахмурился и принялся ощупывать мудрыми руками тельце в саване, вынес его из чулана и положил на низкий стол в окружении кухонной утвари. Аккуратно откинул ткань, чтобы изучить содержимое.

– Мне очень жаль, что приходится делать это в твоём присутствии, – извинился доктор, – но здесь что-то неладно.

Маклиш был безразличен к происходящему, но реакция доктора его заинтриговала.

– Экстраординарно! – пробормотал лекарь, трогая тельце на столе и изучая вблизи.

– Что такое? – спросил Маклиш.

– Прошло три дня с кончины ребенка, но нет ни малейшего признака разложения. Весьма примечательно, – он обернулся к надсмотрщику с очевидным благоговением, потом вспомнил о причине своего визита и взял возбуждение в руки ученого. – Не хочу показаться черствым, но не позволишь ли ты провести перед похоронами некоторые простые исследования?

– Что, под нож его? – спросил пораженный отец.

– Отнюдь нет; речь больше о наблюдениях.

– Бедное дитячко уже отдало концы. Делай, что должен. Только не затягивай! Ни к чему огорчать жену пуще прежнего.

Доктор согласился и забрал свой трофей. Когда он покинул дом, его лицо просветлело от возбуждения, которого никогда не наблюдали на обычно пасмурном лице.

Прошла неделя, прежде чем доктор Хоффман снова постучался в дверь Маклиша, чтобы его не очень-то приветливо встретил начальник.

– Где мой ребенок? – потребовал он. – Почто ты так долго его держишь?

– Я вынужден извиниться за задержку, но дело в том, что это примечательнейший инцидент – даже уникальный.

Маклин посмотрел на розовое улыбочивое лицо, втиснутое в узкий целлулоидный воротничок; на розовые чистейшие ручки, скованные целлулоидными рукавами. Белое и розовое, розовое и белое. До него доходили слухи об этом человеке – слухи, предполагавшие, что его услугами, навыками и клятвой можно вертеть по-своему за определенную цену. Белое и розовое, розовое и белое.

– Заходи! – бросил он, и резкость процарапала в воздухе между ними предупреждение. Доктор спешно переступил порог в тусклую прихожую.

– Суть в том, – продолжал он, повернувшись к надсмотрщику, – что твой бедный ребенок не тронут процессом тления; сегодня он такой же, каким был при родах.

– Ага, мертвый! – проревел Маклиш.

– Ну да, разумеется, мертвый. Но идеальный! За все свои годы практики я не видел ничего подобного. Прошу, ответь, не произошло ли что-нибудь необычное, пока меня не было, между рождением и передачей останков?

Вопрос пришелся Маклишу не по нраву, и он задал собственный.

– А сколько ты видал?

Доктор был сбит с толку.

– Мертворожденных детей? О, может, три десятка в год. По-разному.

– И что обычно бывает с телами? – спросил надсмотрщик.

– Обычно? Их хоронят в три дня. Как правило, я не держу их у себя; я уже говорил, это очень необычный случай. Заверяю, что применил всевозможную береж...

– Кто-нибудь еще его видел? – оборвал Маклиш.

– Э-э, нет, – нахмурился Хоффман.

Маклиш взял доктора под руку и повел в маленькую гостиную – из тех, которыми никогда не пользуются; заставленную, пропахшую воском и лежалой одеждой. Он усадил озадаченного доктора и тихо прикрыл дверь. Словами, что прозвучат далее, не бросаются беспечно, особенно под половицами бледной спальни у них над головами.

Собеседники сошлись в узле смысла и умысла, приближаясь к теме, которую никто из них не понимал.

– Можно на этом нажиться? – спросил Маклиш.

– В финансовом смысле – нет. Но я могу приобрести в знании, – сказал доктор с большей убежденностью, чем за долгие годы. Он начинал верить в собственные предписания.

– А коли он никогда не попортится?

Доктор молча моргнул.

– Не попортится?

– Ну да, гнить не будет: разве матери не захочется оставить дите при себе, в тепле и уюте?

– У меня на уме было другое, – заерзал Хоффман. – Моя цель – медицинские изыскания; открытие нового понимания бренности; поиск разницы между жизнью и смертью!

– Ага, куда ж без этого, – сказал Маклиш.

Через два дня доктор уступил. Он прибыл к дому надсмотрщика в сиреневых сумерках, в которых все сияло, – прибыл вместе с новым свертком.

Вдвоем они принесли его в дом лимбоя. По ту сторону двери их встретило нечто большее, чем тишина. Под гулкие шаги они доставили трофей к столу, и ритуал со склоненным зеркалом возобновился. Мало что можно сказать о прошедшем времени. Лимбоя шаркали туда-сюда, с дыханием ровным и незамутненным. Доктор и надсмотрщик прятались в тишине и табаке на другом конце здания.

– Что думаешь? – спросил Маклиш на обратном пути домой.

– Я не имею представления, что это, что значит для них и зачем они это делают, – пожал плечами доктор, теряясь в догадках. – Как это влияет на человеческую ткань – совершенно вне моего понимания.

Однако его понимание никак не повлияло на эффект, и сверток, который он унес, сохранил свежесть и гибкость навсегда – намного дольше собственной сомнительной жизни доктора. Месяц спустя они попробовали еще раз – ровно с тем же результатом. Тем временем лимбоя трудились усерднее и подчинялись всем приказам Маклиша. Эксперимент продолжался в течение года, и с большим успехом. Пока доктор не совершил свою самую прискорбную ошибку...

Как и ожидал Маклиш, некоторые родители в горе платили за то, чтобы получить сохраненного ребенка, держать в тихой комнате дома, обнимать и разговаривать, пока не появится новый. Одна пара так больше и не зачала и втайне наслаждалась притворным младенчеством своего трупика до конца жизни.

В дни затяжных дождей, когда не могли работать даже лимбоа, Хоффман принес в тюрьму роковой сверток. Тем вечером на месте были все – ротация приостановилась из-за ливня, хлеставшего и колотившего по узким оконцам и черепичной крыше. Старая тюрьма была забита и задушена немой массой. Доктор и Маклиш вынырнули из луж на улице, хлопая над головой шумными дождевиками и отряхиваясь, как псы в прихожей.

Они положили трофей на стол и раскрыли. Оба уже свыкались с процессом, приобретали иммунитет из-за предсказуемости ритуала и его очистительных последствий. Но звук, что пронесся по высокому зданию в этом случае, был как удар одинокой волны в пещере: быстрый вдох всех лимбоа, разом, вместе. Надсмотрщик и доктор застыли, и волосы на их затылках непокорно зашевелились. Доктор побелел и начал переводить взгляд с Маклиша на мокрую дверь. Ничего не произошло, и лимбоа встали в обычную очередь к столу, первый – с зеркалом в руках. В этот раз порядок стал другим. То же действие, та же бесстрастная вереница в голодной тишине, но все изменилось в каком-то другом важном смысле – словно от скачка температуры, аромата или цвета. И эта неведомая аномалия нарастала с каждым участником. Снаружи ревел дождь, его сырость как будто пронизывала все здание.

Когда все до единого заключенные подошли к столу и вернулись по койкам, к шуму воды присоединилось новое ощущение: дыхание, сперва едва различимое, потом растущее – больше в ритме, чем в громкости. Мужчины переглянулись, когда втягивание и дуновение усилились. Единый вдох. Единый вдох в унисон – от всех заключенных. Это было одновременно обезоруживающе противоестественно и совершенно понятно. Затем они заметили уголком глаз какое-то движение. С раскрытыми ртами и глазами они наблюдали, как свернувшийся кадавр раскрывает глаза.

Маклиш побледнел.

– Сука, – выдавил он. – Боже, нет!

Доктор молчал, в ужасе накрыв рот рукой. Маленькие глазки сдвинулись, посмотрели из мертвых глазниц прямо на него. Он сделал шаг к нему, пока ветер дыхания отдавался в каждой части помещения. Протянул дрожащую руку под взглядом посланца с того света, в котором проступил вопрос. В ушах доктора свистело дыхание, и он наклонился к извращению природы ближе, наконец коснувшись ножки кончиками пальцев. Глаза закрылись, и дыхание прекратилось, тишина опустилась с такой силой, что мужчины дрогнули; но в их телах и душах продолжала раскатываться инерция феномена.

Маклиш достал пистолет из кобуры и принялся нервно озираться, заглядывая на металлические лестницы, господствовавшие внутри здания. Ничто не двигалось; даже дождь снаружи унимался.

– Подай, – скомандовал он доктору, тряхнув головой на стол. Хоффман обернул тело и робко опустил в свой большой саквояж. Они оставили рабов в молчании и направились на лужи и свежий воздух – надсмотрщик пятился, выставив пистолет предупреждением пустому пространству, словно фонарик в детской ручке, заглядывающий в бесконечность.

Дома он пытался отдышаться, пока доктор вяло таранился на сумку, стоящую на кухонном столе. Маклишу надо было выпить как никогда прежде, но в доме не было ни капли – и не было уже больше года с тех пор, как он дал зарок. Не кому-то другому – такой бы он нарушил, – а самому себе. Противоречие и отсутствие выбора распалили его гнев.

– Какого хрена пошло не так?! – закричал он на доктора, пожавшего плечами и силившегося заговорить. – Жива или мертва эта дрянь? – потребовал ответа Маклиш, взмахнув пистолетом в сторону сумки.

– Мертва! – сказал Хоффман.

– Тогда почему у него гляделки двигались?

– По-моему... это просто рефлекс.

– Господи боже! Да он же на меня посмотрел! – выдавил Маклиш.

– Да, – несчастно кивнул доктор.

– С чего это, что с ним не так? – Маклиш снова показал на переноску оружием.

Отдаленным и полузадушенным голосом доктор ответил:

– Он не родился мертвым; он абортирован.

Маклиш обжег Хоффмана взглядом и очень аккуратно убрал револьвер обратно в кобуру, застегнув клапан.

– Ты мразь, – сказал он ровно. – Убирайся и избавься от него.

Он распахнул дверь на задний двор с такой свирепостью, что та грохнула о стену, окатила дождевой водой напряжение между ними. Доктор ушел, и Маклиш хлопнул за ним, закрыв его силуэт из виду.

За расставанием через разбитое стекло в молчании наблюдала масса глаз – началось возведение Орма, и еще до исхода года все поймут последствия того дня.

* * *

«Необычайному не тягаться с научным интересом», – думал Хоффман по пути домой. Думал, как мантру, в попытке заглушить грядущую ужасающую перспективу нового разоблачения свертка. Он представил движение внутри сумки. Думал, как оно открывает глазки, смотрит во тьму, пытается разглядеть его.

Он знал, что оно мертво. Он уже видел, как мертвые открывают глаза. Даже слышал их вздохи. Однажды на его глазах рука поднялась и шумно сдвинула незакрепленную крышку гроба. Он даже слышал о случае, когда тело село под простыней на столе, вызвав такой душевный переполох у ассистента патологоанатома, что он разлил целую банку маринованного лука на свой обед и недельные медицинские заметки. Хоффман разбирал те бумажки месяцы спустя; характерная уксусная вонь не улетучилась даже тогда.

Но сейчас все обстояло иначе. В этих крошечных глазах был разум. Или то просто сказалась нервозность момента? Ужас, вызванный неестественным дыханием, многозначительной иллюзией, от которой стыла кровь?

Необычайному не тягаться с научным интересом.

За его врачебным кабинетом находилась оранжерея. Окна были окрашены белым до высоты человеческого роста, что придавало комнате яркую герметичность. Хоффман называл ее своей лабораторией. Настоящих экспериментов здесь не велось, но он баловался с образцами и химикатами, пробирками и ретортами, ведя восторженную игру в научные исследования; это придавало ему статус

среди необразованных старейшин сего процветающего захолустья. Самым функциональным устройством в лаборатории была мусоросжигательная печь, раскорячившаяся в дальнем конце прямоугольного помещения. В ней сгнуло немало неуверенностей и конфузов – наряду с обычной квотой злокачественных и отнятых тканей.

Тем вечером доктор вошел в оранжерею как в тумане, немедленно подал в печь газ и разжег ее светящийся гул. Шаги грозы выбили из неба спазматические брызги дождя, побежавшие по стеклянной крыше; тени-ручейки сплетались и ползли по столу из нержавеющей стали полосками, как у зебры. Сверток лежал посреди их течения одиноким безжизненным островком. Хоффман натянул бордовые резиновые перчатки и развернул на столе набор хирургических инструментов. Было бы проще выкинуть чудище прямо в пламя, но ему было интересно, а теперь, в крепости лаборатории, гордость билась громче страха.

Он стянул ткань с неподвижного тела и с великим трепетом перевернул его на спину.

Приложил к груди стетоскоп: ничего. Перенес полированный конец к крошечным губкам: дыхание не затуманило блестящую сталь. Взял скальпель и чиркнул им по вене: кровь не пролилась из черного неподвижного тела. Его облегчение упрочилось до уверенности, и он поднял вялое создание, рывком открыл ревущую дверцу печи. Колебался с миг, готовый предъявить младенца пламени, когда глаза трупика открылись и уставились на него с несомненным разумом. Он ахнул и выронил создание на пол, отбежал в другой конец комнаты – с рукой, державшей младенца, на отлете, словно она стала отдельной и зараженной сущностью.

Хоффман прождал час, наблюдая, как на поблескивающем металлическом столе змеятся, спариваются и танцуют тени дождя, и чувствуя, как из печи льется опаляющий жар. Он медленно, на цыпочках подкрался к открытой дверце; внутри бушевал огонь. Опасливо присмотрелся к свернувшемуся на полу тельцу: упав, оно так и не сменило позы. Ткань по-прежнему лежала на столе, и он захватил ее по дороге, встал над телом и уронил так, чтобы полностью накрыть трупик. Подцепил скрытое содержимое и затянул тряпки, чтобы не было видно голову. По коже бежали мурашки; он ожидал в

руках сопротивляющегося движения или костяного давления. Но тело оставалось вялым и пассивным, словно в ожидании своей судьбы.

* * *

Через шесть недель с Хоффманом связался Маклиш и попросил зайти под видом осмотра жены – чтобы убедиться, готова ли она в дальнейшем претворять планы на семью. После беглого обследования доктор присоединился к нему в саду за трубочкой.

– Как они? – спросил Хоффман.

– Беспокойные и медлительные, – ответил надсмотрщик.

– С последнего раза выявились новые побочные эффекты?

– Нет, как были весельчаками, так и остались.

Попытка кладбищенского юмора со стороны Маклиша разбавила напряжение между ними, и доктор улыбнулся.

– Кажись, им нужен еще один, – сказал Маклиш.

Доктор прирос к месту и не мог поверить ушам.

– Ты хочешь это повторить? После прошлого раза и того, как ты меня назвал? – доктор на глазах краснел и волновался.

– Я же не хотел тебя задеть. Меня шуганула эта жуткая дрянь, – ответил Маклиш, набивая трубку. – Шуганула, как есть; сказанул сгоряча.

Доктор знал, что другого извинения от угрюмого шотландца не добиться. Они остановились, чтобы заново раскурить трубки, затем еще некоторое время шли молча.

– Все образуется, коли приносить детей, умерших своей смертью, – Маклиш поднял брови, и доктор помялся, но медленно кивнул.

Так ритуал возобновился, и лимбоя снова были довольны. Между надсмотрщиком и доктором укреплялась связь; их тайна оставалась скрытой и действенной; миссис Маклиш снова забеременела.

Весной в бригаду влился свежий приток пропавших людей – некоторые моложе, чем раньше. Один сбежал из дому и прятался в Ворре два года, дичал, пока не был стерт и найден остальными, заготовливавшими лес поблизости. Он еще сохранял осколки языка, но

больше ими не пользовался – до того дня, когда рассказал Маклишу об Орме.

Это случилось после первого же сеанса с зеркалом, когда все остальные разошлись по спальням. Новенький стоял один на металлической лестнице, пока Маклиш и доктор, не заметившие, что он остался, пеленали тело и готовились уйти. Он начал стучать по железным перилам, и тогда они обернулись и обнаружили, что их ждут. Удивленный, надсмотрщик уже хотел рывкнуть на него, когда подросток показал на свое сердце и заговорил. Речь текла еле-еле, без ударений и усилий.

– Из мелкого места мы говорим слово. Слово о том, кто живет в нас, слово о том, чтобы возвращались не с флейбером, но с тем, кто смотрит назад.

Маклиш уже хотел оборвать тарабарщину, когда слово «флейбер» нашло далекий тихий отклик на задворках памяти. Шотландское слово; им пользовалась его матушка. Он не помнил его значения. Во имя господя, как оно попало в уста этого туземца?

– Верните того, чтобы Орм ходил среди нас. Или мы расстанемся. Перестанем.

– Что еще за «расстанемся»? Думаете, можете просто бросить работу, когда заблагорассудится? – гаркнул Маклиш.

– Все расстанемся, – сказал вестник лимбои. – Расстанемся с жизнью.

– Теперь-то что делать? – простонал надсмотрщик, обхватив голову и уперевшись локтями в кухонный стол. Доктор сидел напротив и молчал. – Ты хоть понял, какого черта балаболил этот идиот? Это что, угроза?

– Похоже на то, да, – ответил доктор нехотя. – Какая-то их частичка хочет, чтобы вернули абортированного ребенка, – частичка, которая зовет себя Орм.

– Это смешно, откуда у них наглость взялась!

– Они не шутят, – сказал Хоффман.

– Так или иначе, это невозможно: ты ж его сжег, – Маклиш возмущенно взглянул на доктора, который недолго выдерживал взгляд и снова опустил глаза на стол.

– Не совсем, – сказал Хоффман.

Семья Маклиша была родом из Глазго, семья его жены – из Инвернесса: возможно, она знает это слово, сможет раскопать его значение в памяти.

Когда он подошел, жена поливала новые посадки в уголке их огорода.

– Мэри, – сказал он, осторожно касаясь ее – и темы. – Припоминаешь, чтобы слышала раньше такое словечко – «флейбер»? Помню, как его говаривала моя мама, но, хоть убей, не помню, что это значит. Это из гэльского, не знаешь, случаем?

Мэри была сильной опрятной женщиной, с густыми темными волосами, убранными с широкого лица в клубок на затылке.

– Флейбер, – повторила она, ее шею и уши залила темно-красная кровь под светлой кожей. Он энергично закивал, не замечая, как она смешалась и наступила на один из тонких побегов, что сейчас поливала. – Уильям, зачем ты меня мучаешь? Чего ты хочешь? Мы что, мало натерпелись?

Он моментально рассердился из-за иррациональной реакции и вспылал:

– Я же только спросил, что значит это слово.

Она сделала глубокий вдох, опустив тяжесть мотыги и глядя ему прямо в глаза.

– Оно с высокогорий. Флейбер – дух умершего при рождении; говорят, его душа гуляет по топям в виде призрачного светлячка, блуждающего огонька.

Ее голос дрогнул, но она неотрывно смотрела прямо мужу в глаза.

– *Это* ты хотел знать? – Она заморгала и вернулась к своим растениям, не замечая то, которое раздавила.

* * *

Хоффман держал кадавра в лакированном деревянном футляре, где раньше покоился маленький портативный микроскоп, – некой замене гроба. С того дня у печи он заглядывал в футляр несколько раз. Глаза мертвеца всегда были закрыты, не считая вчерашнего дня, когда Хоффман вернулся с требованием лимбоя: тогда глаза уставились на него с жесткого ложа.

Он готовился завернуть существо, когда слуга объявил, что по договоренности пришла миссис Клаузен. Хоффман совершенно забыл о проклятой истеричке и ее назойливости в связи с новым осмотром из-за очередной воображаемой болезни. Он вернулся в кабинет, где, улыбаясь, как птичка, сидела пухлая фрау.

– Дорогой доктор Хоффман, я так рада снова вас видеть – пусть даже из-за своего несчастного немощного тела.

Доктор улыбнулся и приготовился очаровать приставучую женщину, надеясь скорее спровадить ее подобру-поздорову.

– Это вам, – сказала она, поднося богато украшенный шелковый мешочек с резной шкатулкой внутри. – Это леденцы «Шанте», – без умолку трещала она, – из самого Штутгарта.

Он поблагодарил ее и начал консультацию, почти час подмывая и подтачивая ипохондрические потребности женщины. Наконец сбыв ее с рук, бросился в лабораторию, чтобы спеленать сверток. Опаздывая и торопясь, он суетился, разрываясь от любопытства. Новый голос лимбоа означал, что он может расширить эксперименты. Он надеялся снова увидеть ответ пропащих – в этот раз без того, чтобы страх туманил восприятие.

В рассеянной панике он потерял переноску существа и десять минут ползал под мебелью, заглядывал за книги и крутился, как шкодливая пчелка. Время выходило, и он знал, что Маклиш уже точит когти и теряет терпение. Возможно, он отнес сумку в соседнюю комнату, когда обследовал эту невыносимую женщину? Доктор метнулся через коридор и оглядел смотровую. Сумки не было, но был ее шелковый кошелек. Он тут же отправил омерзительные сладости в мусорную корзину. Сверток идеально подошел к новому элегантному вместилищу.

Надсмотрщик стоял у казенного дома, горячась и раздражаясь. Доктор вяло махнул ему рукой от калитки, торопясь навстречу.

– Прости за опоздание, у меня был пациент.

Маклиш промолчал, но уставился на яркий шумный мешок, который Хоффман извлек из саквояжа, как салонный фокусник. С запинкой от неуместности он спросил: «Это оно?» Хоффман кивнул, и они вошли в ожидающее здание.

Внутри царил неподвижный воздух, у стола их ожидал вестник.

– Тот, кто смотрит назад, – сказал он, уставившись на расшитый мешок.

Маклиш и Хоффман ничего не сказали, положив трофей на стол.

– Уходите, сегодня нам нужно одиночество.

– Так, минуточку... – вспылил Маклиш.

– Все в порядке, Уильям, – сказал доктор с надежной уверенностью в голосе, – пусть в этот раз будет так, как хотят они.

– Один час! – рявкнул надсмотрщик. – Только один час, потом мы вернемся.

Они не оглядывались, когда выходили из здания по коридору, вибрирующему от звука множества людей, спускающихся по лязгающим ступеням.

* * *

С едой что-то не так. Он уловил это еще на второй перемене блюд. Теперь он был на девятой, и все становилось только хуже. Crème de testicule^[17] горчил – вязал рот и смущал. Почки были распухшими и кожистыми, а теперь и фуа-гра оставило по себе серное послевкусие. Француз ужинал с одним из своих случайных беспризорных компаньонов. Одно это уже было неслыханно: он всегда отсылал их перед тем, как принять ванну и в одиночестве одеться к ужину. Мальчишка закидывал еду в перемол челюстей, запивал переполненными бокалами любимого вина Француза. Плевался, когда говорил, высмеивал наружу целые комки изысканной кухни, напоминавшие теперь, в неграциозном полете над блестящей скатертью, не более чем коровью жвачку.

Следующая перемена была с душком кристаллов, которыми слуги отчищали фарфор в уборной. Француз начал давиться. Движение взбудоражило его, и он проснулся в сырой жиже из листьев и голых корней дерева, обозначивших его отчаяние. Сияющий стол и нежные свечи пропали; деревья дохнули сумерками. Захлестнул ужас, когда схватило понимание, что это не сон.

Француз поднялся и попытался собраться с мыслями, пока слезы наводнили глаза и душили захлебывающееся дыхание. Он бесцельно побрел прочь, желая бежать конкретно этого места, служившего

напоминанием, – кошмарных деревьев, засвидетельствовавших его осознание приговора; ему нужно было избавиться от их насмешливого безразличия.

Едкое послевкусие оставалось во рту, пока он пробивался через прохладную мокрую листву. Он нашел углубление в одном из давно засохших дубов и заполз в его жесткие объятия, ломая плечами твердые грибы. Поворочался, чтобы усесться лицом наружу, с «дерринджером» в одной руке и маленьким походным ножом – в другой. Когда наконец прибыла ночь, он уже приготовился к ее атаке.

В лесу смеркалось, тени вытягивались в одну непрерывную форму. Мир вне дерева был не просто темным, но нескончаемо подвижным; там ползали синие пятна, матовые от густой черноты расстояния. Все скользило и шуршало, кралось и хлопало – в бесконечной пучине близости. Француз поднял руку перед носом, чтобы проверить старую поговорку. И правда – он ее не видел, – и все же эбонитовая жидкость в глазах чувствовала кружение всяческих существ в ужасающей досягаемости. К губам почти нашла дорогу молитва. Она началась в ледяном страхе сердца, в желудочках, побелевших от инея ожидания, и отправилась наружу, стала давлением – ветром в мясных парусах его легких. Взбираясь, прошелестела тенью по репетиции его голосовых связок в рот, на язык и губы, прежде чем ее придушила тонкая натянутая гаррота разума. Ни одно слово сердца не проходило через этот фронт без его ведома; даже полному иссохшему дереву запрещено было слышать подобное лицемерие.

Когда в небе уже угадывался рассвет, Француз уснул. К утру его не потревожило ни одно существо и начала возвращаться смутная надежда. Возможно, он выживет? Возможно, глубоко внутри него запрято какое-то богом данное понимание дикой природы. Многие великие путешественники недооценивали свой дар, пока не сталкивались с крайней нуждой; его изобретательный разум может быть способен на преодоление примитивных препон. В подобных испытаниях одерживали победу и более слабые создания.

Он уже почувствовал теплый прилив уверенности, как вдруг увидел свои сапоги. Это были сапоги ручной выделки из Марсея, для путешественников, – предназначенные, чтобы ниспровергать и покорять дикие земли. Ремешки на них кто-то съел, сгрыз, так что по сторонам от пожеванного кожаного языка остались только их корешки.

Француз вскочил, чтобы оглядеть это безобразие, стирая утреннюю росу с глаз и лица. Та оказалась липкой и зловонной. Он взглянул на руку и упал, поняв, что это вовсе не роса, а слюна. Он промок в ней до нитки. Француз вскарабкался на ноги, стучаясь головой и коленями о грубые внутренности заскорузлого дуба, отчего его спешный уход запорошил дождь из сухого лишайника. Он выбрался из вертикальной расселины, хлопая по отсыревшей одежде и влажным волосам в жалкой попытке очиститься. Равнодушные сапоги стали разнузданными и свободными, сползли с возбужденных ног, так что Француз споткнулся о них на сырой колючей почве, хватавшейся за носки и голые щиколотки. Он вскрикнул, подскочил и поскользнулся, упав ничком в овраг, полный грязи и суровых камней, а «дерринджер» сам собою выпустил оглушающий горячий залп.

Так Француз и лежал, надеясь, что умер. Ничего в жизни не было хуже; его парижская квартира казалась несбыточным сном. Затем, под нескончаемый звон пистолета в ушах, он услышал голос Сейль Кора – далекий, но отчетливый.

– Сейль Кор! – отчаянно завыл он. – Сейль Кор! – звал снова и снова и наконец услышал отчетливый ответ.

– Не двигайтесь, эфенди! Просто зовите, и я приду.

Этим они занимались на протяжении часов, безуспешно. Иногда голос Сейль Кора казался дальше, терялся в чащах и изворотах бесконечных звериных троп леса. Два-три раза Француз слышал, как в гуще стволов и листвы что-то движется, но это было не спасение; вероятнее, то кралась гибель, с недавним вкусом его тела в дыхании. Он вырвал перезаряженный «дерринджер» из кармана и развернулся полным кругом. И тут увидел. Далеко в деревьях за ним наблюдало сгорбленное серое существо. Он не мог разобрать его форму; она даже могла быть человеческой. За спиной Француза треснула ветка, и он крутнулся в противоположном направлении.

– Эфенди!

К нему шел Сейль Кор, раздвигая листья с целеустремленной грацией.

Француз заспешил к высокой фигуре и охватил ее руками, разрыдался, сотрясаясь всем расфуфыренным крошечным телом под защитой тихого черного человека. Он спасен. Потом он вспомнил о следившей за ним твари и распутался, оглянувшись посмотреть, там ли

она. Та отодвинулась чуть дальше, в тень, но все еще следила за ними. Француз вцепился в Сейль Кора одной рукой, а второй показал:

– Ты видишь?

– Да, но жалею об этом.

– Что это?

Долгая пауза, пока Сейль Кор снова провел рукой над головой. Создание вышло на яркий просвет. Оно напоминало человека. Кожа его была серая и морщинистая, как у примата без шерсти. В наблюдении за ними оно оставалось неподвижным.

– Что это? – спросил Француз вновь.

– Боюсь, это Адам, – отвечал Сейль Кор.

Француз отрывисто кхекнул, из него против воли вырвался смешок. Нервный выплеск испугал создание, умчавшееся в листву.

– Адам? – спросил Француз; звук смеха еще не просох во рту.

Сейль Кор, чьи глаза с опущенными уголками были полны раскаяния, не подал ни звука.

– Сейль Кор?

Ответа так и не было.

– Сейль Кор, это едва ли человек. Как оно может быть Адамом? Адаму сейчас должно быть несколько тысяч лет.

– В Библии сказано, что Адам умер, – ответил Сейль Кор. – Даже сказано, что из дерева, посаженного на его могиле, вырублен истинный крест. – Он взглянул в деревья и двинулся прочь от места встречи. – Нам надо идти. Мы зашли слишком далеко.

Француз пытался успевать за ним, но замешкался из-за пожеванных сапог, наскоро натянув их и стараясь удерживать подвернутыми пальцами ног.

– Пожалуйста, подожди! – позвал он.

Сейль Кор остановился, не оборачиваясь к шаркающему денди. Когда Француз приблизился, он возобновил шаг, не подав ни слова, ни знака, что они вместе. Шел он достаточно медленно, чтобы Француз не отставал. Похоже, Сейль Кор знал, где они и куда идут. После долгих неловких мгновений и нескольких поворотов они вышли на широкую тропу. В новом пространстве часть напряжения между ними мало-помалу разряжалась, и наконец вопросы Француза неуправляемо всплыли к поверхности.

– Прошу, Сейль Кор, расскажи мне еще, – заклинал он. – Заверяю, теперь я послушаю, – он заискивающе смотрел на проводника, который смерил его ровным взглядом, прежде чем медленно заговорить.

– Есть разные Библии с разными историями. В этих краях знают истину. Адама так и не простили; его сыны и дочери покинули это место и населили мир. Он ждал Бога, ждал прощения, ждал, пока отрастет ребро. Но устал ждать и ушел обратно в лес. Ангелы, охранявшие древо, простили его, потому что в этом священном месте ему больше нечего было делать. Но в его отсутствие Бог забыл Адама, и так он остался один. С каждым веком он сбрасывает очередную шкуру человечности, шелушится через стадии животного к праху. Вот что я читал тебе, когда ты ушел.

В голосе Сейль Кора звучало настоящее разочарование, и впервые Француз осознал, что его приязнь к молодому человеку была взаимна. Вся эта ерунда об Эдеме – его способ сблизиться.

– Раньше я не понимал, – сказал Француз. – Простишь ли ты меня и расскажешь ли еще о своей чудесной книге?

Сейль Кор повернулся, заглянув вглубь своего спутника.

– Тебе нужно многому научиться, – сказал он, медленно улыбаясь, – и я научу тебя. Но мы должны быстрее покинуть это место.

Француз принял протянутую руку, и вместе они двинулись через мерцающую листву.

* * *

Ровно через час они вернулись. В зале было пусто и тихо. Глаза существа, к счастью, оставались закрытыми.

– Все в порядке, – сказал Хоффман, – они успокоились. Заберем ребенка и запрем дом.

Маклиш кивнул, но выглядел озадаченным.

– Где мешок? – спросил он, обшаривая глазами комнату.

– О боже, опять! – простонал Хоффман, заглядывая под стол.

– Это они его забрали, да? – вскрикнул Маклиш. – Эти безмозглые сволочи прибрали мешок!

Этот человек не слыл хохмачом, и его смех, извергнувшись, пока коридоры прислушивались в сосредоточенном удивлении, прозвучал странно – как-то твердо и пыльно.

На столе остался клочок ткани, и доктор накрыл его углом лица маленького существа, а из остального соорудил слабую перевязь. Мысль о том, что лимболя лелеют такой аляповатый и женственный мешок, казалась невероятно комичной, и они уходили в легкой истерике – надсмотрщик никак не мог унять смех.

Доктор был прав. Лимболя успокоились, работали в лесу с еще большим рвением. Всё как будто вернулось в норму – в этой несравнимо ненормальной ситуации. А потом объявили о пропаже миссис Клаузен.

Слухи прибыли незадолго до полиции. Ее ипохондрический визит к доктору состоялся за два дня до исчезновения – она оставила дом и слуг без денег или объяснений. Офицеры ди крипо^[18] предоставили доктору подробности, а он в ответ – еще больше: кисты, мигрени, утробные боли, ночная потливость; варикозные вены, геморрой, аллергические расстройства; опухоли в груди, газы и все прочие симптомы, которые ему предлагалось исследовать в последние годы. Он показывал карты и медицинские записи, и они ушли удовлетворенными, но без новых зацепок. Он сел в кабинете, пока под ложечкой сосало что-то черное. У его кровожадного ужаса было воплощение – причем ярко расшитое.

– Мы должны спросить его, – умолял он шотландца.

– Что спросить?

– Что они сделали с мешком.

Маклиш уже не находил апроприацию мешка столь уж забавной. В центральный зал вызвали вестника, где тот встал с отсутствующим видом, словно повиснув в вязком воздухе. Со времени последней встречи его речь ухудшилась; он не тянул с ответом на вопросы, но сами ответы стали медленными и подвешенными.

– Вы даете Орму запах для поиска, поиска внутри. Когда Орм понесет его, уйдет, выхолостит для вас, все пропадет.

Маклиш и Хоффман переглянулись, отчаянно надеясь, что ослышались. Они пошептались, и Хоффман спросил:

– Запах был женским?

– Запах есть след, есть звериная тропа для поиска.

– Куда она делась? – воскликнул Маклиш.

– Ворр.

– Это невозможно, – изумленно сказал доктор. – Миссис Клаузен никогда бы туда не отправилась – кажется, она вообще не ступала ногой за пределы Эссенвальда!

– Орм выхолостил для вас, найдя. Выхолостил в ничто, ничто осталось внутри, только шкурка ушла в Ворр, в ничто, – сказал с улыбкой вестник. Он поклонился перед испуганными людьми, пока в них начало просачиваться понимание сотворенного, а глаза встретились в уstraшенном осознании того, что они выпустили и как его голод может поглотить их всех.

Когда они вышли из здания, вестник остался в своей согбенной позе, раболепно склонив голову, с приклеенной к недрогнувшему лицу улыбкой.

* * *

Гертруда чувствовала себя одиноко, выбилась из ритма жизни. После завершения карнавала и ухода Измаила все потускнело, потеряло вкус. Теперь, когда секрет утрачен, город перестал ее цеплять.

Она свернула за угол на Кюлер-Бруннен и приближалась к дому с опущенной головой, вся в своих мыслях, когда чуть не столкнулась с фигурой, стоящей у ворот. Женщина была выше и старше Гертруды, с глазами, которые та не забудет никогда. Они смотрели, впитывая каждую частичку света, каждую толику смысла. Очевидно, женщина поджидала Гертуду.

– Госпожа Тульп! – просияла она с каким-то беспричинным ликованием. – Прошу, позвольте представиться. Я Сирена Лор, – сказала она, протягивая руку. – Полагаю, наши семьи знакомы? Вы позволите звать вас Гертудой?

Она слышала об этой женщине; о ней слышали все; если не до чуда на карнавале, то уж точно – после. Внезапно Гертруда поняла, что они уже однажды встречались, когда она была еще ребенком и на одном из светских раутов городской знати ее поручили опеке

прекрасной слепой незнакомки. Или, возможно, все было наоборот? Но в памяти несомненно остались просторные залы и музыка, разлука и потом общество элегантной слепой дамы. Гертруда помнила, как могла глазеть на нее, разглядывать, позабыв о комильфо, и как впервые задумалась, что значит слепота. Тогда ее зрение ошупывало черноту прекрасных мертвых глаз, что теперь были более чем живы и уставились на нее.

– Конечно, мисс Лор, – ответила она на полузабытый вопрос.

– Тогда, раз мы подружки, зовите меня Сиреной.

Гертруда опешила от скорости подобного заключения и уже хотела ответить, когда поняла, что Сирена уставилась на запертую дверь.

– О, простите. Прошу, входите, – сказала она, нашаривая ключи в кармане.

Внутри они сели за кухонным столом и говорили об общих знакомых, о своих воспоминаниях и переживаниях в роли избранных дочерей города. Неуверенность Гертруды уже уходила, когда Сирена без предупреждения улыбнулась и нарушила все правила.

– Прошу меня простить, дорогая моя, за такой табуированный вопрос, но я просто обязана знать: кто сопровождал вас в начале карнавальных фривольностей?

Гертруда вскинулась и покраснела, стараясь сохранить спокойствие и безразличие. Голодные глаза увидели все, и Сирена надавила:

– Я не прошу вас о нескромности или предательстве доверия, но я кое-чем обязана данному джентльмену и горю желанием отплатить.

– Вы уверены, что мы говорим об одном человеке? – справилась Гертруда, хватаясь за соломинки и находя невозможным представить себе ситуацию, где могла познакомиться эта невероятная парочка.

– Очень на то надеюсь, – ответила Сирена. Она описала костюм, хотя ни разу его не видела. Описала метко, и румянец Гертруды сменился на тревожную бледность. Сирена видела истину за этим обескровливанием и поняла, что добыча загнана.

– Его зовут Измаил, – нехотя сказала Гертруда. – Он был мне другом; он проживал в этом доме.

– Проживал? – повторила Сирена. – Где он сейчас?

– Он уехал много недель назад – я не знаю куда, – солгала Гертруда.

Женщина резко поднялась, в очевидном волнении. Гертруда подошла к ней и дотронулась до дрожащей руки.

– Зачем вам так нужно его найти? – спросила она.

Недрогнувший взгляд неописуемо жутко столкнулся с ее глазами.

– Это он подарил мне зрение, – сказала она.

Резкое, зловонное электричество ударило Гертруде в нос и шлепнуло по мозгу. Она инстинктивно попыталась оттолкнуть от своего воздухотока стеклянную бутылочку, но Сирена твердо ее держала, пока нюхательные соли не возымели действие. Гертруда хватала ртом воздух, а старшая женщина твердо поддерживала ее на стуле с вертикальной спинкой, одну руку положив на лоб Гертруды, а второй обнимая сомлевшую девушку за плечи.

– Все хорошо, дорогая моя, вы всего лишь упали в обморок, – сказала она.

Тошнотворное зрение – полосатое, как зебра, – прекратилось, и Гертруда вернулась в ошарашенную после откровения Сирены реальность.

– Но как?

Снова сев за стол, Сирена начала объяснять обстоятельства той удивительной ночи. Она объясняла откровенно и, пожалуй, с излишними подробностями. В этот раз они обе зарделись, но она продолжала невероятную историю, и разум Гертруды медленно свикался с глубиной праздничного опыта Измаила. Когда Сирена поведала об изоощренных интеракциях той встречи, Гертруда начала осознавать ужасную истину события – ту главную черту Измаила, которую никак не могли передать Сирене их ночные забавы. Она жалела, что не может отыграть свое участие, но уже было поздно; теперь скрывать нечего. Между ними не осталось места для коварства или полуправды.

– Вы... – Гертруда замялась, искоса бросая взгляд на новую подругу. – Мне только интересно... вы не видели его лица?

Теперь нюхательными солями завладела девица. Сирена не лишилась чувств, но отпрянула от вестей, как от короткого и резкого

удара под дых.

– Хотите сказать, он родился с одним глазом? – изумилась она.

– Да. Вот здесь, посреди лица, – Гертруда показала на место прямо над носом. – Не сразу, но к этому привыкаешь, – говорила она мягко. – Через некоторое время замечаешь только его самого.

– Но не было ни единого признака дефекта; я и не представляла! Маска, маска... она... он казался нормальным! – У Сирены иссякли слова, пока она вспоминала события той ночи и силилась сдержать слезы.

– Он не такой, как мы, – сказала Гертруда, качая головой. – Совсем не такой.

День подходил к концу. Гертруда принесла бутылку мадеры и два бокала. Они сидели у окна и пили, наблюдая, как за Ворром садится солнце. Она многое рассказала незнакомке, которая быстро становилась подругой, о совместной жизни в доме номер четыре по Кюлер-Бруннен – но не о ее начале. Хотя Гертруда изнывала от желания рассказать кому-нибудь о чудовищах в подвале, поделиться этой невозможной правдой, она все же знала, что без доказательств правда предстанет безумной, невероятной. Кто поверит в подобную историю? Она разглядывала Сирену: быть может, она? Сможет ли понять такую фантазию эта сильная умная женщина, с которой Гертруда вновь чувствовала себя ребенком, под странной защитой?

– Я все равно обязана его найти, – говорила Сирена. – Чем бы он ни был, куда бы ни ушел, он совершенно изменил мою жизнь.

Гертруда вздохнула и смахнула на кухонный пол последние крошки отрицания.

– Он сказал, что уйдет в Ворр, – объявила она. Это прозвучало как пакт.

* * *

Лучник и Паулюс входили в стремнины там, где земля поднималась из мелкой воды сломанными лезвиями камня – вертикальными, решительными и ошеломительными. Они сошли из лодки в воду метровой глубины, вытащили судно на длинный галечный пляж и позволили его весу погрузиться в поблескивающие камешки. Лучник вышел на твердую землю и огляделся: он уже здесь был. Атмосфера места намекала на некое переплетение вне его памяти. Он поискал глазами видимые подсказки, но не нашел: это место говорило с ним в ином ключе.

Какое-то время они с Паулюсом сидели и обсуждали свои разные путешествия – до и вне этого, – чтобы помочь себе расстаться и разойтись. Лучник собирался вглубь суши; лодочник возвращался к устью. Он соберет себя по пути обратно. Паулюс объяснял, что их пристань – начало и реки, и леса и что здесь идти трудно; здешняя суровость создана не для людей, крутые восхождения полны косогор и непредсказуемых тупиков. Если верить неизвестным историческим источникам, само название «Ворр» произошло от описания этих краев.

Они проговорили несколько часов, позволяя своему опыту испариться и развеяться, пока не настал момент. Тот подкрался во время паузы, заявив о себе телесно потягиванием затекших ног. Лук, колчан и прочий скарб разгрузили и разместили подальше от воды. Паулюс и Лучник аккуратно раскатали лодку, отогнав с мели на глубокую воду; Паулюс забрался и оттолкнулся багром, тогда как Лучник выбрел обратно на берег и наблюдал, как «Лев» вливается в течение, уменьшается вместе со своим машущим капитаном, скрывается из глаз. Когда лодка пропала, по воздуху пробежала легкая рябь – ритмичная дрожь окружения. Лучник улыбнулся про себя, осознав, что это напутствие от его друга; короткий перкуссионный разлом, сыгранный на краю деревянного корпуса лодки, возвращавшей своего капитана в другой мир.

* * *

Сирена сидела в своей любимой комнате – с кованым балконом снаружи. Раньше она проводила здесь часы напролет, ощущая город, его ароматы и звуки, которые создавали ландшафт пронзительных, сплоченных покоя и тоски. Одним из ее любимых часов дня был вечер, когда городские шумы складывались, чтобы позволить заговорить в полный голос далекому лесу. Она обожала чувствовать этот диалог, волны человеческих и звериных звуков, накрывающие друг друга внахлест в растущем господстве ночи.

Ее зрячие друзья (а таковыми были все) всегда говорили, что у нее чудесное восприятие их общего мира. За годы они приучились не уводить разговор в сторону описаний картинки. Сирена не имела ничего против, но всегда чувствовала их конфузливость, когда они нечаянно упоминали чью-то внешность или предлагали на что-нибудь взглянуть; мелкие словечки, создававшие ошибки в общей реальности, оплошности в перцепционном обмене любезностями.

Высоко в небе ласточки превратились в летучих мышей, кормившихся стаями насекомых. Крошечные острые крики птиц были как одинокие звезды, они на долю секунды вырывались из созвездия мерцающей тьмы; они и стали для нее звездами, которых она никогда не видела. Ее обрадовало первое знакомство со стрижами в ярком воздухе. Их кружения и метания были быстрее, чем она могла себе вообразить, их пространственная акробатика мгновенно заместила предыдущий образ колкого далекого чирикания. На первых порах это казалось более чем адекватным бартером, но за недели их небесное плетение стало предсказуемо; уныло, прозаично приковано к пищевой цепочке. Остальное в ее глазах тоже начинало уплощаться и упрощаться. Краски мебели выцветали. Вначале они заряжали жизнью, а их богатство акцентировалось текстурами, которые некогда были их главным достоинством. Теперь они словно непредсказуемо скакали или сверкали в глубине комнаты; со зрением все казалось меньше и каким-то сжимающимся.

Возможно, ее так удручила недавняя встреча. Девушка Тульп подарила небольшую дружбу, но это стало очень слабым возмещением за великую утрату. Ожидания Сирены были простодушны: их немедленное воссоединение в тот же день – вот единственный вариант, который она рассматривала, каждую деталь которого себе рисовала. Если «рисовать» подходящее слово; сказать по правде, визуальное

воображение ничего не привносило в ее предвкушение. Оно аккуратно лепилось из осязания и слуха, и присутствие Измаила отчетливо вставало в контурах этих воспоминаний, нежели в том, что она успела увидеть со времен чуда. От описаний Гертруды стало только хуже. Как уложить этот уродливый портрет в поразительно ясную красоту той ночи? Ее новые глаза доставляли больше разочарований, чем она могла предугадать. Они несли постоянный поток нерелевантных деталей для реакции и обработки; она боялась, что глубина и артикуляция ее предыдущего мира крошатся, истираются бесконечным низким прибоем ясности и беспредельной галькой картинок.

И все же подобные мысли – кощунство. Все вокруг читали ей столь восторженные проповеди о «главном чувстве» и о том, как чудесно, что она его получила, – разве теперь можно быть неблагодарной? Разве можно втайне тосковать по непрерывному темному спокойствию мира, которое она всегда считала реальным? Но со зрением Сирена стала одинокой, а раньше этого не бывало. Теперь в глаза бросалось коробящее равнодушие мира, его узловатая негибкая дистанция начинала умять все, чего Сирена достигла. Принижать все, что она понимала, а ту интимную близость, в которой она раньше грезила, поглотил громкий и вульгарный свет, всегда напоминавший о пространстве между предметами.

Сомнения вдруг разожгли очевидное упущение в ее ликованиях. Она разделила чудо со всеми вокруг, но забыла одного – того единственного, кто действительно понимал ее незрячий мир. Того, кто просил ее вообразить себе зрение и изменил ее детство в таком масштабе, какой она теперь не могла и охватить. Дядя Юджин. Как же она не подумала? Она не стала трудиться над ответом, потому что им была тень, горечь; ведь это сомнение, страхи заставили вспомнить о нем, потому что таковы были оттенки его существования. Он поймет. Она напишет и попытается объяснить, описать приступы печали, приходившие из ниоткуда, и он даст совет, подскажет, почему свет казался предательством.

И вечерний свет плыл к ней, лизал слабую решимость; тянул за потребность, но она стряхнула его и села сочинять в его угрюмом отступлении искреннее письмо.

С момента ее озарения прошло много минут. Пока она писала, между ней и вечером на улице колыхалась стеклянная ваза со свежими цветами. В стынущем воздухе юркали и петляли стрижи, звали ее щебетом и головокружительной скоростью. Хотелось выйти на балкон и прислушаться, но на пути встали ваза и ее содержимое. Краски приструнили Сирену, дышали распускающейся жестокостью. До сих пор растения не занимали в ее жизни места; она никогда не понимала настырности их ужасного давления и вездесущности.

Эта охапка был подарком. Благожелательная, но необязательная шайка растительности и энергии – только одно из многих визуальных пиршеств, которыми ее осыпали со сверхщедрым рвением друзья и незнакомцы, чтобы поздравить с новым чувством, с вхождением в их ряды.

Вазу венчал распухший рев цвета. Она решила по-настоящему взглянуть на непримиримые сущности внутри; кажется, служанка звала их пеонами, но Сирена не знала наверняка. У них были прямые самоуверенные стебли, которые щетинились волосами и шипами – предположительно, чтобы обороняться от неразборчивых пастей зверей и ловких клювов птиц. Листья были длинными и заостренными, ловили каждую дрожь сквозняка с балкона и перенимали легкое оживление – достаточно заметную приманку, чтобы поймать внимание праздного глаза. На конце побега злорадствовал цветок. Здесь были две разновидности, алая и розовая, и обе – с одинаковыми развратными контурами. Каждая головка была как чаша смятого шелка, раскрывалась наружу, с мощным смакованием показывая плотные тяжелые слои и сложные складки внутренностей. Лепестки изгибались и волновались, чтобы уловить и притянуть каждую саккаду, и максимальная плотность внимания складывалась в самое себя. Все человеческое зрение всасывалось в центральную концентрацию – хищную разбухшую воронку, как пасть посреди клюва осьминога, требующего еды всеми своими щупальцами. Бутоны как будто задумывались для глаза, подстраивали свою страсть под визуальное обжорство человека; они даже подражали его анатомии, если сшелушить внешний шар. Около десятка ярких жатых сфер двигались на скорости, скрытой от ее забегавших глаз. Другие колебались позитивнее, отвечая на проносившийся ветерок, кивая, как будто в самодовольном безмолвном согласии друг с другом.

Их тщеславие ужасало; она видела усилие распускания, с которым они требовали себя рассматривать, видела, как сгибается под собственным давлением шарнир в основании каждого лепестка, напрягаясь, пока он не уставал и не отпадал, оставляя одну только раздутую беременную завязь. Вот предел их стремлений: излить краски и обнажить морщины своей сложности; привлечь восхищение, возбужденных насекомых, продлить оплодотворение своего вида.

Чем больше она смотрела, тем больше видела в экстравагантных бутонах дерзкую передразнивающую атаку на ее глаза и насмехательство над ее женским достоинством. Головки кивали в согласии, ухмыляясь с видом, лежащим где-то между хрупкостью и ожирелым перенасыщением, и тогда ее возмущение хлестнуло через край. Она могла бы позвонить в колокольчик служанке, чтобы та унесла одиозные создания, но это было бы слишком просто. Она стиснула зубы при мысли о поражении от этих скверных сорняков, кричавших оскорбления ее чувствам. Затем, без внутреннего плана или согласия, Сирена захлопнула веки на своих идеальных глазах, шагнула вперед и взяла вазу; та плеснула водой на подол и пол. Она прижала вазу к груди, как набедокурившего ребенка, и целеустремленно вышла в открытую дверь балкона, на вечерний воздух, пока пеоны соскользнули в вазе набок, цепляясь друг за дружку, как беспорядочные липкие ножны. На другой стороне балкона она ненадолго открыла глаза и подглядела на угол замкнутого сада. Безлюдно. Снова закрыв зрение, она подняла колыхающуюся тяжесть над железной балюстрадой. Огромный вес лег на ее суставы, едва ли не разжав веки. Потом она отпустила, и земля внизу встретила вазу огромным хлебком, когда та рухнула в длинный и приятный провал во времени перед тем, как разбиться в славном слуховом техниколоре на патио. Сирена задержалась на балконе на долгий роскошный момент, не опуская рук, не раскрывая глаз, словно зачарованная сомнамбула, и победоносно улыбалась на краю пропасти.

* * *

Цунгали наступал. Его каноэ было загружено всем необходимым: он не доверял этой земле, не ждал, что она его прокормит, и не желал

иметь ничего общего с ее народом. Он ощущал себя исцелившимся и сильным, а гребля освежила его. Он чувствовал, что вокруг тонкой лодки узлится и брыкается река, что ее мускулы и его баланс натягиваются как одно целое. Рулить он мог единственной чакрой, поворачивая бедра на ее оси вращения, уютно расположившись ниже ватерлинии, – между водой и его центром была только тонкая кожа борта.

Впереди показался «Лев», и Цунгали быстро оценил расстояние до цели. Когда суда разминулись, мужчины, прищурившись, посмотрели друг на друга так, словно держали в узких линиях прицела. Каждый угадал личность второго, и подозрение отполировало глаза до стали. Они были не более чем в двадцати метрах друг от друга, лодки шли быстро.

«Энфилд» Цунгали, как и дробовик лодочника, прижимался взведенным к ноге хозяина, поворачиваясь вместе с ним, чтобы обеспечить непрерывный путь вверх по течению. Только когда мужчины вышли из поля обзора друг друга, они повернулись навстречу собственному пути. У Цунгали шевелились волосы на затылке, но куда больше его беспокоили птицы. Они молча наблюдали за ним в течение всего путешествия – до его прибытия свистели, каркали и реяли своими красками, но потом затихали, нахохлившись и наблюдая, востря свои вероломные взгляды пощелкиваниями и перестуками клювов. Эффект был внешним, ненатуральным, Цунгали чувствовал в их намерениях знак или сглаз, и это его утрашало.

К сумеркам он достиг того места, где необходимо расстаться с собой; чувствовал, как в безмятежности расшатывается его «я». Он вытянул лодку на берег, не желая путешествовать во тьме с таким тошнотворным ощущением, и разбил простой лагерь, решив не есть и не спать, а оставаться начеку и встретить все, что захочет срезать или рассечь его с голодным коварством. Он повязал над ушами амулеты и заткнул ноздри свитками; продел в язык желтую булавку и – ниже пояса – привесил печати против проникновения. Напоследок, оглядевшись и оперевшись спиной в прочную скалу, он прикрыл глаза талисманами зрения, закрывшими внешнее и позволившими заглянуть в другие миры. С Укулипсой под одной рукой и с коротким резным копьём под другой он был готов ко всему, что посмеет подойти.

Былые наблюдали за ним, испытывая отвращение от варварского высокомерия самозванца. Расставание с «я» на такое краткое время было слишком малой ценой за проход на священные земли, и они оставались в отдалении, не желая контакта с преступившим границы чужаком. Умей они надеяться, то надеялись бы на то, что его пожрут дикие звери или придут низшие люди, чтобы обглодать его безбожные самодовольные кости. Но он встретил утро целым и невредимым и, когда первое тепло коснулось его лица, снял все обереги, столкнул каноэ в воду и направился вверх по течению, с урчащим до самого завтрака желудком.

* * *

Слухи расходятся, как рябь, – концентрические волны, бегущие от точки инцидента. В городах они на мгновение задерживаются, когда упираются во внешние стены, особенно если город – круглый. Меж этих дуг факта и защиты их судят – твердый лакмус камня, соломы и известняка выясняет их происхождение и достоверность так же, как свое происхождение вынуждены доказывать те, кто ночует снаружи, грезя о городе и стабильности. Выдержит история экзамен – просочится во внешний мир в приглушенном или фрагментированном виде.

Когда чудо карнавала достигло ушей обделенных и увечных, тосковавших в тени стен, великая вонь надежды поднялась до небес, а от ее жара вскипела сплетня и началось бурление у ворот. Тогда-то они и стали приходить к дому Сирены. Не имея смелости постучать в возвышенную дверь, они слонялись у стен ее сада, надеясь увидеть – если имели зрение – благословенную даму, уверовав, что уже одна близость к ней исцелит их негодное состояние, что лучезарность лечит.

Бельш с сестрой нашли туда дорогу рука об руку, вымаливая указания до самой поросшей плющом стены. Они несли трости, но, в отличие от тех, что так недавно сожгла Сирена, их каждый год вырезал из деревьев в лесу и белил отец. Глаза Бельша в детстве отняли мухи. Они ползали по нему с первого же момента, когда он покинул утробу, присасывались и оевали потную кожу, пока не отложили яйца в

зрачки в возрасте трех лет. В деревне, где он родился, это не было редкостью, но снаружи, на дороге в город, это вызывало жалость у прохожих, и в жизни отца появился небольшой доход.

Как именно ослепла его сестра, оставалось неизвестным. Это случилось внезапно, посреди ночи; все, что она помнила, – боль и ощущение, что ее держат, запутавшуюся в цепкой сонной простыне. С тех пор они вместе странствовали по рентабельной дороге и приносили ненасытному старику еще большую прибыль. Рука об руку они побирались у оживленного тракта, и их образ растапливал сердца странников и размыкал обычно неторопливые кошельки. Отец не знал, что они здесь; он предполагал, что они останавливаются своим трагическим видом движение перед городом, а не в нем, придя пред двери чуда.

История, которую они слышали, рассказывала о великой даме, что во время карнавала приглашала к себе домой слепых. Дом был набит ими под завязку; перестук их палок слышался снаружи, как от клювов аистов с крыш. Возможно, она сделает исключение вне карнавального срока для двух столь юных и нуждающихся?

Прибыв на место, они обнаружили, что под стеной рыскают другие с обедненными чувствами и мечтой о сверхъестественном вмешательстве в их неприглядные отчужденные жизни. Белыйш, переполненный отвагой утраченной надежды, мягко постучался в садовую калитку. На его призыв ответил оглушающий взрыв стекла, словно по ту сторону стены изверглось какое-то ужасное злобное орудие из воды и хрусталя. Сестра вцепилась ему в руку, и они быстро засеменяли прочь от места происшествия, в страхе перед подобной реакцией или перед обвинениями в бедствии, которое свершилось с такой жестокостью. Большая часть бежала вместе с ними, и лишь немногие остались наблюдать за внезапным исходом. Они были глухими.

* * *

Возвращались сумерки и благословение тени, но не для Былых, которые уже слишком постарели. Когда уходило солнце, они скрипели и трещали, ползали по лесному войлоку и свисали с деревьев, как

ленивцы. Не было у них ни пещеры, ни простого жилища. Не имели они ни человеческих удовольствий, ни способности создавать и менять то, что их окружало. Все до единого Былые уже позабыли свою цель и подробности своего замысла, так и блуждали по древней чащобе. Но у всех оставалась тоска, и она по-прежнему была связана с людскими поступками.

Их легковесные скелеты из плетеных коралла и меда впитали плотность воды и времени; теперь они наполняли свои неповоротливые тела отчаянием, что оказалось тяжелее кости. Там, где некогда были перья и свет, теперь росли лозы и грубая шершавая кора. Некоторые надели покровы из меха или чешуи, чтобы защитить свои бесконечные жизненные силы.

Их союзы с женщинами происходили тысячи лет назад, резонансный оргазм выбелил их голоса и умение ориентироваться. Те, кто сношался с женщинами, были теми же, кто остался с Адамом – и с теми, кого когда-то звали Наблюдателями. Теперь они устарели, их предназначение и применение поблекли до слухов и боли. Они блуждали, расхищали и наскребывали на жизнь в полной, тотальной материальности. Их стремлением было стать невидимыми, раствориться в тумане и на ветру. Но теперь и это было утеряно. Поручалось же им защищать древо познания, и потому они оставались в лесу, медленно становились его забытой частью.

В прошлые времена некоторые прокрадывались наружу, совершали короткие вороватые вылазки в город. Совсем редкие там и оставались, спали со Слухами – этим именем они нарекли людей и полулюдей после Адама, – чтобы единиться с ними в попытках понять. Их избирали для миссии, отправляли в края, полные Слухов, где возделывались земля и время в насеченных прямых линиях и нарубленных куцых делянках.

Кроме немногих избранных, иным было запрещено заходить на земли Слухов; этот вид нес в себе такую злокачественную заразу и непонимание знания, что шельмовал даже Божье имя. Никто не знал о визитах Былых в Эссенвальд, пока они не вторглись в часовню Пустынных Отцов. Ангелы были достойны жалости или сочувствия, но не такова была натура людей, ставших Слухами, которых сложно винить за соблюдение собственных праведных учений.

Былые проникли в церквушку, чтобы посмотреть на картины. Без сил и инструментов они протирали пятно в стене, стачивая ее ночь за ночью, пока наконец не смогли протиснуться и ползать по чистой тесной тьме. Подобное помещение было вне их понимания; прямые линии и твердые стены смущали их удивлением и страхом. Они были словно насекомые у стеклянного окна – все здесь противоречило законам и форме их существования.

Они крались и порхали через таинственный союз «снаружи» и «внутри». Найдя картины, они застыли. Стояли, всхлипывая, перед рамой и плотной черной иконой, содрогаясь и сотрясаясь в широких лучах мгновения, пока на следующее утро на них не наткнулся молодой священник. Они не обратили внимания на его присутствие, а он не замечал Былых, пока не вошел прямо в них на противоположной стороне церкви. В шоке он выронил ящик восковых огарков и вскрикнул, падая на пол в сквозняке их ухода.

– Как ветер, отец, – трясся он. – Какой-то порывистый ветер, словно тебя толкают на рынке, но только там никого не было.

Он стоял снаружи, на солнце, час спустя, почти нормально дышал и оживленно говорил со старым священником и одним из стражников города. Старик наблюдал за ним пытливо, пока второй с мудрым видом попыхивал изогнутой можжевелевой трубкой. Пока юнец описывал необычайное происшествие этого утра, оно вдруг стало гораздо, гораздо более странным.

Когда перед его глазами появились образы, молодой священник упал, крича и бессмысленно куда-то отползая.

– О Боже, о Иисусе! – трепетал он в страхе. – Это они! Они вернулись!

Успокаивать его пришлось долго. Все это время он испуганно озирался, сжимая руку старого священника с такой силой, что едва не причинял тому боль.

– Это они, отец, я видел их, они были здесь! Бежали на меня. Ужасные создания. О Иисусе, спаси и сохрани!

– Тише, сын мой, тише; с нами Бог.

– Но, отец, это были они, я знаю. Это было все, что я почувствовал утром; как будто мне явилась их зрительная форма из

часа ранее. Как это возможно?!

Старик был весьма озабочен, но старался не подавать виду.

– Они уже ушли, они не вернуться, – сказал он, и слова прозвучали так, как будто их уже говорили. – Ответь мне одно, сын мой.

– Да, отец?

– Они боялись?

Молодой человек, мелко перебирая руками, вскарабкался по старику, пока они не встали лицом к лицу.

– Они были в ужасе, – сказал он.

Старик отправил мальчишку домой вместе со стражником и вернулся в часовню. Он не сомневался в том, что там найдет. Он отправился туда, где произошло явление, оглядел скособоченную картину на стене. Посмотрел на пол и, разувшись, принялся осторожно ходить маленькими тихими кружками – словно тихо, но торжественно танцевал в одних поношенных носках. Время от времени он вздрагивал или резко поднимал ногу, словно накалывался на невидимую остроту; на лице мелькали выражения, колеблясь от гримасы до улыбки, – голое окружение как будто слало весточку, которую мог расшифровать только он. Наконец круги свелись к шарканью, и священник интуитивно двинулся через помещение, после чего нашел на боковой стене часовни протертую щель. Обнаружил их точку входа.

Он медленно вернулся к картине, отряхнув носки рукой, прежде чем обуться. Его взгляд поймала перекошенная картина, и он почувствовал желание поправить ее перед уходом. От его прикосновения она стронулась со стены, и он почувствовал, как ее вес падает ему в руки. С испугом он их поднял, чтобы вернуть картину на гвоздь, но она сопротивлялась движению и, когда священник медленно попятился, осталась на месте – в дюйме от стены, незакрепленная.

Хотя инстинкт говорил ему отпрянуть, он уже видывал нечто куда более странное и отказался паниковать. Он взял пыльную нитку на тыльной стороне картины и повесил репродукцию заново – ее вес снова сместился в приемлемые ограничения гравитации. Миг он изучал картину – изображение ангельского воинства на самой почитаемой работе Гюстава Доре. А потом развернулся и ушел в глубоких думах, и иллюстрация осталась вяло висеть у него за спиной.

– Веточки, – сказал старик-священник смотрителю леса. – Веточки и листья. Тропинка из них, от отверстия в стене до места, где они стояли. Все невидимые, а значит, они снова выходили из Ворра.

Сидрус вдумчиво созерцал старика. Он и его братья – все названные Сидрусом в честь центуриона, который спас «Сефер Га-Яшар»^[19] от гибели в руинах Иерусалима, – начинались ученым ответвлением на расколоте древе Тувалкаина^[20]. Где-то в течение своей запутанной истории оно скрестилось с богохульными заветами Еноха и Лилит и породило жреческий орден, который теперь истово представлял Сидрус. Он исполнял полномочия Хранителя лесных границ – такая позиция ответственного фанатизма пришлась ему впору.

Отношения стража и священника были не самыми простыми: многое из того, во что они верили и за что стояли, противоречило друг другу. Также не стоило сбрасывать со счетов проблему с лицом Сидруса: старый священник многие годы старался не смотреть на него прямо. Однако их объединяло необходимое дело по охране святости леса.

– Разве «невидимы» – не противоречие? – сказал Сидрус в ответ на реплику старика. – Предпочитаю говорить о них «визуально отсутствующие».

– Отсутствующие Былые, – промурлыкал Лютхен, безо всякого намека на юмор.

– Все та же старая беда с внешностью, – сказал Сидрус с усталым тоном. – Они не держат свою форму вне времени леса, ибо оно является той самой субстанцией, что их скрепляет; за пределами Ворра их кромсают задержки в подобии.

– Что ж, их раздельности здесь не место, – сказал Лютхен, – и нельзя позволять им уносить наши причины и следствия обратно с собой в Ворр, – он обреченно взглянул на лесного стража. Ничего не поделать: жизнь необходимо сохранить в ее текущем состоянии, а для этого необходимо принять меры.

Они сконструировали обманчиво простую западню. Из обшитой панелями стены, где висела репродукция Доре, вырезали квадратную секцию. Затем ее же посадили на длинное вертикальное веретено, для свободного вращения, а к вершине веретена, сразу над одной из

закрепляющих скоб в форме буквы «U», приделали деревянное колесико. Колесо то обмотали крепкой тонкой нитью, уходящей во двор. Сидрус сделал к репродукции мелкие грубые копии на бумаге. Их он разложил до самого леса – до места, где в первый раз скрылись Былые. Сырость и солнце изведут картины в три дня, но – на что и возлагалась надежда – не раньше, чем один из них уловит запах и вспомнит об их более крупной, более яркой версии. Дальнейшее было вопросом ожидания.

Они просидели в тишине четыре ночи – молодой священник старался держать глаза открытыми и не смотреть на белый перекошенный лик еретика у своего плеча. Старый священник предупредил его о требованиях ночи – он заверил ученика, что это испытание силы и веры. Молодой человек дрожал в лунном свете, стараясь не пялиться на аномалию под боком, и никак не мог решить, о чем именно говорил отец Лютхен: о поимке Былых или о самом зловредном страже.

На пятую ночь ожидания молодой священник заметил движение между деревьями и поспешил рассказать Сидрусу и Лютхену, которые быстро направились на двор, чтобы взяться за нитку.

Через миг у протертой расщелины в стене раздался тихий скрежет, послышался шорох от проникновения. Они прождали десять минут, и тогда – очень аккуратно – хранитель потянул за нитку. После паузы и небольшого усилия деревянная панель с висящей картиной повернулась лицом наружу. В деревянном строении тут же раздался шелест, словно животные бежали через лес в грозу. Через некоторое время все утихло. Трое мужчин задержали дыхание: снаружи послышалось слабое движение, и они верно рассудили, что Былые где-то рядом. Картина слегка покачивалась под прикосновениями недоступной взору силы. Лютхен кивнул Сидрусу, тот снова дернул за нитку. Панель повернулась вокруг своей оси, картина снова заглянула в часовню. Шорох стал неистовым, но без полого резонанса веса или размера. Он удалился от трех человек, когда его источники вернулись внутрь церкви. Процесс повторялся весь следующий час. В какой-то момент, когда эфирные существа снова оказались внутри, молодой священник начал хихикать. Лютхен строго цыкнул на него.

– Это не игры, – сказал он. Юнец вернулся к неуловимому балансу самообладания, угрюмый из-за порицания наставника.

На последнем повороте, когда изображение смотрело наружу, Сидрус выскочил и сорвал его с гвоздя. Он беззвучно сбежал в дальний конец двора и бросил репродукцию в раме на кострище из старой растопки. Когда он вернулся к спутникам, от его одежды разлило керосином.

Былые выбрались быстрее, чем раньше; возможно, они учились. Что маловероятно – их разум был той же непроницаемой субстанцией, что и напитанная губка, – но все же панель они как будто нашли в более краткий срок. От ее пустоты их хватили судороги. Они скрежетали кругами в ее поисках; люди слышали, как один вернулся внутрь. Лютхен знал, что они с Сидрусом увидят все это через час или два, – это и кое-что похуже. Надо будет напомнить себе предупредить мальчишку и не дать ему лицезреть горение, отделение визуального существования; задержка во времени – тревожный феномен, особенно в таком акте, как сегодняшнее очищение.

В дровах начался переполох.

– Нашли, – прошептал Лютхен.

Шум становился громче, все больше и больше дров сыпалось на землю под их скрытым весом.

– Они лезут, сейчас!

Сидрус достал из теней бутылку и запалил тряпку, которой было закупорено горлышко. Бросился к костру и швырнул бутылку со всей силы на вязанку. Великий взрыв огня взвыл по сухому дереву. Его ревом озарило весь двор.

– Отвернись! Не смотри! – приказал молодому священнику Лютхен.

В быстром огне виделись медленные движения; ковыляние, заторможенное барахтанье. Дерево проваливалось в густой дым; картина упала, съежилась в хрустящий комок.

Они с трепетом наблюдали, как в сердце огня разгорается еще более великое сияние; кислород всасывался в его омут и становился кричащим добела ядром. Много минут спустя все рухнуло в высокую кучу яркого угля и мерцающего пепла. Дым пах странно: удушающий аммиак со сладкой корицей, сандаловое дерево с можжевельником и апельсинами, с горьким оттенком, как от жареных ракушек.

– Все кончено? – спросил Лютхен.

Сидрус осторожно выступил вперед. Теперь костер уполовинился в высоте. Он подергивался и трещал в громкой пальбе, из его центра излучалось медленное вращение. Сидрус оглянулся на Лютхена и показал головой. Поднес правую руку к губам в знак тишины, и старик наклонился к юнцу, все еще не глядевшему на пламя, и зашептал на ухо. Тот встал, и священник показал ему прочь от горячих подвижных углей. Над жаром как будто сгущалось иссиня-дымчатое марево.

– Смотри, оживление, нимбы, – сказал Сидрус в возбуждении, от которого его лицо еще более обезобразилось. – Истекает газ их жизни.

Час спустя оба взяли спрятанные поблизости инструменты на длинных рукоятках. Они бредили угли и белое больное дерево в поисках чего-нибудь крупнее или живее. Нашли только одну частицу, которая из-за пепельного покрытия приобрела видимость наличия. Это оказалось куском бедра и голени; шаровидный сустав обнажился и ходил, двигался в саже, культя бесцельно указывала к небу. Нашлись и другие, мелкие намеки на тела, но было трудно понять, что именно они видели, – таким неподступным оставался жар от костра; глаза резало, отчего клирики закрывали лица, то и дело отворачиваясь от ряби температуры.

Когда огонь начал медленно терять в силе, они принялись грести остывающие угли, разламывая все крупнее кулака и низводя древесину и Былых в плоский тлеющий ковер праха.

Покончив с делом, они быстро расстались, не желая быть вместе, когда в голове проиграется визуальная запись сожжения. Это будет неизбежным кошмаром – видеть, как на внутренние поверхности век проецируются корчи и крики; навлечь это на посторонних или собратьев – только умножить ужас, спровоцировать тошнотворную реакцию, испытывать которую не должен никто: они избрали сохранить этот кошмар в одиночестве.

Молодой священник, вернувшись со своей границы исключения, был тих и холоден подле старика, стоявшего в напряжении, с побелевшими губами.

– Отец, – сказал юнец с превеликой осторожностью. – Отец, не грех ли это? То, что мы совершили?

Вопрос помог Лютхену – дал материю для сопротивления, твердую почву под ногами:

– Эти несправедливые создания принесли в наш мир безумие и страх. Им не полагалось разделять одно время с людьми. Наш труд – Божий, и боль его будет написана в шрамах, которые я понесу с удовлетворением и скромной гордостью до самого Судного дня.

Молодой священник сохранял молчание и неподвижность, трогаясь с места только по приказам Лютхена. Он привязал старика к стулу в ризнице, разложив на деревянном полу сутаны и старые моленные подушки, чтобы смягчить удар на случай судорог. Когда все было готово, он ушел со строгим наказом не возвращаться до полуночи и не входить в комнату, что бы он ни услышал.

Сидрус же выпил шесть стаканов абсента и спустился в подвал собственного жилища. В кромешной тьме погреба он встретится со зрением на собственных условиях и вырвет какую-нибудь силу из своего ужаса, чтобы использовать себе на пользу. Его не могли осквернить ни один поступок или преступление. Таков был обычай и долг его клана – выдаивать жестокость и страх из своих благодеяний; и какая-то его частица любовалась мерзостью, что готовилась взорваться в голове. Он вцепился в железное кольцо в стене и приготовился к видениям. Долго ждать не пришлось.

* * *

После расправы над Ларкинсом, изнурительной смерти вероломной жены и отчуждения сына Мейбридж решил вернуться в глушь и больше не отвлекаться от дикой земли и далеких возвышенных небес. Их и стоило держаться вместо того, чтобы искушаться тщеславными надеждами семьи и богатства: он знал, что того бы советовал и лондонский доктор. Мейбридж впустую растратил любовь и деньги; эта ошибка больше не повторится. Он оправдывал свою слабость подкошенным здоровьем и инфантильными желаниями, которые матери прививают всем мужчинам; верой, что брак с доброй женщиной и создание своего дома – солидное и окончательное достижение зрелости. Он никогда и не тяготел к этой цели по-настоящему – только к слабому ее побочному эффекту в виде респектабельности. Он всегда осознавал свою инаковость – как и мать, которая всегда больше любила его младшего брата.

Но он хотя бы попытался доверить свое худосочное безнадежное сердце женщине – пусть и жирной женщине, которая растоптала его на заляпанном ложе измены. Теперь он понимал, что говорил славный хирург о его травме и как люди могут вызвать ее воспаление. Это уже упоминалось в суде: как раскрылись язвы его разума, воспалившись от ее коварства, ее лжи и неверности, бежавших, словно лава, горячая соль, аммиак, слезы; как она ссала ему в рану своими плодовитыми жидкостями. Он должен был закрыться навсегда и не позволять другим терзать его внутренности или нарушать чистую черепную герметичность мечты. Он покончил с близостью и с прорастающей в ней гнильцой.

Мейбридж принял решение больше не становиться человеком, описанным в том зале суда: «заблудшим животным, бездумным и безумным». Те, кто знал его – друзья, соседи, даже слуги, – рассказывали о припадках; о нечленораздельном лепете, о глазах, лезущих из орбит, об отваливающейся челюсти; его устрашающем лице, истерзанном и дрожащем, ужасной бледности, проглатывающей все человеческое в нем, тогда как дыхание прерывалось и рвалось, пахло мерзко и зубасто. Говорили, в какой-то момент на слушаниях его хватил такой приступ, его лик стал столь страшным, что клерк был вынужден заломить яростно жестикулирующие руки подсудимого и спрятать отвратительные исковерканные черты под платком, пока присяжные покидали помещение, причем некоторые – в слезах, а судья объявил перерыв на полчаса, нуждаясь в утешении крепкого бурбона. Мейбридж так и не узнал, зачем они плели эту ложь, но отчего-то она помогла всем увидеть его правоту.

Когда он вышел из здания суда свободным человеком навстречу радостной толпе, это стало освященным перерождением. Друзья и незнакомцы обнимали его, помогали доплестись до дома; всего через несколько шагов он услышал белые загробные голоса поющего круга и тогда начал понимать значение Пляски Духов. Он замедлился и, слабый в руках доброхотов, вывернулся, чтобы оглянуться на толпу у основания лестницы суда – люди гомонили и ликовали, собирали шляпы с пыльной улицы, куда те приземлились всего секундами ранее, – с праздничного и временного места упокоения после полета в честь его триумфа.

Тем днем солнце было пылким, а лысый утес выступал из великой массы леса; как скит на мифологической картине, он сиял бледным золотом на фоне зелени и черноты деревьев. Небеса были героически-синими, с широкими клубящимися белыми облаками, которые на легком ветерке как будто двигались во всех направлениях.

Лучник карабкался по изломанной местности второй день, когда нашел пещеру, хотя слово «нашел» здесь несколько неуместно; его привлекло к ней каким-то неуправляемым магнетизмом, который как будто подправлял каждый шаг; к щели в скале его кренила та слабая сила, что поверяет каждую звезду и клетку.

Он подтянулся на последний уступ и изучил ландшафт по всех направлениях: Ворр как будто длился вечно. Лучник отер пот с глаз и вошел в устье пещеры, оглушающей прохладой. Свет, проникающий в расщелины в высоком потолке, придавал ей церковную атмосферу, предполагающую святость и покой. Лучника одолело ощущение, что он уже был здесь; он знал это место. Затем в руках шелохнулся лук. Сперва Лучник думал, что его задел порыв ветра, но тот шелохнулся вновь – дрожал, как палка лозоходца, вынюхивающая воду.

Он сбросил все свое добро на пол и твердо сжал лук обеими руками. Необъяснимое движение вело его крохотными тиками, бегущими вдоль всей длины оружия, – тиками, что слились и стали тягой. Он углубился в пещеру. Лук направил растущее возбуждение к концу третьего чертога. Там оказалось нужное место, как будто отмеченное валуном. Лучник смахнул с камня пыль и нанесенные ветром сучья и охнул при виде пиктографии, грубо высеченной на поверхности: полукруг, пронзенный посередине тонкой заостренной черточкой: лук и стрела.

Он откатил камень и принялся копать, скрести утрамбованную землю руками и большим ножом с пояса. Через двадцать минут, на глубине в локоть, он наткнулся на твердое. Разметал землю, обнажив тяжелый деревянный ларец. С немалыми трудностями высвободил его из тугой каменистой почвы и согнулся ради нескольких глотков воздуха, прежде чем поддеть крышку. Та подчинилась и обнажила тяжелый сверток и накарябанную записку. Строки вывела знакомая рука. Они гласили:

Ты и я – Питер Уильямс. Моя память уже на исходе, так что я пишу эти слова под диктовку Эсте. Ты найдешь это после того, как она умрет и станет луком в твоей руке. Ты возвращаешься туда, откуда пришел, на другую сторону Ворра. Сейчас ты на полпути. Многие попытаются тебя остановить; некоторые попытаются забрать твою жизнь. Будь бдителен и умен. С нами идет только Эсте, только ей можно доверять. Она вывела меня из края войны, когда пролилась кровь. Год мы прожили в этой пещере, а затем ушли начать новую жизнь. Это был рай, но в преддверии ада. Она видела все и видела наше место во всем. Твое возвращенье уравнивает мертвецов, что последуют затем. Эсте шлет свою любовь из нашего времени – тебе и себе нынешней. Я же оставляю гостинец из прошлого – дракона, что остановит некоторых чудовищ, и воспоминание из деревни, что позволит тебе издали слышать нас и других.

Бог в помощь.

Ты.

Он долго тарашился на бумагу, а потом его пробила дрожь. Воздух в пещере словно бы перенял волнение, так что все, кроме письма, дрожало размытым пятном. В шоке Лучника боролось что-то вроде ярости и ступора, и глаза закрылись, чтобы видеть, как друг друга рвут и когтят его крайности. Тело охватила судорога, мышцы затвердели, словно противясь возмущению вокруг и внутри него. Уже наставала точка перелома, когда раздался звук: емкий, сухой, словно звон расколотого колокола. Он раз отдался в пещере и заземлил смятение Лучника. Все надорванное время проглотил идеальный покой. В молочной неподвижности Лучник обернулся на расколотый ларец – теперь не более чем гнездо щепок.

Лучник выпустил письмо из рук и подошел к источнику звука, согнувшись над содержимым ларца. Взял из обломков тяжелый сверток коричневой промасленной бумаги, и что-то зацепилось за него и упало к ногам, как мертвая птичка. Он отложил пакет и поднял две половинки кокосовой скорлупы, соединенные изломанным изогнутым суком и скрученной лозой. Одна из половинок распалась; он поднес к

уху вторую, пока у запястья болталась лоза. Пещеру наполнил полный шорох абсолютного далекого моря; в ракушечной белизне перешептывались голоса.

Он осторожно отложил устройство и поднял тяжелый сверток. Развернув бумагу, ощутил в ладони успокаивающую тяжесть «Марса Фэрфакса»; без памяти или причины почувствовал, как весомое наличие пистолета утверждает его в другом, далеком времени и месте.

Той ночью он спал в пещере, смятенный, но согретый. Он надеялся, какая-то их частичка просочится из камня, дабы объять свои нынешние инкарнации. Он спал с Эсте в одной руке и с письмом в другой, с пистолетом и кокосом по бокам от головы. Спал, зная, что всё в его жизни – загадка и что, похоже, его единственная цель – пройти через Ворр. Водоем памяти словно бы тянулся в жажде к письму, но черпак был меньше синапса и плескалось в нем одно-единственное слово: Одинизуильямсов.

* * *

Его срок в глуши подходил к концу. Его труд и скитания из сплетни стали легендой. После стольких лет слава о нем разошлась по городам и весям. Его темами и промежуточными ступенями были скалы и здания. Он пользовался объективами, которые вымеряли выдержку и отказывали человеческому присутствию – парадоксальная лестница к зрительным ловушкам движения. Ему шли новые и необычные заказы, и потребовался единый адрес, чтобы стать доступным для всех.

В отсутствие Мейбриджа технические процессы эволюционировали, и это возбудило его изобретательный разум. Вновь он вернулся в города, прочистив свои затворы для людей. Вновь усек и завил свое имя, придавая ему уникальность; открыл свой храм объективов, и ручеек любопытства обратился в наплыв интереса.

Его эксперименты по запечатлению движений животных захватили воображение публики. Великий успех зиждился на пари: Леланд Стэнфорд, принц Висконсина, желал доказательства, что кони летают – что в галопе они парят в воздухе, скачут через пространство, лишаясь копытами всякого контакта с землей. Делом Мейбриджа было

уловить эту моментальную истину, и его богатый покровитель расщедрился на деньги и время.

Мейбриджа наперебой зазывали научные учреждения. В Лондон он вернулся триумфатором. Он уже был не Маггриджем, сыном углеторговца, или Майрбриджем^[21] – именем, преодолевающим топи, – пустым человеком с надтреснутой головой, прятавшимся в колониях, а Мейбриджем, ученым и творцом. Лондон дарил ему хвалу, а он давал ему лекции. Разумеется, слал он приглашения и хирургу, Галлу, но ни разу не получил ответа. Он искал его глазами среди слушателей на бесчисленных приемах, но ни разу не был вознагражден появлением. Мейбриджу хотелось показать великому человеку, что он исцелился, успешно. Хирург заглянул в него глубоко; он предсказал беду от человеческой близости; возможно, даже заметил в этом своем крутящемся инструменте убийство, и фотографу было не по себе от дисбаланса их отношений. Он хотел показать Галлу, кем стал.

Однажды, забирая из мастерской в Кларккенуэлле новую партию заказных линз, он подчинился импульсу и перебрался через Темзу в расширяющуюся больницу у Лондонского моста. Такси высадило его у больших железных ворот, и он мигом нашел привратника.

– Вам известно, работает ли еще здесь доктор Галл? – спросил Мейбридж.

– Сэр Уильям? – сказал привратник, и Мейбридж был впечатлен, хотя и не вполне удивлен: рано или поздно так отмечают всех выдающихся людей. – Он сегодня здесь, сэр. Дает лекцию в северном театре.

Привратник указал дорогу, и Мейбридж поспешил, не желая упустить момент. Он уже выбился из дыхания, когда добрался до вершины долгого пролета каменной лестницы, забитой студентами, съехавшимися со всего света. На последнем марше лестница сужалась и шумно сменялась деревом, приводя к высокой двери. Миг Мейбридж прислушивался, потом тихо ее приоткрыл и проскользнул – уже с цилиндром в руке.

Он оказался в конце крутобокого анатомического театра, где шестиэтажная аудитория сужалась к фокальному пространству в центре. На каждом полукруглом ряду толпилась благодарная публика, что тянулась вперед, в направлении голоса, в котором он узнал Галла.

Мейбридж протиснулся в задний ряд студентов, расступившихся перед его благородной персоной. Только железный поручень не давал им повалиться кубарем, как рухнувшему свадебному торту.

Галл постарел. Он стал грузнее и квадратнее, чем помнил Мейбридж, с солидным авторитетом, укорененным в зычном и выразительном голосе. Но, возможно, все эти качества выделялись лишь в контрасте с существом, что стояло подле. Мейбридж видел множество человеческих форм, но ничего подобного этому – явно не живую. Ее возраст не угадывался – Мейбридж полагал его от двадцати до двадцати пяти. Она была того же роста, что и кряжистый хирург, но лишь четверти его ширины. Она стояла рядом с Галлом голой; под бледной фарфоровой кожей проглядывали все кости – живой скелет. На хрупком стане не существовало ни унции жира; мышцы не могли быть толще бумаги.

– Состояние Алисы возникло шестнадцать месяцев назад и продолжится до самого очевидного завершения. Верно, Алиса? – сказал Галл, повернувшись к пигалице.

Алиса кивнула, и в темных орбитах моргнули большие глаза.

– Ее состояние, которое я открыл недавно, до этого момента не признавалось наукой. Подобные Алисе умирали без диагноза. По большей части их не осматривал врач, а семьи полагали, что они страдают от истощения. Алиса, господа, – типичный представитель больных, происходящих из высшего и среднего класса. Тогда как бедным тяжело найти пропитание для жизни, корни этой болезни лежат в избытке. Голод, как нам всем известно, ежедневный спутник низов, многочисленных в этом городе, но, господа, перед нами не болезнь тела; это расстройство разума. Алиса не ест по своей воле. Разум держит перед ее глазами картину, противоположную истине; не просто негатив, но физическое, трехмерное искажение реальности.

Затем Галл посвятил собравшихся в историю случая и более подробные медицинские наблюдения. Мейбридж следил с всевозрастающим увлечением, находя съезживающий голод этой женщины в конце рухнувшей перспективы зала гипнотизирующим. Он задумался о создании такого помещения, о способах сфотографировать целую толпу – или стадо, или гарем – подобных усохших красавиц.

На лестнице снаружи он дождался, пока доброго доктора оставят в покое последние жадные студенты. Двое никак не успокаивались и

следовали за каждым движением Галла. Не в силах больше ждать, он вступил в узкое пространство фокуса, где ранее выставлялась Алиса. Мейбридж надеялся быть узранным, но Галл посмотрел на него пустым и дружелюбным взглядом. Студент прервался и уступил перед странностью этого возбужденного вторжения.

– Доктор Галл – э-э, то есть сэр Уильям, позвольте занять несколько минут вашего времени?

Галл, вскинувшись при звуке голоса, пригляделся и спросил:

– Мистер Майрберн?

– Да! Мейбридж! – энергично отвечал фотограф.

Доктор распрощался со студентами и повел Мейбриджа во впечатляющий кабинет – куда больше башенки, которую занимал ранее.

– Как вы, сэр? – спросил Галл, указывая на кресло.

– О, замечательно, благодарю, я поживаю замечательно.

– А ваше здоровье?

– С нашей последней встречи значительно выправилось. В прошлом случались нервные приступы, но я крепну с каждым днем. Ваш совет сослужил мне большую службу.

– Славно, славно, – ответил Галл, на самом деле не зная, зачем пришел этот человек, напоминая бешеного пророка.

Мейбридж увидел это и объяснился:

– В качестве благодарности я принес вам некоторые мои фотографии, – он взял небольшое портфолио у своего кресла, развязал узел и раскрыл на массивном столе.

– Очень любезно с вашей стороны, – сказал искренне удивленный Галл.

Мейбридж принес коллекцию из десяти отпечатков, на пяти из которых были дикие края, куда Галл советовал отправиться ему столько лет назад. Он раскинул снимки на величественном столе из красного дерева и отступил, чтобы не мешать доктору.

Галл проигнорировал грандиозные виды Йосемитской долины, панорамы Сан-Франциско, ледяные горы Аляски. Даже не взглянул на бегущую лошадь – самую знаменитую работу Мейбриджа. Взамен вперился в четыре других, более разнообразных снимка, задвинув мастерские пейзажные работы в сторону.

– Что это? – пробормотал он с нескрываемым восторгом. На столе лежало изображение древнего жертвенного камня с посещения Гватемалы, фотоотпечаток Пляски Духов и еще один – с двумя шаманами шошонов, из того же периода. Последним изображением был композит фаз солнечного затмения. Галл любовался и цокал языком, желал знать их точную историю и смысл. По вопросам стало очевидно, что у него нет ни малейшего интереса к художественному таланту или техническому исполнению; его интересовали только субъекты фотографий. Он придвинул к себе четыре изображения.

– Можно их оставить? – спросил он.

– Они все ваши, – ответил обескураженный фотограф.

– Замечательно! – сказал доктор сам себе. Он как будто совершенно позабыл о Мейбридже. – Только взгляните на напряженность этих лиц; такие люди способны на все! – сказал он, словно беседовал с самими фотографиями. – Поистине замечательно!

– Я думал, возможно, мои фотографии могут помочь вашим пациентам? – спросил Мейбридж.

– Что? Простите, что вы сказали?

– Я только думал, сэр Уильям, не могут ли мои фотографии быть полезны вашим пациентам?

– Как? – настороженно спросил Галл.

– Если у пациентов вроде той, что мы видели сегодня, будет настоящее изображение самих себя, не могли бы они, быть может, сличить его с собственными превратными представлениями и найти исцеление в истине фотографии?

Галл на миг задумался.

– Не сработает – я пытался давать им зеркала, но они смотрят на них не так, как мы. Фотография ничем не лучше, – ответил он пренебрежительно.

Мейбридж сник от такого очевидного сравнения; неужели его предложение недостойно большего внимания?

– Вам доводилось слышать, чем занимается Шарко в Париже? – спросил Галл.

Имя показалось знакомым. Мейбридж покопался в памяти, но Галл не замечал его размышлений и продолжил речь:

– Он клинический врач, как и я: старая добрая анатомия, механика тела. Но, как и я, он переходит к машинерии души, невидимой

материи, которой не пустить кровь и не наложить шов, – возможно, к истинному центру хворей и здоровья. В этом году он открывает новую кафедру, чтобы исследовать то, что нельзя увидеть: скрытые импульсы тела. В этом я ему завидую. У нас обоих есть личные отделения, но это нечто совершенно иное. Будь я на двадцать лет моложе, я бы тоже забросил скальпели и целиком окунулся в хирургию разума.

Мейбридж несколько смешался и промолчал.

– Так или иначе, рассказываю я вам об этом потому, что он пользуется фотографией – не просто для того, чтобы снимать пациентов, но и для терапии. Не имею представления, как это устроено, но один из наших младших врачей был там в прошлом году и видел, чем они занимаются. Вам стоит съездить и взглянуть самолично.

Все это начинало походить на сомнительные выдумки, которым Мейбридж не доверял всей душой, и ситуацию только усугубляло французское происхождение инновации; его недоверие к утверждениям французов было многолетним и врожденным – он часто находил их весьма преувеличенными, как будто во Франции естественная граница между фактом и вымыслом куда более размыта. Даже Маре^[22], с которым он обменивался многими идеями, обладал фантазерским складом ума, больше заинтересованным эстетикой машин, нежели их предположительным прикладным результатом.

Внезапно он понял, где раньше слышал имя Шарко.

– Да, Сальпетриер! – воскликнул он с облегчением, довольный, что может подтвердить свое знание. – Парижская академическая клиника.

Хозяин уделил ему странный взгляд.

– Да, именно. Вам стоит съездить, – сказал Галл, закрыв тему.

Мейбридж осознал, что ему не умаслить Галла, доктор не покажет ему свои личные палаты. Он впервые понял, что Галл не питал к нему настоящего интереса. Интерес хирурга разжигал лишь недуг, а не человек, который его в себе носил. Галлу хотелось испытать и исправить новые инструменты, чтобы переделывать человека. Сама личность в его поисках была побочной и расходной материей. Когда эта мысль снизошла на Мейбриджа, он взглянул на своего хозяина, но тот уже снова всматривался в фотографию Пляски Духов.

– Замечательно; какова сила воли.

– Как у этой несчастной женщины, – сказал Мейбридж.

– Да! Точно так! – сказал Галл, пока в его солидном неподвижном теле скакала энергия жилистого человечка. – Настрой этого жалкого существа, вера в свои убеждения, вплоть до самой смерти. А ведь у меня есть и другие, демонстрирующие еще большую ненасытность, – он показал на шамана. – Сфокусировать бы эту волю точно так же и очинить бы знанием... что ж, тогда у нас был бы инструмент, чтобы препарировать и восстановить душу любого человека. Я бы запустил руки в их головы и сердца и исправил бы все.

Мейбридж молча кивнул.

На улице настал «лондонский особый»^[23] – густой и всепожирающий туман, сглотнувший свет и измерения, тасовавший размытые звуки города. Стоя в зябкой серой сырости, Мейбридж осознал, что Галл ничего не сказал об отпечатке с затмением, хотя во время беседы неоднократно его касался.

Он попытался найти кэб в сумятице приглушенных теней и звуков, но тщетно, – и тогда понял, что заблудился. Остался единственный способ вернуться домой: расспросить первого попавшегося прохожего. Снова промежуточные ступени; ступени в тумане. Они переполняли его жизнь.

* * *

Они все еще говорили об Адаме, когда Французу показалось, что он узнал в широкой тропинке ту, которая вела к станции и, как он надеялся, к ожидающему поезду. Он уже достаточно натерпелся. Несмотря на вычурные истории Сейль Кора и его согревающее присутствие, ему хотелось назад, в отель с горячей водой и холодным вином. Лодыжки и пальцы болели от усилий, необходимых, чтобы удержать на месте испорченную обувь. Синяки, порезы и укусы насекомых непрестанно терлись о раскрашенный балахон, чья текстура теперь казалась раздражающей и грубой. Его все еще покрывала высохшая слюна, вонючая и липкая во влажной жаре леса, а ее устойчивый запах как будто пустил корни во всех порах изможденного тела.

– Впредь Адам не уйдет никогда, – продолжал Сейль Кор. – Ангелы в лесу постарели и устали; возможно, они забыли о своем предназначении. Возможно, Бог забыл их всех.

В долгом медленном движении поднялась Укулипса, блестящий затвор отполз назад и вперед, досылая один из зачарованных патронов калибра .303 в патронник. Рыло винтовки выглянуло из-за кустов, принюхиваясь к приближающимся голосам.

– Сколько нам еще придется пройти? – спросил Француз, понимая, что обозначился тропой и впереди не видно ни следа железной дороги.

– Еще два часа, – ответил Сейль Кор.

Цунгали отвел ретивую винтовку; это не его добыча. Он раздвинул затвор и извлек боеприпас, вернув тот в один из зачарованных мешочков на патронташе. Но не заметил, как из-под клапана мешочка сбежала тонкая ниточка, как порывом разгоряченного дыхания ее поймал душный сырой воздух. Все птицы в ближайшей округе вспорхнули с неожиданно нестройным биением крыльев. Взгляд Цунгали резко взметнулся, и он с острым подозрением посмотрел на то, как они наполняют все прогалины в небе между листвой полога. Сейль Кор и Француз тоже встали на месте и присмотрелись к дрожи в кронах.

Ниточка плыла, прошивая атмосферу, стремясь к своему хозяину. Она обладала поразительной долговечностью и могла годами лежать в спячке, при этом на взводе, пока не вспрыгнет торопливо и не присосется по-вампирски, реагируя на жару или запах прохожего. В этот день ей придется ждать всего несколько минут.

* * *

Годы были добры к Мейбриджу: его бесконечные труды и решительность окупилась, и теперь он читал лекции по всему свету; на этого влиятельного человека был спрос.

Его обширное портфолио животных в движении имело большой успех. Он задумывался о новом большом исследовании – на сей раз людей в движении; недостатка в субъектах не было.

Он оставил конкурентов далеко позади. Маре, как и предугадывалось, легко отвлекался на красивые машинки и никчемные причуды, что делало Мейбриджа единственным достойным соперником на ниве науки и прикладного применения фотографии для серьезных целей; он правильно доверял инстинктам. Корреспонденцию с Маре он бросил после его последнего письма, где парижский сумасброд бредил о камерах, способных записывать «другое» время. Было ошибкой спрашивать Маре о Шарко и его фотографических экспериментах. Собеседник превратно заключил, что Мейбриджа занимали мысли о запечатлении психических манифестаций (или того хуже), хоть он и указал отдельно на свою природу объективного творца, имеющего дело только с голыми костями факта. В том последнем письме говорилось о теоретических камерах для записи невозможно медленных движений, таких как деревья или бездны ночного неба. Даже предполагалось, что в земле можно выкопать ямы, где отражающими линзами выступят разные уровни воды. Чего этот чудаков хотел добиться, стоя над такой дырой и глядя на отражение звезд и листвы в поганой грязи, оставалось выше понимания Мейбриджа.

Любые дальнейшие разговоры о подобном умозрительном нонсенсе могли подмочить аккуратное здание репутации и позиции; впредь Маре исправно манкировался.

На пути к разработке двенадцатого поколения зоопраксископа Мейбридж принялся восстанавливать по памяти инструмент Галла, выводя логически, что и как в нем было устроено. С помощью набора зеркал он подобрался к тому самому мерцающему феномену, какой произвел хирург. На вторую неделю попыток подошел вплотную, вызвав лижущую тень, от которой закружилась голова; Мейбридж размышлял о частоте, пульсирующих свете и темноте – открывают ли они каким-нибудь образом глаза к новым видам, влияют ли на мозг напрямую; он определил линзы, которые концентрировали свет его творения в точке горячей, накаленной энергии. На протяжении всей работы он гадал, пользуется ли Галл этим инструментом в своих личных экспериментальных палатах на женщинах-скелетах, не нашел ли он способа фокусировать их искаженную, но яркую волю.

Доклад Галла об их пагубном душевном расстройстве поднял шумиху в узких медицинских кругах. Он дал трагической болезни имя

Anorexia nervosa и тем самым выбил себе еще одну ступень в историю. Но Мейбридж знал, что увлечение доброго хирурга их мозгом лежит на куда более глубоком уровне, чем особенности питания. В конце концов, какую пользу может принести это привилегированное знание о привилегированной немощи, когда половина Лондона борется с голодом? Ему казалось, у него с Галлом много общего. Доктор, очевидно, тоже в это верил, потому что три месяца спустя пришло письмо.

Дорогой мистер Мейбридж,

Я набрасываю эти строки, чтобы признать ошибочность своего прежнего заключения о влиянии фотографии на моих особых пациентов. Теперь я думаю, что вы были правы в своем убеждении об их реакции на собственные изображения.

Прошу, когда вам в следующий раз случится быть в Лондоне, давайте подвергнем вашу гипотезу клиническому испытанию.

У. У. Галл

Мейбридж пришел в восторг. Он отчаянно хотел заглянуть в личные палаты врача; мечтал об экскурсии по зловонным и злобредящим женщинам, мечтал увидеть степень мании, на которую ранее Галл только намекал. Он ответил немедленно, и скоро все было устроено.

Он стоял в лиственном пригороде Лондона, будучи перенаправленным из больницы сэра Томаса Гая очередной запиской – в этот раз из рук угрюмого привратника. Он был в Форест-Хилле. Сюда – где, по словам Галла, располагалась его частная клиника, – Мейбриджа доставила от Лондонского моста Южная железная дорога. Он вышел со станции в буйную зелень деревьев; у обочины его поджидал возчик. Десять минут и дюжину зеленых поворотов спустя они въехали в высокие металлические ворота и остановились. Внутри провел сторож – или, скорее, надзиратель, думал Мейбридж: вылитый

носорог в длинном фартуке поверх темной формы, в кепке с козырьком, подчеркивающей таран носа и низкий покатый лоб.

– Благодарю, Крейн, – сказал удаляющейся тени Галл. – Мистер Мейбридж, милости прошу, – он протянул визитеру квадратную ладонь, оглядываясь, словно желая приветствовать второго гостя. – Но где же ваше оборудование? – он посмотрел на дверь; возчик покачал головой.

– Я ничего не привез, – сказал Мейбридж, – я полагал, наша предварительная встреча будет скорее теоретического, нежели практического характера?

Галл пребывал в недоумении, и его губы дрогнули в мелком движении, казавшемся репетицией более крупного – раздражение в преддверии гнева, – прежде чем быстро его спрятали.

– Верно! – выпалил он в бурной и очевидной лжи. – Позвольте показать насущную проблему, а затем вы произведете свою профессиональную оценку.

Добрый доктор взял его под руку и дружелюбно повел по коридорам вслед за Крейном. Мейбриджу тут же стало не по себе; прикосновения были ему противны, он дурно их переносил. Он никогда не понимал, почему столько людей – простонародья – получает удовольствие от того, что лапает друг друга, даже на публике. Его вероломная жена налагала на него ту же удушающую обязанность. Хватала на ходу за руку, висела на скорости его бодрой поступи, жалуясь на темпы, умоляя замедлиться и повисая еще сильнее, если он отказывался подчиниться. Это было стыдно видеть. Но когда они оставались наедине, она требовала чего-то куда хуже. Он никогда не пренебрегал супружескими обязанностями. Более того, про себя он наслаждался ими в меру и, практикуя их, совершенствовался благодаря трудностям физических усилий. Он исполнял все, что от него могли ожидать, но ей всегда хотелось большего: цепляться, целоваться, чтобы он задерживался в ней долго после того, как окончил свое дело. Некоторые просьбы были откровенно оскорбительны и шли наперекор всем современным понятиям гигиены. Самым же худшим стало то, что она лапала его даже на глазах у соседей или слуг и на мероприятиях, куда заставляла ее водить. Это было неловко, неестественно и крало время.

Страхивая гадкие воспоминания, он вернулся к настоящему и обнаружил, что Галл убрал руку, прося жестом подождать. Они стояли в длинном коридоре больничного вида. Стены были густо выкрашены тяжелой желтой краской – оттенка скорее костного мозга, чем цветка. У дверей контрастом стоял все тот же охранник в фартуке. Галл взмахнул рукой, и Крейн взялся за сложный засов, сдвинувший рычаги и смазанные фаланги, чтобы открыть палату. Все это выглядело в высшей степени театрально – скорее подобающе новым зоологическим садам, нежели храму здоровья.

Галл уловил запах его мыслей и принялся объяснять.

– Некоторые женщины здесь весьма нестабильны – они представляют угрозу как для себя, так и для окружающих. Их приливы мании и избыточной воли не подчиняются дисциплине или контролю. Потому их приходится запирать, и по уважительной причине.

Мейбридж чувствовал, как от близости этих обреченных существ растет его возбуждение. Пара прошла по коридору и остановилась у очередной двери, где поджидал Крейн. Галл кивнул, ассистент распахнул.

– Сперва, – сказал Галл, – я покажу вам Эбигейл. Это ей я давал фотографию. Ее подобрали на улицах, где она торговала своими прелестями. Здесь она без малого восемь месяцев.

– Но вы же говорили, это бремя зажиточных, а не бедных – не уличных женщин?

– Совершенно верно! – ответил Галл. – Но чтобы понять болезнь, нужно найти ее корень. Разжечь ее с самого начала. Так мы набрали подопытных и поселили в них болезнь. Тот же протокол, что пришел из исследований вакцин, но здесь мы применяем его к разуму. Те, кто уже страдает от заболевания, пригодны разве что для изучения симптомов – не причины, следствия и лечения: нельзя вырастить цветок с листика.

– Значит, субъект вашей лекции в больнице Гая отличается от этой женщины?

Галл посмотрел на него так, как смотрят незнакомцы, когда пытаются вежливо определить возраст ребенка своего друга.

– На поверхности они отличаются, да, но фундаментально – одинаковы. Та, что вы видели в лектории, попала под мою опеку уже с целиком сформированной болезнью. Семья была рада сбыть ее с рук.

Ее бы с готовностью сослали в Бедлам, помереть в грязи с остальными, кто навлек несмыываемый позор на своих родителей, братьев и сестер. Эта же прибыла ко мне голодающей, но со здоровым духом, – благодаря мне ей не суждено гнить на улице. Она примет участие в экспериментах и в конце концов будет выписана, если то позволит самочувствие. – В течение речи Мейбридж наблюдал за доктором, время от времени поглядывая на охранника, чтобы рассудить о реакции, но у обоих лица оставались бесстрастны.

– Когда она только поступила, мы обходились с ней как с королевой: баловали едой, комплиментами и дорогой одеждой. Она толстела и слабела, и скоро была готова к первой встрече с птичьим зеркалом.

– Птичьим зеркалом [\[24\]](#)?

– Да. Это инструмент, которым мы пользуемся в гипнотическом процессе, – сродни перифероскопу, которым я пользовался для вашего лечения.

Это сравнение не угодило Мейбриджу.

– Так или иначе, как я говорил, проблемы начались, когда мы дали нашей Эбигейл фотографию.

– Что было на фотографии? – спросил Мейбридж.

– Это была фотография ее самой, сделанная три недели назад. Я последовал вашему совету и стал снимать все свои особые случаи.

Мейбридж опешил от подобных новостей. Он предлагал свои услуги и получил категорический отказ, а теперь, несколько лет спустя, Галл воспользовался идеей и приступил к собственным фотографическим изысканиям? Он попытался скрыть свое недовольство, пока Галл продолжал:

– Когда я показал ей снимок, она просто на него уставилась. Пришлось объяснить, что это она. И тогда она съела фотографию. Не успел я ее остановить, как она засунула снимок в рот и отказалась вынимать. Когда прибыл Крейн, чтобы разжать ей челюсти, было уже поздно.

Не успели слова осесть и ужалить, как Галл уже открыл дверь. Пациентка находилась на другой стороне комнаты, стояла в углу. Вид у нее был скелетный, отсутствующий. Одета была только верхняя часть тела. На торсе висела толстая блуза, как будто на много размеров больше. Нижнюю же часть тела, от солнечного сплетения, обмотали

бинтами, которые кончались маленьким отдельным клапаном для приличия.

Ее голые ножки-веточки дрожали. Ступни, подвернутые внутрь, посинели от холода.

– Она снова разделась, – сказал Крейн, разоблачая свой интеллект ниже среднего.

– Да, – спокойно сказал Галл. – Прикрой ее.

С ее тонкого матраса сорвали одеяло и обернули на талии. Охранник усадил ее на кровать – равно скелетного вида.

– Ее раны заживают медленно – долгий процесс, когда телу нечем питаться.

– Что с ней случилось? – спросил Мейбридж.

Галл повернулся и с испепеляющей силой направил взгляд в ничего не подозревающие глаза фотографа.

– Она пыталась вернуть снимок. И распорола себя, чтобы его найти.

Мейбридж сорвал взгляд с хирурга, чтобы вновь изучить хрупкое существо: ее далекие пустые глаза; повязки; птичьи ручки с поломанными ногтями. Его одновременно замутило и возбудило – одно чувство перечеркивало другое, – и он сделался неподвижным, на миг стал таким же, как она.

– Если бы мы не нашли ее вовремя, она бы истекла кровью до смерти. Она прорвала брюшную стенку, потеряла часть нижнего кишечника и задела фаллопиевы трубы, ни разу не вскрикнув и не издав никаких других звуков, – Галл, очевидно, находился под впечатлением. – Представьте себе, какая требуется сила воли!

– Она воспользовалась каким-то оружием? – спросил Мейбридж, опасаясь, что уже знает ответ.

– Нет, сэр, о том и речь: все это она сделала голыми руками.

– Возможно ли?

– Для нас с вами – нет. Мы бы дрогнули. Рука бы утратила силу и лишь царапалась и билась о нашу слабость. Человеческая рука – эффективный и чрезвычайно сильный механизм. Это серия осей и рычагов, приводящаяся в действие прочными и властными мускулами. Сухожилия и кости эластичны и способны переносить колоссальное напряжение. Мы пользуемся едва ли долей потенциальной мощи, взамен разрабатывая гибкую податливость и деликатное касание.

Сомнений быть не может, рука – устрашающее орудие. Известно ли вам, что она среди тех частей человеческого тела, которые труднее всего уничтожить? Ее приходится давить и крушить, чтобы раздробить на мелкие кусочки.

Мейбридж сомневался, что хочет знать подобное, но выбора у него явно не было, а Галл гнал слова галопом.

– На Тибете существует древняя практика погребения под названием «небесные похороны». Покойных монахов помещают на высокую платформу, где их тела разделяют – а вернее, разделявают – на мелкие съедобные части. Затем хирург-жрец покидает платформу, чтобы к столу слетелись падальщики. Они подьедают все до последнего кусочка и удаляются, унося тело божьего человека с собой в облака. В этой процедуре главное затруднение представляют руки. Все остальное в сравнении – детские игры. Для того чтобы измельчить их для птиц, необходимы великие усилия, тяжелые острые инструменты и время. – Галл перевел дыхание. – Да, сэр, в деле рука – грозное оружие, сомнений быть не может.

Все четверо замолчали – между ними не парило ни толики коммуникации. Все смотрели в разных направлениях, в разные миры, и ждали, когда снова начнется их собственный.

* * *

Измаилу хотелось пить. Он израсходовал свой запас воды день назад и теперь шел по тропе, которая казалась более прямой, чем остальные, но на поверку ничем от них не отличалась. Сколько тропинок он уже исходил с тех пор, как отвернулся от города и направился вглубь леса? Он сразу принял решение не ступать на развилках на ту тропу, которая заворачивала направо или налево, и искал только прямые, зная, что даже они могут оказаться вероломными и заставить его ходить кругами.

Эту истину он узнал на одном из уроков Родичей; что-то о навигации и чувстве направления. То, что во время обучения казалось трудным и абстрактным, теперь зависло над ним, как нимб или маяк в ночи. «Люди всегда ходят кругами», – вот что сказал Сет, добавив, что изъян человеческих существ заключен уже в самом строении; они

неуравновешенны, навечно перекошены с самого рождения. Даже ставить одну ногу вперед другой и глядеть прямо – не панацея.

Но теперь Измаил был уверен, что он – не человек. Возможно, от них позаимствована его частичка, но не все целое. Он уникален, и это доказали отношения с той женщиной. Его не замарать их страхам, не стреножить их несовершенству. Все их хвори и глупость ничего для него не значили, и здесь, среди Ворра, казались мелочными и тривиальными. Никакие боль и стыд не продержались дольше пятого часа среди деревьев. Он разнуздан и отбросил ярмо давешних эмоций ненужными обломками у входа в новую жизнь.

Днями и ночами он спал урывками, всегда лицом в глубину леса. Ночевал в песчаных лощинах или в примятом гнезде подлеска. Однажды попытался уснуть в дереве, но обнаружил, что привлекает внимание обитавших там существ.

Он вступил с Ворром в общение и находил удовольствие в растущей странности леса. Он знал, что скоро ему предстоит заниматься охотой и собирательством. Краюха хлеба, вода и вино, которые Измаил собрал в дорогу наспех, уже переведены, и тело начинало жаловаться – колики голода и жажды, ноющие ноги подтверждали его телесность. Возможно, когда он пойдет глубже, они тоже выгорят и он изменится, эволюционирует в иное существо. Он бы перепробовал и перебирал возможные названия подобного оригинального создания, если бы язык не присох к щеке, а горло не забило песок и пустота.

Топая себе дальше, Измаил заметил, что тонкую тропку перед ним перегородил камень. Он приблизился, и округлые контуры предположительного валуна сфокусировались до глиняной миски, до краев налитой чистой свежей водой. Он подивился этому чуду, как будто призванному его жаждой, и принялся к прохладной свежести. Уже через несколько секунд он с наслаждением вылакал все до капли. Утолив жажду, Измаил пригляделся к таинственной чаше повнимательнее. Она была сделана из необожженного орешника, облепленного грязью, которая все еще демонстрировала отпечатки пальцев своего создателя. Отпечатки были крошечными; ручки ребенка, подумал он рассеянно, пока мозг все еще впитывал жидкость и ее функцию. Он отправил миску в котомку за плечом и продолжил странствия через деревья.

В лесу животные казались ручнее тех, кого он миновал на выходе из города; безразличными к нему, словно не имели в себе природного страха, который большинство созданий питают к самому кровожадному хищнику на земле. Или, возможно, на них влияла его несхожесть; возможно, только двуглазые несут это проклятье? Он видел, как у тропинки подняла голову змея, пробуя бегающим языком молекулы его существа. Несколько раз за тем, как он идет, спокойно наблюдали, даже не вздрогнув, мелкие существа, напоминавшие оленей. Он начинал чувствовать себя под постоянным наблюдением, будто деревья и их обитатели следят за ним; от этого он почему-то чувствовал себя в безопасности, защищенным со всех сторон.

Прошло несколько часов, и он остановился для отдыха, извлекая из мешка последний кусок жесткого заплесневевшего хлеба. Он тосковал по чему-то более существенному, вспоминая блюда, которые так давно готовили ему в тайном подвале. Воспоминание вдруг показалось намного ближе, словно в этот самый миг пахнуло ароматом вареного картофеля. Тут он осознал: это не мираж – он чуял еду! Вскинувшись, вскочил на ноги и огляделся. В нескольких футах от его привала стояла новая чаша, полная горячим, дымящимся угощением. Он в изумлении рассмеялся, потом забрал блюдо с травы и поднес к носу, смакуя сиятельный аромат картофеля, сготовленного в насыщенной подливке и сдобренного шалфеем.

– Здесь кто-то есть? – окликнул он. Ответа не последовало.

Он потыкал в теплую пищу и облизнул палец. Спустя несколько минут проглотил все без остатка. Превосходно, и так похоже на блюда, которые готовили для него Родичи. Неужели они с ним здесь, в густых зарослях? Мысль вызвала огромную и неожиданную волну эмоций, коих он не позволял себе ранее – с самого дня их бегства. Его одолело отложенное осознание утраты, и он разрыдался на лесной поляне, с теплой глиняной миской в руке и вкусом своей невинности во рту. Он подавил нежданные слезы и снова позвал, на сей раз с надеждой.

– Кто здесь?!

Ничто не аукнулось, но он почувствовал в подлеске новый шорох и развернулся к нему лицом.

– Пожалуйста, если здесь кто-то есть!..

Ничто не коснулось ушей, кроме песни птиц. Впервые он помыслил о возвращении в город. Глупо мнить, что здесь есть какие-то

остатки Родичей. Если бы он действительно хотел их найти, так бы уже и сделал, – в доме, где они жили, а не в диком хитросплетении флоры и чудес. В досаде Измаил собрал свои скудные пожитки и углубился в деревья, глядя, как вместе с его переменами в настроении выются и вихляют извороты узкой тропинки.

Часом позже он нашел очередную чашу воды, аккуратно и заметно поставленную на самом его маршруте, и предположил, что его безопасно ведут в чашу леса. Он почувствовал энергию и заботу, убедившись, что его путь устроен и значителен. Снова подумал о таящихся вокруг Родичах – оцелотовой интенсивности яркого и пегого камуфляжа света на их блестящих коричневых телах.

* * *

– Сейчас я работаю над прямым контактом с этой грозной силой воли, пытаюсь выделить одержимость голоданием, отсесть от уникального настроения, что оно порождает. Я добиваюсь замечательных результатов: стало возможно составить схему механизма мозга и в строгости эксперимента воспроизвести его точные реакции.

Они снова шли по коридору – причем Галл наконец-то держал руки при себе. Прогуливаясь мимо запертых металлических дверей, он сунул большие пальцы в карманы бриджей. В его уверенной осанке было что-то неудержимое.

– Однако есть один побочный эффект, не имеющий клинического объяснения, – говорил доктор. – Похоже, во всех, кого я лечил и с кем экспериментировал, развивается зараза насилия, словно между активацией периферийного зрения и расшатыванием морального кодекса существует какая-то фундаментальная корреляция.

Мейбридж уже хотел задать вопрос, когда осознал смысл этих слов.

– Есть и некое искажение либидо, – продолжал Галл. – Перифероскоп и птичье зеркало, похоже, призывают во всех послушных пациентах что-то дикое; постоянное применение устройств словно усиливает эти эффекты в кумулятивной динамике. У меня есть и другие гипнооптические инструменты, которые мне весьма хотелось бы вам показать, пока вы здесь.

Когда Галл взглянул на обеспокоенное и узловатое лицо Мейбриджа, вновь напоминавшего нечто среднее между карающим Господом и выбранным ребенком, его прервал долгий скорбный вопль – звук столь необычный, что он приостановил все шумы вокруг. Мейбридж со встревоженными мыслями распознал в нем дикое животное, экзотическое и смертельное; он уже слышал подобных созданий и моментально понял, что родом оно не с этих берегов. Зов многих подобных диких бестий ему доводилось встретить в своих далеких странствиях – возможно, в этих коридорах под запором действительно содержался зоопарк?

И вновь оно пропело – в этот раз Мейбридж уловил в зове тинктуру человечности. Он приучил себя прислушиваться ко многим необычным языкам, прислушиваться и доверять своему инстинкту в расшифровке их значений. В этом звучали те же резкие крайности, что он слышал у горных племен Гватемалы, и эскимосские содрогания с высоких равнин Аляски; песни кочевников с разрушенных перешейков Гренландии и Северного полюса. Нездешний голос.

– А это вам будет интересно! – Галл показал на источник жуткого звука, и Крейн постучал по металлической двери. Несколько мгновений спустя ее открыл изнутри низкий лысый человечек в белом фартуке и жестких красных гуттаперчевых перчатках.

– Добрый день, сэр Уильям. Она снова беспокоится.

– Доброе утро, Райс. Что ж, поглядим на нее?

Вой прекратился, когда она увидела Галла. Ее огромные глаза расширились, и она прикрыла их своими руками в витиеватых шрамах. У нее была черная кожа с отливом, отполированная гладкой, непрерывной тысячелетней родословной до синевы и лиловизны. Она казалась субтильной, но не исчахшей, как остальные, а голова ее отличалась классической красотой – скорее горизонтальная, чем вертикальная, словно ромбовидный грациозный камень, балансирующий на тонком пьедестале шейки. Мейбридж видел и встречал негров в Америке, видел их горе и их силу. Но она была из совсем другого вида.

– Позвольте представить вам Абунгу. Здесь мы зовем ее Жозефиной. Жозефина, это господин Мейбридж. Это он сделал снимок, который тебе так нравится.

Она опустила руки и посмотрела в недоуменное лицо фотографа.

– Покажи, что ты с ним сделала!

Крейн схватил ее за одежду, чтобы растормошить к действию.

– Оставь, Крейн, она сама.

Жозефина прошла по комнате, оставляя мокрый след, как будто начинавшийся из-под юбок. Мужчины сделали вид, что ничего не заметили. Она подошла к маленькому сундуку, выкрашенному в тот же цвет, что и бежевая камера. Открыла и отступила с дороги; он был полон аккуратно разложенных стопок бумаги – все листы одного размера и все с одним неровным краем, словно нарванные из блокнотов. Мужчины подошли к сундуку и его хозяйке.

– Покажи ему, Жозефина, – подбадривал Галл. Она присела, чтобы поднять к глазам Мейбриджа верхний листок.

– Возьмите! – сказал доктор практически тем же тоном, каким разговаривал с черной женщиной. Мейбриджу показалось, что следует что-то заметить в ответ на подобное снисхождение, но любопытство перевесило возмущение и он последовал приказу. Взглянул на то, что держал в руках, затем взглянул еще раз – с удивлением: это была идеальная копия его снимка «Фазы солнечного затмения». Приглядевшись пристальнее, заметил, что это вовсе не фотографический отпечаток, а рисунок черной тушью по бумаге, но идентичный тому, который он оставил Галлу годами ранее. Опушены оказались только пять строчек текста, объяснявшие провенанс и называвшие время выдержки. На каждом рисунке в уголке стояло кривое «А»: ее подпись. В каждой «А» не хватало серединки – соединительного штриха, – и потому оно казалось ближе к перевернутому «V».

Мейбридж перевел взгляд с Галла, который поглаживал подбородок с плохо скрытой улыбкой, на лощеное сияние женщины, чьи большие глаза смотрели прямо сквозь него, и затем обратно на ящик с бумагой.

– Прошу, не стесняйтесь. Она не против, – сказал Галл.

Он взял и изучил небольшую охапку листов. Все изображения были одинаковы. Она сделала сотни копий его снимка, все с одной и той же подписью. Галл увидел в глазах фотографа вопрос и ответил прежде, чем тот прозвучал.

– Жозефина примечательна. Постоянно нас удивляет. Однажды я показал ей вашу фотографию. Она не могла видеть ее дольше минуты.

Несколько недель спустя, после сеанса с одним из моих новых инструментов, ей дали бумагу, перья, карандаши и чернила. Ей это разрешается – она одна из пассивных пациенток, единственная не выказывающая тревожных побочных эффектов, о которых я рассказывал ранее. Так или иначе, она села и начала делать копии. От первой до последней они все совершенно одинаковы. Если я прикажу подать ей чернила и бумагу сейчас, она сделает еще.

В голове Мейбриджа теснились десятки вопросов, но ни на один не смог бы ответить Галл – а возможно, и сама женщина. Мейбридж робко удовольствовался самым простым.

– Она понимает, что это?

– Невозможно знать, она не разговаривает.

– Но я ее слышал. Те странные звуки.

– Да, она издает странные звуки, но не речь. Иногда кричит зверем или поет птицей: подчас ее камера – это подлинный зверинец! Но слова – никогда, какую настойчивость или стимулы ни применяй.

Человек по имени Райс отвел ее обратно к постели, с которой мягко поднимался пар. Под кроватью были три таза воды, полотенце и резиновая помпа Хиггинсона, спешно убранные туда, когда они пришли посреди процедуры. Галл снова схватил Мейбриджа за нервный локоть и живо вывел из палаты. Беседу они продолжили в кабинете Галла – маленьком и удивительно скудно обставленном.

– Жозефину я и задумал в качестве субъекта для ваших фотографических этюдов. У нее поразительный диапазон выражений лица. Каждое можно вызвать с помощью зеркала и колокольчика. Я бы желал их задокументировать, прежде чем она покинет нас навсегда.

– Куда она отправляется? – рассеянно спросил Мейбридж.

– Она провела здесь два года и показала чудесную восприимчивость к моим экспериментам. Она способна на демонстрацию воли, которая вас поразит, при этом без следа побочных эффектов. Но мне кажется, на этом пора остановиться. Я не хочу утруждать ее более. В подобных материях у хирургов есть свой инстинкт; этому аспекту профессии не научишь. Он приходит из одного только опыта. Я чувствую, что если она пойдет дальше, то свернет не туда, и эта неумолимая сила скрутится и обратится вглубь или того хуже. Но сейчас она стабильна и здорова – это вы сами изволили видеть.

– Она отказывается говорить?

– Да. Это не изменится. Это у нее с детства. Глубоко укорененное. Ее родителей привезли сюда в последних партиях рабовладельческих судов. Она родилась через несколько лет после того, как наконец утвердили отмену рабства. Должно быть, она испытала ужасную нищету – возможно, и унижения. Довольно, чтобы совершенно отвлечь ее от речи. Но она все понимает. Это можно назвать и благословением – когда подобная краса наделена молчанием. Никакой нескончаемой женской болтовни, с которой приходится мириться большинству из нас, – Галл усмехнулся без радости. – Как бы то ни было, я хотел получить серию фотографий за следующие несколько лет.

– Но, сэр, я слишком занят, чтобы посвящать столько времени всего одному исследованию. Моя работа в Америке и вне ее требует постоянного внимания. И не уверен, что портфолио медицинских портретов впишется в корпус моего творчества.

– Совершенно верно, я бы не стал у вас этого просить. Вы занятой и важный человек, я это вижу, хотя и худо разбираюсь в вашем творчестве и любых других художественных материях. Эти фотографии лишь для меня, и меня одного; особый заказ. Позвольте объяснить: я обеспеченный человек с немногочисленными расходами, не считая этого каприза. Я намерен наблюдать особые случаи до конца их или своей жизни, чтобы увидеть долговременный эффект своего лечения и, быть может, время от времени вносить в него правки. Законы меняются, и частные клиники, вроде этой, подпадают под те же материнские бюрократические догмы, которые ныне поразили наши основные больницы.

Галл снова пронзил Мейбриджа требовательным взглядом; было очевидно, что он намерен добиться своего.

– Итак, к делу: я намерен выписать Жозефину и некоторых других. Поселить их в собственных комнатах, кормить и содержать подальше от улиц. Я выберу место в окрестностях Лондонского моста, чтобы они находились в легкой доступности. В ее случае я сниму дополнительную комнату и снабжу ее фотографическим оборудованием по вашим спецификациям. Это означает, что вы сможете навещать ее и ставить портреты всегда, когда будете проездом в городе.

Мейбриджа ввели в соблазн. Ему нравилась секретность процесса; она импонировала его природным и привитым наклонностям. Женщину он находил эффектной, даже примечательной, и видел, что ее фотографии в самом деле выйдут высочайшего качества. Но не третируют ли его как последнего наймита? Здесь ничто не поднимет его статус и не принесет новое признание таланта, а у доброго хирурга, очевидно, в предприятии имелся собственный мотив – хоть это все и означает, что они явно будут избавлены от всяческих публичных и зловердных слухов. Он тоже был человеком высокого положения и уважения, и этот статус должен оставаться в неприкосновенности и благочинности.

– Чтобы принять в рассмотрение ваше исключительное предложение, мне также понадобится надежное запираемое помещение для остального оптического оборудования и изобретений. Это позволит мне проводить больше времени в Лондоне, а следовательно, с вашей протее.

– Разумеется! – Галла обрадовала легкость переговоров. – Вы получите мастерскую – или лабораторию, или как это зовется у вашей братии. Я помогу с любыми расходами на ваши изобретения.

Фотограф клюнул на приманку и все более воодушевлялся.

– Их производство и содержание весьма затратно. Но моя текущая работа даже идет в параллель с вашей; могут случиться пересечения кругов интереса.

Галл встал, превратно истолковав момент.

– Да, хорошо, конечно. Весьма интересно. Теперь поведайте о ваших перемещениях в следующие шесть месяцев.

Его очевидное безразличие и предполагаемое сомнение в ценности изобретений фотографа укололи гостя. Их обоих вело исключительно себялюбие. До этой промашки их маховики крутились порознь, но в твердом унисоне. Мейбридж соскочил с крючка хирурга.

– Прежде чем я дам согласие, сэр Уильям, я должен сказать, что имею сомнения в том, как подобный проект отразится на моем статусе в обществе. Если позволите говорить прямо, значительное время наедине с этой душевнобольной негритянкой может меня скомпрометировать. У меня уже бывали эксцессы с женщинами, и обычно я бегу их компании. Конечно же, не в протiwоестественном смысле! – поспешно добавил он.

Изумление Галла развернулось в полную силу – он начал принимать гостя за круглого простофилю. Тысячи мужчин прятали своих любовниц по всему старому доброму городу; да всё боро Уолворт создано только для того, чтобы вместить их переизбыток! И извольте посмотреть на этого фотографа: никакого положения в обществе – техник, ремесленник. С чего же он печется о своей хилой репутации? Галл оборвал раздумья. Простофиля этот фотограф или нет, он ему нужен. Подходит только он.

– Друг мой, нет даже речи о том, чтобы вас скомпрометировать. Я предприму все меры, чтобы удостовериться в совершенной тайности нашей маленькой транзакции. Ваша роль в этом научном исследовании будет целиком благородной.

Его слова как будто пригладили встопорщенные перья сухопарого гостя, и далее Галл нанес идеальный решающий удар.

– Моя позиция в обществе послужит защитой нам обоим. С тех пор как Ее Величество столь великодушно соизволили произвести меня в рыцари, добыть или совершить многое стало куда проще. Мне выпало счастье поддерживать постоянную связь с нею и королевскими высочествами. Во мне видят друга и доверенное лицо, а также их смиренного лекаря. Более того, – он придвинулся к гостю с намеком на конфиденциальный полутон, – со мной не раз консультировались на деликатную тему выбора будущих пэров. Ее Величество имеет великий интерес к искусству и наукам; лишь вопрос времени, когда заметят человека с такой выдающейся репутацией, как у вас. Кто знает? Уже скоро мы можем встретиться в верхней палате, – его подход был идеален и совершенно умилил Мейбриджа. Они ударили по рукам на пороге и разошлись своими дорогами – оба в радостном предвкушении будущего.

* * *

Меж деревьев скользнул пронзительный свист: поезд, готовый к отправке, звал пассажиров. Будь его обувь надежнее, Француз подскочил бы от радости. Взамен он сжал руку друга с могучим счастьем, особенно для такого маленького человека, и они двинулись на звук – Француз вел и тянул за собой долговязую высоту своего

смеющегося и согнувшегося компаньона сквозь листву и высокую траву.

Тут он увидел, как перед глазами опускается неподвижность, услышал, как все замирает, и вдруг Сейль Кор сдернул его с ног, встав как столб. Все приостановилось: птичья трель, шорох листьев, содрогание продолжающегося существования жизни. Француз неловко выпрямился, готовый просить у друга объяснения, когда увидел, что его проводник выхолощен. Электричество и влага, пульс и мысль, напряжение и память – все ушло из него в землю. Сейль Кор рухнул на колени как подкошенный, сломав несколько выпрямленных пальцев в вертикальном столкновении с землей; они хрустнули, как сухие сучья, но он даже не заметил. Француз вырвался из шока и бросился с объятиями к другу, который повалился ему в руки. Веса не было; Сейль Кор стал шелухой с дикими глазами. Эти глаза, забежавшие туда-сюда, были единственным признаком жизни.

– ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ! РАДИ БОГА, ПОМОГИТЕ! – кричал Француз в сторону поезда. Нашел «дерринджер» с последним патроном и выстрелил в воздух. – ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!

Затем, как только услышал, как к ним бежит подмога, до ушей донеслось и кое-что еще, обратившее кровь в воду: смех, да так близко, что на миг он подумал на самого Сейль Кора. Смех повис в воздухе вокруг его умирающего друга.

– Ау?! Ау! Что случилось? – прокричал приближающийся незнакомец. – Где вы?

Француз вернул голос из сосущей вязкой раковины под животом и снова позвал на помощь, слабейшим из голосов.

Они перенесли Сейль Кора в деревянную хижину станции и уложили на одну из твердых скамей. Никто не знал, что делать. Сейль Кор остыл и окоченел, не было ни единого признака дыхания, но глаза его панически бегали, искали что-то в лицах людей, собравшихся в помещении. Послали за надзирателем рабочей силы на поезде. Француз держал покалеченную руку друга, два пальца которой комично указывали в потолок. Он подумал выпрямить их в попытке изменить реалию мгновения, сгладить диссонанс и наложить шину на

нормальность, суетно подправляя детали. Пришел Маклиш и остановился в смятении.

– Прошу, помогите моему другу! – умолял Француз.

Маклиш приблизился, положил руку на грудь Сейль Кора и коснулся пальцами его горла. Увидел бегающие глаза и узнал это состояние, быстро сообразив, что задуманный получатель – не тот, кто распластался перед ним: Орм ошибся человеком.

– Ваш друг? – спросил он с неуместной и некорректной тревогой, незамеченной Французом в его растрепанном состоянии.

Француз взволнованно рассказал об их путешествии и о том, что произошло. Причастность нагнала на Маклиша суровость и холод.

– Ему нельзя здесь оставаться, надо взять его обратно в город, – сказал он резко, выходя наружу и раздавая приказы на перроне. Двое работников подняли взгляд и поплелись к нему. Он показал на Сейль Кора и пролаял новые указания на языке, которого не понимал никто из присутствующих. Тело подняли со скамьи и понесли по платформе, мимо шипящего локомотива и ожидающих вагонов. В их действиях не было спешки, и Француза разъярили ухмылки, написанные на лицах обоих лимбоа.

– Над чем они смеются? – потребовал он ответа у шотландца.

– Уж такие они есть – умом не с нами, – сказал тот, постучав указательным пальцем по лбу.

Француз не усомнился в правдивости слов и еще больше убедился в них, когда увидел, что бессмысленные люди несут его друга мимо вагонов навстречу точке перспективы, обозначенной уходящими вагонами-платформами, которые уже оцетинились сложенными бревнами.

– Куда эти идиоты его тащат? – взвизгнул он, заторопившись за ними.

Маклиш крикнул и потопал за его коротконогим бегом.

– Стойте! Стойте, верните его! – кричал Француз ухмыляющимся работникам, пока те транспортировали его друга вдаль, словно подстреленную дичь. Работники игнорировали Француза и ковыляли себе дальше и дальше от пассажирских вагонов и понимания Француза. Маклиш снова рывкнул, и они медленно стали, словно исчерпавший завод часовой механизм. Француз схватил друга, но тот крепко засел в руках работников, глядевших на коротышку без

интереса и узнавания, с улыбками, не покидавшими чумазые пустые лица.

– Велите им вернуть его в купе! – требовал Француз у шотландца.

– В поезде он не поедет, – отрезал Маклиш, – он поедет на платформе, с бревнами.

На несколько мгновений Француз лишился слов, пыхтел и дергался по ту сторону речи. Затем выпалил тираду требований и оскорблений, пока шотландец становился все более красным и стоическим, словно насыщение цвета было растущим индикатором его неколебимости.

– Он мертв! – выразительно произнес шотландец, словно разговаривая с ребенком. – В вагоне он *не поедет!*

Француз так топал в ярости ногой, что левый сапог наконец приказал долго жить и слетел с ноги с каким-то пристыженным видом. Лимбоя игнорировали распяляющийся спор, пока вяло повисшее между ними тело слегка покачивалось, а его глаза с силой вперились в бесхозный сапог.

– ОН НЕ МЕРТВ! ВЫ ЕЩЕ ЗАПЛАТИТЕ ЗА ЭТОТ ПРОИЗВОЛ! – ревел в спину Маклиша Француз, когда шотландец продолжил путь к хвосту поезда.

Маклиш крикнул через плечо приказ и снова взвел лимбоя в режим ходьбы, пока сникший Француз плелся позади. Они остановились у последней платформы и поместили тело на высоком деревянном полу, перехватив тяжелыми металлическими цепями. Рядом с Сейль Кором лежала стена таких же закрепленных деревьев, повсюду истекающих смолой. Маклиш подергал цепь, испытывая на прочность. Снова заговорил с лимбоя, которые лишились улыбок и побежали в свою теплушку. На обратном пути к голове поезда он миновал Француза, заговорившего первым:

– А куда пойти мне?

Маклиш прикусил язык и отвел взгляд от глаз Француза.

– Куда вашей душеньке угодно, – сказал он.

Маленький человечек окинул взглядом длину поезда, пытаясь вычленить решение из своего смятения. Его оживил свисток, но вдруг уже было поздно: с превеликим лязгом поезд сдвинулся с места, железные колеса локомотива завизжали на мокрых от смолы железных рельсах, массивный груз покачнулся вперед. Он побежал к Сейль Кору

и бросился на ускоряющуюся платформу – на этом с ноги улетел второй сапог и исчез в кустарнике.

Пока поезд набирал обороты, его груз ворочался, встряхивал платформы с пробирающей до костей регулярностью. Сейль Кор не выказывал признаков жизни; его тело дрожало на ухабах, но в остальном бездействовало. Француз держался что было мочи, одной рукой бережно накрыв друга, второй – сжимая цепь. Он закрыл другу глаза; их пронзительность на очаровательном, бесстрастном лице была невыносима. На это ушло четыре попытки; в конце концов он прибегнул к густому древесному соку и размазал его по векам друга. Сердце обливалось кровью от такого обращения с некогда прекрасными очами, но это казалось необходимым. Он все еще верил, что энергия в глазах – признак жизни и что нынешнее состояние друга может быть какой-то формой комы или сонной болезни; схожие недуги, которые он повидал за жизнь, позволяли сохранять толику оптимизма. Он найдет врача, стоит его ноге ступить в Эссенвальде, – врача, которому достанет знаний пробудить возлюбленного Сейль Кора и вернуть к бьющей ключом жизни. Только на это и надеялся Француз, пока они мчались через темнеющий лес, дребезжали и скользили вместе.

Глаза Сейль Кора открылись и сверкнули на мчащиеся мимо деревья. Француз не мог вспомнить ни его имя, ни почему цеплялся за это холодное твердое тело. Он знал, что любил его, но не знал почему. Ужасную ситуацию обострял безумный взгляд незнакомца. Француз пытался отвернуться, но снова поскользнулся из-за движения. Он катался в черной липкой луже – крови или смоле, тягучей и тошнотворной. Мелкий дождь развел и размазал ее, темнота забрала ее опознавательный цвет. Француза потрянуло под бок лежащего человека; ему хотелось закрыть веки этих цепких глаз, но поезд подскочил, и вместо этого пришлось крепко схватиться за цепь от страха, что его сбросит. Платформа бешено содрогнулась и закачалась, груз порубленных деревьев рвался из уз. Француз знал, что если цепи разболтаются, то их обоих раздавит или сметет в бегущую ночь, где и поломают о рельсы, как щепки.

Он схватился за пучеглазого мужчину и захныкал. Сердце зависло, как маятник в длинном и пустом часовом шкафу

безнадежности, и резкие содрогания нестройно позвякивали гирьками и взведенным боем, что скулили и стучали, пока в глазах лежащего тикала прочь жизнь.

Сон был еще дальше, чем город, и Француз не смел поддаться соблазну усталости. Деревья пыхтели и тужились, снова ворочая вес своих гигантских остовов. Он попытался сосредоточиться на звездах, но те в дыму и вибрациях локомотива размылись, расфокусировались. Он знал, что пропал, если не закрепит свой разум. Вспомнил о матери, о Шарлотте; нельзя позволить стереться памяти о них. Даже представил лица и тела некоторых беспризорников, но они не задержались в голове, его опора ускользала. Француз звал Бога и уже задумывался о сатане, когда подал голос его гений и спас его. Его книги! Эти уникальные произведения искусства – прошлые и та, что он напишет следующей: то единственное, что придавало ему значение, едва ли не позабылось в ярости и скорости всего вот этого – безумного срока вдаль от них. Ему не место в этих мерзких дебрях, где приходится рисковать жизнью в окружении невежественных дикарей. Все, что ему нужно, – запертая комната, чернила и листы девственной бумаги. Вот его опора, и он ухватился за нее с последними остатками энергии. Инстинктивно он понимал, что память и воображение делят в мозге одну и ту же призрачную комнату, что они – как оттиски на сыпучем песке, следы на снегу. Обычно память весомей, но не здесь, где ее размывает лес, сглаживает все контуры ее душеспасительного смысла. Здесь только воображением он выдавит надежное основание, недостижимое для вьющейся вокруг коварной эрозии. Он вымыслит и вымостит путь домой невозможными фактами. Француз крепче сжал человека и цепь, пока они грохотали навстречу заре, разматывая главы по сырым милям.

Очнулся он из кошмара к кошмару. Вопль свистка и палящее солнце осветили что-то похуже, чем то, что ему снилось. Француз не понимал, почему содрогается пол, почему он держится за мертвеца, от которого пахнет растительностью, или почему не может проснуться. Поезд замедлялся, показались первые признаки цивилизации. У насыпи появлялись заборы и дворы, врезанные в опушку леса, который как будто ослаблял свою хватку на земле. Еще медленнее – и хижины у путей начали сгущиваться и роиться, постепенно набирая

высоту и культуру. Истошный поезд затормозил, пронзая своим прибытием наступающий город. Голову трупа бросило вбок, черные мраморные глаза уставились в ничто. Француз отвернулся с необъяснимым сожалением, пока поезд замедлялся до остановки у дымящей станции. Он не видел, что влажные черные сферы все еще движутся, все еще активно хватаются за всякие пылинки света или смысла.

У вагона появились странные развязные люди и немедленно начали теревить и вырывать прикованные деревья. Вдоль платформы к нему подошел человек с рыжими волосами и в жесткой форме. «Слазьте!» – потребовал он.

Слова возымели волшебный эффект. Он сполз с бревен и трупа, с вагона на твердый неколебимый пол станции. Рыжеволосый показал ему на выход, к локомотиву, где теперь мельтешили люди в чистой одежде.

Ноги подогнулись и затряслись, отказываясь забыть все волнения путешествия; более того, они настаивали их продолжать, разыгрывать на неподвижном перроне. Его вертикальное тело установилось снаружи вокзала, но там он все еще мялся в мелких затрудненных кругах. Он ничего не забыл? Разве он был один? Разве никого не ждал? Не было ли у него сумки, или трости, или?..

Час спустя, непонимающий и невспоминающий, он шел по дороге в центр города. Обгорелый на солнце и обтрепанный в дороге, изгвазданный грязью всех сортов, – торопливые горожане смотрели на него с отвращением и широко обходили.

Шарлотта пила чай на балконе, когда увидела его. Она уже несколько дней отсутствующе глазела на толпу, пытаясь отвлечь растревоженный разум, когда в поле зрения ввалился источник ее переживаний. Сперва она не придала этому значения, ведь человек, вихляющий в зигзагах вниз, был разодет в какой-то туземный клоунский костюм; нелепый попрошайка, разряженный, чтобы привлечь внимание к своему серьезному душевному расстройству. Потом она что-то признала в заплетающейся походке. Встала, взяла бинокль, лежавший на столе рядом, и прижала к надежде. Марево и грязь притупили остроту линз, но за ними все же проглядывали его черты: глаза, потерянные и тралящие улицу, выскивающие хоть что-

нибудь знакомое, что-нибудь осязаемое. Она поспешила по лестнице и пробежала мимо стойки, бросив консьержу: «Позовите помощь, это мсье, он ранен, позовите помощь!»

Когда она его нашла, Француз уже был на краю сил. Еще секунду он смотрел на нее, потом упал в обморок.

Через три дня он очнулся, остывший и чистый, плывущий в неподвижной накрахмаленной белизне душистых простыней. Запах их свежестираного сияния окрасил изнанку разума идеально охлажденным молоком. Одна рука тут же зарылась под одеяло в поисках чего-то забытого.

– Теперь ты в безопасности, Реймон, – голос был мягкий и уверенный, лучащийся и умиротворенный. Он словно исходил ото всей комнаты сразу. – Врач тебе что-то дал. Теперь ты должен отдохнуть. Вскоре я принесу еще мясного бульона.

Слова не имели смысла, но убаюкали обратно к дреме. Рядом с постелью стояла большая бурая корова. Она покачивалась, комично балансировала на рельсах из мясного холодца, пока под ней сидел доктор и дергал за вымя; в белое эмалевое ведро брызгали струйки шипящего чая. Доктор наполнил дымящейся жидкостью шприц. Та затуманила стекло инструмента, обдавая комнату влажным коровьим паром. Буренка улыбнулась в дымке с самым естественным выражением тихой радости.

* * *

Комнаты второго этажа были убоги; теперь их интерьер стал прост и безупречен. Окружающие улицы и переулки кишели застойной нищетой, голю и представителями всех племен на земле, которые старались выцарапать себе существование за пределами бледного призрака старой городской стены. Идеальное место. Никто никого не знал и не хотел знать. Эти чистые безликие комнаты хранил мельтешащий панцирь.

Квартиру аккуратно разграничили. Спальня и гостиная отошли Жозефине; с длинной открытой комнатой их смыкала кухонька. Из центра комнаты в слепой двор торчало огромное окно. Оно отвечало за

освещение, и помещение казалось светлым и просторным, даже когда его заставили мрачными машинами и ящиками. Это была студия и мастерская Мейбриджа; темную комнату пристроили в дальнем конце.

Он уже побывал здесь три раза – сперва для встречи с Галлом и одним из его людей, дабы получить ключи и инструкции, но также – что важнее – получить досье на Жозефину, а также зеркальце и колокольчик.

В следующий визит он руководил доставкой, распаковкой и сбором оборудования. Галл сдержал слово и предусмотрел все; не поспешил на набор дорогих линз и замысловатых латунных трансмиссий ручной работы. Теперь Мейбридж сполна получил, что хотел; теперь до тайны в тени и атмосферы, которые каким-то образом жили и процветали в его фотографиях, только руку протяни. Новый зоопраксископ станет совсем другим зверем, нежели его предшественники.

Третий визит Мейбриджа был сосредоточен на самом деликатном элементе плана: водворении Жозефины. Она прибыла под весенним ливнем с компаньонкой и слугой Галла. Мейбриджа раздражало отсутствие самого хирурга; может ли такой критический момент остаться без надзора его инициатора, особенно в подобном случае? Как выяснилось, может. Слуга объяснил, что компаньонка останется еще где-то на неделю, пока Жозефина «не освоится в новом месте». Он представил ее Мейбриджу, и та сделала книксен, держась скромно, что Мейбридж оценил, но с профессиональной дистанции. У него не было никакого намерения посещать комнаты, когда там проживают две женщины, даже если они знают свое место.

Слуга показал, что комнаты оснащены, все возможные удобства учтены. «Будете как у Христа за пазухой», – дружелюбно молвил он. Мейбридж ответил испепеляющим взглядом, про себя задаваясь вопросом, неужели Галл набрал весь свой персонал из бывших пациентов. Несносный тип проговорил и все основные детали дома, самой интригующей из которых была маленькая тайная ниша в стене справа от кухонной двери. Внутри висела толстая плоская дубинка из кожи. Ее короткий, но существенный вес объяснялся включением свинца во внутренности.

– На всякий пожарный, сэр – мы все с такими ходим.

– Есть вероятность, что она мне понадобится? – спросил встревоженный Мейбридж, начинавший всерьез сомневаться в предприятии.

– Ни малейшей, сэр. Некоторые из них норовом покруче, но не наша Джози, – она у нас на вес золота.

Тем не менее фотограф решил не терять бдительности. Он всегда будет носить с собой верный карманный револьвер Кольта; кто знает, когда тот понадобится для защиты – как в комнатах, так и вне их?

Начались их первые сеансы неловко. Он нашел ее молчание неестественным, а глаза – нервирующими. Когда бы он ни приходил, комнаты наполнились птичьей песней, словно с великой радостью свиристели десятки ярких и юрких существ. Все резко обрывалось в тот же миг, как она чуяла его присутствие.

Последние три недели она провела в комнатах одна и казалась спокойной и счастливой. Жозефина заваривала ему чай, и Мейбридж молча пил, исподтишка скрадывая на нее взгляды. Его все еще изумляла ее дикарская красота. Он уже видел, как во многих примитивных народностях, которые он посещал и с которыми жил, порою вспыхивало подобное совершенство; в Мексике он фотографировал ацтечку величественной чувственности; помнил еще двух женщин из модоков, чья поразительная внешность осталась с ним надолго после того, как минула их встреча, – наряду с их уравновешенной симметрией, подчеркнутой в широких плоских лицах.

Но у Жозефины было что-то еще. В идеальных пропорциях брезжили сила и достоинство, отчего каждое ее движение гипнотизировало. Скоро его озарило, что это – влечение: она растормошила его мужественность, пробудила из дремы, которой доселе он сам не замечал; та часть его жизни, которую он давно считал издохшей и усохшей, пробудилась в ее присутствии. Какой толстухой и дурехой казалась Флора в сравнении с этим горячечным видением, каким мелочным было ее самолюбие. И все же лучше выкинуть подобные мысли из головы; они приводят только к боли и смятению, как исправно доказала история. Лучше работать, довериться выдуманной для себя жизни, – той, что уже оплатила столь щедрою рукой и как будто не просила ничего взамен.

– Я уйду в СОСЕДНЮЮ КОМНАТУ и ПОСТАВЛЮ КАМЕРУ, чтобы СФОТОГРАФИРОВАТЬ тебя, – сказал он, артикулируя каждый медленный слог, словно разговаривал с глухим или иностранцем. – Это займет ОДИН ЧАС; потом я ПРИДУ ЗА ТОБОЙ, ты меня ПОНЯЛА?

Она кивнула, и еле заметная улыбка украсила ее губы. Мейбридж почувствовал, как эта улыбка подцепила его за легкие, словно медленный затвор, выставленный с великой точностью и поймавший быстрый расфокусированный мир. Он вышел как в тумане и захлопнул за собой дверь, после чего в комнате рикошетом полетели чирикание, трели и щелчки быстрых, невидимых летучих мышей, сторонившихся его общества.

В полдень Сирена вышла из дома на очередную встречу с Гертрудой Тульп, намереваясь продумать план кампании по поиску Измаила, пока он не утерян безвозвратно. Проходя по саду к боковой калитке, она замешкалась под балконом, чтобы на миг поднять взгляд, а затем опустить его на твердую землю, где разбилась ваза. Естественно, от той не осталось и следа: неизменная доброта к слугам поддерживала в них прилежание и сдержанность. Сирена вздрогнула от удовольствия и вышла на узкую улочку, что шла параллельно садовой стене. Ее разум, наслаждаясь приватными радостями бунта, едва ли отметил темневшие за стеной фигуры в лохмотьях, и она бы целиком упустила их присутствие из виду, если бы одна не адресовалась к ней прямо.

– Простите нас, леди, простите, что мы здесь у вас такие.

Она моргнула, остановилась и не нашла слов. Их было шестеро в тени стены – все разного возраста и роста. Снова заговорил молодой человек, стоявший ближе всех, и противоречие его вежливого тона и неоспоримой нищеты поразило ее; и все же вновь зрение подало слишком много информации и отравило его печальный голос.

– Мы явились к вам, леди, чтобы исцелиться. Говорят, вы делаете слепых зрячими и глухих – слышащими; оттого мы и пришли.

Она посмотрела в его молочные глаза, чтобы ослабить потрясение от его слов, потом ее собственные глаза заметались и нашли у всех хилые и больные места.

– Мне действительно очень жаль всех вас, – с запинкой сказала она. – Но, боюсь, вы ошибаетесь. Я никому не могу помочь. Это меня саму исцелил другой.

Последовало гнетущее молчание, и те, кто мог, обменялись взглядами. Их делегат уловил волнение и продолжал свое.

– Кто вас исцелил? Здесь ли он, внутри ли? – он прижал руку к стене, и шаткий камень поддался под его нажатием. Сирена сменила жалость на раздражение при мысли о том, что они станут докучать Измаилу.

– Он ушел много недель назад, – ответила она, услышав трепет в собственном голосе.

– И куда бишь он подался? – спросил другой, в этот раз без намека на вежливость.

– Не знаю. Мне он не сказал, просто ушел.

Они надвинулись в промежуток между ними и ней, чтобы лучше слышать ее голос.

– Почто это он ушел, с чего бы, это вы его вышвырнули, в него чем швырнули?

Ужас заполз в ее глаза; она еще не знала запугивания. Ее страхи всегда были внутренними и спекулятивными, бродили только в клуатрах воображаемого будущего. Теперь же все было очень реально, и она теряла власть над ситуацией.

– Я не понимаю, о чем вы, и с меня хватит! – сказала она резко. – Теперь мне пора, я уже опаздываю. Прошу, больше не околачивайтесь у моего порога!

Она развернулась уходить, но дорогу кто-то заступил. Он был рожден без глаз и носа; места, где должны быть глазницы и ноздри, застилала гладкая кожа. От него разило рвотой и желудочным соком, и он смеялся в омерзительной близости к ее лицу.

– Ну-тка, миледи, негоже так говорить с ходоками, которые прошли к вам такой долгий путь, верно? Особливо раз вы были одной из нас! – он схватил ее за руку – грубость оказалась слишком быстра для ее изнеженных рефлексов. Она боролась, но он только сжал ее сильнее, ухмыляясь и безудержно хохоча. – Что такое, мисс, я вам не мил?

Уязвленная, она занесла правую руку и ударила ладонью по безликому лицу. Он взвыл от смеха.

– Маловато будет, чтоб скинуть нас с хвоста!

Они возились в тесном кружке на дорожной грязи, ее кожа мялась и горела от его попыток ее притянуть, и другие обступили их, чтобы посмотреть или прислушаться к стычке, когда вдруг он остановился и закрыл руками лицо. Все стало неподвижно; только пыль еще кружилась воронками у щиколоток, взметаясь и опадая. Он уронил руки, и вздох пронесся по зрячим членам толпы.

– Что такое? – проблеял один из слепых. – Что случилось?

Вопрос встретило молчание. Сцена перед ними была невозможна – черная комедия уродства. На лице подо лбом прорезались две щелки, которые будто углублялись, как если провести ножом по тесту. Заструилась чистая жидкость – что-то безымянное и незнакомое. Шайку охватил ужас и трепет.

Сирена приросла к месту, ее глаза были прикованы к кошмару, пока большие пальцы ощупывали другие в поисках резных колечек и правдоподобных объяснений – чего угодно, что могло так гладко рассечь кожу. Человек то и дело касался лица, колупал щелки пальцами, раздвигал в широких неровных «О». Они придавали ему выражение имбецильного изумления, словно его нарисовал ребенок, оставив глаза в виде корявых спешных точек.

– У меня есть глаза, – сказал он, и зеваки слишком ошалели, чтобы ответить. Он взмахнул влажными пальцами в воздухе, не замечая, как все вокруг отпрянуло. – Глаза! У меня есть ГЛАЗА!

Сирена стряхнула шок и бросилась обратно к калитке – ключи каким-то чудом оставались в надежной хватке в другой руке. Никто не пытался ее остановить, а ближайшие отшатнулись от силы ее скорости. Она была внутри прежде, чем они пришли в чувства, и споро закрыла калитку под взметающиеся позади крики «Глаза! Глаза! Глаза!» Она побежала к дому и хлопнула за собой дверью, надеясь закрыться от шума закружившейся в штопоре жизни.

Пытаясь привести нервы в порядок экзотическим чаем, Сирена села и задумалась о произошедшем. Невозможно, чтобы эти раны нанесли ее руки – если то вправду были раны. Она не нанесла ничего больше пощечины. Так как же это получилось? Оставалось только одно объяснение, и далось оно нелегко. Она опасливо взглянула на балкон, потом подошла к дверям и приоткрыла створку достаточно, чтобы внутрь протиснулся слабый сквозняк и мазнул по крохотным волоскам на шее. За стеной все еще тряслись растущие нестройные голоса; крики экстаза и оскорблений, умноженные страстностью. С притворным непониманием она подозвала служанку.

– Мира, что за шум и гам за калиткой? – спросила она с приличествующей дистанцией.

– Того не знаю, мэм, – ответила удивленная девушка. – Я пошлю Гуипа, – она ушла, и Сирена села в плюшевом кресле у окна,

прихлебывая чай и пытаюсь казаться неуверенной, тайком силясь уловить осколок слов из-за приглушающей стены. Внизу же Гуипа, привратник и садовник, побывал снаружи, и Мира вернулась с новостями с улицы.

– Это довольно необычно, мэм, – сказала она нервно.

– Говори, я желаю знать!

– Ну, похоже, снаружи стоит нищий безобразный безумец; толпа зовет его чудотворцем!

– Чудотворцем? – нервно переспросила Сирена.

– Да, мэм! Оказывается, он подошел прямо к слепцу и... – девушка помялась, ее возбуждение дало сбой.

– И? – потребовала госпожа. Мира прикусила губу.

– К слепцу вернулось зрение, мэм! – воскликнула она, изучая глазами ковер. – Это чудо, прямо как у вас!

Знающие глаза Сирены остыли, глядя на ожидающую служанку. Девушка переступила непростительную черту, и даже добрейшая госпожа не могла стерпеть подобной дерзости; это было последней каплей после отвратительной сцены за воротами. Все еще с мерзким хохотом и вонью плебеев в голове она сурово отвернулась от Миры и сказала голосом на десять градусов холоднее, чем глаза:

– Свободна.

Позже тем вечером она не могла смотреть себе в глаза, когда расчесывала волосы перед зеркалом в спальне. Она всегда расчесывалась здесь, с самого детства; так учила мать в теплой серости незрячего пространства своей дочери. Она зажмурилась перед лицом этого момента и попыталась нащупать во всем случившемся что-нибудь позитивное. Возможно, она погорячилась с прислугой, была слишком скоро на расправу? Но это *ее* чудо, а не чья-то чужая собственность. Подобное не делают, не клянчат, не отнимают.

В постели она не сомневалась, что по-прежнему слышит перешептывания калек на улице, ищущих ее слепыми глазами, подобными мечущимся светлячкам в жаркой тьме.

На следующее утро за завтраком Сирена узнала, что оскорбивший ее прозревший мужлан коснулся хромой, которая потом смогла уползти прочь без всякой боли. Слух подтвердил ее страхи, что чудесная способность передалась другим и превращалась в какие-то

волшебные салки – заразный дар исцеления. От этих новостей внутри все опустело и усугубилось одиночество. Она оставалась дома и только отдавала приказы Гуипа.

Вскоре после этого ее известили, что излеченная девица ослепла, когда попыталась очистить прокаженного, и в съезженной душе скользнуло что-то сродни благодарности. Чистота и первоначальность ее чуда не украдена. В больных руках тех, кто был жесток к Сирене, благословение загноилось и расплзлось; благословение стало проклятьем.

* * *

После несколько неровного начала первый сеанс оказался блестящим успехом. Она была одной из лучших натурщиц на памяти Мейбриджа, обладая неподвижностью и далеким устремлением, благодаря которым такими замечательными субъектами вышли индейцы с прерий, но при этом и жизнью, которая светилась и показывала камере заключенную в женщине мощную батарею энергии. Жозефина сидела без всякого притворства в ее выражении, без деланости намерения: камера ее просто любила.

Мейбридж не считал уместным или необходимым пользоваться постгипнотическими реакциями; колокольчик и зеркало остались в своей шкатулке. Перед уходом он обработал негативы и поразился ясностью ее белого лица и черных зубов. Он сказал, что скоро вернется, и она кивнула. По правде, никто из них не знал, когда он вернется; его ежедневник был начинен встречами, лекциями, демонстрациями и собраниями, их совместные моменты в студии будут как украденные; Жозефина станет лишь очередной деталькой в многогранной мозаике его личности. Принцип этой договоренности импонировал ему не меньше самого участия, но он подозревал, что скоро будет стараться урывать больше времени, чтобы поистине оценить и насладиться театральностью их занятий.

Второй сеанс был не менее успешным, чем первый, но третий стал поистине выдающимся. Мейбридж прибыл в три часа пополудни, вклинив Жозефину между важным обедом и вечерней лекцией в Королевской академии. По прибытии он с легким раздражением

обнаружил ее в своей студии, уже готовую к позированию. Он не знал, что ей дали ключи от своей комнаты, и переживал по поводу открытого доступа к его имуществу и самым ценным инструментам. Но она мгновенно обезоружила недовольство книксеном и улыбкой, вопросительно показав на кресло, где ей предстояло зафиксироваться.

– Да, один момент, только соберусь с мыслями, и мы начнем, – сказал он рассеянно.

Она отвернулась, позволив его разуму свободно блуждать по студии. На ней была простая белая блузка, застегнутая до шеи, и длинная многослойная юбка приглушенных бирюзовых и зеленых тонов. Волосы были заколоты сзади и восклицали о динамичных контурах черепа, шеи и лица.

Он подготовил пластины и вернулся. Она уселась в кресле – коробка с неиспользованными инструментами уже лежала рядом. Это он их оставил после прошлого сеанса? Выложил перед поспешным уходом, чтобы напомнить себе об их необходимости? Или она приняла решение за него? Он размышлял над этим, поправляя ее голову и закрепляя на затылке крепежи, наблюдая, как под давлением проминается гладкая кожа. Направил камеру, сфокусировал, зарядил пленку.

– Жозефина, первое изображение будет статичным референсом для последующих поз.

Ее глаза понимающе моргнули, и он сделал первую фотографию, наблюдая за ее непреклонным внешним видом перед заменой пластины. Он вернулся к камере и помедлил – с пневматической грушей в правой руке и колокольчиком в левой. Дважды прозвонил.

Ее мгновенно свело в позе выжатого измождения, словно она застыла посреди ночного кошмара. Голова дернулась вбок, борясь с крепежом, рот раскрылся, глаза закатились под тяжелыми, почти закрытыми веками. Все тело осело в кресле мешком.

Мейбриджа шокировала скорость трансформации: человек перед ним был настолько другим, что почти неузнаваемым. Пропала внутренняя динамо-машина – вместе с внешней красотой и нежной рассудительностью, которые уже начали доставлять такое удовольствие. Он быстро сделал снимок и прозвонил в колокольчик, чтобы вернуть ее, но, к его ужасу, звон только упрочил позу. Тело дальше выворачивалось от себя, словно Жозефину захлестнули

канатом на жестоком ворота, натянутым назло нормальности. Раздался злой треск, и на жуткий миг показалось, что треснула ее кость; его изумление обострилось, когда он осознал, что с этим звуком за шеей лопнул металлический кофгальтер. Не зная, как поступить, он сделал единственное, что мог: перезарядил камеру и выставил экспозицию. Теперь ее голова освободилась и закинулась назад, словно бы неодолимой силой. Он снова сменил фотопластины и взялся за колокольчик. Позабылись все до единой инструкции о процедуре; ему неоткуда было знать, освободит ее следующий звонок или натянет невидимую лебедку еще страшнее; против жалости и спасения лежали возможность и любопытство, в равных мерах. С неуверенным восторгом, о котором Мейбриджу претило задумываться, он снова прозвонил. Она вся опала вперед, мертвым грузом на кожаном ремне кресла; тот вдавился под груди, выжав громкое восклицание воздуха. Жозефина была абсолютно неподвижна. Мейбридж шагнул к ней – с разочарованием, свернувшимся, как кровь, в заботу. Поднял ее обратно в вертикальное положение и поразился ее твердости; тело словно сменило свою плотность. Легкие кости и мягкие изгибы были из свинца и гранита, и, когда она открыла глаза, он увидел такое пространство во вселенной, о котором никогда не мечтал. Мейбридж отстранился, придерживая ее длинной дрожащей рукою.

– Жозефина, ты в порядке? Ты меня слышишь?

Веки милосердно сомкнулись, и она словно смягчилась до нормального веса, проваливаясь в отрешенный сон. Он вернулся к камере и собрал вещи, раздумав ее будить – безопаснее казалось оставить ее непотревоженной.

Он сложил пластины и направился в темную комнату. Обработывал их, погруженный в транс, с головой окунувшись в полученные изображения. Мейбридж начинал понимать, чего хотел от этих сеансов Галл; завтра он применит зеркало.

Внезапно он вспомнил о назначенной лекции в академии. Память вздрогнула, и он впопыхах убрал химикаты и оставил стеклянные негативы просыхать, вернулся в студию, чтобы помочь Жозефине освободиться из кресла. Но ее уже не было.

Он быстро и тихо прошел через кухню в ее комнаты. Дверь спальни была приоткрыта, и он мягко ее толкнул. Жозефина лежала наискосок на маленькой кровати, одеяло спадало с ее колен на пол.

Дыхание сообщило, что она крепко спит, и он подкрался поближе. Ремень кресла сорвал с блузки несколько пуговиц; та раскрылась, обнажив богатый изгиб правой груди. Гребень выпал из волос и лежал на подушке опасно близко к глазам. Он переложил его на прикроватный столик и накрыл ее одеялом, помешкав с мгновение, чтобы насладиться видом обнаженных плеч и бюста.

Он собрал свои вещи и тихо ушел из студии, и теплое свечение самовозвеличенного благородства осияло в его глазах грязные улицы снаружи.

* * *

Покончив с обязанностями на железнодорожной станции, Маклиш, с выражением мрачным и взволнованным, поспешил найти доктора.

– Все пошло наперекосяк. Нужно срочно найти Сидруса.

– Что пошло наперекосяк? – бестолково спросил тот.

– Орм, глупец, Орм! Он выхолостил не того – какого-то другого черного бедолагу, который вел чужака через лес. Короче говоря, не охотника и не Цунгали.

– Но как это возможно? – Хоффман наконец распрощался с остатками мирного дня. – Его навели на след, у него была нить...

Маклиш пожал плечами.

– Меня не спрашивай, у меня ответов нет. В этот раз не сработало.

Сидрус кипел, тряс в отвращении головой; ее мягкая лысая поверхность шла рябью и корчила пугающее лицо, казавшееся еще нереальнее в бледном освещении лаборатории Хоффмана.

– У него был червь, а у вас – описание добычи; как это могло произойти? – зловеще поинтересовался он.

Доктор не сводил глаз с пола, а Маклиш старался не смотреть на артикуляцию лица клирика, где гнев скользил под гладкой, как у младенца, кожей и морщился между широко посаженных поросячьих глазок. Маклиш насмотрелся за свой век, поработал со всяческими уродами и барачной фауной, но от этого человека у него вставали волосы дыбом, бежали мурашки.

– Вы потратили мои деньги, время и единственную возможность помешать этому животному убить Уильямса в Ворре, – оскалился Сидрус.

– С Корнелиусом и Серебряным Человеком сработало, – пробормотал Маклиш едва различимо, но клирик развернулся к нему, подошел и навис над душой.

– Тогда какого хрена случилось теперь? – прокричал он, и Маклишу пришлось закрыть глаза от жаркого и частого дыхания на лице. Еще никто не смел этого делать; о последствиях оскорбления огневолосого шотландца было широко известно. Но сейчас он отвернулся. Его руки и ярость схватил глубочайший уровень выдрессированного инстинкта, затушил перед грозной мощью оппонента.

– Мы вернем деньги, – сказал доктор, стараясь разрядить обстановку. Клирик метнул в него испепеляющий взгляд, словно желая укоротить навсегда; квасцы для языка. Жесткость момента затянулась. Сидрус бросился прочь из палевой комнаты, прорвав эластичную тонкость атмосферы топотом ног.

Гнев был не самым полезным инструментом в его арсенале. Сидрус достигал целей без его очевидной помощи, умел достичь крайностей выражения и действия без того адреналина, какой требовался другим, чтобы добиться вдвое меньшего. Потому он маршировал по улицам, желая развеять гнев и мыслить яснее, но только и мог, что созерцать перед собой как наяву прискорбный исход якобы железного плана – что натворили эти идиоты, чтобы испортить столь идеальное решение? Теперь придется отыскать другой способ не дать проклятому англичанину сложить голову при пересечении Ворра во второй раз. Еще никто не осуществлял подобного; великий лес защищал себя, иссушая и истирая душу любого; любого, кроме, очевидно, одного Уильямса, проходившего в неуязвимости – даже словно набираясь от леса пользы. Сидрус не знал, как или почему проявилась эта уникальная способность, хотя догадывался, что не обошлось без ведьмовского отродья Настоящих Людей, применившего ради своего протезе кощунственную магию. Одно он знал точно: если англичанин вновь пройдет через лес, он один сумеет понять его баланс, его будущее, а возможно, и его прошлое. Ни одно существо со

времен самого Адама не меняло цель и смысл Ворра; а теперь за таким человеком охотится варвар-наемник, которого эти дураки упустили из рук.

Сидрус уперся в невозможность задачи – он не мог зайти в лес и не было никого, кто бы предотвратил неминуемую катастрофу. Проще справляться с Былыми, чем защищать на расстоянии этого странника. Близнецы не представили трудности, но Сидрус знал, что будут и другие, кто станет вынюхивать награду, привязанную к дезертирству Уильямса и совершенным им убийствам, что разожгли трут Имущественных войн.

Единственной надеждой теперь было то, что Цунгали сгинет в спутанной чаще или что его путь навек прервет одно из созданий в центре Ворра. Но Сидрус не верил в пустые надежды и снова взмолился, чтобы тропу охотника омрачила тень – что угодно, лишь бы у англичанина появился шанс завершить свою эволюцию.

* * *

Сеанс с зеркалом был менее пугающим, чем с колокольчиком. На протяжении всего времени ее тело оставалось спокойным, хотя лицо и пролистуло колоритный словарь гримас. Спазмы невероятно сводили его, каждый раз возвращая к естественной красоте. Мейбридж был пленен; он никогда не видел ничего подобного. Прочие ежедневные демонстрации и встречи начали отягощать, и он чувствовал, как изнывает по новым часам с экзотическим созданием перед камерой. Он наслаждался этим уединением, где никто не знал его или того, чем он занимается; это несравнимо отличалось от невежественных орд, на которые он растрчивал столько драгоценных минут. Затаившись наедине с Жозефиной и своими изобретениями, он снова обретал счастье.

Зоопраксископ менялся до неузнаваемости. Скоро Мейбридж осознал, что ранние модели были не более чем неуклюжими игрушками для потехи зевак. Да, они продемонстрировали возможности проекции в ничего не подозревающий глаз разнообразного движения – всяческих механических иллюзий скачущих лошадей и бегущих фигурок, оживающих картин. Но новые

машины охотились на совсем другого зверя – который входил в мозг напрямую, через вращающиеся зеркала и отмеренный направленный свет, что гнулся и выгибался в серии линз. Периферийное зрение было окольным путем вокруг изображения, вызывавшим у оптического нерва эрекцию.

Мейбридж неоднократно испытывал машину на себе и чувствовал, как тени проникают внутрь и пульсируют в разуме. Они искали слияния с какой-то частью мозга, и, пока они танцевали, высвобождалось необычайное. Каждый раз, отклоняя солнечный луч, или зажигая лампы, или меняя линзы, он подходил все ближе; каждый раз, помещая голову в машину и поворачивая латунные шестерни, он чувствовал, как в нем пытается сгуститься движение; каждый раз, когда глаза лизал ломаный свет, он чувствовал появление призраков.

После первого припадка – в одиночестве в их маленькой студии, – Мейбридж стал осторожнее. Он вывалился из машины, пока ноги боролись с судорогами. Он ничего не помнил, но, когда очнулся, лежал на полу, с рассеченной губой, кровоточащим носом и разорванной рубашкой. Должно быть, выглядел он так же, как много лет назад его описывали в судебном зале те мерзавцы: потерянным, нездоровым и бешеным. Он никогда не сомневался, что его терзало не morbus comitialis^[25], а какая-то другая, чуткая, высшая функция мозга, выдававшая схожий эффект. И теперь он это доказал, отыскав способ провоцировать ее светом.

Выбравшись из студии на кухню, он, скорее всего, являл собой то еще зрелище; Жозефина, завидев его, издала беззвучный крик. Его длинную седящую бороду и белую рубашку залила кровь, расплывшаяся от избыточной потливости. Он попытался заверить Жозефину, что все в порядке, что это всего лишь небольшой несчастный случай. Налил воды в раковину, чтобы умыться, и она вернулась к себе в комнату и заперлась. Запертые двери – это хорошо, думал он, споласкивая грудь. Вне дикой природы он предпочитал жить и работать за ними, конструировать инструменты и проводить эксперименты за их непогрешимой надежностью.

Он решил в дальнейшем соблюдать осторожность; ему не хотелось снова тревожить Жозефину. Он не мог рисковать тем, чтобы ее пылкость протянула пальцы к механике его деликатной оптики. Процедура протоколирования каждой вариации света, каждой

конфигурации линз, затвора, всех эффектов, что они вызывали, была продолжительной и систематической. На столе в углу комнаты лежал большой тяжелый гроссбух, запертый на прочную защелку. Уже скоро он отправится со своими открытиями к Галлу, и ему не терпелось увидеть выражение доктора при встрече со столь значительным исследованием.

Но пока он не готов. Уже звали Америка и Стэнфорд. Два года в Англии пролетели как не было, и требовалось еще время, но выбирать не приходилось – приходилось как можно скорее возвращаться на свою приемную родину. Мейбридж как раз размышлял об этом, когда в дверь постучалась Жозефина. Он открыл и пригласил ее войти. Она направилась к креслу перед камерой, коснулась его и посмотрела на фотографа. Тот взглянул на часы.

– Да. У меня есть время для короткого сеанса.

Ей как будто нравились эти демонстрации нездоровья. Даже после самых жестоких деформаций она только лишь уставала и всегда была готова к продолжению. Этим он в ней восхищался. Она не показывала страха или сожалений, никогда не роптала и даже не пыталась найти для этого способа; как же она отличалась от склочной эгоистичной дуры, на которой он женился. Мейбридж получал удовольствие в ее безмолвном обществе, и на душе скребли кошки от необходимости уехать так скоро без определенной даты возврата. Он вздохнул и начал готовить выдержку, убирая мелочи с верстака и раскладывая по полкам. Сдвинул свою версию перифероскопа из дальнего угла полки, чтобы освободить место для коробки негативов. Он почувствовал, как она вздрогнула за спиной, и обернулся, удивившись ее реакции.

– Что случилось, Жозефина?

Она показала на его руки.

– Что, ты об этом? – спросил он, поднимая часовой нимб из стекла и металла.

Ее глаза расширились, и она продемонстрировала еще не виданное выражение: нечто среднее между сексуальным голодом и близорукостью, словно старалась притянуть этот предмет к себе; ему стало немного неловко. Жозефина подошла, протягивая руки. Он отдал нимб, и она поместила его себе на голову и изобразила звук часовых моторчиков, положив правую ладонь на голову и сделав несколько кругов. Пантомима напомнила ему половину детской игры, когда одна

рука кружит перед солнечным сплетением, а вторая – над головой, демонстрируя раздельной координацией правого и левого полушария мозга силу их союза. Но это была не игра: она хотела, чтобы он активировал для нее механизм.

Он не заметил очевидных преград к этой просьбе. Галл, очевидно, уже использовал перифероскоп в предыдущих лечебных процедурах, и его вожделенные последствия, по всей видимости, приносили ей удовольствие. Мейбридж забрал у нее аппарат и взвел моторы. Убедившись, что зеркала не разболтаны, он надежно закрепил устройство на голове Жозефины. Она вернулась в кресло с вальяжным удовольствием. Латунь и стекло светились на солнце из яркого окна, на фоне черноты ее поднятой головы. Коронованная принцесса, ожидающая свою золотую мантию на каком-то далеком берегу; Мейбридж – бесстрашный добытчик, хранитель ее внутренних сокровищ.

Они оба улыбались, когда он нажал на крошечные рычажки и привел машину в действие. Эффект был моментальным. Жозефина напряглась, стала жесткой, словно непримечательная одежда по волшебству пристала к ее каждой черточке. Поза стала кошачьей, с хищной похотью, кричащей о сексуальности. Мейбридж застыл. Она закрыла тяжелые веки на знойных глазах, и по телу одна за другой побежали волны оргазма. Бдительность, осторожность и сдержанность Мейбриджа смело. Такой эрекции не бывало даже в самых буйных его воспоминаниях, и восставшее естество словно выло в мешке из шотландских шерстяных штанов. Вздохи Жозефины перешли в мяуканье, затем в рев. Стул сломался, расколотый энергией, текущей через ножки в корчащийся пол. Когда у часового механизма кончился завод, она вскочила, задыхаясь, сжимая кулаки и запрокинув голову, а фотограф взорвался от невероятного удовольствия в пристыженном приличии темной комнаты своего белья.

Не говоря ни слова, они разошлись, каждый к себе. Он дожидался, пока не решил, что она уснула, и тогда сбежал – во внешний мир, блаженно несведущий о его ужасающем неблагоразумии, хотя он не мог не думать, что некоторые из прохожих окидывают его слишком знающими взглядами.

До Гертруды и Сирены доходили слухи о рабочей силе Ворра. Выживание, а затем и достаток их родителей, прародителей и многих поколений родственников во всех направлениях зависели от леса. Подруги знали, что лимбоа становятся меньше чем людьми – такое состояние вызывал любой продолжительный контакт с Ворром; только один человек умел ими управлять и манипулировать, и он на глазах становился богат и уважаем за то, что держал бразды их умений. Говорили, что его общение с лимбоа позволило больше узнать о лесе и его обитателях – то, что сыздавна считалось запретным. Отец Гертруды время от времени консультировался с одним из самых выдающихся врачей города – известным товарищем Маклиша, талантливого надсмотрщика лимбоа. Так они отправились к дому доктора с великой надеждой отыскать Измаила, пока еще остался шанс.

Отбыли они в лиловом «Гудзоне Фаэтоне» Сирены. Ранее утром моросило, и шофер поднял на благородном кабриолете крышу. Они оживленно обсуждали циклопа и его возможные приключения, наблюдая, как мимо на величественных десяти километрах в час скользит город. На улицах было множество людей, и время от времени небольшие группы кричали или восклицали, ведя какие-то разбитные игры. Автомобиль проезжал у обочины, где шумно возились четыре молодых человека. Их поведение показалось Гертруде странным и привлекло ее внимание. Когда машина приблизилась, два парня – вида неотесанного и простолюдного, хотя их одежда предполагала вкус и образование, – грубо схватили девицу меньшей комплекции. Они заломили ей руки, выгибая вперед, чтобы она не могла вывернуться. Четвертая участница их кружащейся кучки, сильная девушка, тыкала пальцем в свою пойманную приятельницу, хохотала и стягивала перчатки. Хватило краткого взгляда из проезжающей машины, чтобы понять: девица в ужасе; игра парней под надзором старшей женщины, явно изготавившейся к нападению, становилась серьезной. Гертруда растормошила внимание Сирены, и они выгнули головы назад, к зрелищу, как раз вовремя, чтобы увидеть, как женщина хватается девушку за лицо – тем же манером, каким крестьянки тискают арбузы,

проверяя на спелость. Девушка издала ужасный крик, пала на колени, а остальные весело бросились врассыпную.

– Останови машину! – воскликнула Сирена водителю. – Руперт, пойдешь разведать, что случилось, не можем ли мы чем-нибудь помочь!

Шофер что-то пробурчал и оставил урчащий кабриолет, вернулся к собравшейся у упавшей девушки толпе. Никто не приближался и не предлагал руку помощи. Шофер склонился к ней, потом резко выпрямился и отступил. Девушка всхлипывала: «Я не вижу, не вижу!»

Какой-то миг он еще смотрел, потом отвернулся и направился обратно в машину, твердо вперившись глазами в мостовую.

– Ну? – сказала Сирена, высунувшись из открытого окна. – Что случилось? Что мы можем сделать?

Шофер ответил тихо, уже открывая дверцу и не глядя на них.

– Ничего, мэм, просто ребята разыгрались. Ей чуток досталось, не более того.

– Досталось? – повторила этот абсурд Сирена. Следующий ее вопрос перекрыл шофер, который быстро сел, закрыл за собой, немедленно снял машину с тормоза и тронулся прочь от побоища. Сирена оглянулась, но и толпа, и девушка уже пропали. Статую, где ранее стоял этот театральный кружок, уже прорезали беглые траектории пешеходов. Должно быть, Руперт прав, – ничего особенного, лишь ее воспаленное воображение.

– Езжай, – сказала она, пренебрежительно дернув рукой.

Машина набрала скорость, но все-таки что-то продолжало тяготить Сирену. День безнадежно скис от происшествия, оставившего ее с неопределенной болью причастности. Гертруда пыталась развеять очевидную тревогу подруги, сменив тему и показывая в окне самые приятные достопримечательности их маршрута. Сирена кивала, но ее подсознание не упускало из внимания мелкие группки людей, пронесившихся в уголках глаз.

Десять минут спустя они прибыли к дому доктора. Путешествие фрустрировало Сирену: немногословный шофер все еще отказывался отвечать на взгляд; она пожалела, что не умеет водить сама.

Их немедленно провели через просторный дом в смотровой кабинет доктора, где тот ожидал посетительниц с теплыми рукопожатиями и лучащейся улыбкой. Они расселись и пили чай,

обмениваясь любезностями, пока Сирена не решила затронуть тему их потребности.

– Доктор Хоффман, поговаривают, что вы добрый друг надсмотрщика лимбоа.

– Да, госпожа Лор, это правда. Мы сотрудничаем, чтобы наблюдать и поддерживать здоровье работников.

– Прошу, зовите меня Сиреной – все зовут меня Сиреной, а наши семьи знакомы уже на протяжении долгих лет, – сказала она, небрежно выставляя свою красоту на радость старику.

Он улыбнулся и сказал:

– Сирена! Почему вы спрашиваете о Маклише?

– Это деликатная тема величайшей важности для меня; для нас, – сказала она, взглянув на Гертруду. – Наш дорогой друг ушел в Ворр, и мы опасаемся за его безопасность и благополучие.

Доктор кивнул, представляя для них свою профессиональную маску заботы.

– Говорят, что во всех прикладных вопросах касательно леса следует обращаться к вам и надсмотрщику – что ваши знания и опыт бесценны.

Пожилой доктор принял комплимент с наслаждением, легонько кивнув в благодарность и заодно формально подтверждая ее умозаключение.

– Чем я могу помочь? – спросил он.

– Мы хотим отправиться туда и вернуть его.

Лицо Хоффмана обрело выражение строгого отца.

– Дорогая моя, боюсь, это несколько невозможно. Там не место для женщины, особенно ваших душевного склада и происхождения.

Стоило так сказать, как он осознал, что нечаянно исключил из этого описания Гертруду. В полуобороте к ней он слабо взмахнул рукой, исправляя упущение. Гертруда нахмурилась.

– Вам должно быть известно, что я женщина немалого достатка, а семья госпожи Тульп имеет влияние на многие гильдии. Я говорю это лишь для того, чтобы подчеркнуть: у нас обеих есть устремление к цели и средства ее достижения, а наше происхождение дарит нам уверенность и способности, недоступные средней женщине.

Гертруду поразили красноречие и сила Сирены, и она снова уверилась, что они уже встречались много лет назад. Привкус этого

времени налег на другую дверную петлю, за которой открылось воспоминание о приходе этого самого доктора, когда она слегла с лихорадкой. Он не понравился ей в тот же миг, как она вошла в эту комнату: теперь она знала почему и приглядывалась к нему внимательнее.

Хоффман катал во рту маленькие беззвучные слова, пока наконец их не выронил.

– Я – я только переживал за вашу безопасность, госпожа Лор. В лесу подстерегают реальные и крайне опасные угрозы, которых, надеюсь, вам... – он запоздало повернулся к Гертруде, – ...вам обоим не доведется испытать. К примеру, пребывание в тлетворной атмосфере леса ведет к ослаблению памяти. Я проводил некоторые эксперименты в этой области и имею твердую уверенность, что здешний воздух повреждает мозг, даже за несколько дней. Было бы неразумно подвергать столь тонкую конституцию этим пагубным эффектам, – он набирал обороты, надеясь впечатлить их своей премудростью. – Вообразите эффект длительного пребывания – какой опасный и непоправимый ущерб будет нанесен вашему здоровью. Госпожа Лор, в этом году вы уже перенесли серьезный травматический опыт. О том, что вы предлагаете, не может быть и речи.

– Доктор Хоффман, мы ценим вашу заботу, но вы должны понять, что ваши слова только придадут мне решительности, – сказала Сирена с глазами, светящимися упорным сопротивлением. – Из-за всего в этом треклятом месте я еще больше боюсь за своего друга, а мой давнишний инцидент ничто в сравнении с ужасами, которые вы только что описали. Я обязана найти его и вернуть в безопасность, и сделаю это с вашей помощью или без нее.

Настроение в комнате качнулось. Хоффмана раздражала непримиримая самоуверенность Сирены, а ее, в свою очередь, не радовал его настрой; ей претил снисходительный вкус поражения. После долгого одеревеневшего молчания доктор прочистил горло и начал заново.

– Проблема в том... – сказал он.

– Проблема есть проблема, – вклинилась Сирена. – Но хорошо же, – продолжила она, чувствуя, что теряет опору. – Если не можем

пойти мы, возможно, мы можем заплатить, чтобы кто-нибудь другой отыскал его вместо нас? Например, лимбоа?

Доктор прыснул и попытался прикрыть это кашлем.

– Дорогая моя, лимбоа не в состоянии найти самое себя, не говоря уже о ком-то другом; это темная недисциплинированная чернь, которую можно принудить к работе только в строгих нарядах, ставя простые задачи. Их нельзя выпускать на свободу в Ворр: они никогда не вернутся! – Он хохотнул от такой нелепой перспективы.

– Тогда что насчет Орма? – спросила Гертруда.

После возвращения того отороческого воспоминания ее глаза ни разу не сходили с лица доктора. Она видела его пренебрежение, заметила равнодушие к страданиям Сирены и ко всему, о чем они говорили. Теперь же самодовольство Хоффмана как рукой сняло. Лицо содрогнулось, словно от удара ледяной лопатой могильщика. Забылись надменность и личина, елейный шарм и покровительственное высокомерие. На их месте остался плюгавый никчемный человек, растерявший все слова, – лишь страх и гнев мелькали в обвисших складках его оторопевшего выражения.

– Насчет чего? – спросил он едва слышным голосом.

– Орма, – повторила Гертруда, и клинки ее глаз не упускали ни одной из примет разоблачения, наполнявших комнату.

– Не понимаю, о чем вы говорите, – безыскусно солгал он.

Сирена, чье внимание на миг отвлек саквояж, возвышавшийся на столе рядом, вдруг осознала, что маятник разговора снова качнулся, и вернула свой фокус к диалогу.

– То, что живет с лимбоа и чем вы пользуетесь.

Доктор совершенно лишился дара речи. Как смела эта бестолковая девчонка вторгнуться в его дом и заявить, будто знает об Орме? Что, если об этом прослышит ее отец?

– Не знаю, что вам, по-вашему, известно... – начал он, откинувшись и выдавив смешок.

– Что мне известно, сейчас не имеет значения. В нашем вопросе поможет то, что известно вам.

Сирена почуяла потребность разговора и вступила для маневра щипцов.

– Как я уже говорила, доктор, это деликатное затруднение, которое я намерена разрешить любой ценой, – она наблюдала, как Хоффман

проникся угрозой, и продолжала, сдабривая ее медом искусства. – Я дорого заплачу за успешный исход, и если вы и ваш «Орм» послужите к его достижению, то от этих поисков выгадаем мы все.

Доктор сдвинулся в кресле, избегая пристальной прямооты Гертруды.

– Мне нужно переговорить с Маклишем, – сказал он нерешительно. – Я не знаю, возможно ли это, но... Я постараюсь помочь найти вашего друга.

Сирена мгновенно просияла при виде слабого триумфа. Они стали на шаг ближе к Измаилу. Ее охватило немедленное желание спланировать и ожидать его возвращения.

– Превосходно! Впрочем, есть еще одна деталь великой важности, – сказала она, милостиво улыбнувшись Хоффману. Взглянула на Гертруду, потом склонилась навстречу доверительности доктора, чтобы снова разжечь в нем интерес. – Наш друг ужасно обезображен.

Она объяснила своеобразную проблему Измаила, почти забыв, что сама никогда его не видела. Но так было даже лучше; она выставила все в отважном и героическом свете. Гертруда промолчала; она бы не доверяла этому человеку подробностей и нервничала из-за его посвящения в такие тонкости.

– Это дело должно оставаться совершенно приватным, если вы меня понимаете, – сказала Сирена.

– Уверен, все мы более чем способны хранить секреты, – отвечал доктор, поднимая брови.

Они уговорились, что он обсудит с Маклишем отправку Орма в лес, дабы найти их блудного друга. Вперед будет выплачена определенная сумма денег, а остальное передадут, когда Измаила вернут домой.

Они поднялись уходить – в довольно неплохих отношениях, – пожали руки в дверях и условились снова встретиться через несколько дней. Затем, пока Гертруда еще не успела отнять свою ладонь, а Сирена отвернулась к улице, Хоффман взглянул на талию девушки и тихо сказал:

– Я готов помочь вам и с другой проблемой, буде вам угодно.

Он медленно похлопал по тыльной стороне ее ладони, затем расплел пальцы и выпустил ее застывшую руку, пряча в губах

ухмылку и мягко прикрывая дверь.

* * *

Глупо думать, будто жизнь стрел пассивна или случайна. Правда в том, что каждый рукотворный снаряд из дерева, перьев, кости и стали был продолжением нервов, дыхания и мастерства Лучника. Линии полета – нервные волокна вовне мозга, хранившие память в сплетенном конфликте неверия и убежденности; те же волокна, что находятся в хребте и мышцах, иногда даже в руках; что помнят прошлые места, прошлые движения. Как и у деревьев, чья изысканная каллиграфия поз волнуется и кромсает ветра коммуникации своими трафаретными семафорами. Стрелы были сделаны из всех своих стихий и связаны воедино намерением.

Питер Уильямс поднял блестящий лук навстречу солнцу раннего утра. Он чистил и полировал его на заре, а теперь стоял снаружи пещеры на вершине утеса. Лук в руке казался Эсте: страстной, гибкой и решительной. Он наложил свистящую стрелу на тетиву и натянул, пока в теле утверждалась чувственная сила. Закрыл глаза и повернулся, описав стрелой полный круг. Остановился, когда забыл, в каком направлении смотрит. Спустил тетиву и открыл глаза. Стрела пропела в прозрачном расстоянии над лесом, прежде чем изогнуться в деревья. Он внимательно оглядел пейзаж, забрал мешок и начал спуск – туда, где его будет ждать стрела.

Два часа спустя он ступил на лесную почву, с наслаждением вновь окунувшись в его аромат и тень. Обратился лицом на северо-запад, и его намерение было ясно: проложить прямую линию, пока Ворр не останется позади. Это путешествие проведет его точно через центр запретной территории.

* * *

Последовавшие три-четыре сессии были формальными и краткими. Большую часть времени он проводил взаперти в студии,

работая над новым, еще не названным устройством. Почему-то «зоопраксископ» не делал чести этому маленькому чуду отражений.

Жозефина вела себя с обычным благочестием, как ни в чем не бывало; казалось, безымянный инцидент не затронул их формальную и профессиональную дружбу. Однако он замечал с беспокойством, что его версию перифероскопа сдвигали со своего положения в студии. Должно быть, каждый раз, когда он уходил, она его забирала – видимо, к себе в комнату. Перифероскоп всегда оказывался на месте до его прихода, но он замечал легкие различия в его скрупулезном возвращении. Никто другой не обратил бы внимания на вариации: требовался наметанный глаз ученого, чтобы видеть неупоминаемое. Первоначально Мейбридж подумывал отругать ее, но это бы означало признание и память обо всем, а у него не было желания снова сворачивать на эту дорожку. Он мог бы запереть или разобрать аппарат. В конце концов он не сделал ничего. Проще было игнорировать ее животные аппетиты и притворяться, что он не знает о ежедневных кражах. Временами он даже хвалил себя за то, что разрешал ей пользоваться аппаратом; очередной акт незваной доброты. В любом случае инструмент уже не представлял для Мейбриджа ценности. Он превзошел игрушку Галла; пусть Жозефина забавляется.

Но ему не удавалось с той же легкостью игнорировать ее образ из того дня; картинка дергала за струны сознания при каждой их встрече и всегда производила на Мейбриджа один и тот же физический эффект. Через какое-то время он перестал и пытаться сдерживать память и сопутствующее возбуждение, предпочитая списать все на нормальную реакцию особенно здорового и вирильного пятидесятидвухлетнего мужчины.

Он приступил к сбору вещей. Жозефина знала, что он уезжает, но посетит ее вновь по возвращении. Казалось, ее неподдельно удручили новости об отлучке; но, возможно, то всего лишь была реакция на перспективу расставания с перифероскопом.

Мейбридж связался с Галлом, сообщил доктору о прогрессе и послал предыдущие партии снимков; последнюю заберет на следующий день один из людей хирурга. Но фотограф мешкал – не мог найти в себе сил убрать свое новое изобретение в долгий ящик, прекратить опыты; уж точно не хотелось оставлять его в Лондоне. К тому же во время работы с аппаратом у него случился очередной

приступ, и теперь при мысли о новом опыте сосало под ложечкой; Мейбридж был так близок, что стало бы безумием останавливаться сейчас, но он не мог продолжать один – ему требовалась подопытная крыса. Тут он услышал движение в соседней комнате, и мысль проделала полный круг. Галл будет в восторге.

Он отменил все встречи на два дня вперед и принес в комнаты провизию, чтобы не пришлось выходить. В углу студии установил походную кровать, на которой ранее спала служанка. Теперь оставалось только убедить Жозефину помочь.

В первый день он прибыл очень рано; она еще спала, когда он приготовил на кухне чай и тосты. Услышав, как кипит чайник, она пришла взглянуть, что стряслось в такое время дня. Ее волосы были взлохмачены, а поверх ночнушки она накинула свой тяжелый больничный халат.

– Доброе утро, Жозефина! – сказал Мейбридж бывшей рабыне, которая зевала и пыталась проморгаться перед ним. – Я приготовил тебе тост и принес нам превосходный мармелад.

Подобные знаки внимания были ей чужды, а утреннее пиршество – неожиданно; она смерила взглядом и его, и его кулинарные потуги с опасливым удовольствием.

– Это мои последние дни перед отправкой. Осталось завершить еще одно важное дело, и позже я хотел показать его тебе, потому что, мне кажется, оно тебе придется по вкусу. А сейчас подойди, садись.

Он выдвинул для нее стул, потом обошел стол и начал намазывать масло на тост.

– Тебе понравится этот мармелад – он из самого Оксфорда. Некоторые – в том числе я – уверены, что мармелад – единственное хорошее, что выходило из этого города!

Шутка прошла мимо нее, и она отпила чай. Он пододвинул ей тост, пока она пусто смотрела на него, на привлекающую ее глаз косматую бороду, полную острых крошек.

– У меня для тебя подарок! – сказал Мейбридж внезапно, бросаясь в открытую настежь студию, пока она переводила взгляд с него на угощение и обратно. Спросонья мармелад с гостинцами привели ее ровно в то смятение, на которое он рассчитывал. Он вернулся с ухмылкой, пряча руку за спиной.

– Я хочу тебе кое-что подарить; я знаю, тебе понравится.

Он сунул ей под нос сверток из коричневой бумаги, и она приняла его, нахмутив лоб. Два дня назад Мейбридж забрал перифероскоп с обычного места, завернул в плотную коричневую бумагу и задвинул в комод. Теперь она держала сверток в обеих руках, вертела, нащупывая очевидную форму. Немедленно поняла, что это, и потянула за нитку.

– О нет, не здесь – теперь он твой. Забери к себе в комнату, можешь развернуть там.

На ее лице боролись подозрение, радость и замешательство. Не в силах передать все три эмоции разом, она просияла ему и вгрызлась в тост.

– После завтрака я покажу тебе свою новую машину; она похожа на эту, только лучше, – сказал он, ткнув непристойным пальцем в сверток.

Она позавтракала и ушла одеваться, пока он готовил свое безымянное устройство. Расставил компоненты так, чтобы она легла на стол головой между отражающими механизмами. Солнечный свет к машине подал с помощью трех параболических зеркал. Это не так пахуче и неудобно, как масляные лампы, да и день был светлым, не чета предыдущим неделям.

Она была в дверях, наблюдала за его восторженной демонстрацией.

– Видишь? Все работает так же, как то устройство; эти маленькие зеркала крутятся, черпают свет оттуда. Везде линзы, гляди! – он показывал и хлопотал над лакированным деревом и латунью; в линзах бликовал солнечный свет. – Здесь два дисковых и один ротационный цилиндрический обтюратор. Все управляется вот этой ручкой, которую я вначале буду недолго вращать. Итак, что думаешь? Ты готова?

Она помедлила, потом кивнула и села на стол, закинув ноги, чтобы лечь плашмя. Он поправил ее голову и наложил поперек лба простой тонкий ремешок.

– Превосходно! Начнем же. Готова? – ее глаза моргнули в знак согласия.

Он надавил на ручку, и машина пришла в действие. К третьему обороту он поймал свой ритм. Линзы превратились в светящиеся и крутящиеся сферы, которые растягивали, жевали, сфинктерили и рассекали новоизобретенный свет, бурившийся в края черных

отзывчивых глаз, пока затворы-обтюраторы нарубали и стругали пульсы тени, блеска и тьмы. Машина загудела в первый раз. Он перебежал взглядом с нее на лицо и тело Жозефины, остававшиеся неподвижными, и на свои карманные часы с отверстием, поставленные на полке рядом. Через три минуты Мейбридж начал замедляться, наконец остановив машину. Снял головной ремешок и помог ей сесть. Она нормально дышала, нормально смотрела – не было ни малейшего следа какого-либо эффекта. Он налил ей воды и попросил пройтись по комнате, что она и сделала, не отрывая губ от стакана. Результат слегка сбивал с толку; должен же быть хоть какой-то эффект. Он сверился с журналом, произвел некоторые мелкие настройки и спросил:

– Можно попробовать еще раз, пожалуйста?

Она кивнула, пожав плечами, и забралась обратно в устройство. Мейбридж снова раскрутил его к действию – теперь на пять минут. Он вспотел под тугим зудящим воротничком и рукавами. Снова усадил ее. Ничего. Попросил лечь и закрыть глаза, ожидая, что проявится хотя бы легкое головокружение. Она заснула. Он мягко, но раздраженно растормошил ее.

– Последняя попытка, пожалуйста. Всего одна.

Они вернулись к столу. Он закрепил ремешок и снова начал крутить. Восемь минут спустя остановился: полный провал. Машина работала только для него одного – Жозефина осталась совершенно неуязвимой к ее влиянию. Ничего не вышло. Он с превеликим раздражением отпустил негритянку и уселся, угрюмо уставившись на нелепый рукотворный узел разочарования.

Он просидел дотемна, потом сгреб себя в охапку, подхватил пальто и шляпу и ушел, хлопнув дверью и снова разбудив ее. Он часами месил грязь на разгульных улицах, ходил кругами, пытаясь извести свой гнев и постичь, что пошло не так. Зашел в паб, притихший на долгий момент при его неправильном, хмуром появлении. Направился к стойке и заказал у удивленного бармена «кровь Нельсона»; людей класса Мейбриджа не видывали в таких районах и уж тем более за такими забористыми зельями, как адмиральская кровь^[26]. Конечно, его невольным собутыльникам было неоткуда знать, что он захаживал и в куда более суровые заведения: от обшарпанных пивных Арктики до захудалых крысиных нор Гватемалы – вплоть до игорного дома на Юконе, украшенного сосульками из

человеческой крови. Но еще никогда он не пил в одиночестве в английском пабе. Здесь это было неприлично; хронические барьеры позиции и достатка воспрещали возлияния, которые он находил в любых других местах.

Второй стакан ударил в голову, взбаламутив какую-то радость из ила уныния. Никто в тесном залакированном помещении паба не мог забыть о присутствии сухопарого человека с клочковатой бородой и сумасшедшими глазами пророка, который начал разговаривать сам с собой и ухмыляться в стакан. Он же был к ним слеп.

Разум вернулся в былые времена, к месту, где он употребил веское количество сильной смеси черного рома и портвейна с человеком, который с тех пор обзавелся скверной репутацией – даже для того жалкого клочка земли. Они сидели в Шейенне, на диких территориях Дакоты, отличились громкими тостами за Барда и Научное поведение, за Изящные искусства и Рыцарство. Салун был под завязку забит вооруженным сбродом; многие, чьи головы стоили немалых денег, игнорировали их и отказывались провоцироваться их поведением. Собутельником Мейбриджа в тот день был Джон Генри Холлидэй – игрок и стрелок дурной славы, попавший годом ранее в лондонские газеты, когда устроил с братьями Эрп великолепную театральную перестрелку в малоизвестном городке с подходящим названием Тумстоун^[27]. Мейбридж не сомневался, что большая часть убийств и увечий в тот день пришлась на долю «Дока» Холлидэя, и жалел, что не присутствовал при этом лично – может, чтобы снять героев по завершении.

Сейчас он сунул руку за пазуху пальто за новыми деньгами, но вместо них наткнулся на заряженный «кольт». Как в старые времена, сказал он себе заплетающимся языком. Теперь у него разжегся аппетит к пальбе. Затем – с типичной логикой пьяницы-любителя – мысли переключились на Жозефину, ее сегодняшнюю пассивную и апатичную реакцию и на то, с какой энергией она отозвалась на копию устройства Галла. Ее податливый и чувственный магнетизм прельщал куда больше, чем мысль перестрелять никчемную клиентуру «Ройбака».

Он выволок себя из-за стойки и направился к двери. Никто не смотрел ему в глаза, и, когда он ушел, паб выдохнул. На обратном пути он протрезвел, дважды заплутав и зарекшись пить на публике,

особенно с заряженным револьвером. Встал над kloкочущим стоком и выпростал из револьвера патроны; они латунными кометами полетели в струящийся небосвод внизу.

Он очень медленно повернул ключ и вошел в апартаменты без единого шороха. Бесшумно прокрался на свою походную постель. Ему не хотелось будить Жозефину, показываться нетрезвым после того, как она видела его поражение.

Стащив с себя пальто и расшнуровав ботинки, он услышал звук, от которого дыбом встали все волосы на теле. В комнатах что-то скреблось. Не слабосильное животное – не крыса или мышь, шуршавшие в поисках призраков пищи; поблизости царапалось что-то иное. Он хлопал по стенам, отыскав путь к полкам. Нашел простой жестяной канделябр и спички, зажег три огарка и взгляделся в комнаты. Царапание прекратилось. Он стал совершенно трезв, с ледяной проволокой в хребте. Подождал, и царапание возобновилось. Услышал, как откололась и треснула щепка, и понес прикрытый огонек туда. Все снова прекратилось, но он уже увидел на кухне какую-то массу. На фоне черного пола было темное тело Жозефины. Она лежала нагишом, совершенно неподвижно, таращилась неморгающими глазами на облезавший потолок. Он поднес свет ближе, чтобы отогнать невидимое существо, скребущееся в помещении. Присел и коснулся ее руки; такая холодная, словно поднялась из постели много часов назад. Он поднял свет высоко над головой, чтобы оглядеть комнату и не подпустить существо; горячий воск сорвался и капнул ей на лицо. Реакции не было.

– Жозефина? – прошептал он торопливо. – Жозефина!

Он коснулся ее шеи и не нашел пульса. Нагнулся и приложил волосатое беззастенчивое ухо между грудей: сердцебиения нет. Она умерла. Он осел помрачневшим сырым мешком в сокрушенную тишину комнат и мира. Тут снова зацарапало. Мейбридж дернул свечи и увидел ее левую руку, неистово прокапывавшую половицы. Ногти были переломаны, пальцы окровавлены, но старое дерево поддавалось под напором. Он снова посмотрел на ее окаменевшее мертвое лицо; она была не здесь, но все же пол проедался независимым трудом живой руки. Тут снова опустилась тишина. Он не смел вздохнуть,

ожидая, когда возобновится адский ритм, со страхом гадая, что за жизненная сила поддерживает эту инерцию тела.

При наблюдении он осознал, что ее тело мало-помалу выходит из комы. Оно теплело и воссоединялось с рукой, что все еще шевелилась, с ладонью, продолжавшей дико скрести, словно вместила всю ее волю. Ее яростная работа продлилась всего несколько минут, но это были самые долгие минуты в его жизни. В памяти всплыли слова Галла о силе руки – как и безумная хрупкая женщина, которая выпотрошила сама себя, и то, что доктор назвал Жозефину своей самой успешной пациенткой. Конкретный контекст успеха пустил внезапный и необъяснимый холодок по коже.

С ними в сумрачной кухне, с двумя обмякшими фигурами, запертыми в ночи страха и вины, пребывала сомнительная этика Галла. Неужели во всем виновата машина Мейбриджа? Что он скажет сэру Уильяму о его драгоценной пациентке?

Теперь Жозефина просто спала, черные изгибы тела поблескивали под тонким слоем испарины. Он решил не двигать и не будить ее, а взамен прокрался в свою спальню на четвереньках, толкая свет перед собой и стараясь держать его подальше от бороды, подметавшей пол; он намеревался принести одеяло, чтобы позаботиться о ее чести. Мейбриджу ненадолго пришло в голову, что и ему было бы естественнее оголиться: его животная поза дополнит ее позу; на худой конец, получится превосходная серия фотографий – два зверя, ползающих по одному закутку. Так, во фрагментах движения, можно застать самых разных голых людей; зоопарк измеренной человечности.

Он хотел подняться, когда услышал позади движение. Она вмиг пересекла комнату, нависла над ним, оглушая запахом – фиолетовым мускусом течки млекопитающего. Ее глаза светились и впились в его. Внезапно она хлестнула по свечам, швырнув их через комнату. Теперь съезженное пространство освещали только ее глаза. Она прижалась к нему лицом, с огромной силой схватила за волосы и горло. Он захлебнулся, но был бессилён протестовать. Ее мощь стала сверхчеловеческой, и все инстинкты говорили, что если она захочет, то в момент переломит Мейбриджу шею. Их носы смялись друг о друга, ее светящиеся глаза уставились в упор в его. Он не видел ничего, кроме рассеянного света; чувствовал тошноту и ужас. Попытался

закрыть веки, но стало только хуже; тонкая кожа съежилась под натиском, свечение проходило сквозь.

Они оставались сплетенными в этой отвратительной позе всего несколько минут, но для него они превратились в удушающие часы. Внезапно она отпала от него, провалилась в сон на холодном голом полу.

Он хватался за глаза, как будто отбитые изнутри. Сел, опустошенный и дрожащий; все произошло так быстро – каждый инцидент занимал какие-то мгновения, огромные количества сфокусированной энергии прогорели всего за несколько минут. Несколько *минут*. Припадок царапанья был короче, чем интенсивный взгляд... несколько минут! Последовательность минут, что она провела в его машине: три, пять, восемь. Сработало, но с отложенным действием! Проблеск понимания и триумфа тут же затмила мысль о следующем нападении: ему оставались какие-то мгновения, чтобы сбежать или защититься до того, как она снова очнется и предпримет полноценную восьмиминутную атаку.

Он попытался встать, ноги бешено разъезжались. С трудом поднявшись, врезался в раковину, опрокинул деревянную сушилку посуды на пол рядом с распластавшейся спящей. Чашки и тарелки бились и вертелись, когда он схватился за ручку двери на лестницу, к спасению. Заперто. Ключи были в брошенном пальто, где-то в студии, но где? Где он бросил их во время хмельного возвращения? Лился лунный свет, и он шатался в нем в панических поисках. Слышал, как поблизости во сне зашевелилась она, но не посмел остановиться и взглянуть. Нашел пальто и сунул руки в карманы, вызывая пальцами ключ. У двери нашел пустой пистолет. Вывернул пальто наизнанку, и оно вцепилось в его руки. Он свирепо дернул, но сделал только хуже. Ключи не находились, а руки застряли в запутавшейся подкладке. Тут Жозефина шелохнулась.

Он закричал, когда она бросилась на него. Ее глаза стали темнее тьмы; белков вообще было не разглядеть. Она стала чистой мускулистой тенью. Мейбридж попытался прикрыть горло, но к нему она не проявила интереса; не ему быть фокусом продолжительной атаки. Она вцепилась в штаны Мейбриджа и стащила его на пол за трещащий пояс, рвала толстую ткань и прочное нижнее белье. Он брыкался и слабо задел ее по голове рукой, распутавшейся из пальто. В

лицо тут же врезался поршень ее кулака, и голову отбросило ужасающей силой, во все стороны брызнули кровь и звезды. Она метнулась обратно к своей цели. Больше он не смел бить; другой такой удар его прикончит. Он ждал, что она расплосует его брюшную стенку, но целью была и не та. Жозефина схватила его затаившееся мужское достоинство и отшвырнула последние остатки одежды через всю комнату. Сжав основание большим и указательным пальцами правой руки, подхватив яйца остальными, левую руку она запустила под него и жестоко впихнула указательный палец глубоко в анус. Теперь он уже сопротивлялся невольно. Она прижала палец к простате и стиснула другую руку. Его эрекция встала на дыбы из скукоженного сна, испуганная и машинальная. Он прекратил бороться и откинулся, осознав ее истинную цель. Она извернулась, не упуская хватки. Теперь она была над ним и налегла всей силой своего блестящего тела на триумфальный изумленный член. Руки схватили его за горло и сжимали, пока она люто билась о него. Мейбридж чувствовал, как напряжение продолжает расти внутри до колоссальных пропорций. Удовольствие побеждало негодование, и он сдался. Перед тем как извергнуться в первый раз, он чувствовал, как ягодицы режет хрупкий край разбитого блюдца. Жозефина не отпускала, а все вгоняла его в пол, царапая тело ссадинами и порезами, пока не истекли полные восемь минут. Тогда она встала, медленно обтекая по дороге через кухню в свою комнату, и тихо прикрыла дверь. Он слышал, как в замке мягко повернулся ключ. Попытался опять встать, собрав остатки гордости и одежды, чтобы прикрыть гениталии, которые до сих пор выглядели удивленными, хотя на сей раз – из-за резкого завершения. Он наконец стянул с руки комок и нашел ключ к побегу. Трясущийся, вывернул пальто правильной стороной, надел и ухромал.

Предъявлять против нее обвинения было совершенно невозможно; его поднимут на смех. Трудно было уже рассказывать об этом Галлу, который смотрел на него, как на идиота. Он привел изумленному доктору отредактированный отчет о ее зверском, животном поведении. Галл его снисходительно успокоил и вызвал одного из медбратьев осмотреть раны. Через шесть часов, когда Мейбридж отдохнул и оправился, Галл послал его обратно в комнаты с двумя самыми дюжими молодчиками в больнице. Его отправка

состоится через сорок восемь часов, и ему нужно было вернуть свою собственность и доставить в Ливерпуль вовремя, чтобы успеть на корабль. Он перезарядил «кольт» и крепко сжимал его в кармане, когда они входили на место преступления, – но Жозефина исчезла и прихватила с собой все дорогие камеры и все ценное, что можно было унести. Нетронутым остался лишь его аппарат; он стоял ровно в той же позиции, как когда она в последний раз помещала в него голову. Теперь у Мейбриджа не было времени на разборку.

– Прошу, упакуйте это как можно более аккуратно.

– Да, конечно, сэр. Но сэр Уильям сказал, что комнаты остаются за вами до следующего визита.

Он сошел с ума? Галл всерьез воображал, что Мейбридж примет очередное его чудовище? Ноги его больше не будет в этих комнатах обмана и боли. Фотограф собрал остатки своего имущества и сунул с ними дневник в сундук, который унесли мужчины. Долгое заморское странствие вдруг показалось благословением. В процессе он мог отдохнуть и восстановиться, избавиться от мерзких и кошмарных воспоминаний о последних сутках. Мейбридж запер за собой комнату. Ключи оставил себе. На пути к ожидающему экипажу тянули и звенели швы на ягодицах и спине. Его изобретение работало; теперь необходимо найти функцию для гения этого аппарата.

* * *

Гертруда все реже и реже бывала в доме номер четыре по Кюлер-Бруннен. Без Измаила тот казался одиноким и безынтересным. Она бросила ждать обещанного письма от невидимого хозяина. Сказано было, что с ней свяжутся вновь через год, но прошло почти два, а никакой коммуникации не произошло. Она не знала, игнорировали ее или наказывали; так или иначе, она чувствовала себя бессильной. И посему удалилась в старые комнаты своего семейного дома; родители не обращали никакого внимания на ее похождения, слишком заняты делами города, и она все больше чувствовала себя невидимкой. Даже Муттер большую часть времени смотрел сквозь нее; только Сирена вроде бы получала удовольствие от ее общества и интеллекта.

Впрочем, сегодня она вернулась в этот старый дом, слепо слонялась по нему в дождливое утро, ожидая подругу. Пришло сообщение: циклопа разыскали и доставили в старый рабский барак.

– Какое ужасное место для бедняги, – сказала Сирена Гертруде, когда заехала за ней на автомобиле. Ворота раскрыл Муттер, демонстрируя манеры еще хуже, чем в прошлый раз, и проводил Сирену в приемную со скрипом и кряхтением.

– Зачем ты держишь этого мужлана? – спросила она, когда он убрел.

– Он по-своему полезен, – сказала Гертруда, отвлеченная и сосредоточенная на чем-то постороннем. – Это он рассказал мне об Орме, – добавила она рассеянно.

– Откуда ему об этом знать? – спросила ошеломленная Сирена.

– Люди в низах ближе к земле, они обмениваются о нем байками. Они только и говорят о примитивном или призрачном без задней мысли. В их мире нет места философии. Они действуют в тесных стенках факта. Так важность обретают случайные пустяки и истории, как у нас – идеи. Образованные классы отроду не рассказывают истории, не разносят легенды и не изобретают мифологии.

– Вот как? – сказала Сирена, удивляясь и не вполне понимая, почему девушке это интересно или известно. – А как же греки? – спросила она, притянув на помощь притворному интересу осколок забытого образования.

– В точности то же самое. Титаны начинались не более чем с племен туземцев, обмазанных белой грязью, которые скакали у хижин и выкрикивали сказки под шум трещоток, чтобы женщины и дети не выходили.

– М-м, – протянула Сирена.

– Я скажу еще одно: Муттер не доверяет доктору Хоффману еще больше моего – кажется, от чего-то в связи с его сыном.

Сирена совершенно потеряла внимание и порывалась уходить. Момент настал: она наконец могла поблагодарить Измаила и начать их дружбу. У ворот Сирена снова взглянула на Муттера; тот смотрел на мурчащий автомобиль и игнорировал ее интерес. Гертруда повернулась к нему перед уходом с дружеским выражением на лице.

– Сегодня мы вернем домой Измаила, – сказала она доверительно.

Она повернулась к машине, упустив его выражение, которое вдруг перекошилось. Сирена поняла, что ее подруга жестоко ошибается, хоть сколько-нибудь доверяя этому презренному олуху, и решила блюсти его будущее участие внимательнее.

В машине Сирена нашла отстраненность Гертруды раздражающей. Ее пригласили разделить момент, а не игнорировать его.

– Как думаешь, он здоров? Затронута ли его память? – спросила Сирена. – Он провел там долгое время. Возможно, даже не вспомнит меня. Как я ему все расскажу, все объясню?

Гертруда искренне привязалась к новой подруге и черпала немалое удовольствие из ее кипучей энергии, но сейчас та больше напоминала писклявую девицу, фантазирующую о том, с кем никогда не встречалась. Гертруда пыталась смолчать, но упрямство – своевольный советник.

– Знаешь ли, с ним бывает очень трудно; он не такой, как мы, отнюдь.

Сирена замолчала, ожидая дальнейшего, но подруга больше ничего не прибавила, и казалось это предупреждением. Последние мили до рабского барака они проехали в молчании.

– Его было чертовски трудно вернуть. Уверены, что знаете это чудо? – шарм Маклиша уже давным-давно остался позади, вместе с пустыми бутылками, и женщины поморщились от его резких и грубых манер. Вмешался доктор – буквально вступив между ними, улыбаясь и пряча дерзость партнера.

– Уильям имел в виду, что ваш друг не хотел покидать Ворр. Он сопротивлялся, и нам пришлось применить силу, чтобы доставить его сюда.

– Он цел? – вскинулась Сирена.

– Да, госпожа, сколько я понимаю, цел и здоров, – сказал Хоффман.

Сирена не поняла, что он имеет в виду, но успокоилась.

– Он напугал моих людей, – влез Маклиш. – Вы говорили, что он уродец, но к такому не был готов никто! – Он постучал по металлической двери камеры. Изнутри донеслось шуршание. – Мы надеемся, ваше присутствие его утихомирит. Уверен, как он вас завидит и слышит, враз присмирет.

Сирена уже отиралась у двери в ожидании; Гертруда неуверенно подалась назад.

– Там темно, – пророкотал Маклиш.

– Да, ему так нравится, – сказал доктор, следя за глазами Гертруды.

Маклиш снял ключи с ремня, вставил один из них в замок и повернул. В другой руке он держал кнут. Дверь скрипнула под своим весом, и под соломой и лохмотьями в дальнем темном углу заволновалось движение. Все вошли и встали плечом к плечу. Сирена колебалась, затем выступила вперед.

– Измаил? – сказала она тихо, и в углу почувствовалось внимание к ее словам. – Измаил, мы пришли забрать тебя домой. Со мной здесь Гертруда.

Под соломой отчетливо зашевелились, и все напрягли зрение, чтобы разобрать фигуру на четвереньках. Маклиш переложил кнут из руки в руку.

– Измаил, мы скучали по тебе, дома ты будешь в безопасности, – сказала Гертруда – механизмы ее голоса смазала его близость.

– Да, теперь мы можем уйти – пожалуйста, идем с нами, – сказала Сирена. – Ты признал меня? Я Сова. Я та, с кем ты провел ночь во время карнавала.

Маклиш поджал губу, и они с доктором обменялись пораженными взглядами. Фигура вышла из тени им навстречу.

– Да, вот так, иди к нам, – сказала Сирена и повернулась к Гертруде, сияя и дрожа. – Он узнал меня!

Улыбаясь со слезами в глазах, она обернулась назад, когда пленник выступил на луч света, падавший через зарешеченное окно и разделявший камеру. Он посмотрел на них, и обе женщины закричали.

* * *

Цунгали споткнулся о горшок. Он не разглядел его прямо посреди тропы. Как это возможно: он – опытный охотник, который обычно ничего не упускает. Потом Цунгали осознал, что все его внимание сосредоточено на движениях и звуках вокруг, блуждает у деревьев,

чтобы опознать, кто или что за ним следит. До сих пор он делал это подсознательно; теперь заметил.

Он взвел курок «Энфилда» и встал как истукан. Под башмаками хрустели осколки хлипкого горшка. С ним рядом кто-то есть, иначе быть не может. Цунгали прочитал заговор и плюнул в подлесок. Каких только существ там нет – это знают все. Он ненавидел это место и никогда даже не мечтал преследовать здесь свою добычу. Обстоятельства изменились, духи обернулись против него; о том неустанно напоминали подергивающиеся раны. Он должен бы уже убить белого, помешать ему проникнуть в это проклятое царство. Но то был не заурядный белый. Цунгали даже думал, что гонится за призраком – или существом, что похищает и носит тела мертвых или забирает их лица. Он узнал Уильямса с первого взгляда, но не мог поверить, что это возможно. Тот должен был сдохнуть со всем своим отрядом лживых захватчиков в первые же дни Имущественных войн. Пусть и живой, он должен быть старше, а не ровно того же возраста, что и в день, когда вернулся с пляжа. Цунгали на миг опустил взгляд на свои заскорузлые мосластые руки. Почувствовал, как в суставах ноют годы.

Может, он сейчас чувствовал на себе взгляд Лучника? Может, тот оставил это блюдо на тропе, чтобы напугать его? Цунгали произнес еще один заговор, свистнул и сплюнул. Здесь есть вещи похуже англичанина, даже если тот призрак.

Он продолжал медленно пробираться вперед и через несколько часов наткнулся на очередной горшок. Он был полон дымящейся ароматной пищи. Варварским пинком Цунгали послал его прочь с тропинки и продолжил путь. Он разорвет глотку врагу, который играет в игры с его голодом и страхом. В мысли вошли Былые и демоны, но он знал, что они не готовят еду – даже ради злой шутки, чтобы посмеяться над ним. Нет, это что-то другое, что-то с человеческими наклонностями – а значит, все равно ужасное, только на свой лад. Нервы Цунгали все больше и больше расшатывались, когда он неожиданно услышал в небе тихий свист. Он уже слышал его раньше, и теперь в жилах остыла кровь. Затем оно прошило сверху листву и ветви; Цунгали выронил Укулипсу и сжал руки над головой, не смея взглянуть. Стрела взвизгнула и задрожала, пронзив тропу в двух метрах перед ним.

Гертруда обнимала Сирену, одной рукой охватив ее сотрясающиеся плечи. Она обжигала глазами Хоффмана и сдерживала собственные слезы, которые медленно дистиллировались из шока в ярость. Маклиш выволок их из камеры в маленький кабинет, где они теперь и сидели.

– Да что с вами? – бушевал он. – Получили своего циклопа, а теперь орете?!

– Эта тварь – не Измаил, – сказала Гертруда, скрипя зубами и отодвигаясь от горестной подруги, чтобы дать отпор агрессии Маклиша.

Доктор придвинулся к ней и озадаченным голосом переспросил:

– Не Измаил?

– Но ты ж сказала, что спала с этим, – сказал Маклиш, ткнув пальцем в Сирену.

Та посмотрела сквозь слезы.

– Спала с *этим*? – повторила она, с каждым словом сменяя изумление на гнев, так что вопросительная интонация в конце «этим» прозвучала кузнечным молотом, высекающим пламя из замерзшей наковальни. Она уже была на ногах и страшно смотрела на Маклиша. Все частицы ее предыдущей боли и нынешнего разочарования вихрились в смерче ярости. Она была готова сражаться, и ее стойка – глаза, зубы и ногти – изготовилась к следующему слову; отпрянул даже Маклиш. Гертруда никогда не видела, чтобы человек делался таким, не говоря уже о близком друге.

Доктор съезжился. Маклиш узнал внезапного зверя; он видел его на войне. Редкий и смертоносный – шотландец относился к нему с уважением.

– Простите, мисс, – сказал он ясными холодными словами, опуская руки. Через несколько мгновений она отдышалась, человечность и краска прилили обратно к ее лицу. Гертруда взяла Сирену под руку и выпроводила в двери.

Когда они ушли, потрясенный доктор сел на один из скрипучих стульев и большим платком отер пот со лба. Возвратился Маклиш.

– Говорит, деньги можем оставить себе, но больше мы не получим.

Доктор только кивнул и сказал:

– И что будем делать с этой тварью?

– Вернем или убьем. Никому здесь не сдался Любовничек, – сказал Маклиш, покатываясь от собственной шутки.

Хоффман не видел повода для смеха.

Любовничек не выше метра ростом стоял голым в соломе в конце камеры. Его кожа казалась смертельно бледной, желтоватого оттенка. У него были тонкие продолговатые конечности, а торс – коротким и квадратным. Голова росла из груди, так что лоб сливался с плечами, а крошечный рот находился на том уровне, где полагается быть человеческим соскам. Единственный глаз был вровень с подмышками и моргал в сумраке, как сфинктер. Пленник был невысокого мнения о людях; единственная их ценность измерялась в категориях еды. Он съел одного два года назад – его народ высоко ценил эту сладкую плоть. Но охота на людей была опасной, и многие из племени погибли во время нее.

Он знал, что стал первым из своего вида, кого забрали из леса, и не понимал, как это случилось. Невидимые в густом подлеске, его сородичи год за годом следили, как люди пожирают лес; еще ничто не входило и не увлакивало одного из них. Он боялся того, что уже успел увидеть, и не понимал пещеры, где его держат. Не понимал поступков этих высоких уродливых существ; они как будто пользовались всеми своими эмоциями сразу. Он ненавидел того, что с красной шерстью: он слыл умнее и быстрее стада, которое держал ради работы и еды. Кричащие же его заинтриговали – самки, решил он, с отвратительными вытянутыми головами. Он возбудился, думая о них, и сам немало тому удивился. Он был не прочь раздеть одну и поиграть с ней, прежде чем зажарить и съесть. Но на это еще будет время. Сейчас же нужно сбежать обратно в Ворр.

* * *

Младший сидел на пне у ручья. Он был велик собой и тих. У него был сильный отцовский нос, но тот казался непропорциональным на длинном слабом лице, только недавно притушившем пожар прыщей; теперь оно остывало до лунной бледности кратеров и мертвых

извержений. Он пришел сюда подумать, убраться подальше от суеты города и шумного уютного хаоса семейного дома. Он уставился на свои руки; мизинцы снова двигались. Как и большие пальцы – и он вращал ими, словно удивленными кукольными червяками в бессмысленной детской игре.

Только что он влез в какую-то нечаянную уличную передрагу; по крайней мере, он думал – втайне надеялся, – что она нечаянна. По городу пронеслось Касание – или Фанг-дик-кранк^[28], как оно стало известно. Говорили, пошло оно от чудесного касания – наложения рук, очищения нечистых и безобразных. Затем стало зловредным, эксцентричным и опасным. Доброту разменяли на месть. Некоторые изгнанные из-за своих болезней теперь, после исцеления, озлились, и их магическое касание передавалось в виде проклятья. Они хватали здоровых – и здоровые становились немощными; затем те разносили заразу, не зная, во вред или на пользу будет касание у них. Их отрезало от семей и друзей, в свою очередь превращая в изгнанников. По городу разошелся ужасный страх перед физическим контактом, запирая обитателей самих в себе: руки в карманах, бегство от всех других людей.

Касание стало таким случайным, что достигло фанатичных пропорций, хаотически разнося чуму больных и исцеленных по всему Эссенвальду. Оно чинило хаос в распутных, порочных семьях и делало лечение практически невозможным. Оно меняло понятие благопристойности на всех уровнях, а в городе, основанном на коммерции, где гильдии и классы четко демаркировались этикетом и формальными встречами, без любезностей дела пошли под гору. Рукопожатие уже не считалось приемлемой формой приветствия – в моду вошли более эзотерические жесты: вернулись поклоны и прищелкивание каблуками, как и сжатый кулак на груди, невиданный в цивилизованных обществах со времен Римской империи. В этот далекий форпост скончавшейся империи, до сих пор кичившийся отступлением от косной истории предков и наслаждавшийся «современным» мироощущением, вернулась тевтонская жесткость.

Черных и нищих Касание уничтожило. Их ряды менялись в одночасье – хворые выправлялись, чистые заболели. Из всеобщего замешательства поднимало голову великое безумие, и растущая волна

параноического страха была куда больше, чем реальное число настоящих инвалидов.

* * *

Домой женщины возвращались в молчании. Сирена высадила Гертруду у дома номер четыре по Кюлер-Бруннен, и пара тихо распрощалась, пока Гертруду привечал довольный Муттер.

На заднем сиденье лиловой машины волна настроения Сирены то отливала в гнев, то прибывала досадой – после шока, когда то уродство ступило на свет и уставилось прямо на нее. Она сомневалась во всех своих воспоминаниях, и нити эластичных волокон, обычно делавшие ее неуязвимой, на долю секунды распустились и разошлись. В этот миг она не доверяла всему дозрячему опыту: что, если омерзительное создание действительно было тем самым, с кем она провела карнавальную ночь? Что, если это его домогательства, присасывания и проникновения она принимала с удовольствием и благодарностью? Что, если – хуже всего – именно оно исцелило ее перед тем, как уползти в ночь?

И вновь зрение пограло всё, и она чувствовала себя приниженой собственными глазами. Сомнение разрезало циркуляцию энергии и устроило внутреннее истечение, так что она уже не понимала, отчего испытывала такой энтузиазм по поводу новой встречи с Измаилом. Почему он стал центром ее жизни? Как ее угораздило обнажить свой голод и показать свои желания этим глупым мужикам? Что в этом было для нее? Разве Гертруда не предупредила? Что ж, может и предупредила, но слишком поздно и слишком слабо.

Ко времени, когда Сирена прибыла домой, она уже выбилась из сил. Хотелось обернуться темнотой простыней и гнать от себя всю визуальную память, помнить лишь роскошную глубину своей прежней библиотеки касаний, звуков и запахов.

Муттер хлопотал над Гертрудой. Это было на него не похоже, гротескно, и она видела его насквозь. Муттер радовался, что она вернулась одна, и даже не хотел знать тому причин.

Ее раздражение быстро превратилось в безразличие, когда она почувствовала в животе щекочущее движение; что-то крошечное, не

толчок – для того было еще слишком рано, – но что-то все же разворачивалось, пробуждалось после долгой спячки.

Она оставила Муттера порхать в прихожей, как отяжелевшего мокрого светлячка без огня. Сама отправилась в спальню почивать; взять себя в руки и молиться, что это не происходит на самом деле.

* * *

Когда он очнулся, корова пропала, а у кровати сидела Шарлотта. Ее имя вспомнилось только через несколько минут. Она подала чай и тихо говорила, пока он хмурился и кивал ее версии последних нескольких дней.

Препарат, который ему прописал доктор, назывался «Сонерил»; Француз будет пользоваться им и многими другими следующие тринадцать бесплодных лет своей жизни. Когда эффект сошел, внутри разверзлась огромная пустая боль. Он перестал кивать, и слова Шарлотты потеряли всякий смысл. Ее голос стал песней, псалмом, и от него на моргающие глаза навернулись слезы. Она замолчала, увидев растущее расстройство своего спутника. Приблизившись, обняла крошечное тело. Он поднялся, и она увидела, что его подушка порозовела от пота и крови. Раны и ссадины под шелковой пижамой были перевязаны и покрылись катышками.

– Все хорошо, – сказала она, – теперь вы в безопасности. Вы устали и пострадали, но обошлось без серьезных травм. Вы помните, что случилось с вами и вашим другом?

– Другом? – переспросил он голосом, удивившим его самого. – Каким другом?

Шарлотта объяснила, что он ушел на встречу с человеком, который вел его в Ворр. Они планировали пробыть там только один день, но в действительности пропали на четыре. Она рассказывала о своей растущей панике и мерах, которые готова была предпринять до того, как завидела его на улице.

– Как его звали? – спросил он слабо.

– Я не знаю, дорогой мой, – как вы только его не звали. Кажется, вы говорили «Силка» или что-то в этом роде?

– Силка, – повторил он, качая головой. – Ну, а как он выглядел? – пробормотал он.

– Простите, но я его не видела. Вы говорили, что он молодой и черный.

– Я так говорил?

Шарлотта кивнула, и он задумался изо всех сил, но в памяти ничего не осталось. Ни единого следа последних пяти дней между этой запятнанной подушкой и предыдущей, окровавленной сном; к пустому пространству в черепе не прилипла даже шкурка воспоминания. То, что теперь кипело и холостило его, находилось ниже, в сердце: обширная умоляющая боль, присосавшаяся к его сути, утрата обширнее любого другого чувства, ошеломительная печаль, которая могла бы и должна бы быть ошеломительной радостью.

– Шарлотта, кажется, я влюблен, – сказал он со слезами, бегущими по лицу, и его тело сотрясилось и хрипело в испуганных объятьях. Так они и оставались, пока Француз не уснул в слезах. Шарлотта уложила его в постель и опустила шторы перед поздним косым солнцем. Она на цыпочках обходила комнату, собирая вещи по чемоданам и стараясь не думать о том, что он сейчас сказал. Его ритмичное дыхание приглушало и отмеряло теплую тусклую тишину.

Три дня спустя Француз стоял в вестибюле отеля, одетый в один из своих безукоризненных белых костюмов. Шарлотта купила билеты на корабль до Европы. Чудовищный черный дом на колесах пыхтел в ожидании снаружи, забитый их скарбом. Француз мешкал, цепляясь за ее руку, выглядывая в слепящий свет улицы. Его костяные эскимосские очки сменились на более крупные и современные, громоздкие на заостренном личике, придававшие ему внешность насекомого.

– Отправляемся? – спросила она, ласково сжимая ему руку.

Он сглотнул и кивнул, и она проводила его через теплые стеклянные двери и по кривящимся ступенькам. Перед тем как взойти в массивный транспорт, он поднял взгляд на кипящую толпу, на островок деревьев через дорогу. Он безнадежно искал кого-то, кого не знал, кого-то, кто мог бы знать его; последний шанс залатать рвущуюся рану, пожирающую заживо. Он высматривал узнавание во взмахе руки, или прикосновении, или улыбке. Никто не выделялся из толпы. Никто не видел его в солнечном блеске и завывающей пыли.

Он сел в автомобиль, и тот выбрался из города, через засушливый пейзаж, к побережью. В зеркале заднего вида с пассажирской стороны, подправленном для его пользования, удалялась темная линия Ворра, пока не стерлась дымкой, пылью и вибрацией. Его глаза не отрывались от отражения, пока машина не добралась до моря.

* * *

Хоффман шел через город. Его требовали в дом Августа Дарена, одного из богатейших эссенвальдских предпринимателей, желавшего присутствия доктора сию же минуту. На супругу Дарена напала банда хулиганов, которые вытащили ее из экипажа. Август пребывал в ярости, требуя обрушить на голову преступников суровое, мгновенное и мучительное правосудие. Он так бушевал из-за злоумышленников, что забыл упомянуть травмы жены, и Хоффман не представлял, какие инструменты или лекарства понадобятся. Впопыхах сгреб в самый прочный саквояж пригоршню того и пригоршню сего. Негоже впасть в нерасположение Августа Дарена – особенно сейчас, когда жизнь внезапно изменилась к процветанию.

Хоффман становился экспертом по случаям и возможному лечению того, что в простонародье стало известно как Фанг-дик-кранк. Он говорил пациентам, Гильдии лесопромышленников и городским властям, что ведет в частной лаборатории всеохватное исследование и уверенно приближается к панацее от ужасной заразы: по правде же он провел парочку неудачных аутопсий, лечил страждущих выдающимися дозами барбитуратов и допрашивал скованных заключенных, приведенных полицией, – с которой он теперь тесно сотрудничал. Главным его открытием стало то, что феномен на спаде. Этого он не говорил никому, но удвоил свои всеохватные усилия по поиску панацеи. Даже вводил отдельным «переносчикам» сыворотку собственного изобретения и выпускал их в свет, чтобы обмелить течение зловредного расстройства. Благодаря врожденной смекалке Хоффман доведет свою неожиданную темную лошадку до славной победы науки над злом. Ему всегда везло с пришельцами, а этот был на вес золота.

Его статус в обществе неуклонно рос, и доктору уже не требовалось понемногу практиковать в области неортодоксального, чтобы поправить свои дела. Более того, чем меньше об этом будет сказано, тем лучше. Его глодало прошлое и делишки с Маклишем. Подобные занятия стали зияющими медвежьими ямами на успешном пути к вершине, и он мечтал о том, чтобы они исчезли либо забились каким-нибудь амнезийным щебнем. Доктора потрясло знание девчонки Тульпов об Орме; еще шаг – и падение. Последующее фиаско с мерзким созданием, которое они по ошибке вытащили из Ворра, только ухудшило ситуацию. У этой Лор были очень хорошие связи: одно слово в нужном месте низвергнет все его достижения. Он знал, что только безвестность их одноглазого дружка не дает этим словам испортить воздух. Его защищало знание о существовании циклопа.

Сотрудничество с Маклишем стало обременительным, и это коробило уверенность Хоффмана; теперь запальчивый шотландец стал куда ниже его и непредсказуем в своих перепадах настроения. Вдобавок этот хам вечно пенял на него, если что-то шло не так. А «не так» сейчас было преуменьшением: они использовали Орма девять раз, из них два потерпели серьезный крах. Он все еще верил, что надругательство над каргой Клаузен было первой вылазкой Орма, а это приводило полицию прямиком на его порог. Все эти злосчастья угнетали Хоффмана, пока он целеустремленно шагал к пациентке с неизвестным диагнозом. Следовало пересмотреть приоритеты, и он дал себе слово избавиться от этого ярма страхов, как только представится возможность. Ему хватит сообразительности заставить женщин замолчать при помощи лжи и угрозы, но надсмотрщик – дело другое. С ним придется управиться не мытьем, так катаньем.

Маклиша ждали почести. Гильдия пригласила его с супругой на особый ужин, чтобы отметить рост продуктивности компании; величайшей лептой в успехе стала его рабочая сила, и дешевле было именно воздать почести, чем дать прибавку к жалованью.

Миссис Маклиш уже давно не бывала на формальных приемах и держалась настороже. Выпуклость новой жизни в животе только-только начала показываться, и ее слегка беспокоило, что она покажется пухлой, а не беременной. Они одевались в спальне: он возился и ругался на запонку для воротника; она вертелась и смотрелась в ростовое зеркало на гардеробе.

– Уильям, как думаешь: синее или зеленое?

– Я только что купил тебе синее, вот и носи.

– Да, но какое лучше подойдет для этого вечера? Все-таки больше мне идет зеленый.

– Тогда на что мы купили тебе синее? – спросил он брюзгливо, когда запонка выпрыгнула из пальцев и исчезла под кроватью. Он чертыхнулся и заполз за ней, пока блестящие парадные брюки сбивали ковер. Она пропустила реплику мимо ушей.

– Но выбор только между ними, у меня всего два платья.

– И слава богу, а то бы мы проторчали дома всю ночь! – ответил он из-под кровати, и его голос странно загудел в резонансе фарфорового ночного горшка. Маклиш нашел запонку и выполз, чтобы опять затереть воротник.

Обычно Мэри Маклиш была не из женщин, впадавших в подобную кокетливую неуверенность; ее аскетичная жизнь основывалась на простых фактах и базовых удобствах, но теперь она получала удовольствие. Маленький фарс выбора вернул ее на высокогорье, в бабушкин дом, к детским играм во взрослую примерку.

Маклиш расправился с воротником, но скособоченный галстук висел с вялым и извиняющимся видом. Он любовался им, пока она не рассмеялась.

– Что? – резко спросил он.

– Что? О, Уильям, сам взгляни, в каком он состоянии!

– В каком?

Она отложила платя и с игривой улыбкой подошла поправить галстук. Он оцетинился при ее прикосновении. Чем больше она тянула, тем больше он цепенел. Когда ее улыбка потухла, его тепло уже ушло целиком.

– Все было замечательно, женщина, а теперь какой-то бардак, – сказал он, отталкивая ее пальцы. – У нас нет на это времени, нам нельзя опаздывать.

Она ничего не ответила и вернулась к платьям; теперь они казались сморщенными и равнодушными. Он бросил взгляд через плечо.

– Где синее? – спросил он в наполнявшем комнату брожении разочарования. – Не знаю, что за сыр-бор, смотреть сегодня все равно будут не на тебя, – заключил он, хватая пальто и распахивая дверь.

Она смотрела, как он исчезает из комнаты. После нескольких секунд в полной неподвижности оделась и спустилась ждать подле него прибытия автомобиля, который отвезет их на торжество. Стоя перед домом, она выглядела грациозной и тихой, и зеленое платье подчеркивало ее волосы и глаза, но муж был слишком занят своими мыслями и сердит, чтобы обратить внимание.

Доктор прождал долгих десять минут, прежде чем фары машины исчезли с дороги. Затем направился к укрепленной двери рабского барака, войдя с помощью собственного набора ключей, о котором никто не знал. Там он поставил сумку на центральный стол и вынул сверток. Хоффман уже собирался ударить в гонг, когда услышал на металлической лестнице шаги. Обернулся и увидел, как с отсутствующей улыбкой на лице медленно спускается вестник лимбоа.

– Орму? – спросил тот плоским мертвым тоном.

– Да, – сказал доктор нервно. Он никогда не бывал здесь без Маклиша, и его пугали и это место, и населявшие его существа. Мурашки ползли по коже всякий раз, как он приближался к вестнику.

– Что сделать? – спросил тот.

Доктор объяснил специфику задачи и как ее необходимо осуществить.

– В этот раз вам не понадобится запах или след, – настаивал он, и вестник вроде бы согласился.

– В этот раз видящий останется, останется до потом.

Доктор на миг задумался, кивнул, забрал сумку и ушел. Вестник нежно поднял сверток и прижал к груди.

Вот и все. Теперь он поговорит с этой нахальной Тульп и укоротит ее непокорность; она буквально не в том положении, чтобы спорить. Он назначил официальный визит и удивился при виде адреса. Он никогда не был в доме номер четыре по Кюлер-Бруннен, но знал его; занимался одним делом в связи и в близости с ним. Почему она там живет? Не могла же эта собственность принадлежать ее отцу или другому члену ее влиятельной семьи?

Он упоминал Тульпов – и, разумеется, семейство Лоров, – когда осматривал жену Августа Дарена, которая, как оказалось, стала жертвой Касания: правую сторону ее тела слегка парализовало, словно электрическим током. Тогда-то ему и пришла в голову мысль лечить пораженных болезнью разрядами гальванической энергии. У Месмера получалось, почему не получится у него? Стоит людям слышать о комбинации шоковой терапии и барбитуратов, как бумажники захлопают, как дрессированные птички; сколько чудесного оборудования он сможет закупить для усовершенствования экспериментов: генераторы Ван дер Граафа; крутящиеся колеса; искры и запах озона; медные провода, стеклянные провода; фарфоровые резисторы – эти гигантские блестящие жемчужины. Лаборатория преобразится. Как только он расправится со всеми неудобными затруднениями, можно приступать.

– Тульпы – новая кровь, разбогатевшие торговцы во втором поколении, – рассказал ему Дарен. – Родом с низменностей под Лейденом – а может, Делфтом. Умелые предприниматели с бюргерскими амбициями. В трех поколениях от знати, если мы это допустим. А вот с Лорами все иначе; были здесь еще до моих, да уж; старые деньги. В одном ряду с императорами, да уж; состояние безграничное, – Дарен откинулся в своем кресле в благоговении перед такой суммой мирских богатств, уверенный, что Тульпы наверняка думают о нем с тем же пиететом. Он потешил себя мыслью об упадке семейства Лоров. – Впрочем, теперь уже вырождаются, – добавил он с крошечной ноткой злорадства. – Осталась одна только ненормальная

дочка, чтобы управлять всем этим богатством и влиянием в нашей Старой стране.

Доктор ловил каждое слово, взвешивал каждый грамм возможностей.

– Вы знали, что она была слепа от рождения? – спросил Дарен.

– Мне известны некоторые подробности ее случая, но, как понимаете, я не могу их разглашать, – солгал доктор.

– Ах да, конечно! – сказал Дарен, ни на мгновение не сомневаясь в докторе, и опустил палец на сомкнутые губы.

* * *

Маклиш дал себе поблажку в своих строгих социальных правилах и не стал отказываться от вина во имя самовосхваления. После многих сухих дисциплинированных лет он поднимал тосты с различными компаньонами, которые вставали и пили в ответ за его здоровье со словами глубокой благодарности. Никто и никогда не говорил ему такого – так что у него не оказалось иммунитета. Он поплыл в этом потоке, упиваясь собой после третьего бокала и свирепо обнимая жену после пятого; по крайней мере, ему казалось, что это его жена. Когда подали бренди, он уже скатывался к своим началам, где его готовились приветствовать всевозможные паразиты и забулдыги. Мэри сопроводили на место в четырех залах от него и усадили посреди ее худшего кошмара – в стаде директорских жен. У нее не было ничего общего с этими женщинами, было нечего им сказать – и все это знали. Но это еще полбеды – она опасалась, что Уильям встал на скользкую дорожку, а ее не будет рядом, чтобы подправить исход. Она надеялась, что он сомлеет, уснет прежде, чем покажутся после долгой спячки его клыки. Эта перспектива со щелчком привела ее в чувства, и она действовала без промедлений и размышлений, мудро обратившись к самым старшим фрау.

– Я приношу извинения, но, боюсь, мой муж не принял свое лекарство, – объявила она с таким сильным шотландским акцентом в стиле мюзик-холлов, что сама удивилась. – Прошу меня простить, я должна сходить к нему.

Позволить жене вторгнуться на мужскую половину вечера было неслыханно, но казалось, это вопрос чрезвычайной необходимости, так что вызвали служанку, чтобы отвести миссис Маклиш в комнату джентльменов.

Мэри поклонилась, трепеща и благодаря всех присутствующих, пока не покинула зал. Тут она включилась в действие, пробежала по коридорам с изумленной служанкой на поводу. В дымном крыле здания она объяснила служанке, что делать, и скрылась из глаз. Помощница из челяди дождалась ее ухода, затем постучала в тяжелую дверь. В конце концов ее открыл осоловелый мужчина, удивленный, что кого-то за ней обнаружил.

– Пожалуйста, сэр! – сказала служанка. – Миссис Маклиш занемогла, ей нужно поговорить с мужем о ее пилюлях.

– Миссис кто? – выдавил мужчина.

– Миссис Маклиш, жена гостя.

– А, а, конечно, – ответил мужчина, исчезая обратно в комнате.

После продолжительного времени, на протяжении которого о приближении извещали фанфарыдвигающейся мебели и разбитого стекла, из-за двери показалась взмокшая голова Маклиша. Никаких клыков – лишь дурацкая ухмылка. Спрятавшаяся супруга выглянула из-за угла, убедилась, что все чисто, затем по ее команде они вместе со служанкой накинулись на него и потащили из дверей по коридору. К счастью, сопротивления не последовало, и все трое доплелись до дверей и ожидающего автомобиля.

* * *

Дверь во двор, на удивление, оказалась открыта. Не встретив слуги, который бы его сопровождал, Хоффман сам дошел до ступенек дома и позвонил в звонок. Почти немедленно на пороге оказалась Гертруда, пожимая ему руку и приглашая войти. Внутри оказалось безлико, ни черточки личного вкуса, однако пропорции были удобны и ухоженны.

– Это ваш дом, госпожа Тульп? – спросил он.

– Нет, доктор, он принадлежит другу, – ответила она со скромной улыбкой.

Гертруда провела его в приемную, где пахло несколько затхло и заброшенно. Он встал посреди комнаты, неловко улыбаясь.

– Могу я предложить вам шерри? – спросила она.

– Это было бы чудесно! – сказал он, сунув саквояж за кресло, пока она направилась к бару. В его же лучших интересах было держать сумку и ее содержимое подальше от глаз.

– Прошу, садитесь, – сказала она, вернувшись с полными бокалами.

Хоффман уселся и с энтузиазмом принял шерри.

– Я часто проходил мимо этого дома и задавался вопросом, кто здесь живет, – закинул доктор удочку. – Должно быть, он один из самых старинных в городе, – он отпил шерри и с уважением огляделся.

– Да, это одно из самых старых владений, – ответила она без большого интереса. – Подвал еще старше – в нем даже сохранился древний колодец.

– Отсюда и название улицы, – сказал он.

– Да, отсюда и название.

Вкралась пауза, пока она перебирала свое деликатное жемчужное кольцо, а он тарачился в свой опустевший бокал. Она подлила ему и снова села.

– Чем я могу вам помочь, доктор Хоффман?

Прямота ему угодила: он покончит с этим делом аккурат к ужину.

– Во-первых, дорогая моя, я хотел извиниться за пренеприятный случай в рабском бараке. Боюсь, мои коллеги не блещут умом. – Он на миг сделал паузу, чтобы по-настоящему посмотреть ей в глаза. – Да и описание вашего примечательного друга было малость, скажем так, расплывчатым?

Она не подала никакого виду и сделала глоток. Он осушил бокал одним разом и со стуком поставил на стеклянную поверхность пристенного столика.

– Так или иначе, теперь об этом позаботились, и мы можем вновь приступить к поискам... Измаила, верно?

– Благодарю, доктор, но это уже не обязательно. Мы с мисс Лор больше не нуждаемся в ваших услугах.

Хоффман вознегодовал. Как смела она разговаривать с ним, как с простым дельцом? Он уже хотел сделать замечание, когда она продолжила.

– Мы больше не видим необходимости в его поисках; в свое время он непременно выберется из Ворра сам. – У доктора не нашлось слов, и она решила воспользоваться его молчанием. – Впрочем, нам стало любопытно, доктор: как вам вообще удалось поймать такое чудище?

– Пришлось для вас немало постараться, употребить некоторые особые меры, – сказал он, чувствуя, как багровеет шея.

– Применить на дело Орма, доктор Хоффман? – спросила она. – А что же это такое?

Все пошло под откос. Это на его стороне должно было оказаться преимущество.

– Что ж, госпожа Тульп, почему бы вам самой не рассказать? Похоже, вы о нем весьма осведомлены, – сказал он неучтиво.

– Я знаю, что вы и ваш надсмотрщик имеете некую власть над лимбоа и что вы продаете ее в качестве услуги любому, кто может заплатить; я знаю, что Сирена заплатила вам круглую сумму, а в итоге столкнулась вот с этим существом.

– Минуточку, – сказал он, – мы приложили все старания. Вы же сами к нам обратились.

– Все старания? – скептически поджала губы она.

Возникло молчание – словно обрубали сам воздух, удалили его сегмент из комнаты. После мелкой задыхающейся паузы доктор увильнул и спросил:

– Как поживает Сирена?

Оброненное походя имя подруги распалило Гертруду еще больше.

– Мисс Лор еще оправляется после унижения, которому ее подвергли вы и этот мужлан.

С Хоффмана было довольно, и он огрызнулся в ответ.

– Я пришел не выслушивать ваши оскорбления, барышня!

– Тогда зачем вы пришли? – спросила она, не моргнув и глазом. Его снова застигли врасплох, и он бесплодно искал нужные слова.

– Я... пришел... чтобы...

– Да-да? – дерзко осведомилась она.

– Я пришел, чтобы заручиться вашим молчанием о наших делах. – Настал черед Гертруды обезоружиться. – Я пришел уведомить, что наша помощь была услугой из уважения к вам и вашим семьям и что вы много приобретете, если все это дело немедленно забудется. – Она уловила его плохо завуалированную угрозу и пикировала собственной.

– Мне кажется, нашим семьям будет весьма интересно узнать о ваших услугах, правда, доктор?

Он покраснел едва ли не до алого оттенка, но сквозь лопнувшие вены начинала брезжить белизна ярости. Он шагнул к ней, повышая голос.

– И ВЫ СМЕЕТЕ? Вы смеете мне угрожать?! Если вы молвите хоть слово о причастности меня или моего партнера, я не побоюсь распространить истину о вашем тайном дружке; о том, как он трахался с вами и этой шлюхой Лор, и обо всем остальном! О доме, обо всем!

– Хорошо! Прошу. Говорите что вам угодно; вы ничего не знаете об этом доме, а наши опрометчивости ничто в сравнении с вашими преступлениями.

Он был потрясен; этого не должно было произойти. Он никогда не встречал девицы нахальнее и неуважительнее.

– Я вас предупреждаю, побойтесь... – яростно прорычал он.

– Чего?! – рассмеялась она, бросая вызов последним каплям его терпения.

– За вашу жизнь! – рявкнул он, хватая ее за горло и больно притянув нос к носу. – Откроете рот – и я заткну его навечно; Орм выхолостит вашу душу и отправит тушку ко мне на препараторский стол, и тогда я вырежу убудка из вашей дырки. Я...

Он поперхнулся, обнаружив, что поднимается и направляется прочь из комнаты, невесомый и неуправляемый. Когда он воспарил прочь, его кольцо зацепилось за колье Гертруды и разорвало его, и жемчужины пальнули во всех направлениях. Она схватилась за горло и остатки нити, уставившись широко раскрытыми глазами куда-то ему за спину. Хоффман со странным отстранением наблюдал, как уменьшалась дрожащая фигурка девушки и сам он двигался к двери, как прыгали и плясали белые сферки у ее ног. Он не имел понятия, что происходит, и все еще думал, что сказать, когда дверь открылась и его катапультировало в холодную ночь, на блестящие черные булыжники.

Он поднял взгляд и увидел стоящего над ним Муттера. Попытался встать, но старый слуга вышиб из-под него ноги.

– Ну ладно, ладно, – сказал он зло, всплеснув руками. – Намек ясен, я успокоился, я ничего ей не сделаю.

Следующий удар сбил его не только с ног, но и с толку; он не ожидал его – и показалось, будто вбежал головой в стену. Хоффман

помнил, как это случилось с ним в детстве; шок твердости против скорости стремления. Только сейчас он никуда не бежал.

Во двор пролился свет: в дверях была Гертруда, луч из дома струился через стоящие и упавшие фигуры. Хоффман прищурился и увидел, что в руке Муттера манускрипт – тугой свиток бумаги, какое-то обвинение. Да он распнет этого мужика за такое поругание. Причем, возможно, самолично – покалечит, как однажды покалечил его сына.

Слуга подошел к двери и поднял руку в оберегающем жесте, показывая девице вернуться в коридор, прежде чем крепко захлопнуть ее внутри вместе со светом. Муттер вернулся и недолго тянул со вторым ударом. Свиток оказался не бумагой, а метровой свинцовой трубой. В момент перед столкновением доктор понял все.

– Нет! НЕТ! – вскричал он.

Третий удар размозжил ему череп; он это слышал – а может, то лязгнули друг о друга зубы. Он попытался защитить голову паникующей рукой, но Муттер сбил его ногой и наступил на нее, сокрушая кости солидным весом и подбитым гвоздями башмаком, вдавливая золотое кольцо в плоть. Следующий удар пришелся на ухо, покотив Хоффмана по двору в криках. Чтобы прекратить шум, Муттер с размаху поддел его тяжелой неподатливой трубой под подбородок, опрокинув и заставив прикусить собственный язык. Хоффман был на четвереньках, скулил, как потерявшаяся собака, и изверг кончик языка вместе с недавним шерри и остатками обеда.

– Пвошу, вади бога, штой! – ничтожно выдавил он.

Он давился и сплевывал кровь на камни. Следующий удар с хрустом опустился на голову и снял макушку расколотого черепа, повисшую сбоку головы на длинных прядях мокрых волос. Выплеснулась его яркая лаборатория со всем новеньким электрическим оборудованием, протекли триумф и гений на ночную черноту мостовой, где скакали, как белые жемчужины, яркие искры. Муттер ударил еще, и по разбитым костям вдавленного лица прыснули глаза.

Муттер оттащил тело в конюшню и завалил на возок. Сполоснув двор, смыл ошметки памяти и надежды в сток.

Гертруде было холодно, дурно и непонятно. С повисшей в руке разорванной нитью колье она слушала, как силились пробраться через толстую дубовую дверь звуки. Муттер не хотел, чтобы она смотрела на

превращение человека в отходы, но она слышала процесс от начала до конца, и в сравнении с этим то, что она сделала с той куклой в подвале, быстро побледнело до незначительности. Гертруда притулилась спиной к стене и почувствовала, как на плечи давит вес будущего: теперь ей еще нескоро удастся заснуть.

* * *

В его густой и потный сон вторгся железный цокот жестяных часов. Кулаком он выжал из них всю истошность до молчания, после чего скинул из постели ноющие ноги. Пытаясь распланировать день, боролся со странным знакомым чувством, когда наконец понял, что с ним не так: он пьян. Он не бывал пьян уже больше двух лет, и теперь проклинал свою глупость, из-за которой скатился обратно. Как все знакомо: головокружение, запах, боль в голове; ощущение полного краха, настроение «гори они все огнем» – и эта его самодовольная раскорячившаяся версия, засевавшая глубоко внутри и выглядывающая из лица.

Он взглянул на жену, как будто счастливо избежавшую вопящей сирены будильника, и приподнял простыни, чтобы увидеть зреющий рост ее живота, подчеркивающий сильный изгиб бедер. Он всем сердцем ждал этого ребенка и надеялся на сына. Наконец-то он сможет что-то передать – и речь не об алкоголическом норове и эгоизме, которыми его самого наделил отец: нет, он – первый Маклиш в истории, который чего-то добился, который заслужил чужую похвалу.

Тут он увидел синяки на ее руке и почувствовал желчь во рту. Выпрямился и быстро задернул простыню, лишь бы не видеть жену. Ввалившись в ванную, вымылся в холодной воде. Он надеялся, что этот шок срежет глухую серую тяжесть, которую он так неуклюже влачил. В поисках бритвы Маклиш опрокинул чашку с зубными щетками и расческами в шумную раковину и уставился на их колючее предсказание на фоне фарфора. Что он сделал и сказал вчера ночью? Как он мог это допустить? Почему она его не остановила? Он привалился к холодной стене и устало поссал в направлении туалета.

Сегодня ему надзирать за сменой лимбоя – сменой потраченных на свежих, у поезда, набитого их тупыми телами. В этот раз с ними

поедет дополнительный пассажир, и от мысли провести путешествие с Любовничком – в ящике, чтобы выпустить его в лес, – в голове надсмотрщика заколотило громче. Что ж, он хотя бы выспится: в пути это неизбежно. Хотелось тут же заползти обратно в постель, к теплу жены и приставшему аромату прошлого вечера, но он не посмел. Без него не будет смены, не будет поезда, и ужас просидит в рабском бараке лишний день.

Любовничка перевели в подвал, когда интерес лимбоа к его крикам и лаю достиг опасного уровня. Впрочем, причиной могла служить и его едкая вонь: даже после того, как пленника окатили из шлангов, она по-прежнему пронизывала все вокруг, и Маклишу стало казаться, что он приносит ее домой; он чувствовал на себе его запах, и это объясняло, почему жена вновь так отдалилась.

Мысли снова вернулись к Любовничку; его пленник определенно худел на глазах. Сменился его цвет: кожа цвета старой слоновой кости, сливочно-желтая, поблекла до желтушно-серой. Маклиш не мог взять в толк почему; циклопа кормили тем же, чем и остальных, и никто никогда не жаловался. Повара всегда одинаково готовили насыщенную и питательную кашу из сушеных бобов, кукурузного крахмала и фарша. Маклиш заключил особенно удачную сделку с местной живодерней и каждую неделю получал почти свежее мясо. Рабочей силе нужно было поддерживать форму, и он успешно доказал это Гильдии лесопромышленников, которые теперь выкладывали существенную сумму за питание. Конечно, это было бы тратой хорошего мяса – лимбоа все равно не видели разницы, – потому он умудрялся и хорошо их кормить, и неплохо подзарабатывать на стороне, так что все оставались довольны; вернее все, кроме Любовничка, который раз за разом швырялся мисками с дымящейся мешаниной в своих пленителей. Повар-китаец, заправлявший кухней, отказался возвращаться в погреб после третьей неблагодарной атаки.

– Так пусть ублюдок голодает! – сказал Маклиш своим людям после этой третьей неудачной попытки накормить чудовище; и так бы Маклиш и поступил, но эффект этого решения на лимбоа был неизвестен, а он не мог допустить прискорбных ударов по производительности. «Как отдохнут, так и поработают», – таким был его девиз, и благодаря ему никто не совал свой любопытный нос в дела

Маклиша. Потому-то сегодня Любовничек отправится домой, и к черту похмелье.

На третьей чашке кофе Маклиш наконец опамятовался. Застегнул форму и натянул блестящие сапоги на тихой кухне, вышел через черный ход и поднялся по узкому пригорку к рабскому барaku. Было без нескольких минут семь, и жена слушала стук кухонной двери и звук шагов по гравиию снаружи. Она открыла глаза и позволила тихому вздоху сорваться с губ, почувствовав облегчение от того, что могла наконец освободиться от притворного сна и удушающего присутствия мужа.

На вокзал ящик и лимбоя доставили без особых происшествий. Пару раз лошади шарахались, когда Любовничку не сиделось, но стук Маклиша металлической рукояткой кнута по крышке скоро присмирил раздухарившееся чудовище. Разместив ящик на платформе за пассажирским вагоном, они загрузили в поезд энергичных пустых людей. Надсмотрщик дал добро, и поезд двинул на всех парах, чтобы его поглотил Ворр.

Как и предсказывалось, через двадцать минут лес оборвал бодрствование Маклиша. Он погрузился в сон без сновидений, который сгустился и нахлынул, больше усиливая, чем сглаживая похмелье. Маклиша теснили огромные абстрактные массы, терлись о его конечности и притупляли дух. Поезд словно полз с неторопливостью улитки, а голос живого ужаса из ящика в полусознательном черепе становился все громче и громче.

Разбудила Маклиша судорога остановки, и он тряхнул головой, чтобы попытаться собрать чувства и вещи. Кнут был задушен лозами, выросшими из багажной полки, и отказывался двигаться с места. Шотландец знал, что такое бывает, но в этот раз оказался неподготовлен; не в силах его выдернуть, он решил взять у одного из работников нож.

Он сунулся в окно крикнуть приказ и не нашел там платформы. Поезд не достиг назначения и неподвижно стоял посреди леса. Взглянув вдоль вагонов, он увидел, как из стационарного пыхтящего локомотива поднимаются дым и пар. Маклиш кликнул, ожидая, что его люди отрапортуют о задержке, но никто не пришел. Головная боль

усилилась, и он потер затылок, затем открыл дверь и спрыгнул на гравий.

Он дошел до вагона лимбоя – пусто. Как и в следующих трех. Он расстегнул кобуру под громкий хруст своих сапог по насыпи. Его шаги и одышливое сердце локомотива – вот и все звуки в лесу; затихли даже птицы. Когда он дошел до платформы и увидел, что ящик открыт, то достал револьвер и опасливо огляделся. Ничто не шелохнулось, и сами деревья как будто лишились движения – их листья висели вне любого ветерка или роста.

– Инженер! – проорал он рядом с локомотивом. Такое прозаичное слово посреди отсутствия и безмолвия произвело успокаивающий эффект. – Инженер!

Он услышал смешок из-за пассажирского вагона. Развернулся и залез на платформу, чтобы увидеть другую сторону. На опушке была узкая поляна, словно лес срезали по прямой линии, и на ней-то, бок о бок в шеренге, стояли лимбоя – как ему показалось, словно потрепанное полковое построение перед смотром. Он плюнул и спрыгнул с их стороны, с пистолетом наготове. От шеренги снова донесся девчачий смешок. С боем в голове и растущей тошнотой, которую он мог списать только на предыдущее движение поезда, Маклиш подошел к ним, пытаясь обуздать свой гнев.

– Какого хрена вы тут ошиваетесь? ВЕРНУТЬСЯ В ПОЕЗД! – проревел он.

Смешок оборвался, и они закрыли глаза в одном медленном одновременном движении. Затем началось дыхание – то самое единое дыхание, какое они с Хоффманом слышали в ту первую ночь.

– Прекратить! Прекратить СЕЙЧАС ЖЕ! – заорал он.

Дыхание удвоилось в силе. Вдруг он растерялся перед их числом. Лимбоя оставались неподвижными, только их груди ходили в унисон. Единственное движение было в середине шеренги. Там стоял вестник, что-то прижимая к груди и медленно, напряженно поглаживая. Маклиш направился к нему, наступал, поднимая пистолет к его лицу.

– Вели им вернуться в поезд, – потребовал он, увидев способ перехватить власть над ситуацией.

Тут он понял, что у вестника в руках. Обвисшие полоски ткани разошлись – там покачивалось почти голое существо, чьи безжизненные конечности болтались вместе с движением. Маклишу

хотелось спустить курок и покончить с этим, но он знал, что все и так уже кончено.

Глаза мертвого абортированного ребенка открылись и уставились в его. Дыхание прекратилось, и промеж лимбоя зашелестело что-то еще. Что-то змеилось в их рядах, потрясая их место на земле не скоростью, а огромной энергией. Маклиша толкнуло, словно поездом, и он лишился чувств; в секунду каждый орган в теле встал, как будто никогда не двигался. Все клетки уступили перед Ормом. Только бешеные глаза сверкали на мертвом лице, когда тело повалилось на землю.

Лимбоя показали на свои сердца и рассеялись в чаще леса со своим трофеем. Час спустя локомотив испустил дух, а его топка прогорела до холодного пепла.

Отчаянные подвижные глаза того, что было Маклишем, уставились на Любовничка, который все это время стоял за лимбоя и терпеливо выжидал. Даже в ослабевшем состоянии Любовничек сохранил достаточно воли, сил и навыков, чтобы собрать ветки и лозы и сладить примитивную волокушу. Он подтащил свое творение к трупу: он заберет Рыжий мех домой, к своему народу, один из его желудков уже урчал.

* * *

Измаил прибыл к месту, где пал могучий дуб, и теперь его распластанный ствол выписывал горизонт миром вертикалей. Должно быть, дуб был солидного возраста; Измаил легко мог спрятаться в его ширине. Дышалось чудесным ароматом лиственного перегноя и смолы – запахом сырости, сплетенным с возрастом. Измаил прошел по узкой тропинке под мостом, образованным дубом, там остановился и снова взглянул на упавшее дерево, затмевавшее пестрый свет. Из старого мертвого тела росли новые побеги, а на коре все еще процветало кружево лоз.

Измаил наслаждался глубиной леса, чувствовал себя на своем месте в таинственной чаще. Возможно, отсюда он родом; возможно, здесь обитал его вид, в покое великих деревьев. Он представил себе

примитивную жизнь в простых хижинах с доброй и древней расой, успешно скрывавшейся веками от варварского человечества.

Родичи показывали ему картинки и модели таких мест, он вспоминал истории о них. На свитках в учебных ящиках был рисунок дома Адама в раю, а также образы странных человекоподобных существ, живущих в гармонии со львами и другой дикой живностью. Вместе с Сетом он сооружал миниатюрное жилье из грязи, палок и камней. Тогда он гордился им и долго разглядывал его грубый интерьер, представляя, что значила бы жизнь в нем; видел перед мысленным взором очаг, ручеек дыма от крыши, поднимающийся в неподвижный воздух.

Измаил снова вернулся к себе, ожидая найти за углом эту уникальную деревню. Он так потерялся в фантазиях о лесе, что не сразу заметил, что уже не один. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что кто-то идет сбоку, на самой периферии зрения. Он развернулся навстречу с сердцем в пятках. Тот другой остановился и пригнулся, но теперь Измаил знал наверняка, что за ним наблюдают. Спросил себя, не те ли это, кто дал ему еду и воду. Крикнул туда, где исчезла фигура, ожидая в этот раз ответа. Его не пришло. Тут звук раздался позади; сбоку; изобилие звуков со всех направлений. Существа поднимались, и он в ужасе озирался среди них, смотрел на их лица, растущие из груди.

Он подавил страх и отвращение, которые нахлынули на него от тесной и неизвестной близости с чем-то настолько непохожим. Их коренастые квадратные тела были бледно-желтого цвета, пегие от розоватых пятен; головы как таковой у них не было. Рот, челюсти, нос и уши росли из грудной клетки, единственный глаз таранился из плоской груди, и в нем мигал разум домашнего скота. Бледные ресницы, оттеняющие одномерные мысли, отсутствующе выбирали между нападением или побегом.

Тут Измаил увидел прищур хитрости и понял, что это его конец. Вот каких существ он видел на картинке: ужасных циклопов, не имевших к нему никакого отношения. Это подвид, а не родственная раса. Они помогали ему с едой и направлением не из желания удружить или из симпатии, а чтобы завести к себе домой. Откармливали и заманивали его, а он добровольно шел по следу из пищи напрямиком в западню, в самое сердце страны антропофагов.

Они надвинулись на него, чтобы приглядеться, и переговаривались высоким рваным бляньем, как будто звуки с великой натугой прорезались из маленьких зубастых ртов. Эти уста – не для красноречивых дебатов; эти дыры и их содержимое задумывались исключительно ради того, чтобы откусывать, обсасывать, обглаживать и причмокивать.

Все были голыми, и Измаил, всегда отличавшийся острым интересом к гениталиям, в изумлении рассматривал представшее ему разнообразие и пропорции. В отличие от всех существ, что он изучал, здесь не находилось двух схожих органов: одни – сморщенные и перевернутые, тогда как другие болтались или выворачивались из тел с расточительной беспечностью. Вспомнился «Урок 93: Беспозвоночные океанов (некоторые мягкотелые морские гады)», и Измаил спросил себя, что, если их половые органы – отдельные существа, находящиеся в симбиотических отношениях с хозяином. То, как они пользовались ими для спаривания, находилось за пределами даже догадок.

Эти оторванные от ситуации размышления не давали побежать или упасть в обморок от страха, что было бы, как он знал, мгновенным сигналом к его гибели. Они приближались, и он застыл. Они трогали его, хватали за ноги и заглядывали в глаз, а их близость выдавала зверский смрад в ритм с речевыми паттернами. Внезапно и без предупреждения Измаил вскрикнул от обжигающей боли. В ахиллово сухожилие правой ноги всадили тонкий деревянный клинок; они позаботились о том, чтобы он не сбежал. Боль свалила с ног, и остальные прижали его к земле, втыкая вторую треногу. Он кричал и бился, но антропофагов было слишком много. Их сила, запах, руки, ноги и гениталии трепыхались и сдерживали, пока остальные обнажали новые заостренные палки.

Вдруг раздался могучий взрыв, и существо, державшее его за ногу, развалилось – две половины торса разлетелись в противоположных направлениях, после чего пошатывающиеся ноги простояли еще одну-две комичных секунды. Руки оканчивались грубыми кусками сырого мяса и брызгали кровью цвета грязи, пытаясь схватиться за землю или уползти. Второму существу удар угодил в спину, и грохот выломил грудную клетку через его удивленную морду; оно не успело даже дернуться.

Создания бросили свою засаду, исчезнув в подлеске с матерой скоростью и гибкостью. Измаил в мучениях катался по земле, силясь разглядеть, кому или чему принадлежало оружие – лучше его спаситель или хуже, чем ужасы, от которых он только что спасся?

– Что ты такое? – гаркнул голос вне поля зрения. – Не оглядывайся; лежи смиренно или истечешь кровью до смерти. Теперь отвечай на вопрос, не то я уничтожу тебя так же, как уничтожил твоих братьев.

– Они мне не братья, – процедил Измаил сквозь зубы.

– Тогда что ты есть? – спросил грохочущий голос из-за старого дуба с нацеленным в хребет Измаила «Марсом Фэрфакса».

– Я человек с одним глазом.

Это сошло за разумный ответ: именно им и казалось корчащееся создание.

– Я могу тебе помочь, если буду доверять, – произнес голос. – Не двигайся и положи руки перед лицом, чтобы я мог их видеть.

– А что есть ты? – скривился Измаил.

– Я Уильямс, – ответил наконец голос, – и я человек с четырьмя глазами.

* * *

Цунгали пил из глиняной миски, когда услышал выстрелы. Он думал, что только он сам смеет стрелять в лесу из оружия. Возможно, к погоне присоединились другие охотники? Звук был инородным – не похож на оружие, что Цунгали слышал раньше, – но дал четкое направление, и его преследование приобрело более определенную цель.

Вонючая бурая кровь все еще запекалась на руке, куда при смерти истекло существо, когда крик вошел ему под лопатку и нашел сердце – или мозг, или что движет этими желтыми демонами. Демон выслеживал его целыми днями; Цунгали позволял себе пить воду и выбрасывал еду, предпочитая собственные засушенные припасы. Затем обошел демона и убил со спины. Тот оказался из племени, о котором рассказывал дед, – из демонов, охотящихся на человеческое мясо. Любые сомнения быстро развеялись, когда он увидел, что существо

носило на своем распухом члене с яйцами: самодельную чашку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась человеческим черепом, со все еще цепляющимися кожей и ярко-рыжими волосами.

Цунгали собрал лозы и перехватил ими большие сужающиеся ноги погибшего демона, вздернув на деревья, чтобы показать невидимой своре, что в их жизнь пришел страх. При этом он заметил под мышкой существа мелкое движение. Остановил качание тела и пригляделся. Под каждой подмышкой пряталась деликатно сплетенная в шарик травинка. Она держалась на коже загнутыми шипами. В каждой травинке лежал человеческий глаз. Цунгали срезал маленькие клетки из их укрытия и изучил, по одной в руке. Тут он увидел – и выронил от шока: он повидал много дивных и ужасных зрелищ и его нелегко было удивить противоестественными явлениями, но это место порождало вещи пострашнее дьяволов напрямиком из кошмаров.

Он нагнулся и пошарил в низком кустарнике, куда выпали сферы, нашел и оглядел вновь. Да, вот оно: в одном сильнее, но заметное в обоих. Зрачки двигались, расширялись и сужались, приглядываясь: глаза были живы. Эта магия находилась вне понимания Цунгали.

Ладонь промокла; он осмотрел ее и понял, что один глаз протекает. Убрав целый в самый глубокий мешочек на волшебном поясе, он взрезал травяную клетку на поврежденном и увидел, что в яблоко вошел один из шипов, глубоко его пронзив. Вытекла еще жидкость, и глаз начал терять свою форму.

Цунгали нашел плоский камень и смахнул сор. Положил шарик на поверхность и, удерживая пальцами левой руки, в правую взял острый как бритва нож, осторожно взрезал его, – остатки жидкости разлились по камню. Цунгали наклонился и увидел мелкие мускулы, по-прежнему фокусирующие хрусталик, и радужку, все еще пытающуюся перекрыть невыносимый свет. Их крохотная энергия была независимой, самовольной. Цунгали ощупывал внутренности голодным зрением; ему показалось, он видел, как дернулся обрубок оптического нерва, но не мог быть уверен. Жидкость и движение привлекли внимание других наблюдателей и призвали на камень голодное любопытство ручейка черных муравьев. Они без промедления продолжили препарирование, начатое Цунгали. Он смотрел, как глаз растерзали и унесли и как живые мускулы сокращались даже тогда, когда насекомые подняли их, словно великий

трофеей, и потащили по поблескивающей черной цепочке неистовых тел. Через несколько минут не осталось ничего – даже пятно одолели и выпили ноздреватый камень и пекущее солнце.

Цунгали бережно накрыл рукой затянутый кошелек; каким бы ни было происхождение находки, он знал, что теперь обладал драгоценнейшим трофеем.

* * *

– Таким я уродился, – ответил, поморщившись, Измаил.

Они сидели на высокой скале под солнцем. Сюда его перенес Уильямс – подальше от охотничьих угодий антропофагов. Они беседовали и расспрашивали друг друга, пока белый обрабатывал раны Измаила.

– Я пришел сюда из города.

– Зачем? – спросил Уильямс, не отрываясь от своих трудов.

– Я хотел сбежать от людей и узнать, не отсюда ли произошел.

– Что, от этих тварей внизу?

– Нет, не от них, от чего-то еще. Я не знаю, – ответил циклоп, уловив краем глаза мелкое движение.

– Сколько ты уже здесь? – спросил Уильямс.

Измаил заметил лук одновременно с тем, как тот заметил его. Лук снова шевельнулся. Мелкие мускульные регулировки в натянутой форме сдвинули его на теплых камнях. Измаил едва ли слышал повтор вопроса.

– Я спросил – сколько? – раздалось повторное бормотание откуда-то пониже левой коленки циклопа.

Должно быть, лук греется на солнце, или это боль и шок сплелись вместе и создали иллюзию.

– Отвечай! – потребовал раздосадованный Уильямс. – Сколько ты уже здесь?!

– Простите?! Что? – пролепетал Измаил.

Уильямс перешел на другую сторону распростертого циклопа.

– Я спрашиваю – сколько ты уже в Ворре?

– Не знаю. Шесть дней? Может, больше. Я потерял счет.

– Ты едва не потерял жизнь, – сказал Уильямс.

Циклоп промолчал, но приподнялся сев. Боль унималась, и он начинал доверять этому незнакомцу и его мешку с целебными травами.

– А сколько здесь вы? – спросил Измаил.

– Вот это непростой вопрос, – сказал Уильямс. – Может, неделю. Может, год. Может, намного дольше. Я плохо помню жизнь, которую вел до того, как вошел в это гиблое место. Но бывал здесь раньше; в этом я уверен. А впереди лежит только судьба.

Измаил начал видеть белого в новом свете.

– Говорят, что лес живет воспоминаниями, что он пожирает человеческую память, – сказал он.

– Неужели? – сказал Уильямс, подавая циклопу чашку подкрашенной воды.

– Да! – искренне ответил Измаил, не чувствуя иронии в вопросе собеседника.

Лук снова задрожал. Движение сместило его, и он скользнул по скале, как большая стрелка часов. Стук напугал циклопа, который резко оглянулся на него.

– Волнуется, – сказал владелец лука. – Она снова рвется в путь.

– Она? – нервно переспросил Измаил.

– Долгая история, – отвечал Уильямс, переложив лук под руку.

Измаил разглядывал длинную узкую форму и чувствовал излучение с бордово-черной поверхности. Робко коснулся ее самыми кончиками пальцев; лук был теплым и влажным.

– Не надо, – с резкой, выразительной тактичностью сказал Уильямс. – Ее касаюсь один я.

Рука Измаила отдернулась.

– Простите!

– Не за что прощать. Но ты должен понять: этот лук у меня очень давно. Только она принадлежит мне по-настоящему.

Измаил понимающе забормотал.

– У нее есть имя? – спросил он отвлеченно.

– Однажды было; кажется, ее звали Эсте, – когда Лучник это проговорил, на его лице произошла глубокая перемена. Он казался шокированным из-за этого имени в собственном рту и словно что-то искал – следующее слово или следующий момент.

– Что это значит? – спросил Измаил.

Уильямс снова изменился в лице, странно уставившись на циклопа с выражением, от которого Измаилу стало не по себе. Он решил больше не говорить о луке и опустил голову под пугающим взглядом незнакомца. Посмотрел на свои руки; на коже, где кончики пальцев провели по поверхности поразительного предмета, остались влажные пятна.

– Я не знаю, – сказал Уильямс в ответ на вопрос, о котором Измаил уже успел позабыть. – Я не знаю!

Циклоп тайком вытер пальцы о пыль на скале и поспешил сменить тему.

– Я хотел поблагодарить вас за то, что спасли меня от этих дикарей.

Ответа от удалившегося в себя человека не последовало.

– Говорят, в этой чаще живут самые разные существа. Думаю, эти – самые худшие; если бы не вы, они бы наверняка ранили меня снова.

– Они бы тебя съели! – объявил Уильямс, со щелчком вернувшись в неловкость момента. Измаил уставился на него, вдруг почувствовав, как навалились тошнота и усталость. Его вдруг слегка повело в непослушном одурманенном движении.

– Это снадобье, которое я тебе дал, – сказал Уильямс. – Оно тебя вылечит и поможет уснуть.

Измаил дотронулся ладонью до лица в поисках какого-то примитивного инстинктивного успокоения. Почувствовал на пальцах запах лука; тот унес размягчающийся разум куда-то очень далеко. Измаил обернулся взглянуть на Уильямса, спросить, что тот имел в виду, но слова обратились в студень и газ, и он провалился в растущую под собой гравитацию. Глаз закрылся; где-то в его узкой щели покоился лук, чье имя циклоп уже забыл.

* * *

Цунгали нашел останки сраженных демонов. Перевернул их ногой и изучил раны. Он еще никогда не видел, чтобы плоть и кость разрывало вот так. Это его впечатлило, и он возжелал стать владельцем оружия, причиняющего подобный несравненный ущерб.

Он выследил двух людей от места с упавшим деревом до скалистого выступа. Темнело, так что он встал перед дилеммой: ему не хотелось лезть по скале в невыгодном положении и в угасающем свете к хозяевам столь могущественного оружия; однако он не знал, что еще обитало внизу – демоны вполне могли вести ночной образ жизни.

Выбор был невелик, и в итоге он решил провести ночь на стволе упавшего дерева; здесь были лучшая точка обзора и лучшие варианты защиты или нападения. Он забрался на широкого павшего великана и прошел по его длине, выискивая на земле признаки активности или неподвижности. Все было тихо. Он знал, что двое других пережидают наверху. Их он найдет назавтра и решит, жить им или умереть. Из-за оружия, что они несли, Цунгали склонялся к последнему – так будет проще. Затем можно перейти к поискам Лучника; возможно, первое же использование новоприобретенного оружия позволит пронаблюдать его силу в действии на блудной добыче.

Цунгали нашел в стволе расселину, где мог уснуть, и разложил вдоль ствола обереги, прежде чем расположиться на ночлег.

Начали просыпаться ночные создания, лазать и ползать в деревьях, шелестеть в подлеске. Он знал их звуки и считал успокаивающими; это значило, что поблизости не шастают ни человек, ни демон. Он превратился в слух на тишину или шорох, затем погрузился в сон.

Снился ему дед и его резной дом. Цунгали снова был мальчишкой во времена до прихода чужаков; в тот дом нога пришельца не ступит никогда. Они сидели вместе, дед напевал, заплетая чехол для священного копья; так они просидят целую вечность, потому что внешний мир со всеми его угрозами и чужестранцами отгорожен невидимой завесой магии; кто бы ни заглянул в их пространство, он не сможет пройти за напряженный хрустальный барьер. Они с дедом не обратят на них внимания и будут дальше заниматься своими делами или смотреть сквозь них, словно их лица – тени, затерянные отражения далеких и бессмысленных небылиц.

Сон был хорошим, укрепляющим и надежным. Наверное, он длился всю ночь; по пробуждении утром тепло плескался в водах черепа.

Когда в листве забрезжил рассвет, Цунгали отыскивал следы чужаков под росой и последовал за ними. Только тогда он

почувствовал, увидел знаки в их поступи – земля и сломанные сучья не оставляли сомнений: один из них и был его целью, и он наконец убедился в том, кого преследует. Это не потомок, не воспоминание, не призрак других времен; это тот же человек, то же физическое существо, что столько лет назад впервые вложило Цунгали в руки винтовку и доверило ей пользоваться; единственный чужак, который хоть сколько-то понимал Настоящих Людей; единственный праведный в крови и словах. Все это время он пробыл с Ирринипесте; вот почему его так трудно убить. Наконец он понял, как этот человек его одолел.

* * *

На следующее утро они обменялись именами и отправились в странствие вместе. Это был первый разговор Измаила с другим мужчиной, не считая Муттера и немногие карнавальные перемолвки: ему нужно было знать больше.

– Почему я тебе не отвратителен? Мое лицо не оскорбляет твой взор?

– Видел и хуже, – ответил Уильямс.

– Твой ответ меня удивляет. Однажды мне сказали, что я буду противен всем, кого встречу.

– И кто тебе это сказал?

Измаил обнаружил, что находит у себя воспоминания, о которых и не подозревал: о Гертруде и Муттере; о доме и его высоких стенах. Когда его объяснения подошли к концу, циклоп настаивал на собственном вопросе, пока Уильямс не уступил и не ответил.

– Да, в городе ты будешь диковиной. Никто уже тысячи лет не видел настоящего живого циклопа. Жизнь для тебя будет трудна, тебе придется прятаться. Но здесь все совсем по-другому; здесь ты лишь одна из множества странностей леса.

Измаил хромал рядом с Уильямсом, тяжело опираясь на посох, который ему срезал высокий человек. Он чувствовал потребность развить тему.

– Но ты бы мог пройти мимо, когда на меня напали. И ты помогаешь мне сейчас. Почему так?

– Полагаю, я легко мог тебя бросить. Но здесь у всего есть смысл: все мое предназначение, похоже, сцеплено с секретами Ворра. Не знаю почему, но возможно, что и ты встретился неспроста. А кроме того, я не оставлю ни одно существо на милость этих людоедских чудищ.

– Но что, если это они – часть твоей судьбы? – допытывался Измаил.

– Значит, их судьба была умереть, а моя – помочь им в этом. Ты просто повод для события.

Циклоп затих; быть поводом для чужого события стало незнакомым для него опытом, и он сомневался, что ему любезна эта мысль.

Они шли три часа по высокой гряде, постепенно оседавшей в твердую плоскость деревьев.

– Там – центр, – сказал Уильямс, – ядро, – он показал на середину плотной массы. Снял лук и огляделся. – Оставайся здесь. Я скоро вернусь.

Не успел Измаил возразить, как тот скрылся из глаз, воспользовавшись склоном хребта как ширмой между ними. Циклоп сел на землю и изучил перевязь на ноге. Услышал, как спустили стрелу, и почувствовал с ее уходом странную пустоту. Десять минут спустя Лучник вернулся и встал над ним. Его уверенность снова скрадывало то же самое выражение утраты и замешательства. Его руки стали черны от лука, и он искал на лице Измаила ответ, для которого ни один из них не мог найти вопроса.

* * *

Если Цунгали брал задание, он всегда доводил дело до конца, но в этот раз его что-то подвело; воля дрогнула. У добычи были сила и норы, и она шла не одна. Они находились впереди, а все, чему он доверял, осталось позади. Сон прошлой ночи манил в другое место – место, которое боле не существовало. Цунгали вдруг остановился и взглянул на свои руки с зажатой Укулипсой. Старая винтовка с вмятинами и отметинами, с недавно расколотым цевьем внезапно показалась такой же усталой, как и он сам. Талисманы на теле почудились тяжкими и угрюмыми. Его возраст и странность этого края

проникли под все защиты. Впервые он осмыслил свою инерцию, и это остановило его на месте. Зачем он это делает? Для кого? Тогда Цунгали сел и забыл свою функцию. За спиной раздались мягкие шаги, и впервые за взрослую жизнь они не вселили страха. Он сидел неподвижно и ждал.

– Малыш! – сказал старый голос. – Малыш, почему ты здесь потерялся?

Он не мог повернуться, но это было не нужно. Смотрел на свои руки и синюю сморщенную патину кожи. Его дед позади говорил:

– Идем домой. Это место полно демонов и заблудших; здесь тебя ничто не ждет.

Перед собой он слышал голоса. Уильямс и его спутник – только руку протяни.

* * *

Их молчание стало темным и неудобным. Измаил настороженно взглянул на помрачневшего друга.

– Что-то не так? – спросил он.

Уильямс посмотрел вдаль и тихо произнес:

– Выстрел был плох. Стрела изогнулась и не достигла цели.

Измаил не знал, как ответить; что-то внутри инстинктивно предпочитало не касаться лука. В попытке сменить тему он спросил:

– Мы идем в центр?

– В том направлении. Стрела ведет в том направлении.

Измаил прошел взглядом по скользкой дорожке лица Уильямса, пытаясь понять его настроение и окрас рефлексии.

– Ей тяжело, – сказал себе Уильямс, не обращая внимания на хромящего под боком циклопа. Солнце снова входило в силу, и с этим сгущалось дыхание деревьев, воздух становился мутным и влажным. – Этого еще не случалось, – продолжал англичанин. Он посмотрел на лук в вытянутой руке, не глядя на тропу под ногами.

Измаил ничего не понял, его тревожили перепады настроений этого человека. В их отношения вкралось сомнение; предложенные защита и забота оказались под угрозой отстраненности Уильямса.

– Кажется, лук хочет тебя, – провозгласил Уильямс, и корчи страха в нутре Измаила усилились до содрогания. – Она истекает и силится к твоей руке.

Уильямс встал как вкопанный, протянув трепещущий лук.

Измаил моргнул при виде предложенного предмета, уже вполне устрашающего. Уильямс зажмурился, и лук слегка покачивался, словно горизонтальный изгиб пытался подражать задрожавшим ресницам циклопа. Измаил не собирался касаться мистического оружия.

– Мне это не нужно. Это твой лук, мне он не нужен.

– Речь не о том, что тебе нужно, – ответил Уильямс, не открывая глаз. – Приди; возьми ее из моих рук.

* * *

Цунгали знал, что голоса людей, как и их дыхание, не всегда живут в этом мире сами по себе. Он знал, что они могут входить в других и порою приносить разные знания. Вот что так чудесно удавалось тому ребенку – Ирринипесте: ее голос посещал множество миров и вернулся с великой мудростью. Значит, за его спиной мог быть и голос деда; но мог быть и голос призрака или демона, что его украл. Если он поверит и повернется ему навстречу – он пропал.

– Приди, возьми мою руку, – сказал его дед.

И тут Цунгали услышал эхо этих слов над головой – в устах добычи. Не оглядываясь, он свернул вверх, к тропинке впереди этих двоих, уже не заботясь о том, чтобы не шуметь.

Он спешно подкрался и увидел их на своем пути – неготовых и занятых какой-то причудливой игрой белых. Они затихли, и Лучник – тот, кого он знал, – протянул свое оружие, сунув в лицо меньшему человеку.

Все это Цунгали увидел в долю секунды. Что бы это ни был за ритуал, он оставил их обнаженными и неготовыми – преимущество на стороне охотника. Цунгали примкнул длинный штык, дослал в камору патрон, потом выбрался на тропинку и ринулся в атаку, опустив голову, как бык, рассекая клинком пространство между ними.

Уильямс так сосредоточился на самоналоженной слепоте, что не слышал за спиной циклопа ни быстрого шороха листьев, ни скорости, с которой ломались сучья. Но слышал Измаил, и развернулся туда, где уже вообразил коренастые желтые тела нападающих антропофагов. К его ужасу, ему предстало расплывшееся в атаке пятно огромного черного воина с винтовкой, с поблескивающим на стволе вязким ножом. Он быстро приближался.

Измаил сделал то единственное, что в этот роковой момент могло пробудить Уильямса: он вырвал лук из его рук с такой силой, что глаза Лучника раскрылись с раздражением и вниманием.

Циклоп снова повернулся к нападающему, и его взгляд был как пощечина по глазам охотника. Это не белый человек – это вовсе не человек. Обжигающий взор Измаила врезался в его зрение, и Цунгали запнулся, оскользнулся на липкой тропинке. Вытянулся едва ли не на четвереньках, но не потерял скорости, не выпустил Укулипсу из рук. Он поймал себя в падении и вернулся к атаке.

Уильямс увидел нападавшего; смотрел, как тот теряет фокус и поскальзывается. Достал из наплечного мешка громоздкий, рвущийся в бой вес пистолета «Марс» прежде, чем охотник оправился и набрал скорость.

На бегу Цунгали видел, как существо поднимает над головой лук, видел, как разворачиваются проворные движения второго, и понял, что голос, который он слышал внизу, в самом деле принадлежал деду, а не демону или призраку. Чудовища не шептались внизу: они были наверху, с ним, и прямо на них он несся.

Уильямс взвел и нацелил пистолет, увидев глаза черного.

Наконечник штыка был в двух метрах от груди Измаила, когда великий рев положил конец всякому движению; всякому, кроме птиц, бросившихся с каждой ветки и забивших крыльями прочь из леса в яркий, ослепительный воздух, подальше от ужасного звука.

Измаил отпустил лук, позволил ему выпрыгнуть из быстрых рук и схватился за уши, когда над плечом полыхнуло горячее белое пламя. С воем упал на колени.

Уильямс прошел мимо, держа пистолет наизготовку. Он вглядывался туда, где лежал Цунгали, сорванный с ног и отброшенный

ровно на то место, где всего несколько секунд назад набирал скорость. Тот корчился в мучительном узле, когда Уильямс медленно миновал узкое расстояние, разделявшее их, и встал над нападавшим, держа сбоку дымящийся ствол «Марс».

* * *

Шарлотта наблюдала, как Француз глазел со шканцев большого бело-серебряного корабля. Он был неподвижен и неразговорчив; с каждым днем на бесконечной воде уходил все дальше и дальше. Она пыталась сблизиться, но, пока он проваливался в себя, вокруг него образовывался барьер. Она никогда не чувствовала себя так одиноко и беспомощно, как когда созерцала превращение моря из синего в зеленое, задумавшись над этой бесчувственной и огромной глубиной.

По вечерам, под пылкими звездами, они ели молча, а все ее попытки осторожной беседы игнорировались или обрубались. Она знала, что он ничего не может с собой поделаться, что злоба нацелена не на нее, но та все равно ее ранила. Шарлотта говорила себе, что ее боль ничто в сравнении с его; все самые ошеломляющие Француза чувства сгрудились у необратимого отсутствия. Каждый час бодрствования и сна посвящался поискам в залежах бесплодной памяти лица или момента, чтобы зацепиться и нахлынуть всей приливной волной эмоций. Но находился только далекий, серый, пустой берег, а когда корабль достиг Марсея, Француз уже практически не замечал Шарлотту.

Больше он не делился с ней своей болью. Взамен Шарлотта стала мишенью его разочарования и растущего бесцельного гнева. Приезд в Париж был сварливым и бесчувственным. Француз отказывался утешиться радостью от возвращения на родину. Все ее усилия проходили впустую, незамеченными. Он наказывал за неспособность разрешить или умалить его страдания, требовал, а не просил, особенно если речь шла о привередливых трапезах и растущих запасах барбитуратов. За экспериментами с последними приходилось следить особенно тщательно, чтобы он мог высчитывать разную алхимию небытия и искать пределы своего несуществования в противовес объему боли.

Он не мог усидеть на месте, не мог писать. Блуждал по комнатам, поглядывая через занавески на померкший Город Света; снова говорил о странствиях, пользовался движением как суррогатом мышления. Впервые Шарлотта всерьез задумалась о том, чтобы разорвать контракт, вернуть его матери деньги и бежать от подобного зловредного общества. Но осталась ради него, зная, что без нее жизнь Француза с безразличными слугами станет еще хуже. Его смерть же стала загадкой, преследовавшей ее всю жизнь, и она пришла к выводу, что вовсе не спутанный вес ответственности вынуждал ее заботиться о нем и держаться ближе; это было что-то крепче, что-то до странного ненужное и одновременно абсолютно фундаментальное; некая любовь; постоянная потребность следить и оберегать в недрогнувшей близости. Чувство не было материнским и уж точно не подпитывалось извращенным удовольствием от травм, нанесенных его жестокостью. По сути, ее бытие сплелось с его, за пределами обстоятельств и порою даже характера. Она останется до конца и избавится от всех в том сомнений.

Она помнила разговор, который однажды слышала в детстве. Шарлотта угнездилась под толстыми ножками темной мебели, в то время как еврейский родственник объяснял притчи из своей веры. Он говорил о многом странном и сложном, но одно задержалось в ее юном разуме: разделение дня и ночи и характеристики рассвета и заката – сумерки голубя и сумерки ворона.^[29] Теперь она понимала, что все их время вдвоем будет именно таким – вечно впотьмах. Но она сохранит эти сумерки и будет трудиться над их светимостью. Это будут сумерки голубя, куда никогда не допустят ворона.

Часть третья

В одной стране все слепы от рождения. Некоторые жаждут знания и устремлены к истине. Рано или поздно один из них скажет: «Вы наверняка замечаете, господа, что мы не можем идти прямо и часто проваливаемся в ямы. Но я не верю, чтобы подобные тяготы были знакомы всему человечеству, ибо наша раса не отважена от естественного желания идти прямо. Посему я верю, что некоторые люди наделены способностью наставлять себя прямо».

Николай из Отрекура. Exigit ordo^[30].

Грандиозность таких «бумажных проектов», как «Вавилонская башня» Брейгеля, похоронные храмы Булле, тюрьмы Пиранези, футуристические электростанции Сант-Элиа, была воплощена в жизнь – причем любителем, фанатически мотивированной дамой из Нью-Хэвена, создавшей дворец снов со всей гениальностью янки.

Джон Эшбери^[31].

*...и когда несговорчивый 44-й
случился в его руке и раскрутился
в той центробежной относительности,
что мы видим
в обратном вращении спиц
колеса у телеги,*

*тогда он нашел
покой, с оправданным стволом,
нацеленным*

в окрестность вечности.

Эд Дорн «Стрелок»^[32].

Мейбридж стоял перед овальным зеркалом и расчесывал бороду. Он снова схуднул, и морщины под белыми прядями казались темно-серыми – глубокими бороздами и долами на позднем, осунувшемся осколке луны. На нем была надета его лучшая рубашка – купленная на Джермин-стрит, у прославленного лондонского портного, обшивавшего самого консорта. В облезавшем стекле что-то мелькнуло – потемневшее серебро изгибалось от полированной прозрачности, и в нем прошла тень женщины. Мейбридж не обратил внимания на незначительный проблеск прошлого и пригляделся к себе, на миг поймал собственные блуждающие глаза, не всматриваясь в них, не желая видеть смысла, который они доносили. Стекло покоробилось со времен его жены – истончилось с тех пор, как ушла ее упитанность. В позолоченной раме больше не барахтались парфюмированные румяна и жирная пудра; теперь в этих мелях отражалась лишь пустая серость его глаз – сжатых сфинктерами против поиска понимания.

Позвонили в дверь; прибыл экипаж. Он облачился в сюртук, взял трость, свою новую официальную шляпу и заторопился к двери, похрустывая костями от скорости. Он торопился на встречу со знатной дамой – опаздывать никак нельзя.

Экипаж дребезжал, пока он крепко сжимал трость и ерзал от возбуждения и нервов; ему всегда хотелось с ней встретиться. Она послала за ним через Стэнфордов, пригласив на чаепитие в ясный мартовский день. Мейбриджа уже покорили скромная красота и гигантские богатства – первое он заметил много лет назад, на другом конце бального зала, пока шел через сад. Ее было не назвать классической красавицей, как одну из стройных сирен Лонг-Айленда, порхавших и изгибавшихся в блестящей белизне лучших приемов общества. Ее привлекательность исходила изнутри и озаряла каждое движение грацией и харизмой; не ограненный алмаз, а энергетический самородок силы и живого достоинства. С тех пор на нее свалились скорбь и деньги. С изнурительной смертью единственной дочери и безвременной кончиной мужа осталось лишь одиночество, чтобы

сломать ее, и огромное наследство – чтобы подтачивать все надежды на загробную жизнь.

Сара стала единственным бенефициаром состояния, заработанного оглушительным успехом многозарядной винтовки Винчестера – оружия, которое «покорило Запад». То была сильно эволюционировавшая версия более неуклюжей винтовки Генри, с революционной конструкцией: к стволу снизу крепился трубчатый магазин и подавал в патронник двенадцать зарядов с помощью подствольного рычага, также служившего спусковой скобой. Из карабина рычажного действия можно было вести беглый огонь с седла. Благодаря огневой мощи и скорости перезарядки оружие на голову опередило все, что производилось до него.

Винтовка разогнала немногие оставшиеся племена, что отказывались уступать белому игу. Вместе со своими братьями тяжелого калибра вычистила равнины от бизонов и прочих существ с дорогостоящими хвостами или рогами. На заре Гражданской войны северная армия закупала ее в огромных количествах, и деньги хлынули рекой в закрома Винчестеров. Винтовка выпускала одну пулю в секунду и отличалась траекторией, что стерла с лица земли половину поколения соседей и друзей.

Слезам Сары так и не пришел конец. Просто после первых пяти лет они текли внутри. Слезы наливались под веками, выхолащивая плоть под нежной кожей щек и находя горло, чтобы она сглатывала соленые картины с малышкой Энни, чахнувшей на ее груди. Ребенок не узнал в жизни ничего, кроме лютого голода и боли; между кожей и костями не прирастали мясо или жир.

Почти пятнадцать лет спустя Сара проглотит боль при виде гниющих легких молодого мужа, пока его пожирала болезнь. Он, как и его кричащая дочь, съезжился в ее объятьях. Говорили, что в начале 1880-х Сара пошатывалась на краю безумия, но переступить последнюю черту ей не давало какое-то особое упорство. Она сама не знала, чему им обязана: уж точно оно не коренилось в горе богатств, что росли вместе с трауром, поскольку к ним Сара интереса не испытывала никогда; деньги ничего не могли купить и только копились – зачаточная модель ее распухающей тревожности. Никак не могло не быть причины, почему все эти ужасы подавили всю ее радость; когда причина наконец нашлась, она показалась мучительно очевидной.

Он сам ей все объяснил. Бледная улыбка и нежные руки – Сара Винчестер несколько не сомневалась, что ей описывали супруга, стоящего подле нее, недоступного невооруженному глазу. Он пришел объяснить эволюцию их семьи, похоронить ее угрызения совести: она ни в чем не виновата.

Медиум поднесла платок к лицу Сары, пересказывая его слова, утешая духа, побуждая говорить яснее. Он сказал – через медиума, – что те, кого сразило ужасное оружие, вернулись отомстить, что они проследовали по тропинке из долларов к ответственным за их смерть и что Сара по определению последняя из Винчестеров. Они уже забрали Уильяма и Энни (которые счастливо воссоединились на другой стороне), но гнев вернувшихся не утолен.

Спасение возможно, и у него было физическое выражение. Муж велел ей построить дом – особняк для сожительства с мертвыми; такой огромный, что вместит все пропащие души, пока они не явились бесприютно скрестись о ее бытие. Такая цель потребует непрерывных трудов, предупредил он. Дом должен расти постоянно; если расширение прекратится, Сара умрет и они никогда не встретятся на другой стороне.

В тот день Сара покинула сеанс с надеждой и целью; после многих лет боли она наконец знала, куда направить деньги и энергию. Так ей дали первый депозит для новой жизни – паломничества, которое свернет железнодорожные пути Леланда Стэнфорда к стройке ее нового дома на западе, – и она возблагодарила медиума за то, что та наставила в нужном направлении. Днем и ночью армия наемных рабочих сооружала чудовищный лабиринт из дерева, где могла спрятаться Сара. Вокруг нее множилась «Янда Вилла», во всех направлениях змеились слепые коридоры и увлечение числом тринадцать, заводя яростных демонов и оскорбленных при жизни призраков в тупиковые проходы, безумные башенки и лестничные марши, поднимавшиеся, по сути, в полное никуда – но всегда прочь от ядра ее скорби.

Все это Мейбридж уже слышал, но память у него была выборочна и смертельно поражена его собственными потребностями. Сара Винчестер – женщина большой красоты и влияния; он восхищался ее

чистотой. Она так и не вышла замуж вновь и сохраняла яркую преданность памяти усопшей семьи. Она его поймет, верил Мейбридж. Она наверняка слышала о его инциденте с Ларкинсом. Он не сомневался, что вдова оценит правомерность его действий, разглядит в нем истого джентльмена и, как он надеялся, значительного художника.

Экипаж остановился перед входом в сад растущего дома. Мейбридж сошел и вступил на тропинку, миновавшую фонтан и выходящую к веранде. Вход меж колонн был холоден и элегантен – механический просвет в плотничестве. Дверь открылась, и Мейбриджа впустил внутрь тихий человек.

Дом был безупречен и блестел новизной. Он пах лоском и опилками – оба запаха обострялись тонким полутонком лака. Выложенный вручную наборный паркет – идеален и бесконечен; Мейбридж следовал за проводником словно целую вечность, иногда не в силах устоять перед соблазном замешкаться для изучения каждой детали и угла. Они вошли в зал, обстановка которого превосходила содержимое всех остальных комнат, вместе взятых. В центре стояло пианино, господствовавшее среди мебели и картин. Очевидно, это была жилая часть дома. Остальные комнаты – видимость, избыток, но в этих царила жизнь. Мейбридж чувствовал ее присутствие в следующей комнате.

Тихий человек оставил его стоять и прошел дальше, закрыв за собой дверь. Нервозность Мейбриджа подергивала за шляпу и трость, ему хотелось их сложить, но он не смел рисковать оскорблением. Он беспокоился и озирался, постукивая по ноге вышеназванными предметами. Послышалось бормотание, а затем дверь открылась и вошла хозяйка, протягивая для приветствия руку.

– Мистер Мейбридж, благодарю за визит.

Его шокировала ее внешность. Дама из исторических проблесков его памяти стала совсем другой. Стала плотнее, солиднее – не от толщины или роскоши, но как будто от того, что вокруг нее изменилась гравитация мира. Ее спрессовали обстоятельства, вес дома. Лицо стало морщинистым и выхолощенным, и все же каждая морщинка льнула к пухлости; она была противоречием формы – словно контуры ее лица написали на неподходящей поверхности. Слои макияжа, наведенные на некогда безупречный облик, придавали ему странный лаковый оттенок. Только зубы оставались идеальными, хотя

и глаза сохранили блик чего-то постоянного и смущающего. В отдалении слышался стук молотков, но Мейбридж старался пропускать его мимо ушей. Он слегка поклонился и подал руку.

– Благодарю, миссис Винчестер, – сказал он с расцветающим под бледной кожей мальчишеским румянцем. – Ваше приглашение принесло большую радость.

Она любезно улыбнулась и провела его в маленькую гостиную, где на обеденном столике уже сервировали чай. Они сели и вежливо обсудили погоду и знакомых. После двадцати минут душных и обязательных формальностей беседа наконец сдвинулась к цели ее приглашения.

– Стэнфорды ознакомили меня с вашим творчеством, мистер Мейбридж. Надо сказать, я весьма впечатлена.

– Благодарю, мэм. Позвольте спросить, какие фотографии вы уже видели? – поинтересовался он.

– О, горы, тот вулкан и дикарей, танцующих по кругу.

– А, Пляска Духов, – сказал он с удовлетворением. – Я единственный, кто когда-либо ее фотографировал.

– Пляска Духов? – повторила она – ее внимание было приковано к нему ровно так, как он и надеялся. – Что это?

– Среди множества туземных племен бытовало поверье, что они могут вызвать мертвых пращуров, чтобы те помогли им выстоять против переселенцев, продвигавшихся на запад. Они воображали себе восстание и объединение кланов, мертвых и живых, чтобы сохранить то, что считали своей священной землей.

Сара слегка придвинулась на своем кресле с твердой спинкой и спросила:

– Когда конкретно имели место эти пляски?

Он назвал даты снимков, и она замолкла, быстро высчитывая в уме их значение. Комнату заполнила тишина в ритме стаккато, и Сара перевела взгляд на пол, слегка подергивая уголком рта, словно в горле что-то ходило. Казалось разумным сменить пейзаж и тему.

– Превосходно идет и другая моя экспериментальная работа, – вставил он. – Я запечатлел на камеру движение множества животных – и даже людей!

Его попытка поднять настроение хозяйки была встречена тяжелым молчанием. Она воздела покинутый взгляд и посмотрела ему

в глаза, и Мейбриджу пришлось отвернуться.

– Я изобретаю новые камеры, – неуклюже продолжал он, – с быстрыми затворами. Взводами многократного действия для улавливания изображений. Почти как ваша чудесная винтовка, мэм, которой я однажды пользовался в Аризоне; отменный механизм. Я нацелен на разработку чего-то схожего – той же скорости и точности, разделяющих время... – Он замолк при виде ее лица.

Она поднесла руку к затылку и моргнула, прочищая горло и изговоряя голос к применению.

– Не могли бы вы... – Она снова замолкла, словно не зная, как построить свой вопрос. – Вы когда-нибудь... фотографировали мертвецов?

– Не уверен, что понимаю вас, мэм, – осторожно ответил он.

– Мне рассказывали, что некоторые европейские фотографы способны запечатлеть образы отошедших в мир иной, – строго заявила она, похоронив волну эмоций под суровым выражением. – Я ищу подобного мастера. Если верить Стэнфордам, вы лучший в своем деле. Мне говорили, если кто-то и способен уловить подобное, то только вы.

Мейбридж вознегодовал, но принудил себя ответить.

– Я никогда не делал таких снимков, – сказал он, стараясь ничем не выдать внутреннюю волну отвращения.

– Не желали бы вы попробовать? – спросила она, и ее надежда пронзила его взгляд и смешанные чувства. Он помолчал перед ответом, пока энтузиазм бежал его разочарованной артистической жилки.

– Для вас, миссис Винчестер, я попробую.

Два дня спустя он с тяжелым сердцем нес камеры, треноги и прочее оборудование по лакированным туннелям расширяющегося дома. Сеансы устраивались в комнате, построенной специально для этой цели – с круглым столом в центре и высокими окошками по бокам, выходившими внутрь дома. Прямого освещения не было; комната располагалась в ядрышке закрученной архитектуры, вдали от внешних стен или понюшки улицы в любом направлении. Не то чтобы это имело значение: фотографии придется делать в темноте.

Он видел «спиритические» изображения, о которых она вела речь. Все как на подбор – неприкрытые подделки: двойная экспозиция и

нелепый монтаж, исполненные без каких бы то ни было тонкости и навыка. В тот миг его мнение о Саре Винчестер рухнуло. Как можно поддаться подобным манипуляциям и лжи? От подобного замысла несло худшими крайностями жирной незрелой выдумки, разряженной в правду. Но факт оставался фактом: ему необходима была протекция вдовы, ее круг друзей, ее богатство. И учитывая все это, можно было простить убеждения и печальные фантазии подмятой трауром пожилой женщины, ни разу не покидавшей дом. Возможно, когда она поймет качество его работы и точность научной объективности, вычурные заказы приведут и к более серьезным предложениям.

Он расположил камеры в дальнем углу комнаты и придал лицу величайшую серьезность ветхозаветного патриарха: это была его лучшая поза.

Сара привела в комнату еще трех людей – убежденных спиритуалистов, предположил он. Сегодняшним медиумом была мадам Грезаш, яркая женщина польского происхождения. Она отличалась знойной привлекательностью, прятанной под лицом, бесконтрольно растаявшим между восемью годами и шестидесятью пятью. Она села за стол с остальными моделями по бокам. Церковный староста Томас расположился ближе к Саре, слева от медиума. По правую руку от нее устроилась крупная женщина с лошадиным лицом, чье имя у Мейбриджа мгновенно вылетело из головы.

Произнесли молитву. Вскоре после ее окончания мадам Грезаш начала покачиваться и тихо стонать, закатив глаза под прикрытыми веками. В свете тусклой лампы под потолком все виделось отчетливо. В отличие от многих крупных кругов, они не держались за руки, а поместили ладони на стол, растопырив пальцы. Мейбриджу живо вспомнилась фотография, которую он так и не снял: Мексика; ряд свежепойманных глубоководных крабов-пауков, выложенных на просушку под беспощадным солнцем, их лососево-розовые раковины на песке, такие беспредметные и покинутые. Он стряхнул эти мысли и сопутствующую улыбку, не дрогнув и мускулом на лице. Мадам Грезаш снова застонала – более глубоким, более мужским тоном. Она сказала, что ее духовного проводника зовут Ван Чи, что теперь он здесь, чтобы помочь им и привести к столу усопших.

Первый снимок Мейбридж сделал на широкоугольный объектив и внутренне спросил себя, какой резон китайцу им помогать. Снаружи,

на улицах, китайцы были не более чем рабской силой, не лучше собак, с оплеванной древней культурой. В шестидесяти милях отсюда он стал свидетелем «охоты на узкоглазых»; четверо лучших местных пистолеро делали ставки, сколько китайцев смогут подстрелить из седла. Их мишенями были работники-иммигранты, недавно распущенные после прокладки участка новой железнодорожной линии. Перепуганные люди бежали в панике, бросая небогатый скарб ради скорости. В тот день под хохочущим свинцовым дождем пало шестнадцать человек. Девять – погибли. Один из спортсменов пользовался «Винчестером-73». Кто выиграл в пари, так и осталось невыясненным, но Ван Чи на другой стороне явно обрел либо великое благоволение, либо потрясающее невежество, потому что привел к столу утраченного ребенка Сары.

Голос медиума натянулся до фальцета, и Мейбридж сделал второй снимок – в этот раз с полыхнувшим порошком. Всех – в том числе призраков – предупреждали о потенциальном вмешательстве, так что большинство закрыли глаза, когда он сказал: «СЕЙЧАС!» – и запалил свет.

В их головах заплясали остаточные пятна, усиливая ощущение ауры, а запахи нитрата и магния обожгли спертый воздух деревянного салона. Вперемежку с подавленными всхлипами и слезливыми вздохами дитя выражало свою невинную любовь к матери.

Мейбридж готовился к третьей фотографии, когда медиум объявила, что к ним присоединилась новая сущность. Когда он сжал грушу для среза очередной длинной экспозиции, в уголке глаз что-то шевельнулось. Он дернулся, но там ничего не было. Сидевшие оставались в неведении о его скачке внимания.

– Кто вы? – спросила мадам Грезаш долгими, растянутыми, провисающими словами.

Она поднесла руку к лицу и сделала перед глазами несколько пассов.

– Кто-то пришел по вас! – промолвила она с водевильным удивлением. – По вас, мистер Маггридж, по вас!

Он вздрогнул, услышав свое настоящее имя, особенно в присутствии наследницы Винчестеров. Открыл рот, чтобы поправить мадам Грезаш, когда та снова заговорила.

– Здесь несчастная женщина. Она спрашивает, зачем ваши механические агрегаты так страшно ей повредили?

Голос медиума снова сменялся, и теперь из тех же уст, где так недавно побывали ребенок и китаец, донесся скользкий акцент кокни.

– Почему меня так режет тень солнца? – возопил голос. – Прикончившее меня лицо было белым, целиком белым, и заглядывало с боков внутрь, внутрь меня.

Остальных сидящих взволновала смена направления; их ресницы трепетали от желания, сияясь разглядеть его выражение. Мейбридж копошился с пластинами и притворялся, что не слышит тона этих вопросов и реплик. Хотя он знал, что все это чушь, ужас фарса все же пробрал его, разбередил беспокойное прошлое. Он почти ожидал, что в комнату картинно влывет привидение дурехи-жены и поведаст о его жестокости и отсутствии мужества, разболтает все тайны устами этой польской шарлатанки.

– Свет вполз внутрь, я должна была найти тень и выгнать его!

Он запалил очередную магниевую вспышку, чтобы изгнать из их общества вульгарные слова. От камеры полыхнуло белым дымом, и голос пропал. Медиум осела с тяжелым стоном, с хмельным видом положила руку на голову, скособочив один из бирюзовых гребней из черепахового панциря, удерживавших на месте кудрявый поток непокорной каштановой шевелюры. Волосы несдержанно пролились на стол, накрыв ее лицо и стоны, придавая ссутулившейся фигуре гротескный, обезьяний вид. Всего на миг он услышал, как из слюнявого и перекошенного рта поет далекая стая птиц.

Сара сказала что-то старосте Томасу, который поднялся и с шарканьем подошел к двери. Скоро ярко засветилась лампа, и тени комнаты удалились в другие части дома. Участники поднялись и хлопотали над мадам Грезаш, чтобы привести в порядок ее позу и волосы. Мейбридж столкнулся взглядами со старостой Томасом, передавая легчайшим намеком презрение к этой исступленной истеричке и всей ее вздорной ширме мюзик-холла. Он ожидал увидеть в старосте отражение своего неявного циничного взгляда, заслужить кивок поддержки и согласия. Взамен он нашел полную противоположность: абсолютную веру в процедуру, неодобрение к выражению Мейбриджа. Хуже того – староста, судя по всему, не доверял ему и даже в чем-то обвинял. Томас помог пожилой даме и

медиуму покинуть комнату, повернувшись прямой спиной к выскочке, который осквернил их столоверчение своими прошлыми жизнями и неразберихой раздражающего оборудования.

Когда все ушли, фотограф остался в пустой комнате потерянным, не в силах понять, что произошло. В этом не было никакого смысла, и он чувствовал себя дураком, совершившим ошибку. Бог знает, что он теперь отыщет на стеклянных негативах. Он подозревал, что ничего, кроме мутных пятен и теней, и что его цинизм будет оправдан.

В красной пещере личной темной комнаты его руки распухли и пропитались теплыми, как кровь, жидкостями. Мейбридж всматривался в ночные лотки и видел, как среди оседающей черноты поднимаются блики света. Он переместил их в лоток с фиксажем и покачивал взад-вперед – томил, закрепляя в вечности.

Включил свет, чтобы рассмотреть первый снимок. На нем вся группа склонилась к медиуму, чьи голова и тело двигались во время выдержки и оказались в расфокусе. Ее абрис казался неопределенным в сравнении с резко очерченными силуэтами в той странной комнате – но во всех прочих отношениях это было совершенно заурядное изображение.

Второй снимок оказался совсем другим. Порошок вспышки застал всех присутствующих, как жертв взрыва. Все выказали ажитацию; в ответ на его призыв «СЕЙЧАС!» пожилая дама и женщина с лошадиным лицом уставились прямо в камеру. Их глаза размылись, белки светились с тревожным накалом. Староста Томас жестко отвернулся от объектива, глядя на медиума. Сама мадам Грезаш застыла столбом, вся в фокусе. В это время она говорила, и ее выражение скривили тиски ухмылки. Он передернулся, вспомнив абракадабру о мертвом ребенке, и вдруг отметил отличие в ее лице – смену формы, словно в нем родилось куда меньшее лицо: не с силой, но с рябящим наливом на коже. Его ужаснула эта мысль, но он не мог спорить с эффектом, пойманным вспышкой.

Мейбридж перетащил взгляд на третий отпечаток – очередной раскрытый затвор, поймавший комнату пятен. Он не помнил случайных движений, но, должно быть, стронул треногу или тряхнул объектив. Люди и сам стол стали гладкими и смягченными – словно разбавленными и расплывающимися по краям. Он отложил отпечаток,

чувствуя, как вкралось облегчение, пряча его изначальные недобрые предчувствия.

Тогда он увидел последнее изображение. В этот раз свет не напугал собравшихся, но их встревожило что-то еще; он вспомнил жалкий голос лондонской уличной женщины. Они неприязненно уставились на медиума, и вспышка поймала отвращение в их позах и раскрытых лицах. Мадам Грезаш смотрела прямо сквозь него, и от ее выражения стыла кровь в жилах; лицо медиума писали уже не жизнь и театр; ее черты и нюансы жестикуляции были украдены и заменены факсимиле из других времен. Магниевый ожог выгреб откуда-то подобие смертельного ужаса, который, в свою очередь, нацелил свои дрожющие сухожилия и безжалостный голод на Мейбриджа.

Тот в смятении отступил от стола с прямоугольными лотками. Неужели он сделал настоящую психическую фотографию? Неужели добился того, что остальные лишь подделывали? Трясущимися руками он поднял влажные листы из жидкости и развесил сушиться. Они уже изменились. Значительные, уникальные трансформации в лице медиума поблекли; теперь остался только домысел, вопрос толкования, не факта. Изображения мадам Грезаш стали нормальными размытыми фотографиями нормальной размытой женщины. Что же он в них углядел? Или ему все привиделось?

Он собрал негативы и разложил на стеклянном столике с подсветкой. Лица в противоположном цвете казались скелетными и козлиными, но без всяких очевидных признаков искажения. Он все больше впадал в недоумение: очевидно, на него дурно повлияло желание угодить Саре Винчестер; на краткий миг ее восприятие затуманило его наметанный глаз. Да, в сердце этого бессмысленного случая наверняка лежало только ее влияние. В его сумбурных мыслях забрезжил следующий день; Мейбриджа беспокоила презентация отпечатков. Ему нечего показать – вот тревога из-за этого знания и заставила разглядеть несоответствия в химической водичке, словно решения, которые он искал, лежали на дне стакана или в центре вращающегося зеркала. Он выключил свет и отвернулся от потемневшей комнаты, отправившись ко сну с отчаянным ощущением, что его опять недооценили и вдобавок еще каким-то необъяснимым образом надули.

Спалось скверно – из-за сна с постоянными пробуждениями. Подушки раздражали покой; простыни липли или выскользывали; мочевого пузыря стал единственным фактом, что подчинил и делил ночь.

Поднялся он слишком рано и сорвал высохшие фотоотпечатки с веревки, сунув в конверт и кожаную сумку. Он не оделся целиком и бродил с обнаженной и вялой нижней половиной. К девяти часам уже выбился из сил, но не смел ложиться. Внешний мир начал свой ход, и пора было к нему присоединиться.

Мейбридж умылся и оделся для встречи со вдовой Винчестер, безутешно прихорашиваясь у зеркала: если уж презентовать неудачу, то хотя бы с достоинством. Все равно это ее идея, сделать эти снимки, размышлял он в бесконечной поездке на экипаже; он сразу пытался объяснить, что тут не его область. Ко времени приезда он уже подготовил целую речь об истинной натуре фотографии и ее насущной важности в качестве научного инструмента. Ему не хотелось оскорблять пожилую даму или ее инфантильные убеждения; вдруг еще возможно убедить вдову профинансировать какой-нибудь стоящий проект, достойный его талантов и умений.

Его провели через сумрачные гладкие комнаты – всей своей свежей древесиной источавшие смолу, но отказывающиеся блеснуть, – в очередную приемную, где ожидала она. К его ужасу, Сара оказалась не одна: при ней стоял староста Томас, и его худошавая мрачная серьезность впитывала тот немногий свет, что скопился в комнате. Он взглянул на Мейбриджа с вежливым равнодушием, прикрывавшим, подозревал фотограф, клокочущее презрение. Глаза Сары опустились от нервного лица гостя к сумке в его нервных руках.

– Благодарю за срочность, мистер Мейбридж, – сказала она, щедро не упоминая тот факт, что он приехал на сорок минут раньше. – Надеюсь, ваше путешествие не было чересчур утомительным.

– Навестить вас всегда в удовольствие, мэм, и расстояния не имеют значения, – ответил он.

– Как видите, сегодня к нам присоединится староста Томас; он не меньше меня горит желанием увидеть ваши достижения.

Теперь на сумку смотрели все присутствующие. Пришло время для речи.

– Одни считают фотографию искусством, а другие – наукой, – начал Мейбридж. – Я убежден, что ее будущее лежит на их стыке. Благодаря новым камерам и проявочным процессам станет возможно уловить множество чудес природы и навечно удержать их для нашего изучения.

– Превосходно, – перебила она. – Я очень рада, что мы придерживаемся схожих мнений на тему фотографии и можем представить, как этим способом сойдутся чудеса обоих миров. – Вдова раскраснелась от ребяческой радости, и он увял от ее слепоты. – Прошу, можно теперь увидеть ваши снимки?

Она протянула руку. У него не осталось выбора и новых слов, так что он открыл сумку и достал конверт. Его забрал староста Томас и без промедления передал ей. Она извлекла отпечатки, выкладывая их на коленях.

– Не всегда возможно... – забормотал Мейбридж, но замер при виде выражения на ее лице.

Она перевернула первый отпечаток, чтобы увидеть следующий, и ее выражение усугубилось. Староста заглянул через плечо, и его лицо отразило ту же напряженность.

– Проявить третий снимок было сложнее всего, – слова Мейбриджа пали на глухие уши.

Глядя, как она сменяла изображение за изображением, он растерялся. Он не представлял, что у нее в голове. Казалось, ее лицо тасует изумление и шок, но явно не разочарование, которого он ожидал. Глаза увлажнились, в подвижных губах трепетали вздохи. Может, это был гнев? Она отложила отпечатки на колени и подняла голову.

– Мистер Мейбридж, я даже не представляла... – тихо начала Сара. – Я надеялась, что возможно хоть что-то, но это! Сперва мне показалось, что вы несколько сдержанны, несколько удивлены моей просьбой. Но это! – воскликнула она, касаясь отпечатков и уже не отнимая от них обеих рук. – Это выше всех моих самых дерзких ожиданий. Очевидно, вы человек значительных талантов.

Вдову снова захлестнули эмоции, староста тронул ее за рукав. Она поднялась и повернулась выйти из комнаты, крепко прижимая снимки к груди. Мейбридж поднялся вместе с ней, глядя, как ее слегка пошатывает на пути прочь, с надежной поддержкой встревоженного

старосты. У дверей она снова обернулась к Мейбриджу, беззвучно проговорив «спасибо», прежде чем оставить его одного в гулком пространстве своего ухода.

Он неловко стоял в странной комнате посреди пустого извилистого особняка, в полном замешательстве, мотаемый течениями противоречий. Он светился от ее слов, но был испепелен их смыслом. Там же не было ничего, кроме недодержки и размытых дураков за столом. Могла ли она увидеть то же, что видел сперва он? Разделяла ли ту же простодушную иллюзию – или разглядела больше?

Он закрыл пустую сумку и направился в коридор; там его встретил швейцар и препроводил на улицу. Дверь крепко закрылась за спиной. Ветерок подхватил и встряхнул почки на деревьях. Весна пришла рано, и на новопостроенные улицы города вливалась старая энергия земли. В воздухе бродил зеленый аромат оптимизма, а Мейбридж стоял на веранде и глядел на мир с величественной ясностью. В его сердце ворошилась другая осень.

* * *

Мэри решила, что продолжительное отсутствие Маклиша – лишь следствие его все более непредсказуемого поведения. На миг она представила, что вдали от дома мужа удерживали раскаяние и стыд за то, что случилось в вечер ужина. Но эта теория недолго просуществовала в ее опытном разуме.

Она смаковала неожиданное одиночество, наслаждалась тихим пространством, впервые свободным от позерства и походки гоголем, от бесконечных звуков, которые издают мужчины, чтобы убедить себя и остальных в необходимости и многотрудности их присутствия.

Она задумалась о будущем их ребенка. Из нее выйдет хорошая мать; она убережет ребенка от избытка неуклюжей любви или от диктаторских замашек, которые привнесет в младенческие годы муж. Она все еще надеялась, вопреки всем своим гложащим предчувствиям, что он станет хорошим отцом. Разве он не с радостью ждал рождения? Маклиш уже старался ее поддержать, когда первый ребенок родился мертвым. Разве не дал он доктору Хоффману исследовать несчастного малыша, чтобы понять, что пошло не так? Она убедила себя, что

Уильям изменится, когда семья прирастет. В конце концов, теперь они сильнее: они копят деньги; они обеспечены домом и работой; сам он становится значительной персоной.

В приближающейся ночи Мэри засветила лампу на кухне и взялась за готовку. Ночь выдалась примечательно темная – одна только изогнутая долька луны освещала позднему гостю дорогу в их дом. Ее глаза то и дело тянуло к окну в ожидании увидеть, как муж в любой момент поднимется на пригорок – силуэт на фоне свечения рабского барака и отражения того на заборе-рабице. Тогда-то ее осенило, почему сумрак столь необычно непроницаем: рабский барак излучал тьму. Его горбатая тень была совершенно черной. В тепло крови влились ледяные опасения. Она открыла заднюю дверь и нервно вышла в ночь. Двор казался неестественно неподвижным; одиночество стынущих углей окружала тишина. Мэри вернулась в уют дома и заперлась, дрожа, ходила внутри, пока не расшевелила воздух своими хлопотами, и дом перестал задерживать дыхание.

На следующее утро повар-китаец обнаружил, что рабский барак пуст; ночной сторож исчез, его стул – перевернут. За этим исключением тюрьма казалась заброшенной, словно в ней никогда никто не жил. Позже тем же днем нашли остывший поезд, но обширное расследование не обнаружило следов Маклиша и лимбоа: они растворились среди шепчущих деревьев.

Гильдия лесопромышленников немедленно приступила к поискам; об этом миссис Маклиш известил их представитель. Позже он сообщит, что сперва Мэри Маклиш казалась потрясенной, но, стоило тактично заверить, что ее не оставят без поддержки в случае любого несчастного происшествия с мужем, она перестала волноваться, даже пребывала в некоторой эйфории. Он спишет это на шок и добавит, что несчастную, несомненно, до глубины души поразили вести о пропаже супруга.

Они проискали неделю, но ничего не нашли; изучали возможность расширить зону поисков, но не желали углубляться в лес. Вдобавок к исчезновению лучшего бригадира вставала более насущная проблема поиска новой рабочей силы, и как можно быстрее. Многие бизнес-империи и дома во всем полагались на постоянную поставку

леса; коммерческая паника намного перевешивала озабоченность из-за пропавшего сотрудника и его племени бездушных безбожников.

Но когда исчез Хоффман, слухи разлетелись и раскаркались. Его рабочие отношения с Маклишем были хорошо известны, но не прояснены. Также уже годами поступали жалобы и сообщения в связи с поведением выдающегося врача. Их заматали под ковер, иногда от обвинений откупались, а большую часть давили угрозой. В его отсутствие все это начало всплывать.

Когда офицеры Гражданской гвардии взялись изучать дела доктора и переворачивать самые подозрительные камни и бугристые ковры, на его репутацию обрушился сель инсинуаций. Гвардейцы обыскали дом и лабораторию, обнаруживая уже не слухи, а факты, затем бросили обыск на половине дела, запечатали помещение и убралась с посережившими лицами. Для продолжения расследования выписали патологоанатомов из-за границы; выводы так и не были обнародованы. Гильдия лесопромышленников впитывала прегрешения своих, даже когда среди них были преступная халатность, незаконные эксперименты и преступления. Всё замяли и разгладили, приглушили пачками денег или закупорили дорожным несчастным случаем; идеальные подчистка и очищение с идеальной симметрией.

* * *

Древняя черная рука светилась в мерцающем свете костерка, а ее татуировки спиралей и солнечных колес крутились, когда она пересекла круглую поляну в лесу. Она миновала двух человек, сидевших у огня, и долго шептала в танцующих тенях, поглаживая щеку внука, прежде чем исчезнуть из круга в ночь.

Цунгали открыл глаза. Деревья содрогались и скакали в пламени костра; мир казался нестабильным и невесомым. Должно быть, это уже тот свет, решил он, приготовившись к расплате. Потом увидел Укулипсу, лежащую на зыбкой земле подле его волшебного мешочка; патронташ, крис и другие вещи тоже были поблизости. Он протянул к ним руку, но ничего не произошло – лишь мучительная боль. Он посмотрел туда, где должна была лежать ладонь, но ничего не увидел; от руки осталась культя, от плеча до локтя. Его замутило, он громко

застонал. От костра встал и подошел один из людей. Он наклонился и поднял Укулипсу за лямку; винтовка развалилась, заболтались две ее половинки. С места, где лежал Цунгали, она походила на убитую птицу, безмолвно повисшую в руке. Человек подошел и бросил ее рядом с калекой.

– Ты должен был умереть, – сказал Уильямс. – Ты это заслужил.

Цунгали уставился в лицо, сделанное из теней и отсветов костра; это был он.

– Моя пуля попала тебе в руку, когда ты бросился на нас. Она отняла тебе ладонь и предплечье, сломала «Энфилд». Предназначалась она для твоей груди. Ты очень везучий человек.

Тот же самый голос. Как такое возможно? Цунгали метался на грани веры, его разбитое тело было не в силах выдержать подобное откровение.

– Одиноуильямсов, – прошептал он осоловело, прежде чем провалиться в яму бушующего черного грома.

Очнулся он уже в другом месте; его переместили в тень и сменили повязку. Уильямс сидел рядом, попивая из жестяной кружки. То создание спало. Не оборачиваясь, Уильямс заговорил.

– Ты знаешь меня?

Раненый попытался ответить, но его горло забило пылью. После паузы Уильямс обернулся. Увидев потуги, налил в чашку воды и поднес к растрескавшимся губам Цунгали. Тот выпил и смыл паутину с голоса.

– Почему ты оставил мне жизнь? – просипел он.

– Я бы отстрелил тебе напрочь голову, но меня остановил он, – показал Уильямс на циклопа.

– Что он такое? – слабо спросил Цунгали.

– Измаил? Что-то из старого мира, что-то, чего никогда не существовало на самом деле. Он уникален.

Уильямс забрал чашку и наполнил заново, отпил и передал назад, снова всмотревшись в лицо Цунгали.

– А теперь о твоих словах, – его тон заострился до лезвия. – Как ты меня назвал?

– Я назвал тебя Одиноуильямсов. Ты знал меня, когда я был молод; эта винтовка принадлежала тебе, – он показал на жалкий остов

переломленной Укулипсы. – Ты был избран выжить святой Ирринипесте, дочерью Былых, и я верю, что она изменила тебя навсегда.

Он договорил и слегка обмяк – страх и измор точили его силу.

Уильямс был совершенно неподвижен; казалось, он недоумевал.

– Если это правда, почему ты так старался меня убить?

– Я не знал, что ты – это ты, пока не стало поздно. Я работал на твоих старых хозяев; они считали тебя давно погибшим. Потом дошли вести, что ты вернешься из прибрежных земель. Они не хотели твоего возвращения. Не хотели, чтобы ты свободно разгуливал после стольких лет и заново разжигал старые огни.

Уильямс не мог сочетать слова с образами, но глубина его понимания принимала их за правду.

– Ты намерен завершить свое дело?

Цунгали устало покачал головой.

Уильямс встал и медленно подошел к Измаилу, которого разбудил их разговор. Его слух, спрятавшийся в постоянном звоне с тех пор, как над головой прогремел пистолет, почти вернулся.

– Не знаю, кто из нас троих больший уродец, – сказал Уильямс, забирая лук и колчан. – Я вернусь через час. Не волнуйся о нем. Он никуда не денется.

Уильямс ушел из лагеря – три глаза были прикованы к его исчезающей фигуре.

Шли долгие нерешительные минуты. Наконец Измаил обратился к раненому.

– Я подойду поговорить с тобой, не бойся!

Черный бессильно махнул рукой, обозначая понимание и согласие.

Циклоп присел рядом так, чтобы его лицо не шокировало, но сам он видел чужие движения. Он не страшился раненого – ведь был и причиной его падения, и спасителем. Измаил выкупил охотника между жизнью и смертью, и теперь сила была на его стороне – незнакомая и живительная, из неизвестного ему источника, но тем не менее очевидная: этот человек принадлежал ему. Тогда Измаил взглянул на тропинку с Эсте в руках – и этот человек поскользнулся и запнулся. Лук и око вошли во взаимодействие, которое спасло их жизни. Теперь

что-то подсказывало ему пощадить – или, вернее, спасти этого человека; тому была причина.

– Почему ты преследовал меня? – спросил он тихо.

– Я охотился не за тобой; я искал только Лучника.

– Но ты бы меня убил, не останови я тебя?

Цунгали нерешительно взглянул на профиль вопрошающего и слабо кивнул.

– И ты знаешь, что это я остановил тебя?

Цунгали снова кивнул и задрожал.

– А знаешь ли ты, что это я спас твою никчемную жизнь?

И снова тот кивнул, с навернувшимися слезами и великой ношей на сердце.

Циклоп опустил лицо и заглянул в глаза своего подчиненного; великая страсть поднялась из груди и налилась в нем.

– Ты мой! – прогремел он. Голос был властным и чужим ему, рожденным из уверенности и ненависти; охотник съезжился под приказом, пробудив в Измаиле какой-то другой инстинкт; на толику циклоп смягчил голос. – Что ты для меня сделаешь? – спросил он.

Цунгали кивнул, показывая на кучу конфискованных вещей; он как будто лишился дара речи. Измаил встал и подошел к маленькой горке. Поднимал каждый предмет по одному, пока Цунгали не подал знак, что найден нужный. В руках Измаила был увесистый пояс из коричневой кожи с нанизанными мешочками и распухшими карманами. Циклоп подозрительно изучил его, прежде чем вернуться к лежащему. Он заглянул в душу человека, потом черство кинул ремень ему на тело. Пряжка пришлась на культю, и Цунгали свернулся в судороге. Измаил молча наблюдал, желая, чтобы корчи унялись, в то время как развивающаяся его частица упивалась агонией.

В конце концов, как только пульсация в плече вернулась к почти выносимому ритму, Цунгали пошарил в мешочках единственной рукой. Достал маленький невидимый предмет и протянул в слабо сжатом кулаке. Измаил искал признаки вероломства, но знал, что их не будет. Трясущаяся рука медленно раскрылась, ладонью вверх, разоблачив травяной шарик. Из плетеной клетки таращился глаз, пристально сосредоточившись на новом владельце.

Уильямс пустил стрелу вертикально, через зеленые тени в яркое небо; так он сделал не для того, чтобы справиться у нее о направлении – по крайней мере, не в физической реальности. Эсте изменилась, и изменилась его память о ней; больше они не были единым телом. В разлуке не было боли; просто словно стерся невидимый кровоток, с которым они однажды разделяли все. Бьющиеся вены и поющие капилляры, что влекли каждое отражение и нюанс их мира, исчезли; поток между ними, делавший из разумов и тел одну душу, прервался где-то в Ворре. Ныне не существовало даже воспоминания об этом переливании, сообщении между ними. Из одного стало два: человек и лук.

Он больше не сможет вернуться к тому, что забыл, и понял, что дальше по дороге должно идти одному. В лагерь он вернулся разобранным и прозревшим, чуя новый ветер в тесных, полувсхлипывающих легких.

– Его зовут Цунгали, отныне он будет моим слугой, – сказал Измаил хмурому Уильямсу, который, хотя и удивился повороту событий в его отсутствие, равно настроился на свою собственную смену курса.

– Я знаю, кто он. Можешь взять его себе.

Если Измаил и заметил отстраненность в голосе друга, то не показал этого.

– Он знает шамана, который сумеет переделать мое лицо; он согласился отвести нас к нему.

Уильямс бесстрастно хмыкнул и начал собирать свои вещи.

– Что ты делаешь? – спросил Измаил.

– У меня есть другие дела. Твоей ноге уже лучше, и теперь за тобой может присмотреть раб, – при слове «раб» поморщились все, включая говорившего.

– Куда ты пойдешь?

Уильямс помолчал, пока на его лице устало играли эмоции.

– Прочь из этого проклятого леса.

Они затихли и замерли, задумавшись над своим положением в новом порядке вещей.

– Может быть, насквозь, на другую сторону, – сказал наконец Уильямс, нарушив молчание.

– Если пойдешь дальше, он отнимет твою память, – произнес Цунгали свою первую незваную фразу.

– Какую память? – пожал плечами Уильямс. – Ты знаешь обо мне больше, чем знаю я сам. – Он отвернулся от вопросов и наклонился за одеялом, бросив его рядом с растущим свертком пожитков.

Оставшийся день прошел без разговоров. Когда приблизился вечер, Уильямс собрал вещи и перенес в другое место в лесу. Измаил решил, что друг отбудет на рассвете, и сготовил простую трапезу, как видел у других. Разжег костер, вскипятил воду и подождал. Они с Цунгали проголодались и ковыряли еду. Лук покоился у ближайшего дерева, колчан висел на низких ветках: Уильямс не мог уйти далеко. Но к ночи спокойствие циклопа сменилось тревогой, аппетит ускользнул, когда в живот вползла истина: англичанин ушел насовсем. Лук остался у мерцающего дерева, а его создатель безмолвно удалился в обволакивающую ночь.

* * *

Колокола собора топили город в глубине и полифонии, когда Сирена прочла об исчезновении Маклиша и Хоффмана.

Меряя шагами комнату в такт звону, она пыталась сдерживать улыбку, зная, что все это как-то связано с их поисками Измаила. Она чувствовала ответственность и в то же время восторженность. Ее не заботили эти люди, но последствия таких знаменательных событий имели свой вес, стронувший ее душевное равновесие, вызвавший трепет в ребрах и погнавший табун мыслей. Добыча рядом. Пропало огромное препятствие; с их уходом смыт ее стыд. Она позвонила Мире и просила передать шоферу как можно скорее готовить машину. Она собиралась к госпоже Тульп.

Через пятнадцать минут они мурчали по улицам – соборные колокола еще звенели, когда автомобиль проехал под двойным шпилем. Она выгнула шею, чтобы увидеть серебряный мост, и рассмеялась вслух. Шофер бросил на нее взгляд в зеркало, и она взяла улыбку под контроль. Негоже так очевидно радоваться злосчастью этих мерзавцев. Но на самом деле дух воспарял не от их исчезновения, а от ее воссоединения со своей частичкой – частичкой, запертой их

действиями и отношением; Сирена почти забыла, что та заточена, пока она не вылетела из шуршащих страниц отброшенной газеты.

Когда они добрались до дома номер четыре по Кюлер-Бруннен, Сирена уже вернула самообладание. Резко постучала в ворота и услышала шарканье на той стороне. Снова постучала. Даже тоскливый слуга не подмочит ее энтузиазм.

Муттер приоткрыл ворота на несколько дюймов и зыркнул на нее.

– Ну, открывай же, ради бога, впускай меня!

Муттер нехотя отодвинул тяжелую створку и отошел.

– Другое дело, – сказала она, просяив широкому человеку, который как будто закусил липкое и узловатое слово. – Теперь поди и скажи своей госпоже, что я приехала, – приказала она.

Он как-то странно махнул рукой, а его глаза будто катались во все стороны, словно он пытался охватить периферийным зрением весь двор.

– Прошу подождать внутри, мадам, – сказал Муттер в припадке непревзойденной вежливости.

Ее застала врасплох столь примечательная перемена в отношении, и она позволила быстро проводить себя по мощеному двору подальше от конюшни, в дом. Он оставил ее в приемной и отправился на поиски Гертруды. Сирена возрадовалась, что Муттер так славно подчинился ее твердой, но вежливой команде: все же он не совсем безнадежен.

Через несколько минут дверь беззвучно открылась, и в палевую комнату ввернулась Гертруда. Она изменилась. Сирена сразу подумала, что подруга стала старше с их последней встречи, словно бы крупнее, хотя это было невозможно. И все же оттенок ее кожи тоже как будто отличался от того, что она помнила. Новые глаза Сирены еще оставались голодны до деталей, пусть даже остальной разум находил их слишком назойливыми.

– Дорогая моя, как ты? – спросила она, отбрасывая сомнения, чтобы поприветствовать подругу со всем теплом и удовольствием, которые чувствовала несмотря ни на что.

– Очень хорошо, спасибо, Сирена, а как ты? – ответила Гертруда, и ее новые слова разоблачили многое – стало зримо, что она чувствует себя как угодно, только не хорошо. Скорость, с которой она вежливо сменила направленность внимания, показалась чересчур вежливой, и Сирена заподозрила, что ее присутствие не слишком уж желанно. Она

быстро прошла по комнате и мягким жестом схватила руку подруги. Заметила дрожь; невольную и моментальную, но дрожь. Сирена все равно удержала руку, содрогнувшись от ее холодности.

– Дорогая, да ты вся ледяная!

Она мгновенно поднесла тепло второй руки, чтобы сжать холодную ладонь в пригоршне. Гертруда отвернулась. Озабоченность Сирены росла; от врожденного напора, столь определявшего характер Гертруды, не осталось и следа: что бы ни случилось, это было серьезно.

– Что такое, Гертруда? – спросила Сирена солидным заботливым тоном.

Она снова почувствовала движение в тепле своей хватки. В этот раз не дрожь, а миниатюрную потугу вырваться.

– Гертруда? Ответ. Ты же знаешь, что можешь мне доверять.

Гертруда вывернула руку и уставилась на Сирену с выражением, какого не узнал никто из присутствующих.

– Не говори со мной как с ребенком!

Сирена почувствовала пощечину слов по лицу и раскрыла глаза, лишившись дара речи.

– У нас серьезные проблемы, а ты притворяешься, что ничего не случилось?! Впархиваешь, будто никаких ужасов не бывало. Смеешься, а я не могу даже улыбнуться! – Гертруда боролась со слезами, стискивая трясущиеся кулаки. – Я не могу заснуть; я все вижу тех людей и этого ужасного монстра. Измаил пропал, а нас втянули в самую пучину страшного преступления!

Девушку мгновенно пересилил бурный поток ранее сдерживаемых чувств. Он извергся всхлипами и содроганиями, а ее поза и речь провалились в неуправляемые влажные конвульсии. Сирена подвела Гертруду к софе, где та поддалась смятению и рыдала, пока в ней ничего не осталось. Растущий вес тела перемежало тихое шмыганье, с которым она засыпала в руках подруги.

Сирена оставалась совершенно неподвижна, чтобы не разбудить Гертруду из глубины столь живительного отдыха; ту вывернуло наизнанку утомительным приступом, но сон по своему плоскому спокойному окончанию преобразит девушку. Они обе вымокли от ее слез; блузка Сирены холодно липла к груди, где покоилась Гертруда.

Из своего поневоле неподвижного положения Сирена оглядела комнату, позволив разуму перебрать их совместные приключения. Почему Гертруда проронила слово «преступления»? Ничто из их поступков нельзя назвать преступлением; общение с этими сомнительными молодчиками было тайным, но не преступным: она заплатила за их услуги, которые на поверку оказались хуже чем бесполезными. Она слегка подвинулась, чтобы переместить вес; спящая издала тихий стон. Сирена погладила подругу по голове и вернулась на место. Она продолжала небрежный осмотр комнаты, стараясь смягчить растущее неудобство и отвлечься от иголок, впивающихся в ноги.

Иногда ей казалось, что ее пытливые глаза живут своей собственной жизнью; их взгляд постоянно витал и опускался на вещи, чтобы охватить их формы и смысл. Он всматривался в спутанный сад персидского ковра, воображая разнообразных арабесковых существ, что в нем прячутся. Оглаживал изогнутые ножки темного кресла из красного дерева и плавно скатывался по его атласной подушке. Заметил низкую тень, залегшую за креслом, мазнул по яркой латуни каминной решетки, затем быстро метнулся обратно к тени, чтобы пристальнее ее изучить.

Должно быть, это вызвало шок узнавания, так как Гертруду что-то разбудило. Она вздрогнула и вздернулась, осознав свое неловкое положение. Заспанно стирая слюну с лица, заметила ее тонкие следы на блузке Сирены.

– О, о, мне так жаль! – выпалила она. – Прошу, прости меня, это безобразие.

Она быстро вскочила и пошатнулась, все еще разбалансированная после прильнувшего сна и его липкой паутины несформировавшихся образов. Сирена уже была на ногах, готовая к падению, расставив руки. Но Гертруда выправилась и посмотрела на подругу, сжав обе ее руки в своих. Гертруда вернулась, надежно закрепилась в старой доброй себе.

– Должно быть, ты считаешь меня такой дурочкой! Как я могу надеяться это загладить? Мне так жаль – я не спала три ночи и мои нервы истрепались вконец. – Она снова заметила смятую и сырую блузку Сирены и собственный неприглядный вид. – Прошу, прости. Ты была мне дорогой подругой, а я так ужасно за это отплатила. Я найду

тебе что-нибудь теплое и разведу огонь; здесь холодно, мы почти не пользуемся этой комнатой, – она хлопотала, суежилась и лебезила по дороге к двери. – Один момент, пожалуйста, устраивайся удобнее, мы затопим камин.

И тут же ушла. Сирена дождалась тишины, потом быстро прошла по комнате и нашла саквояж, таившийся за креслом.

Через несколько минут Гертруда вернулась с капотом и подносом, где стояла бутылка теплого молока с добавкой рома. За ней следовал Муттер с растопкой и дровами. Сирена уже вернулась на свое место, но цвет ее лица изменился; она смертельно побледнела, улыбка была накинута на сжатые зубы. Занятая хозяйка не заметила перемену в подруге; слишком уж увлеклась камином и сервировкой напитков. Гертруда предложила промокшей гостье войти в капот на полу, подняла его с улыбкой и взмахом, словно внезапно повеселевший матадор. Сирена облачилась в платье, и они сели вместе с согревающим питьем перед пышущим огнем. Муттер ушел, не сказав ни слова, но бросив многозначительный взгляд на Гертруду, который, как они верили, Сирена не видела.

– Сирена, прошу простить мое возмутительное поведение. Я очень устала и не вполне здорова.

– Мне надо было заранее известить о визите – кажется, я застала тебя врасплох, – сказала Сирена, делая глоток.

– Нет-нет, ты всегда желанный гость. Теперь расскажи, что ты поделываешь.

Сирена оказалась не готова к смене темы, но на миг сделала поблажку подруге.

– Ах, то да се, пытаюсь найти новую цель в жизни.

Гертруда озадаченно подняла бровь и склонила голову.

– Ты слышала о Хоффмане? – пустила пробный шар Сирена.

– Ах да, он исчез, верно?

– С лица земли.

Гертруда немедля отошла от темы, хотя и недалеко – всего лишь к невезучему соучастнику Хоффмана.

– А что с другим? С Маклишем?

– Да, судя по всему, и он тоже.

Они одновременно отставили стаканы, словно обозначая конец трудного разговора.

– Мне кажется, я снова должна извиниться, – сказала Гертруда.

– За то, что мне не доверишь? – сказала Сирена, изготавливаясь к удару.

– Ну, нет, я имела в виду...

– Я знаю, что ты имела в виду. И знаю, что тебя беспокоит, – перебила старшая дама.

– Мне просто нехорошо, – пробормотала Гертруда.

– Не ври мне! Я заслуживаю большего, – ответила Сирена, повышая голос и сменяя тембр. – Я в самом деле твоя подруга; теперь расскажи мне правду!

Гертруда безмолвствовала.

– Гертруда, скажи правду; я уже знаю, что ты скрываешь.

– Это... очень трудно сказать, – мягко ответила Гертруда.

Сирена молча смотрела на нее темными и требовательными глазами. Она не отступится.

– Ну что же, – Гертруда вздохнула. – Я беременна.

* * *

Двое раненых выбрались из Ворра на остров, где обитал Небсуил. Воспользоваться спрятанной лодкой Цунгали было невозможно; циклоп оказался слишком пугливым и слабым, чтобы доверять ему на течениях, а для гребца с одной рукой судно бесполезно. И они двинулись пешком, снова через владения чудовищ.

Измаил нес лук; тот не покидал его рук с тех пор, как они поняли, что Уильямс ушел. Лук вворачивался в него день и ночь, пробуравиваясь в завтрашний день, проводя кровавый след по всем картам его возможного будущего. Циклоп еще не смел им пользоваться, опасаясь влечения его силы в момент натяжения и ожидания спуска. Эта его девственная частичка, словно ребенок, пряталась от полного масштаба и последствий подобного поступка. Измаил держал лук перед собой в пути сквозь Ворр, и лес понял новое употребление смысла лука. К ним не смело приблизиться ни единое существо, и всю дорогу они встречали лишь приглушенную тишину. Птицы завязали клюв;

животные прикусили язык; насекомые застыли, а антропофаги игнорировали их продвижение. Тишина заразила шествие, отчего оно смущало и разъяряло Измаила – у него накопилось множество вопросов к новому слуге, но, что бы он ни говорил, ничто не доставалось ответа.

Боль усилила размышления Цунгали: циклоп как будто ничего не знал о мире. Как можно хотя бы начать объяснять их совместную историю с Однимизуильямсов; свое детство; как они с дедом оказались под стеклом в чужом мире; трагедию Имущественных войн? Слишком много слов и слишком мало общего опыта; лучше помалкивать и сконцентрироваться, не отвлекаться от дороги и добраться до лекаря так быстро, как только позволяли их раны.

Измаил скучал по Уильямсу, скучал по его юмору и защите. В нем было тепло, какого у татуированного убийцы, путешествующего теперь с ним бок о бок, не будет никогда. Старый негр отказывался отвечать даже на простейшие вопросы, пока они пробирались через подлесок. Измаил начал подумывать, что принял неверное решение. Нужно было держаться друга, а не позволять ему так печально уйти. Он начал осознавать, что оснований доверять новому компаньону было немного; его обещание нового лица могло стать ложью или приманкой – Измаил мог следовать за ним на смерть или того хуже. Почему он так скоропалительно принял повиновение этого человека? Измаил видел, что Цунгали его боится, но не понимал полнейшего раболепия, когда он держал в руках лук. Циклоп предполагал, что дело в некоем примитивном суеверии, и размышлял, как применить его себе на пользу. Задумался, нельзя ли им воспользоваться, чтобы добиться столь вожделенных ответов. Он переложил лук из руки в руку и дотронулся его кончиком до спины Цунгали.

– Расскажи о своем шамане, – сказал он.

Эффект был мгновенным и неприкрытым. Старый убийца упал на колени, воздев целую руку в жесте поражения; Измаил обошел его, приглядываясь к лицу дрожащего человека.

– Да, да, я скажу все, да! – протараторил наемник в быстрой задыхающейся капитуляции.

– Тогда рассказывай – что он может?

– Он может сделать тебе лицо – сделать, как у других; он может вложить мой живой глаз, сделать два глаза, как у других. Он может

многое – сделать новую руку, в прошлый раз сделал челюсть, заделал рану. Люди говорят, он играет со смертью, так что сделать лицо ему – раз плюнуть, – Цунгали пыхтел словами, как бегущий пес.

– Зачем ему это делать для меня? – спросил с подозрением Измаил.

– Из-за лука – он сделает все для лука, что скажет лук, – пролепетал в ответ охотник.

Измаил сел на землю и сжал оружие, поворачивая в руках. Еще целый час он допрашивал своего раба обо всем на свете. Дрожащий человек давал залпы ответов. Не все были понятны, зато Измаил построил представление о своем слуге, о том, что ему известно и к чему его можно применить. Услышав достаточно, он встал и показал вперед, и лопотавший повел их дальше.

Былые наблюдали за пиком и развязкой выступления. Они подкрались поближе, держась в тени; постепенно, с медленным разгоном великой мудрости, увидели лук. Его сущность накопилась в них, как осадок из песка составляет гору, крупица за крупицей, пока не занимает весь ландшафт. Они не ведали о присутствии лука в лесу, пока его сжимал белый. Теперь, в руках циклопа, тот вещал о своем присутствии далеко и громко. Они отвернулись и ушли на мучительно неторопливой скорости как можно дальше. Традиционных укрытий тут было мало; они разделились и нашли себе собственные места, куда зарыться, разбрасывая упрямую землю и коренья. Теперь уже всё знало, что лук здесь, и они копали норы, напоминающие могилы, заползали и забрасывались кучами почвы и листвы. Так, сокрытыми, Былые лежали неподвижно, ожидая сна; надеясь избежать двусмысленности грез, чей аромат прельстительнее всего для высших зверей и других, еще более сложных сущностей.

Небсуил скрыл потрясение, заведев на пороге Цунгали. Он был до того изумлен, что едва ли заметил в тени охотника его спутника, затаившегося в капюшоне и шарфе. Он пустил гостей в свою тесную мастерскую – библиотеку предметов, бутилированных и развешенных, разложенных и расставленных, вареных, хаотичных и живых: огромную коллекцию фрагментированных животных, овощей и

минералов со всего света. Жестом пригласил сесть и попросил поведать свою историю.

Цунгали рассказал о своих исканиях и о том, как они изменились. Сказал об Одномизуильямсов кое-что, но не все. Рассказал о демонах и представил Измаила, который тайком начал разворачивать шарф у лица.

– Мы пришли к тебе за помощью. Я снова ранен, а моему хозяину нужно внести правку, – объяснил Цунгали.

– Хозяину?

– Да, хозяину.

– Правку? – спросил Небсуил, как незнакомец, пробуящий слова на незнакомом языке.

– Ему нужно новое лицо.

Небсуил развернулся ко второму. Уставился прямо в лицо циклопа, и странный блеск обуял его взор. Измаил смотрел настороженно, не понимая этой необычной реакции; сомнения его не продлились долго.

– Чудесно! – вскричал целитель, не в силах сдержаться. – Никогда не думал, что встречу живого. ТЫ РАЗГОВАРИВАЕШЬ? – харкнул он вопросом, явно ожидая ответ в духе какого-либо безмозглого существа.

– Да, но не на искалеченном языке твоей родной страны.

– Клянусь живыми богами, он разумен! – провозгласил Небсуил, хлопая в ладоши со сладостной ухмылкой на просиявшем лице. – Простите мою грубость, юный мастер, я не желал вас задеть; просто я потрясен вашей уникальностью. Прошу, позвольте угостить вас обеих едой и питьем – ваш путь наверняка был изнурителен. – Он быстро повернулся, оставляя в атмосфере у их голой кожи осадок чего-то сырого и голодного. У Измаила зашевелились волосы на затылке. Он не умел сказать почему, но ему не нравился этот человек; у него были повадки и облик шакала, причем шакала мудрее и сложнее любого человека, кого Измаил встречал до сих пор. Но то был грациозный шакал, а живот побуждал продлить кредит доверия еще ненадолго.

Они ели и пили, орошая пересохшие глотки свежей водицей. Их хозяин раскрыл бутылку вина из самого Дамаска – откуда, как объяснил Небсуил, пришли его предки. Пращуры Знахаря прибыли сотни лет назад для ловли тучных стай рабов, построив сети коммуникаций, что вели во всех направлениях и во все края.

Экзотические предметы в этой комнате и то же вино все еще путешествовали по постепенно пересыхающим маршрутам.

– Расскажи о своем доме и происхождении, – попросил он Измаила.

– На данный момент они мне неизвестны, – с сожалением ответил циклоп. – Неизвестны совершенно.

– А, но ты желаешь узнать?

Измаил насторожился.

– Желая, – ответил он, не зная, что можно открыть без вреда для себя.

– Берегись, редкий; происхождение неисповедимо. Есть узлы и причины, изгибы и чужаки, которых порою лучше не встречать. Камни, что лучше не переворачивать. Особенно у такого, как ты.

Это казалось искренним предупреждением от сердца, и Измаил потеплел к шаману: возможно, он только волк, а вовсе не шакал? И все равно Измаил дичился речей о Родичах или Гертруде; инстинкт велел прятать их подальше от неопределенности незнакомцев.

Беседа продолжалась, и они заговорили о труде Измаила. Старый воин обещал Небсуилу трофеем дороже всех богатств и что целитель найдет время с этим трофеем богатой платой за его умения. Они посмеялись по поводу возможности подобного сокровища; вино помогло смягчить течение беседы.

Цунгали с превеликой осторожностью достал глаз, снимая травинки и пыль с его скользкой поверхности, и расчистил место на столе для ближайшего изучения. Небсуил поднес увеличительное стекло и направил на сокровище лампу.

– Ты принес очередное чудо, – подивился он. – Что за находка, что за находка!

Он притих, вновь склонившись к изучению невозможного. Вот новая версия того, что он ценил превыше всего – очередная демонстрация, что мир непостижим, а его ресурсы неисчерпаемы, бесконечно таинственны и вечно изменчивы. Его знакомство с анатомией и волшебной хирургией обещало постоянное изумление, но это стало новым пиком удивления: человеческий глаз, дееспособный после отделения от крови и защитного окружения остального тела. Что его питало? Что позволяло работать так неистово, когда управлявший им оптический нерв так решительно отсечен от мозга? Словно без

конца и без толку ходящее ведро, лишенное колодца. Он обернулся к Цунгали в упоении.

– Ты знаешь, что две мои единственные цены – предметы прикладные и предметы увлекательные.

Цунгали ухмыльнулся щербинами зубов.

– Ты принес мне две награды от знания и увлечения; теперь я весь к твоим услугам. Что я могу сделать?

Они обсудили руку охотника, пока Знахарь вдумчиво тыкал в перевязанную культу, а комнату наполняло жужжание мысленных расчетов. Но при словах о лице Измаила его собственное лицо помрачнело.

– Нет, – сказал Небсуил безоговорочно. – Подобная уникальность неприкасаема. На что тебе выглядеть так же, как остальные?

– Потому что я хочу стать собой и прожить свою жизнь человеком, а не чудовищем. Я хочу, чтобы люди забыли меня как меня и не судили за то, как я сделан.

Небсуил помолчал, чтобы переварить услышанное, затем сказал:

– Но хочешь ли ты быть с теми, кто видит тебя неверно?

– А есть ли другие?

– Я таких знаю.

Измаил напрягся при этом предложении.

– Нет, я хочу вернуться изменившимся.

Небсуил издал щелкающий, сглатывающий звук и вернулся к кувшину вина, качая головой. Измаил и Цунгали сидели молча, не глядя друг на друга, а вперившись глазами в питье. Прошло слишком много времени, прежде чем Цунгали наконец выпалил:

– Ну? Ты сделаешь? Проведешь операцию?

Ответа не было. Знахарь посуровел. Цунгали посмотрел на Измаила и кивнул.

– Покажи ему, – сказал он, и Измаил с пониманием опустил голову.

Он вытянул из-под ног длинный толстый сверток и начал разворачивать. Сперва Небсуил не обращал внимания; он принял сверток незнакомца за спальник. Но чем больше слоев одеяла сходило, тем больший надрыв Знахарь чувствовал в своем солнечном сплетении. Он сыздавна знал, что это значит, но времени осмыслить или защититься не было: вещь циклопа разоблачилась. Когда отпал

последний слой, Небсуил вспотел, его сердце пересохло и затрепетало, в надсадной, липкой клетке ребер стряхнулась пыль. Он не верил глазам. Темно-бордовый цвет на поверхности лука как будто рябил и гнулся под его принужденным взглядом. Рука Измаила стала черной от натуги и секретий. Глаз покатился со своего безопасного места на столе, притянутый к луку и полу. Всё в комнате как будто изворачивалось и изгибалось, стремясь к Эсте в любопытстве, на полпути коверкавшемся в смятение. Измаил стащил лук с обозрения и накиннул одеяло, грубо задушив его воздействие покровом. Глаз остановился на самом краю стола; по пути он оцарапался об острое мюзле от брошенной пробки. Комната отползла обратно к инерции. Небсуил сел на свое место, пока Цунгали ухмылялся при виде превосходной демонстрации. В помещении повис жутковатый аромат: что-то от сплавленных вместе моря и экзотичного сада; щепотка аммиака, сперва пьянящая, а потом оборачивающаяся понюшкой мертвечины, словно воспоминание-пиявка, запертое и поджидающее во сне.

– Я сделаю все что угодно, – сказал Небсуил голосом, дошедшим из бесцветной дали, – все что хотите.

* * *

Птица привела в действие колокольчик прибытия, и изящный звук скользнул в нижнюю комнату, словно острая снежинка.

Сидрус не ожидал сообщений; речному устью не о чем было рассказывать. Он продолжал растирать липкий бальзам по пористому лицу. Колокольчик звякнул снова, и он соскреб жир с пальцев, чтобы они не скользили, пока он будет снимать свиток с сухой бьющейся лапки.

Послание, которое не должно было прийти, – послание, приправленное ошибочностью момента, когда Небсуил написал его в украденную паузу, представленную в виде дружелюбного пополнения вина. Оно рассказывало о его посетителях до того, как Знахарь понял, кто они, и узнал, чего они на самом деле хотели. Говорило оно просто:

Здесь Цунг с циклопом. Думаю, они убили Лучника и забрали его душу.

Сидрус выронил записку, чувствуя, как последствия холостят его и освобождают место для гнева, что закипел и полил через край. Сальный бальзам растопился и закапал с искривленного лица – без малейшего признака румянца. Когда внутренний жар улегся, он отобрал трость и снадобья, изучая оружие с отстранением смертоносного перфекциониста. Три дня займет путь до чумного острова Небсуила, еще где-то четыре – извлечение нужной меры боли из порочной мрази за подобное кощунство.

* * *

– Я не могу дать тебе идеальное естественное лицо, – объяснял Небсуил. – Похоже, в твоем черепе только одна глазница, так что придется проделать место для второй. Живой глаз будет вшит в складки искусственных мускулов и кожи, но останется без настоящего гнезда для работы. Он не будет вращаться; он останется слепым, но, я надеюсь, живым. И все же я не могу обещать и этого. То, что поддерживает в нем энергию, вне моего понимания и не имеет отношения к законам обычной анатомии. Я тревожусь за его стабильность. Если он умрет, то заразит присаженную плоть вокруг. Но пока он одушевлен и так же светел, как твой. Молюсь о том, чтобы он всегда выглядел так – бодрым и активным, а не как фальшивые глаза из стекла или кости с их вечно мертвым и сиротливым видом. Хорошая новость – твой рабочий глаз и его орбита смещены от центра, а значит, пространство между глазами покажется естественным, хотя и несколько близким, – шаман перевел дыхание, добавив: – Некоторые находят это привлекательным – многие европейские королевские семьи добивались подобного эффекта кровосмешением. Возможно, они даже признают тебя за своего!

Почувствовав, что его риторические пируэты происходят на очень тонком льду, он решил отступить на твердую почву хирургических деталей.

– Я создам тебе нос нормальных пропорций, чтобы разместить между глаз, пользуясь твоей маленькой картошкой как стартовой точкой. Это самая простая часть процедуры. Ты знал, что теперь хирурги лечат воинов, раненных в великой Европейской войне, теми же методами, какими я пользуюсь годами? Мне говорили, они торопят исцеление тканями от болезней и тинктурами из гниющей плесени. Мои талисманы и травы куда чище, но действуют дольше. Ты будешь немного похож на этих увечных воинов – на человека, который побывал в битве и с гордостью носит отметины своего героизма. Твое лицо будет казаться поврежденной версией человеческих лиц. Ты уверен, что хочешь этого, понимаешь, что я не могу найти для тебя другую альтернативу?

Измаил перевел взгляд от свертка, который теперь держал поближе, на врача, проследившего за взглядом и его смыслом. На этом разговор окончился.

Сперва Небсуил занялся Цунгали. О создании новой живой руки не шло и речи, но деревянная – с шарнирным локтем, привязанным к остаткам плеча, – была достижима.

Старый наемник казался разочарованным; он уже позволил себе вообразить функционирующую руку из плоти и кости, проникнутую магией. Небсуил объяснил, что если бы тот сохранил и принес с собой обрубок, то, возможно, он бы смог сымпровизировать что-то вроде слабой суставчатой клешни. Но деревянная версия будет только лучше, заверил он. Охотник сможет пользоваться разными моделями – с ногтями из слоновой кости и могущественной резьбой; внутри же можно прятать амулеты и оружие. Он сможет пользоваться версиями от других существ: из его рукава могут торчать лапы пумы и бивни кабана, его врага или жертву застанут врасплох орлиные когти и акульи зубы.

Старый воин потеплел к этой идее, но объяснил, что дни его наемничества прошли. Теперь его цель – служить Измаилу и применять насилие только на защиту хозяина. Это он обозначил очень четко, добавив, что, пока они оправляются, любые поползновения на их безопасность приведут и его самого, и лук в мстительное исступление, особенно если циклоп умрет. Небсуил уверял, что они

оба в безопасности, – не понимая, что из-за послания Сидрусу слово сдержать уже невозможно.

Пациент спал в дурманном море материнского молока, с конечностью, завернутой в слои листьев и мазей, больше похожих на сумку для ребенка, чем на повязку. Новая рука была грубовата, но отличалась некой деревенской брутальностью, которая восхитила Цунгали. Учитывая короткий период времени, предоставленный Небсуилу, чтобы ее выхолостить и вырезать, охотник почитал за везение, что получил что-то получше, чем присаженная на культю старая ножка стула.

Потом пришел черед Измаила, и он нервничал, даже после нескольких обезболивающих доз.

– Юный мастер, это твой последний шанс передумать, – умолял расплывающийся в глазах Небсуил. – Когда я начну, пути назад не будет.

Измаил в последний раз взглянул из лица циклопа – лица, что уже начало распадаться в собирающейся пелене. Его разговорная точка зрения падала далеко-далеко, съезживая шамана, чье собственное лицо мямлило тарабарщину.

– Делай. Делай! – сказал он и услышал, как его слова всплыли, с воркованием сели на закрывающемся оке, словно жирная безразличная птица.

* * *

– Когда срок? – спросила наконец Сирена.

– В августе, – сказала Гертруда смущенно. – По крайней мере, мне так кажется, но... похоже, он развивается быстрее.

– Карнавал? – спросила Сирена.

– Да, тогда он был зачат.

– Он – его?

– Я не знаю, я не могу быть уверена.

– Ты уединялась больше чем с одним?

– Да, – сказала Гертруда с дрожью стыда. Еще слишком рано назначать отца. В ее душе ворочалось крохотное чудище из студня и

пыталось обратиться утопленными стихами к кому угодно, кто мог быть его родителями.

– Ты можешь узнать? Существуют медицинские методы. Возможно, Хоффман?

Они встретились взглядами, и Сирена поняла, что хозяин уже не вернется за своим затаившимся саквояжем. Его собачье присутствие за креслом как будто на миг проснулось на имя хозяина. Сирена это почувствовала.

– Лучше избавься от него, – сказала она.

Гертруда одеревенела, думая, что речь по-прежнему о нерожденном ребенке, потом увидела, что подруга смотрит в другое место.

– От чего избавиться?

Сирена показала безвольным жестом, и Гертруда проследила за ее пальцем до тени. Поняв, о чем речь, скорчилась, не в силах сдержать озноба. Как будто под креслом осталась незамеченной голова доброго доктора, наблюдавшая за каждым их действием с самого своего отчленения.

Она рассказала Сирене все: об угрозах жизни; о его гневе; о разорванном жемчуге и мщении Муттера.

– Я защищу Зигмунда за то, что он сделал, чтобы спасти меня от этого злобного животного, – процедила она через стиснутую решительность. – Я защищу его от всего.

Подтекст был очевиден: либо Сирена в заговоре, либо вне; компромиссов не дано. Гертруда примет сторону Муттера против любого, включая собственную подругу.

– Со мной твоя тайна в безопасности, – ответила Сирена, и не кривила душой. Новая жизнь и старая смерть даровались в этой комнате в одностороннем порядке; она уже приняла участие и в том и в другом, и хотела приложить руку к итогу этой женщины. Во всяком случае, перспектива перейти дорогу бушующему Муттеру теперь казалась слишком страшной. – Я рада, что этот подлый человек вычеркнут из нашей жизни, – сказала она решительно. – Похоже, он получил по заслугам.

Гертруда кивнула, тревожно покусывая ногти. Сирену озарило, и она вопросительно взглянула на подругу.

– Что Муттер сделал с... останками?

Гертруда помолчала, впервые понимая, что не знает. Они ни разу не обсуждали ту ночь во всей полноте; она только благодарила слугу и поклялась в молчании – и этот пакт теперь нарушила.

– Не знаю, – созналась она. – Не говори ему, что знаешь, не говори, что я сказала!

Она снова впадала в отчаяние, а Сирене нужна была ее уверенность, не страх. Она взяла ее за руки, неотрывно глядя на тревожное лицо.

– Я сделаю все, что попросишь. Я с тобой до конца; в этом можешь мне верить. Мы оставим эти жуткие дела позади и встретим будущее вместе с твоим ребенком. Я помогу во всем.

И так, с куражом и дружбой, они воссоздали свои предыдущие недели. Закатали рукава и стерли все образы и пятна памяти, приставшие от их сношений с Хоффманом и Маклишем. Сожгли саквояж и спалили дни, где обретались монстры, унижения и насилие. В этой растущей радостной дружбе почти позабылся Исмаил.

Муттер следил за их ежедневным смехом, бесконечным прихорашиванием, перестановкой мебели, покупкой цветов, тесными обедами и ужинами, близостью; он знал, что раскрыт. Пришлой барыне известно о его преступлении, хоть она остроумно изображала неведение. Он начал приглядываться к ней, гадая, как избавиться от нее, когда придет время.

И все же блестящий и сверхактивный взгляд Сирены не упускал ничего; она видела, как за красными прожилками глаз старого слуги сплетаются прямодушные и коварные планы. Если не уладить это сейчас, скоро все навечно выйдет из-под ее контроля.

Гертруда отправилась за покупками, когда Сирена прибыла к воротам. Ее впустили и провели через мощный двор, где она встала ровно на том месте, где состоялась расправа над Хоффманом.

– Герр Муттер, мне кажется, нам нужно поговорить, – сказала она, взглянув сверху вниз на поджавшегося и настороженного человека. – Есть один большой секрет, – начала она, не обращая внимания на сомкнутые кулаки и упершиеся в землю башмаки. – Большой секрет, который вам следует знать. Я рассказываю потому, что знаю о вашей

преданности госпоже. В будущем нам пуще прежнего потребуеться ваша помощь, и потому я рассказываю – поскольку сама Гертруда слишком застенчива.

Муттер нахмурился и расслабился в своей атакующей стойке.

– Дело в том, что у вашей госпожи будет ребенок.

Он знал – почувствовал несколько дней назад. Учужал свечение, скрытое в молоке тепло. Его дом и жизнь переполнялись этим много лет. Он знал, но гнал эту мысль от себя как невозможную.

– О том известно только нам троим. С семьей она объяснится позже. Я понимаю, что это налагает на вас дополнительное бремя, и полагаю справедливым, чтобы все, что вы сделали и сделаете в будущем, было компенсировано.

Старый йомен не представлял, о чем она говорит: для него слово «компенсировано» было пустым набором звуков.

– Итак, герр Муттер, прошу, примите это за ваши старания.

Она отдала ему маленький матерчатый кошелек, который он взял с опаской, подержал в неуверенных руках.

– Откройте же – это для вас и вашей растущей семьи.

Он достал из кошелька документ, неловко развернул перед пустым взглядом. Вдруг она осознала, что он не умеет читать, и устыдилась собственного невежества; как она могла так оплошать?

– Боюсь, это довольно сложный юридический документ. По сути, это ваш дом. Купчая на ваш дом. Теперь он принадлежит вам и вашей семье, навсегда.

Муттер бессмысленно таращился на бумагу, пока к ней липли слова Сирены, с неудобной смесью изумления и недоверия. Он сомневался – вдруг это откуп, какой-то рычаг, чтобы сковырнуть его с должности. Но нет: отец всегда платил ренту Тульпам – как платил и сам Зигмунд, без конца и края. Его циничное сердце начало понимать, что на деле это дар. Дар за спасение Гертруды от того глупца. Дар свободы его детям и их детям. Он уставился на даму, сменив молчание на благоговейное онемение. Она улыбнулась ему из-за ярких облаков и сказала:

– Сегодня вам дается отгул, Зигмунд. Подите и расскажите своей доброй жене о новостях.

Она встрепенула рукой в сторону двери, и он медленно двинулся к ней, пятясь по-крабьи. Улыбка зародилась, когда он дошел до стены, и

росла с каждым шагом, что нес Муттера ближе к дому. Торопясь с прижатым к груди картузом, он не заметил Гертруду на другой стороне соборной площади.

Та вошла через боковую калитку и застала Сирену на дворе. Она с оторопью посмотрела на подругу.

– Я сейчас видела Муттера, который несся по улицам с самым безумным видом на лице.

Сирена просияла ей.

– Возможно, он счастлив?

– Я никогда его таким не видела – надеюсь, с ним все в порядке.

– Уверена, у него все замечательно, – ответила Сирена, открывая дверь в дом и приглашая подругу.

Муттер выбился из дыхания, когда добрался до дома. Он ввалился через узкую дверь, шумно зацепившись непослушным башмаком за косяк, соскребая с подошвы крошечные частички покойного доктора Хоффмана. От переполоха жена бросила все свои кухонные обязанности и поспешила взглянуть, что происходит.

– Зиги? В чем дело?

Он отложил картуз, все еще сжимая смятую бумагу и матерчатый мешок.

– Что стряслось? Ты как взмыленный вол, весь красный, что такое?

Он ничего не мог сказать между глотками воздуха, но его алое лицо выглядело так, словно в ту же минуту треснет. Он положил лист на обеденный стол, стоявший в фокусе всей комнатухи. Любовно разгладил, лаская складки до аккуратного подчинения.

– Тадеуш! Он дома? – спросил Зигмунд жену возбужденно.

– Да, дорогой, но что...

– ТАДЕУШ!

Молодой человек примчался в комнату, едва ли не сгибаясь пополам из-за низких дверей и кривого потолка.

– Тадеуш, будь другом, прочти.

Они скупились за нервной бумагой, пока Тадеуш пробежал глазами, с чем имеет дело, прежде чем перейти в устный режим. Он осекся и взглянул на отца.

– Отец, ты знаешь, что это?

– Да, да, читай же!

Тадеуш прочел медленно и аккуратно, выговаривая каждый длинный юридический термин.

– О, Зиги, что это? Что-то мне это не нравится, нам опять задирают ренту? – спросила перепуганная жена, уже скрутившая тонкий фартук в клубок.

– Нет, мать, – ответил сын. – Тут сказано, что отныне мы владеем домом. Он наш навсегда. Больше ренту не платит никто.

Теперь к ним за столом присоединились другие дети, привлеченные уникальными звуками и вибрациями комнаты. Жена переводила глаза между бумагой, Тадеушем и Муттером, ожидая, когда кто-нибудь заговорит.

– Нам это дали госпожа Тульп и ее подруга Лор. Это подарок за мою преданность и за то, что я помалкиваю о ребенке.

– Чьем ребенке? – тихо спросила жена, пока надежда отливала от лица.

– Отец, это же невероятно. Должно быть, твоя служба выдающаяся, раз ты удостоился такого щедрого дара.

– Чей ребенок? – повторила она, пока подозрение бороздило ее чело.

Остывшее лицо Муттера зарумянилось; похвала была доселе незнакомым ему опытом, и он стеснительно смотрел на сына.

– Мы с твоим дедом следили за этим домом много лет, задолго до прибытия этих добрых людей. Работа на них очень отличалась от прежней.

– ЧЕЙ РЕБЕНОК? – гаркнула разъяренная жена.

Все с удивлением посмотрели на нее, и Муттер сказал:

– Не знаю чей. По-моему, на карнавале нагуляли.

Он увидел, как на ее лице замешательство подминает обвинение, и наконец понял.

– Ты думал, что мой? С одной из них?!

Он начал хихикать, что очень скоро переросло в рев фыркающего хохота. Все присоединились – дети, сами не зная почему, а жена – уже без забот. Под радостью Муттер ощущал великую гордость из-за того, что жена считала его способным зачать еще одного ребенка, покрыть этих знатных дамочек, ублажить их обхватом своей мужественности. Он снова ухмыльнулся и открыл бутылку. Куда лучше было думать,

что ему заплатили за то, что он привел на свет новую жизнь, ведь на самом деле награда предназначалась за то, что жизнь он из него выволок, в криках.

* * *

Прозвенел серебряный колокольчик, и вновь его блески пролились в нижнюю часть жилища Сидруса.

Но в этот раз птица осталась без внимания, как и послание Небсуила со словами, что он ошибся в незнакомцах. Он просил клирика прийти с миром и говорить по-доброму, чтобы получить искомые ответы. Птичка поклевала свой лоток, прыгнув с насеста в клетку. И снова звякнул колокольчик, и в тишине пустого дома звук растаял в ничто.

* * *

Пение: где-то в бежевом расплывчатом мире вне его сна было пение. Его рот полон глины и листьев падуба; между собой и мелодией он ощущал глухую пульсацию и зуд. Попытался заговорить, и зуд превратился в линии блестящей мишуры – переливающуюся боль. Плющ? Нет! Скарабеи! Бегают под его кожей! Инкрустированные и быстрые. Стекланные украшения. Рождество; елка в доме?

Он коснулся лица, ожидая мягких контуров нормальности, но нашел на месте головы только огромный бесформенный шар из тряпок. Все не так, но почему? Думай, вспоминай. «Пса мы» – так она их называла, эти бесконечные клинки; рождественские псы мы. В комнате курятся сосна и воск, где? Пение прекратилось.

– Все хорошо, хозяин. Вам хорошо, вы в безопасности.

Голос был близким и бессмысленным. Что-то коснулось губ; мокрое и холодное, и он присосался к этому с силой. Нож! Горло прочистилось, и разошелся ужас. Нож; он чувствовал его давление, а потом тот пропал. Нож, чтобы резать дичь, или его, или пса. Псалмы. Или место в жизни и паз в смерти.

– Цунгали, – сказал он слабо, снова касаясь перевязанной головы.

На его руке сомкнулась рука побольше, и он почувствовал ее сияние, снова унюхал сосну – сосну обеззараживающего средства, не Рождества. Когда ускользнул обратно в безболезненный сон, Цунгали продолжил древний напев, чтобы накрепко приковать дух к телу.

– Держи его, – приказал Небсуил.

Измаил был приподнят на кровати, со здоровой, как скала, рукой Цунгали за плечами.

– Когда я буду снимать последние слои листьев и бинтов, может быть больно.

Измаил собрался с силами в своей зловонной темноте. Лекарства утомили боль, но он знал, что она только выжидает, что она ударит с удвоенной силой, стоит дать ей хоть полшанса. Он устал и онемел; тело скучало по опыту, а мозг изнурился без снов. Теперь он чувствовал, как все это фокусируется в его зудящем лице, ощущал, как оно растирается и просыпается под снимающимися бинтами Небсуила.

Просочился мутный замаранный свет, и волосы встали дыбом, когда бинты потянули за рассеченные нервы и сшитую плоть. Последняя масса сошла одним шматом, позволив обнаженному свету заиграть на открытой ране. Небсуил с окровавленной массой в руках молча изучил дело своих рук. Коснулся новых ресниц, и Измаил вскрикнул. Не боль, но пробирающий озноб тошноты подбросил его вверх.

– Держи крепче, – сказал Небсуил, кивая Цунгали, который сильнее сжал раскачивающегося пациента.

Через десять минут касаний и прищуров целитель улыбнулся и сказал:

– Все хорошо, юный мастер. Добро пожаловать в обыденный мир нормальных людей.

Измаил хотел зеркало, но получил отказ.

– Не сейчас, – отрезал шаман. – Жди, когда спадет опухлость. Твое первое впечатление – самое важное. Оно останется в разуме навсегда; жди, чтобы сохранить здоровый образ, а не недолеченный.

Измаил увидел в этом смысл и решил дать здоровому глазу побыть еще несколько дней в одиночестве.

– Я уйду за провизией, новостями и вином, – объявил Небсуил. – Мои органы чувств устали, и мне нужно отдохнуть от запаха твоей плоти. Ждите меня через день-другой. Но не подглядывай и не трогай лицо; пусть его исцелят воздух и солнце.

Измаил подумал гарантировать его возвращение угрозой, но это казалось неправильным, так что он просто помахал и сказал «Береги себя!» нижней, рабочей половиной лица.

Он откинулся в постели и позволил себе вообразить новую жизнь, без странности и необходимости прятаться, – жизнь, полную уроков и сношений, карнавалов и друзей. Неожиданно в его памяти поднялась Сова на беззвучных и элегантных крыльях – крыльях белых и чистых, как ее шелковые простыни; сильных и мягких, как ее голодное тело и уроки поцелуев. Он снова с ней увидится. Она его не узнает, но он узнает ее. Он отказался от болеутоляющего зелья, которое, согласно предписаниям, должен был дать ему Цунгали. Довольно он провалялся без чувств. Хотелось сосредоточиться на том, кого и что он знал, и на том, кем он готов стать.

Цунгали стряпал в маленьком алькове за висящим ковром. Он еще свыкался с новой рукой и время от времени ворчал из-за промашек над плитой. В комнате оседал насыщенный запах вареных злаков с тмином. Измаил нашел книгу с иллюстрациями садов – раскрашенными вручную ксилографиями на толстой обработанной бумаге, у которой на поверхности еще виднелись спрессованные растительные волокна. Он понял так, что это легендарные сады со всего света, и как раз рассматривал сад в Тунисе, повернув книгу боком, чтобы взглянуть вглубь, когда услышал, как открылась дверь.

– Небсуил! – позвал он. – Я взял одну из твоих книг.

Его заявление встретила неправильная тишина – та, из-за которой дом вдруг показался хрупким. Цунгали тоже ее почувствовал и быстро отдернул ковер.

– Что такое? – спросил Измаил. – Здесь кто-то есть?

Цунгали потянулся за оружием, потом остановился, выпрямился, встал навтыжку. Измаил чуть не рассмеялся, но не понимал выражения на скривившемся лице. Они посмотрели друг другу в глаза в поисках какого-то решения, и тут Измаил увидел движение: на середине тела старого охотника подергивалась и поблескивала

маленькая серебряная рыбка. Она увеличивалась в длине, и Измаил не мог отвести от нее глаз. Цунгали, увидев взор хозяина, взглянул туда, где из его груди торчал яркий клинок. Тот повернулся и снова удлинился, и, когда взрезал сердце, Цунгали издал ужасный кашель. Упал на колени и рухнул ничком. Рыбка исчезла.

За упавшим охотником в тених стоял человек с парящей белой дыней вместо головы. Его лицо выглядело так, словно под ним нет кости: надутый мочевого пузырь, гладкий, безупречный и совершенно неестественный. Это Небсуил собрал такое лицо? Так Измаил будет выглядеть через несколько дней?

Сидрус переступил через тело Цунгали, держа перед собой длинный и острый клинок, не терявший из виду горла Измаила.

– Не кричи. Откроешь рот – и я вскрою тебе глотку, – сказал он с чистым иностранным акцентом. – Отвечай на вопросы тихо. Где Небсуил? Что вы с ним сделали?

– Сделали? Мы ничего не делали; он ушел за вином, – голос Измаила дрожал, но новое лицо сохранило свое вызывающее самообладание. Клинок придвинулся ближе.

– Не лги мне, урод. Зачем ему доверять свой дом тебе и этому старому псу?

Он пнул Цунгали, и его агония громко простучала по полу, заслоняя последние произнесенные слова. Сердце Измаила сжалось в смертельном страхе перед хладнокровным убийцей, но он сумел выцарапать из себя ответ.

– Он провел на нас обоих операцию.

Для Сидруса это прозвучало бессмыслицей. Зачем целителю возиться с ними после того, что они сделали с Лучником? И все же он видел сырое зашитое мясо на этом лице. Подковырнул ногой Цунгали и увидел новую руку на повязке. Чиркнул кончиком клинка, и полое дерево застучало по полу. Он приложил клинок к культе плашмя, поднес к лицу. Принюхался к свежим стежкам и понял истинность слов.

– Вы ранили или убили Лучника? – спросил он.

– Вы об Одномизуильямсов?

– Да, – сказал Сидрус, удивленный знаниям этого существа.

– Нет. Мы оставили его в Ворре. Он ушел без нас.

– А лук? – клинок Сидруса дернулся.

– Он... он отдал его мне.

Сидрус был ошеломлен; как это может быть правдой? Зачем Одномуизиуильямсов отдавать священный предмет этому мясолицему юнцу?

– Я добьюсь истины! – сказал он, выхватывая из укрытия другой клинок и надвигаясь на съезжившуюся кровать Измаила, высчитывая холодными глазками, где начать резать.

С другой стороны комнаты раздался резкий металлический щелчок, словно кто-то наступил на сучок из железа. Сидрус понял, что это, прежде голоса.

– Двенадцатиграммовая разрывная пуля с четырех метров, – произнес тот. – Положи клинки так, чтобы я их видел, старый друг.

Сидрус подчинился в медленном движении, щерясь на Измаила.

– Небсуил, я думал, эта шваль с тобой расправилась.

Он начал поворачиваться к дулу винтовки, которое уставилось на него через комнату.

– Очень медленно, старый друг. Я знаю твои методы – и я не один.

– Но это же ты меня призвал? – сказал Сидрус.

– Да, но я ошибся, как и ты, когда казнил человека в моем доме.

С потолка спала веревка с петлей на конце.

– Положи руки в петлю, – сказал Небсуил.

– В этом нет нужды; ты можешь мне верить. В перспективе тебе же будет лучше.

– Положи руки в петлю.

– Ты играешь с моим гневом, – рявкнул клирик.

– Положи руки в петлю! Ты играешь со своей смертью, и ты знаешь, что я это сделаю.

Сидрус сунул ладони в силок; его слегка дернули сверху, чтобы затянуть узел, а потом рванули, чтобы поднять высоко над полом. Сухой рокот наполнил комнату сверху своей механической силой. Он прекратился – и Небсуил крикнул:

– Ты висишь между двумя большими деревянными барабанами. Если ты мне не угодишь, тебя протянет между ними и раздавит в лепешку прежде, чем ты вздохнешь. Ты меня понял?

– Понял! – раздался слабый голос.

– Теперь перескажи в точности, какое оружие и талисманы ты носишь при себе.

Сидрус принялся перечислять инвентарь своего имущества; Измаила поразила длина описи. В конце Небсуил выступил из тени; в руке он держал черного голубя. Он подмигнул Измаилу и подбросил его в воздух.

Птица исчезла навстречу небу, а он опустил деревянный рычаг, скрытый в стене. Барабаны провернулись, теперь медленнее, и Сидрус вернулся на пол. Он побелел от натуги, пока висел на перекрученных руках и болтался, как марионетка. Пронзил взглядом Небсуила, который вложил в широкий раструб короткого ружья шарик из листьев и сунул в лицо Сидрусу.

– Ешь.

– Пошел ты!

– Жри успокоительное или жри свинец – осколки ждут не дождутся.

Висящий знал, что Небсуил это сделает, так что всосал липкий шарик широкими губами. Небсуил помог, ткнув винтовкой и высекая искры о зубы Сидруса.

– Никто не оскверняет мой дом. Никто не убивает в моей приемной. Теперь глотай.

Он снова сунул ствол в адамово яблоко Сидруса. Тот подавился и проглотил, бушую глазами. Рычаг снова дернули, и клирик упал на пол. Небсуил уже высился над ним с острым изогнутым кинжалом. Он срезал веревку с рук священника с ловкостью, продемонстрировавшей, как легко он мог бы проделать то же самое с его горлом.

– Сложи оружие и талисманы на стол и иди, – Небсуил стоял у двери с разрывным ружьем на изготовку.

– Вас двоих я по-прежнему одолею.

– Возможно, но страшной ценой. Так или иначе, у нас есть сведения, необходимые тебе для поиска Лучника. Сведения, которые тебе теперь будут дорогого стоить. Ты больше никогда сюда не придешь. Если переступишь порог, то умрешь. В будущем общаться мы будем только через птицу. Ты понял?

– Я хочу знать все – СЕЙЧАС! – гаркнул Сидрус.

– Сомневаюсь, что у тебя есть время.

– У меня есть столько времени, сколько нужно, – сплюнул он в ответ.

– Сколько ты добирался сюда?

– ЧТО?

– Сколько?

– Три дня.

– Так я и думал. Я дал тебе сорок часов на возвращение.

– Что ты мелешь, старый дурак? – осклабился Сидрус.

– Я сказал – отныне мы общаемся только через птицу. Четверть часа назад я послал в твою келью черного голубя. Он несет мой последний запас спасительного противоядия для *Mithrassia Toxia* – споры которой ты всосал с моей винтовки несколько минут назад.

– Митрассия? Ты дал мне митрассию?

– Да. Я солгал об успокоительном. Вот почему у тебя нет времени обсуждать, чем мы можем тебе помочь.

На миг Сидрус лишился речи, а потом бросился к двери.

– Молись, чтобы в небесах между нами не повстречалось ястребов, – крикнул Небсуил в качающуюся дверь.

Целитель начал прибираться и взялся за жалкое израненное тело старого черного воина. Измаил попытался встать с кровати, чтобы помочь, но его остановили и велели отдыхать.

Небсуил исчез снаружи, чтобы избавиться от тела, затем вернулся в притихшую комнату и начал готовиться к очистительному ритуалу, который продлится пять дней. Много минут Измаил наблюдал за ним, прежде чем наконец спросить:

– Пожалуйста, скажи, что такое митрассия?

Шаман коротко простонал и устало сел на край кровати, мягко похлопав Измаила по ладони.

– Молодой человек, тебе действительно не стоит знать; ты уже окружен тенью и холодом, и я не возьму на себя грех, рассказав еще больше. Сейчас тебе надо выздоравливать; надо предаться разумом и телом свету и теплу. – Он начал подниматься, потом повернулся, и его лицо со скрипом расплзлось в невольную ухмылку. – Остановимся на том, что симптомы митрассии стойкие и невыразимые.

* * *

Он начинал чувствовать свои годы. Не в смысле истощения – Мейбридж был силен, поджар и гибок, с телом человека вдвое моложе него, – но начала напоминать о себе нехватка времени впереди. Он начал осознавать, как много еще нужно сделать и какой короткий оставался срок.

Почти каждый день он выступал перед публикой, генерировал интервью и статьи – человек на всеобщем обозрении. Зоопраксископы были популярны как никогда, и он сумел забыть о своем разочаровании в них; они приносили небольшое состояние и трубили о его репутации куда больше, чем серьезная работа, которую бесконечно не замечали и недооценивали.

О своей утерянной в Лондоне машине он вновь задумался после встречи с Эдисоном, когда они обсуждали возможность присовокупления звука к движущимся картинкам. На вкус Мейбриджа, Эдисон был нетерпелив и несколько поверхностен; не больше чем механик с эго, устремленным к славе и богатству. Американец больше смахивал на новую породу предпринимателей-шоуменов, а не на сына науки; у него нашлось бы больше общего с Барнумом и Бейли^[33], чем с Ньютоном и Галилеем.

Однако встреча послужила ясным указанием на глубокое значение его собственных знаний и их смысла – они находились вдали от производства игрушек для грошового развлечения. И Мейбридж вернулся к тому скрытому заряду, что наблюдался в фотографических изображениях. Он отправится за своей машиной, когда будет шанс, чтобы уловить феномен и объяснить его действие для избранной и достойной аудитории.

Тем временем многие из стаи пациентов, которыми он занимался, вернулись в родные гнезда; инвестиции окупались с процентами, а Стэнфорды по-прежнему покровительствовали его творчеству. Он был оправдан, богат и мог делать все что пожелает.

К его удивлению, казна Винчестеров перед ним так и не раскрылась; безумная старуха не дала ни гроша. После всего позора и потраченного времени она так ничего и не заказала. Иногда он вспоминал о ней, все еще запертой в своем мавзолее, никого не впускающей и пристраивающей пустые комнаты для мертвецов доска за доской. Думал о миллионах долларов, что еще приносило то старое ружье, по центу за каждый взвод – по центу за очередной гвоздь для ее

деревянной крепости; всего лишь очередная сбрендившая карга в футляре. Как там звали ту старуху у Диккенса?

Много лет назад он купил жене на день рождения подписку на журнал; это было английское издание. Он так и видел до сих пор выражение на ее угрюмом кислом лице, когда он вручил ей подарок. Мейбридж считал это хорошим выбором: журнал и почтовый сбор были дороги, но стоили того. Это бы научило старую суку уму-разуму, если бы она хоть раз села и почитала; просветило бы и принесло культуру в ее равнинный разум. Но нет, с тем же успехом он мог бы сжечь тяжело заработанные деньги, такая ему была благодарность. В конце концов пришлось читать самому; он ненавидел литературу, но не так сильно, как вид неоткрытых бандеролей от издателя.

Мейбридж читал мистера Диккенса и узнал в его произведениях немало моментов из собственной жизни. Возможно, задумался он, мистер Диккенс встречался в одной из поездок в США с рехнувшейся вдовой? Встречался и похитил, чтобы навсегда запереть ее безумие в своих словах. Но больше Мейбриджу не требовались деньги Сары Винчестер; теперь он независим. Если бы только нашлось время, он бы переделал ту таинственную и могущественную машину и заслуженно вошел бы с ней в историю.

Эта цепочка мыслей привела к тому, что он раскопал дневник из тех неприятных времен. Тот нес запах комнат Галла, и, расстегнув защелку, Мейбридж услышал, как рукоятка проворачивает свет, услышал механический гул. Прочитанное все еще имело смысл, все еще было работой уравновешенного и творческого рассудка. Он закрывал обложку, поклявшись не дать пропасть столь ценной работе впустую, и тут увидел в конце книги, словно черную тень, рисунок солнечного затмения. Эта грязная женщина рисовала по памяти, с его фотографии, прямо в его книге; какая наглость! Тут он увидел другой рисунок: в нем мгновенно узналась карта Африки, но искаженная и перевернутая вверх ногами. У ее края была та же роспись – изувеченная «А», «Абунгу», накарябанная рукой, в которой Мейбридж узнал ее. Однажды он спросил Галла, переводится ли как-нибудь ее имя, и доктор ответил, что «Абунгу» означает «Из леса». Мейбридж побледнел, глядя на рисунок, зная, что тот втайне сделан и надписан для него.

Все пять дней очищения Цунгали просидел с дедом. Он не знал, кто его убил или за что – только что это не целитель; не так. Он надеялся, что Небсуил не забудет обет Цунгали – клятву быть мстительнее в смерти, чем в жизни. Он надеялся, что очистка не дойдет до экзорцизма; его частичке нужно было оставаться жизнеспособной, лишь бы упиться возмездием; Цунгали еще нужен был призрак в мире, чтобы защитить Измаила, пока тот не доберется домой. Призрака держало только одно – нужда, и он не хотел, чтобы врачеватель стер и ее; со временем она истает сама, дух отойдет – возможно, еще случатся редкие мимолетные возвращения, но все же его срок ограничен и каждая секунда на счету.

Дед приветствовал его с радостью. Он бы предпочел, чтобы внук был жив и здоров в мире, но смерть – хотя и преждевременную – ожидал всегда, и в их воссоединении чувствовалось спокойствие.

Небсуил был столь же справедлив, сколь и мудр. Он помнил слова Цунгали и, почитая его желания, не провел окончательного изгнания. Взамен шуганул последние рассеянные остатки, вымел призрака наружу, ждатель в сухих листьях и пыли, пока Измаил не исцелится. Пришел день зеркала. Небсуил показал Измаилу, как умыться теплой жидкостью с сосновым запахом из миски; бережно промокнул его новое лицо и пригладил волосы, которые уже отросли, став длинными.

– Очень хорошо, юный мастер, – сказал Небсуил и принес овальное зеркало, задернутое красной тканью. – Час настал. Теперь ты увидишь мою работу и то, каким тебя узрит мир.

Он поставил стекло перед юношей, чьи щеки побледнели от опасений. С небольшим театральным жестом целитель скинул покров, обнажив в раме моргающего человека.

Измаил не мог пошевелинуться или заговорить; он касался носа и посаженного глаза, пробовал его реальность. Пока росла тишина, Небсуил нервничал все больше; если операция не по нраву или не по требованиям Измаила, он ничего не сможет поделать. Прочитать выражение пациента было невозможно: он еще не натерел во владении собственной мимикой, а неизбежное повреждение нервов сделало некоторые области лица перманентно бесстрастными. Шаман

наблюдал с растущим трепетом. Отвратительный лук все еще ждал у циклопа под рукой; с ним его неудовольствие может стать ужасающим.

– Что думаешь? – рискнул поинтересоваться Небсуил. – Я применил все свои знания; это лучшая моя работа, в этом можешь быть уверен.

Слова подначили Измаила. Он встал и очень медленно подошел к Небсуилу. Взял руку старика и поднес к губам. Это был еще один вид поцелуя – которому его никто не учил.

Дни шли быстро, один лучше другого. Измаил набирался сил и ума у Небсуила, а Знахарю был в новинку такой проникательный и сметливый ученик; он мог целый день раскрывать свои знания и рассказывать о чудесах и невозможностях, не теряя внимания молодого человека.

По мере практики лицо становилось податливее. Настроения считывались, общение становилось беглым. Лук жил в углу, завернутый и молчаливый, признанный, но не призванный.

О Сидрусе ничего не было слышно. Голубь не вернулся, так что они не могли знать, здоров ли клирик и кипит от злости или мучительно растлился на клочки. С прохождением недель они теряли бдительность; Небсуил снял несколько самых злых оберегов, которые разместил по дому для защиты.

Между странной парочкой росла непредвиденная дружба; какое-то время они разыгрывали отца и сына. Время от времени по ночам со стуком приходил Цунгали, но не пугать, а известить о своем присутствии и обозначить тревогу из-за затянувшейся задержки Измаила. Какое-то время они пренебрегали им и продолжали работать вместе в островной развалине. Но рост и удовлетворение не сдержат юное сердце долго, и однажды утром, без видимой причины, Измаил объявил, что ему пора отправляться и найти свое место в мире.

– Чем плохо это место? – пробурчал Небсуил.

– Ничем, – ответил Измаил, – но у меня есть другое, и его нужно повидать.

– Подозреваю, что ты прав, – ворчливо признал старик.

Грядущие дни они провели в подготовке к его отбытию. Как у любых людей перед разлукой, тяга будущего назначения придавала времени, которое они населяли сейчас, болезненное вращение. В ночь

перед уходом Измаила, когда они услышали, как снаружи мечется нетерпеливый призрак, Небсуил стал брюзглив и меланхоличен.

– Изыди, полуночная пакость! Завтра он будет твоим. Отпусти нам последний вечер без твоего топотания.

Слова как будто срезонировали с духом Цунгали; оба услышали, как он сменил направление и ушел прочь.

– Привидения когда-нибудь спят? – невольно спросил Измаил.

– Да, но не человеческим сном; их сон пустого свойства. Наш сон всегда полон: от полудремы до комы он бьет ключом. У выхолощенных же тонкие, опасные сны. – Возникла пауза, будто подслушивал сам воздух. – Для некоторых это заразно; тонкий сон может длиться столетиями, – продолжал Небсуил. – Он может позволить своему хозяину усовершенствоваться или измениться до неузнаваемости. Кое-кто говорит, что существа, населяющие Ворр, умеючи пользуются сном в этих целях – что они закапываются глубже и становятся моложе в своем страстном желании вернуться в ничто. Это и единственный их шанс сбежать из Ворра, и рывок в его центр.

– Если они закопаны и забыты, как это стало известно?

– Потому что некоторых тревожат, раскапывают звери или люди, вытаскивают на поверхность. Эти – самые опасные, поскольку они уже не знают, что они такое; и если они войдут в мир людей, то вратут обратно обезображенными под стать ему.

– Хочешь сказать, некоторые из них ходят среди нас? – Измаил одновременно и боялся своего нового мира, и отстаивал его.

– Так говорят, – во время паузы оба задумались о невозможности подобного.

– Совокупляются ли они с женщинами? – спросил Измаил.

Небсуил рассмеялся:

– На деле все еще лучше и хуже. Некоторые смешивают заразу своего сна со знающим человеком, сливаются с людьми.

– Ради чего?

– Если Былой и человек-доброволец войдут в это состояние и закроются от мира, они станут чем-то иным, непохожим ни на что, без формы, – как воспоминание, осязаемый гений того места, где они спрячутся. Этот гений может навязаться в воображение прохожих, всколыхнуть в ничего не подозревающем путнике великие чувства и могучие эмоции. Кто-то говорит, что подобным пользуются для

защиты святых мест. Говорят, тем оберегается Иерусалим, защищенный тоской. Даже говорят, что из подобной непреклонной силы свит сам дух леса – что так скреплен воедино Черный Человек о Многих Лицах.

Это были слишком крупные мысли для Измаила, чья голова уже переполнялась меланхолией разлуки. Больше он не задавал вопросов, а Небсуил не предлагал новой мудрости. Они глядели в огонь, мерцающий под железной решеткой посреди комнаты. Глядели, пили вино и молчали.

На следующее утро они обнялись в дверях. Небсуил приготовил котомку с зельями и талисманами; она неуклюже разлеглась на пороге между ними. Лук уже был снаружи дома, и старик чувствовал с его уходом подъем и облегчение. Когда они распрощались, Небсуил дал напутствия и советы, а Измаил ответил глубочайшей благодарностью. Они поклялись встретиться вновь и расстались.

* * *

Прошло семь лет со времен надругательства, и теперь он по многочисленным просьбам возвращался в Лондон. Гадал, цела ли еще машина, пылится ли в тех одиноких комнатах. Чтобы узнать, он взял с собой пистолет и ключ.

Впервые Мейбридж начал уставать от долгих трансатлантических переползаний. Казалось, каждая поездка длилась все дольше. Самоцветы ночного неба и люминесцентные волны тускнели и скучнели, и все дольше он сидел в клаустрофобной каюте, планируя и раздумывая о том, что его ожидает.

Он предвидел критику тех, кто вечно ныл насчет «весомости» его работы, и готовился к их беспричинным нападкам. В письмах прессе он нещадно травил своих критиков. Корабль качнулся против его противников и всех, кто его не признает: трусов, прячущихся в тених и выжидающих момента, чтобы принизить; тех, кто возражал против его ретушированных, усовершенствований оригинальных, слегка размазанных снимков; а также тех бесталанных, кто завидовал его искусству обращаться с кисточкой и объективом. Он доберется до них всех, распотрошит с головы до ног за подобную дерзость. И снова

корабль качнулся, и теперь он вспомнил тех, кто его предал или подвел. Их был легион, и в чем-то они казались хуже очевидных врагов.

Мейбридж задавался вопросом, почему перестал писать Галл. Последние четыре письма остались без взаимности; даже отправленный набор снимков как будто не заслужил удостоиться ответа. Доктор наверняка занят, но много ли времени отнимет такое простое соблюдение приличий?

* * *

Эссенвальд изменился; Измаил почувствовал это в тот же миг, как вступил на его окраины. Из своей надежности город прорастил нетерпение, стал неистовым и непредсказуемым в динамо-машине своей промышленности. Все это носилось в воздухе – аромат растерянности.

Проходя по улицам, Измаил прятал лицо от толпы. Пока он не привык показывать себя открыто. Его лицо все еще ловило взгляды, широко раскрывало глаза, но больше – не в ужасе и отвращении. Теперь их реакция коренилась в чем-то другом – порыве, которого он не понимал до конца, хотя узнавал как минимум три компонента: удивление, любопытство и жалость. Из тех немногих, кто его видел, до сих пор никто не сбежал и не вскрикнул от шока; они либо искали более глубокого понимания, либо просто отворачивались. Это была трансформация чудесной важности, и она питала возбуждение, что клокотало и билось в нем.

В пять дней, за которые он добрался до окраин, Измаил истратил почти все деньги и провизию, что предоставил по уходу Знахарь. Он задумался о своих способностях выживать в таком дорогом мире. Ранее он был утеплен от подобных реалий; теперь механики бытия показали себя во всей красе, и он находил их обескураживающими и довольно грубыми.

Инстинкт вел к дому номер четыре по Кюлер-Бруннен; по крайней мере там он найдет дружественное лицо. Его пригласят и накормят, пусть даже всего лишь тот хмурый старик, Муттер. Наконец

задумав план, он мерил шагами сплетение улиц с целеустремленностью и возбуждением.

* * *

Легкая паника начала охватывать жизнь в Эссенвальде. Утвердившийся пульс великого деревянного сердца города встрепенулся и замедлился, поставки леса снизились, а спрос закупоривал артерии разбухшей потребностью. С тех пор как исчезли лимбоа, из чащи тек только ручеек стволов. Редкая рабочая сила на лесоповале была дорогостоящей, а ее производительность – торопливой и спорадической. Никто не хотел работать в Ворре изо дня в день, и никакие деньги не возместили бы разрушительный эффект от длительного пребывания в нем. Сперва новые артели состояли из добровольцев, набранных из индустрий, кормившихся лесом. Эта система быстро рухнула, только чтобы заместиться трудом зарубежным, который приманивали слухами о щедром окладе. Но и чужаки в один момент раскрыли секрет города и добавили собственные слои мифов к задумчивым деревьям.

Теперь рабочая сила состояла из отчаянных, преступных и безумных, большинство из них принуждались к труду насильем. Никто не знал, какой эффект будет получен, если добавить к разуму леса такую взрывную смесь. Это была отчаянная мера, и главы Гильдии лесопромышленников сходились ежедневно, чтобы изобрести следующую альтернативу. Старый рабский барак стал жильем для нестабильной кочевой бригады, которая рубила и вывозила деревья теперь: не было сомнений, что этого места лучше избегать, и Мэри Маклиш согласилась с таким выводом, получив компенсацию от Гильдии и сбежав растить свое дитя в более спокойные края.

* * *

Измаил потерялся. Он четыре раза за два часа миновал один и тот же сад, каждый раз выходя на него с новой стороны. В конце концов он остановился и поискал путеводные шпили собора, но те не виделись с

элегантных улиц, где он ходил: нужно было забраться выше. Он нашел улицу, которая вроде бы шла в холм, и последовал по ней.

Он шел десять минут, когда вдруг увидел – хоть и не зрением, а чувством знакомого: здесь он уже бывал. Растерянно оглядел десяток высоких домов, выстроившихся вдоль улицы, их внушительные стены, грандиозные башни и длинные покатые крыши из безупречной черепицы. Что он мог здесь делать? В тот самый момент, когда вопрос родился, на него нашелся ответ: это улица Совы! Он нашел ее – или она нашла его. Зрительная память о фасаде особняка была зыбкой, так что он прошел по улице взад-вперед, каждый раз все дальше мешкая у дома с орнаментальными металлическими воротами. Терять было нечего. Он пригладил длинные черные волосы, теперь отросшие до плеч, обмахнул синий сюртук, подаренный Небсуилом, и подошел к воротам, недолго помедлив перед тем, как потянуть за металлическое кольцо звонка. Поправил воротник, поднял к лицу и подождал.

К воротам подошел маленький человек недалекого и отсутствующего вида и взгляделся через прутья.

– Да?

– Могу я поговорить с хозяйкой дома?

– Какое у вас дело до госпожи Лор, сэр?

– Приватное. Весьма. Но она меня знает.

Плюгавец с большим интересом пригляделся к подозрительной фигуре, прятанной в плохо сидевшей одежде и задранном воротнике.

– Ваше имя, сэр?

Измаил в замешательстве посмотрел на человека, слишком поздно увидев проблему: у него только одно имя, и Сова его не знает. Более того, он понимал, что всего одно имя сочтут странным; большинство встреченных им людей носили два имени, если не три.

Человек за воротами волновался, все больше и больше сомневаясь, что у этой личности могут быть какие-то достойные отношения с его госпожой.

– Пожалуйста, скажите ей, что это Измаил с ночи карнавала.

Теперь привратник окончательно уверился, что этой потрепанной фигуре с длинным грубым мешком и протертым рюкзаком здесь делать нечего.

– Госпожа Лор не сможет вам помочь, сэр. Подите прочь! Прочь!

Измаил снова попытался объясниться, но его слова только укрепили подозрительность.

– ПРОЧЬ! Нам попрошаек не надо, уже натерпелись от вашего брата!

Измаил бросил все попытки, забрал котомку и устало ушел.

– Что случилось, Гуипа? – окликнула с балкона Сирена.

– Ничего, мэм, просто очередной попрошайка.

– И звонил в дверь? – удивилась она растущему уровню наглости, который, видимо, вызывала нищета.

– Беспардонный мерзавец, заявлявший, будто знает вас, мэм.

– Правда? И чего еще ждать дальше?! – Она отвернулась и двинулась с балкона, но ее остановило что-то за пределами зрения. Она закрыла глаза и вернулась к перилам, почти опасаясь озвучить вопрос, просившийся на уста. – Гуипа – попрошайка назвался по имени?

– Да, мэм. Кажется, Измаил.

Измаил почти свернул за угол, когда услышал крики и чье-то быстрое приближение за спиной. Он остановился, чувствуя, что побег покажется признанием вины, и задрал плечи, ожидая, что на них падут неприятности. Он всего лишь позвонил в дверь и задал вопрос, но уже понимал, что в этом квартале и того должно быть довольно, чтобы поднять переполох. Он услышал, как останавливаются шаги, и приготовился.

– Измаил? – произнес нежнейший голос. – Измаил, это правда ты?

Сердце екнуло. Это был голос Софы, и она узнала его! Он медленно повернулся к своей надежде, робея в ее внезапном обществе, наполовину скрывая лицо волосами и неуверенностью. Она вперилась в его существование, яркие глаза читали и впитывали каждую деталь его таившихся черт.

– У тебя два глаза! – сказала она с изумлением. – Гертруда говорила, что только один.

– Вы знаете Гертруду?

– Она стала моей дражайшей подругой; я нашла ее, когда искала тебя.

– Меня?

– Да. Я принялась искать сразу же, мне столько хотелось... – Она резко вспомнила об их окружении и передернулась из-за открытости чужим ушам. – Столько хочется сказать. Вернемся в дом? Будет лучше переговорить там.

Она взяла его под руку, и они медленно поднялись обратно по дороге, вошли за ворота, где ждал и наблюдал сбитый с толку Гуипа.

В особняке они сели в кресла лицом друг к другу, как незнакомцы. Его рука то и дело возвращалась к лицу. Ни он, ни она не знали совершенно, что делать дальше, хотя их сердца осязаемо тянулись друг к другу; их страсть и незнакомство столкнулись, образовав барьер стыженности.

– Могу я попросить умыться? – вежливо сказал Измаил. – Мой путь был длинным и многотрудным.

– Конечно! Мне нужно было предложить сразу же! – Сирена позвонила в колокольчик, и в комнату вошла Мира, исподтишка рассматривая обезображенного молодого человека. Госпожа проигнорировала вопрос в ее глазах и наказала приготовить ванну и подать полотенца, ароматические соли и халат. Вызвали Гуипа и послали в город купить подходящие платья.

Снова оставшись одна, Сирена прислушивалась у двери ванной, как он плещется – она льстила себя надеждой, что с удовольствием.

Недалекий ошалевший старик Гуипа вернулся с самым странным ассортиментом одежды, что она видела. Она шарила в спутанной массе на лакированном столике, пока привратник стоял позади, гордый своими уникальными приобретениями.

– Благодарю, Реймон, славный выбор. Остальное можешь предоставить мне.

Гуипа ушел, светясь от достижения, но озадаченный ситуацией, от которой госпожа вроде бы получала удовольствие. Сирена ждала, пока он удалится, затем кое-что отобрала и сложила у двери в ванную.

– Измаил, перед дверью чистая одежда.

– Спасибо – э-э?..

Она с некоторым конфузом осознала, что еще не назвала ему свое имя.

– Сирена, – ответила она. – Меня зовут Сирена.

– Сирена, – повторил он, и имя отдалось эхом в комнате с паром и парфюмом.

Призрак Цунгали проследовал за хозяином до сада; у него не было ни воли, ни желания войти в замысловатое и несуразное обиталище.

Он следил из густого цвета необычной листвы. Это было приятное место, и он празднично расхаживал сквозь кусты и деревья. Его хозяин в доме, в безопасности и покое, за ним присмотрят женщина и слуга; злодея, угрожавшего жизни Измаила, поблизости нет, так что Цунгали позволил времени разбавить себя, и никто не видел, как он присел среди жизнелюбивой растительности и высоких неприступных стен.

Измаил мягко прошлепал по коридору и нашел Сирену в ее любимой комнате, отпивающую золотое вино из длинноногого бокала. Она не слышала его появления, такой легкой была поступь. На нем были тапочки из китайского шелка, которые ему положила она.

– Спасибо, Сирена, – очень тихо сказал он.

Она встала и посмотрела на него, позволив взгляду задержаться на подробностях его присутствия, наслаждаясь близостью. Он пришел в оставленных ею шелковой пижаме и синем халате. Волосы еще не высохли. Она смотрела на его лицо, на то, как шрамы у глаза словно собирали все черты в одну точку, придавая лицу выражение скомканного прищура. Нос выглядел несколько хуже; его прямая линия слегка виляла между обвисшими складками и тугими натяжками. Не считая этого, перед ней было обычное лицо стройного молодого человека, изведавшего тяжелую жизнь и испытания. Он снова начал поднимать руку с расцветающей под ее взглядом неуверенностью, но она подошла и остановила, взяла его руку в свою. Подвела к подоконнику, и они просидели, глядя друг на друга, бесконечное незамутненное время, пока вокруг темнел вечер.

– Не знаю, с чего начать, – наконец сказала она. Протянув Измаилу свой бокал, она налила себе второй, потом повернулась обратно к нему. – После карнавала прошел долгий срок, и для нас обоих, я уверена, многое изменилось, но... возможно, стоит начать там, где мы остановились?

Он молча уставился на нее, а потом улыбнулся, и новый глаз блеснул почти так же ярко, как первый. Он протянул руку, и вместе они прошли в ее спальню.

Снаружи ласточки превращались в летучих мышей, измеряя пространство неба звуком, а не зрением. Внутри же дома Сирены Лор воцарился покой – во всем, кроме лука, как будто кипевшего под своим покровом.

Я вышел на утро, холодное не по сезону, в землях, жару которых едва могу себе представить.

Я выбрался из туннеля лет и вышел из-под великой тени. Когда я оглядываюсь, то ожидаю увидеть обширный и бескрайний лес, но там только сиротливые трясины, черные от торфа, и тянутся милями кочки, прежде чем прерваться далекими зазубренными пиками. Ночное море сырой земли ласкает волнами горизонт; я не могу разобрать тропинку, которую должен был проложить по этой утрамбованной поверхности. Я простоял на этом взгорке больше часа, пытаюсь вспомнить себя и все, что должно было быть раньше вокруг меня, но воспоминания нейдут. Лишь слабейший образ другой земли вроде этой, скрывающейся в отсутствии, где-то в начале моей жизни, образ поля битвы из разрытой земли и забвения, – но и он не желает проступить, чтобы быть узнанным или наложиться на этот пейзаж.

Мои вещи говорят немного. Большинство – малопонятные и несуразные, и я избавился от них; чтобы доказать их никчемность, я пройду по ним на выходе, втопчу в грязь этого места. Единственное, что может быть полезно, – малопонятная карта на рваной запятнанной бумаге, поблекшей за неведомое время; карта и большой пистолет с коробкой тяжелых пуль. Должно быть, я нес его для охоты или защиты, но трудно представить, чтобы в этой безликой топи заворочалось какое-либо существо или угроза.

Единственное, что меня здесь удерживает, – ожидание. Я чувствую, что со мной должен быть кто-то еще, что кого-то не хватает, – возможно, он нагоняет. Я ловлю себя на том, что прочесываю взглядом черную землю внизу, выглядываю признак движения, пробирающегося сюда спутника. На периферии осознания чувствую, что дальше со мной кто-то пойдет. Но ничто не движется, никто не приходит.

Я достаточно долго ждал и гадал; пора идти и стряхнуть тени.

Думаю, карта сделана, основываясь на черном болоте ниже меня – возможно, была задумана и нарисована ровно с этой точки. Она

изображает обширную массу в виде овального, яйцеобразного углубления. На поверхности заметны шрамы, хотя некоторые уже полустерты и проглочены. Они в форме полумесяцев и вращаются вдоль края углубления; они кажутся областями древней вырубки, что объяснило бы, почему на карте они пронумерованы, но вырубка кажется невнятной и бессистемной. Самая большая просека лежит в центре: ее номер – «1». Я изучаю этот обрывок, чтобы сориентироваться в новой местности – которая, разумеется, лишь очередное белое пятно на карте. Но в нижнем углу есть крохотная стрелка, предполагающая какое-то направление.

Терять нечего; все дороги хороши. Я переворачиваю трепещущий лист в поисках далеких черт ландшафта, совпадающих с направлением стрелки.

Бумага без предупреждения испускает дух и крошится на ветру. С последним взглядом на нее сразу перед тем, как она исчезает, унесенная из рук в черную массу, приходит мысль, что это вовсе не карта. Она мелькает на солнце, и ее остаточное изображение прожигается в глазах. Ее негатив кажется грубым насмешливым лицом, физиономией с одним испуганным оком, уродливым гротеском, который тарашится на меня. Его кожа покрыта шрамами; рот раззявился. Рожа будто выпучилась в карикатурном изумлении. Я моргаю, и негатив блекнет; веки стирают его с глаз, пока бумагу уносит в никуда, изорванную и растворившуюся в порывах ветра и в сырой земле.

Теперь я знаю: пришло время навсегда покинуть это место амнезии и иллюзий.

* * *

Она сложила руки на животе, чувствуя под ними движение; туповатые тычки и толчки, потягивания и повороты. Теперь ей было трудно ходить; в некоторые долгие часы она могла только отдыхать.

Абунгу распухла от ребенка. За недавние месяцы он так вырос; ее беременность уже невозможно было скрывать. Впереди еще оставался долгий путь, и она произнесла заклинание-просьбу – примешав всю свою волю и любовь. Она просила ребенка потерпеть, держаться и

угнездиться внутри нее; спать дольше, притулиться глубже и расти медленнее, пока они не вернутся домой.

Столь страстной была ее просьба и столь сильным – отклик чада, что его возраст будет сдерживаться всю жизнь. Ее народ всегда будет видеть в этом благословение, знак силы и уникальности ребенка.

Путешествие заняло больше года. За это время она начала разговаривать: не вслух и не на уродливом наречии белых, владевших ее родителями и измывавшимися над нею, но на языке матери и отца – напевными словами, которые они шептали вместе в том холодном грязном краю. Слова шли через ребенка, устроившегося внутри, поднимались через общую кровь, зацикленную между их мозгами и сердцами. Она говорила каждый день, пока не засомневалась, кто подтолкнул ее к тому просящему заклинанию; от нее оно пришло или от малыша? Не все ей было ведомо. Еще оставался сумбур, туман – как и в том старом белом шамане, что вправил ей глаза, чье семя она взяла.

Теперь ее вела эта правильность; сомнения и забвения гнались прочь, неважные. Вела ее домой; время и ребенок росли. Но когда она достигла великого леса, время отяжелело и не могло больше ждать. Родиться здесь было неслыханно: смысл и сила Ворра находились за пределами понимания всех людей. Но это рождение было предписано; деревья ждали – и ждало что-то в них.

В глуби леса, на пути к Настоящим Людям, родилась ее дочь. Это предвестили чудесные знамения: в тропической ночи выпал снег; в сумерках далеких западных берегов переливались фиолетовые моря; светящиеся насекомые сбивались в комки и парили над деревьями. Одни говорили, что Былые пробудились и вывели пару из Ворра, в человеческие земли Настоящих Людей. Другие говорили, что ребенок принадлежал Былым и порожден одним из них, как встарь.

Известной истиной было только то, что умирающую Абунгу и священную Ирринипесте нашел на краю деревни старый воин в ночь после праздника, когда солнце, съеденное луной, переродилось в осколках-полумесяцах под черным морем. В матери признали соплеменницу – по шрамам, нанесенным родителями в грязном свечном свете, в трущобах, липших к грязевым берегам реки Темзы, далеко за городскими стенами Лондона. Перед смертью она отдала корону из золота и зеркал, инкрустированную грязью, на сохранение своей дочери – вместе с изображением щита, на котором был нанесен

рисунок солнечного фрагмента – как те, что скрывались под волнами. Потом мать прибрала заря следующего дня, и дитя переняло весь свет, который еще часами держался в мертвых глазах Абунгу.

* * *

Его розовые отчищенные руки были в ее постели. Она чувствовала, как они раздвигают ее ноги. Слегка повернулась. Один палец ворвался в нее, лаская и раскрывая блаженство. Нет: этого не может быть. Одна его рука внутри, хваталась. Она натужилась, пока вторая прижала ее ногу. Ее крик разбудил в ней самой панику, хотя в старом доме было пусто. Она была одна, но его рука уже рылась в ее утробе, хватала зародыша, чтобы выжать из него жизнь и выдернуть из уюта. Она почувствовала, как в нее входит вторая его рука, и едва не лишилась сознания, готовая разрыдаться от страха. Крики отдавались во всем доме, от полого колодца в подвале до чердака, где и бренчали на длинных натянутых струнах и скакали в белой полости обскуры. Она почувствовала, как кольцо доктора впивается в ее кость, когда развернулся его жирный розовый палец. Последний вопль вырвал ее из слоев кошмара в тусклую предрассветную дымку комнаты.

Она промокла до нитки и жестоко замерзла. Спальня еще не до конца утвердилась в реальности, и она боялась, что Хоффман где-то рядом; может, прячется под кроватью или за тяжелыми гардинами. Она тяжело дышала, не смея отстраниться от безопасности сырых простыней, и ждала, когда утро снова освободит ее от очередной ночи слепого мстительного ужаса.

* * *

Сирена и Измаил не ступали за пределы дома почти неделю. Мир вне стен особняка растворился в собственном континууме шума и суеты. Они не покидали друг друга – говорили, трогали и уступали ухаживаниям все часы суток напролет. Даже разделение света и тьмы не имело между ними значения: роскошь их царства была превыше всего.

Слуги подносили еду и питье и держались подальше. Столь могучей была их любовь в доме, что испарила все сплетни и чуланные гадания. Слуги просто многозначительно улыбались, пожимали плечами и улыбались снова.

Лук лежал забытым в прихожей; Измаил больше не носил его с собой из комнаты в комнату. Порою он падал в ночи, громко стуча о невидимые предметы, распуская неприятные запахи и упорные пятна. Наконец его убрали так далеко от сердца дома, как только позволяли стены, – отправили на покой на маленькое крыльцо, смыкавшее сад с подвалом. Слуг предупредили не тревожить лук ни при каких обстоятельствах. Приказ был несколько избыточным: длинный черный сверток уже у всех засел в печенках.

Под ближайшим кустом мирно дремал призрак Цунгали. Дед нагнал его через несколько дней после прибытия. Он решил подождать с ним до конца их дело, чтобы потом вместе отойти в ожидающие миры. Цунгали спал, чтобы сберечь силы того, что от него осталось. В это время дед пристально приглядывал за луком.

Покой дома стронуло письмо. Его острый белый конверт казался фарфоровым клинком. Оно пришло от Гертруды.

Моя дорогая подруга,

Неужели ты меня оставила? Прошу, ответь, чем я заслужила такое молчание? Твоя поддержка приносила мне облегчение в это странное, невразумительное время; не могу даже начать изъяснять свое отчаяние из-за твоего отсутствия.

Я так одинока. Никто не идет. Я вижу только с Муттером и не могу говорить с ним – его улыбка пугает меня, теперь мне ее никак не вынести.

Дом еще никогда не был столь пустым. Меня терзают кошмары, которые мстятся вещами; является злой дух доктора, чтобы украсть из меня жизнь, и каждую ночь я просыпаюсь в ужасе. Прошу, если я не обидела тебя чем-то, сама того не зная, приходи ко мне скорее. Мне нужны твои силы и дружба, чтобы пережить эти отчаянные времена.

Всегда твоя,

Гертруда.

Сирена сгорала от стыда. Она несколько дней не вспоминала о потребностях Гертруды, хотя они с Измаилом часто говорили о ней с теплом и заботой; ей немедленно нужно отправиться к подруге. Она подозвала Измаила и показала письмо.

– Что означают эти слова о докторе? – спросил он.

Она зажмурилась из-за ответа, застрявшего в горле. Столько нужно было объяснить и еще больше – забыть.

– Он был одним из тех, кому мы заплатили за твои поиски. Это злой человек, скверный и опасный.

– Где он сейчас?

– Исчез, – солгала она, – сбежал куда-то со вторым подонком, обманув нас.

Измаил успокоился и не задавал новых вопросов, не мешая ей в спешке одеваться впервые за несколько дней.

– Не знаю, как долго меня не будет, – сказала она от дверей.

– Я пойду с тобой, – он уже обулся и застегивал рубашку. – Я пойду повидать Гертруду.

Машина понеслась по городу, и Сирена крепко сжимала руку Измаила, качаясь взад-вперед, словно тем могла придать скорости сиреневому «Фаэтону». Измаил пытался разговорить спутницу, но увлечь ее оказалось невозможно, так что он откинулся, наслаждаясь скоростью и видами города без прикрытия в виде маски или шарфа. Он великолепно освоился с новым лицом и плюшевой элегантностью салона.

Минуты спустя они прибыли к дому номер четыре по Кюлер-Бруннен, и Сирена забилась в ворота и звонок. Измаил вышел на улицу и вдруг не смог справиться с чувствами; его перенесли в совершенно другое место, где нахлынула волна воспоминаний.

Когда растрепанная Гертруда наконец вышла, при виде подруги она окончательно расклеилась и тут же ударилась в слезы. Она распахнула ворота, бросилась, всхлипывая, в руки Сирены. Та крепко ее обняла, мягко и успокаивающе поглаживая по спине, чувствуя весомое присутствие их неувиденного компаньона, но поддавшись материнской ответственности.

– Как же мне жаль, что я тебя покинула. Прошу, прости меня, этого больше не повторится.

Гертруда слегка отстранилась от мокрого плеча подруги.

– Это мне жаль, что я снова размякла; просто мне было так страшно и одиноко.

– Нет, дорогая моя, извиняться следует только мне; мы так погрузились в разговоры, что все остальное поблекло.

– Мы? – шмыгнула Гертруда, только тогда осознав, что они не одни. Ее взгляд возвысился над плечом Сирены и нашел лицо незнакомца; слишком долго она уверялась. Хмурилась в расчетах при виде изувеченного лица, настороженно отвечавшего на ее взгляд. Оттолкнувшись от Сирены, Гертруда изучила выражение ее подруги, прежде чем снова посмотреть на человека с длинными черными волосами и двумя независимыми глазами.

– Измаил?

Тот отбросил все сомнения и улыбнулся.

– Да, Гертруда. Я вернулся совсем другим.

Она прошла мимо Сирены, почтительно уступившей пространство их воссоединению. Одной рукой все еще хватаясь за подругу, вторую Гертруда опустила ему на грудь; он мягко накрыл ее ладонь. Втроем они стояли без слов, слившись в немой картине, которая постепенно оттаяла и потекла через двор в дом.

Когда они добрались до входной двери, Муттер только прибыл. Все трое обернулись, и молодой человек помахал ему рукой. Муттер нахмурился в ответ и кивнул, выдавив улыбку, при этом бурча про себя. Очередные незнакомцы в доме. Новые странные делишки и непредсказуемые отношения. Худосочный корень оберегающей ревности всосался в почву его основания. Кто этот новый мальчишка и что ему понадобилось от дамочек? Почему они подобрали еще одного после всего, что прошли? Почему не удовольствуются тем, что у них есть, и не дадут Муттеру просто позаботиться о них, защитить от пришельцев и паразитов? С тех пор как жена призналась в своих тревогах о его желанности, он не мог видеть их в прежнем свете. В прошедшие месяцы Муттер понял ее точку зрения, понял, что она могла быть права; только вопрос обстоятельств, что растущий карнавальный ребенок принадлежит незнакомцу, а не ему.

Беседовали они втроем долго. Хотя сидели рядом, пространства между ними росли и гнулись во всех направлениях. Сирена и Измаил изо всех сил скрывали свою близость; Гертруда и Сирена не упоминали о ребенке, а Измаил как будто не замечал его очевидное присутствие. Он спал с обеими женщинами, и в компании друг друга они обе в разной степени и в разных смыслах испытывали к нему собственнические и материнские чувства. Поверхностные натяжения трещали и скрипели, создавая статический заряд между словами и наминая в разговоре нерегулярные провалы и пики. Депрессии рефлексий неуклюже мешались с восторженными воспоминаниями; падения прикусанных языков перемежались взлетами наигранно радостного товарищества.

Сирену тянуло к Измаилу, ей хотелось коснуться его и чтобы коснулись ее. Хотелось быть с ним дома, но долг держал здесь: она поклялась о своем присутствии.

Между тем Гертруда отчаянно пыталась не глядеть на новое лицо циклопа и подавить свою острую реакцию при виде столь неприкрытой любви. Она не хотела его – более того, не хотела никогда, – но такая отстраненность оказалась слишком резкой, слишком скорой.

Измаил чувствовал голод женщин и задыхался в нем. К Сирене он испытывал глубокие чувства, но тосковал по свободному дыханию и предпринял попытку побега.

– Дамы, не могли бы вы меня извинить? Я уже очень долго не был в этом доме, а здесь у меня столько воспоминаний. Гертруда, ты не против, если я прогуляюсь и воссоединюсь с прошлым?

Гертруда и Сирена обменялись взглядами. Гертруда уступчиво кивнула, и он откланялся, закрыв элегантные высокие двери перед разговором, слушать который у него не было желания.

Он немедленно поднялся по широкой лестнице туда, где была его комната. Пропорции снова изменились – очередное отражение воспоминания, нежели масштаба. Столько всего произошло так рано – сдвиги жизни, которые вдруг оказались несходными и полярными.

Его комната оказалась незапертой и неизменившейся. Он коснулся кровати и открыл шкаф, где висела его история: столько текстур и запахов, столько воспоминаний об изоляции. Перешел к окну и задумчиво провел пальцем там, где сковырлял на ставне краску.

– Что ты ему скажешь? – спросила Сирена.

– Не знаю. Ничего не будет известно до рождения. Я не хочу поднимать ложную тревогу; он и так многое пережил.

Сирена согласно кивнула.

– Ты права, в этом я уверена. Пока мы не убедимся, лучше промолчать.

– Мы уже научились молчать.

Сирена снова согласилась в тишине.

На чердаке же он открыл створку навстречу ветру и двору внизу, выглянул для лучшего обзора. Увидел, как ходит туда-сюда Муттер, сменяет солому в денниках. Посмотрел в сторону собора, наблюдая, как над шпилями кружат галки.

Нужно было увидеть больше. Он забрался в башенку и открыл вращающееся око камеры-обскуры, меняя линзы, чтобы увидеть деятельность внизу. Округлый белый стол наполнился памятью о Гертруде, обнаженных частях тела, побелевших еще больше на древесине и выжатом свете. Он помнил, как ее конфуз превратился в раздражение, потом преобразился в несдержанность и, наконец, удовлетворение. Он помнил то же преобразование в себе, только в обратном порядке.

– Хочешь сказать, вы намереваетесь жить вместе как муж и жена? – голос Гертруды казался неодобрительным и слегка напуганным.

Сирена промолчала.

– Ты правда испытываешь к нему такие чувства? Вы едва ли друг друга знаете. А как же его прошлое? Я кое-что рассказывала о его сомнительном происхождении – тебя оно не заботит?

Глаза Сирены сменяли цвет и форму, приготовившись защитить то, что укрылось за ними.

– Я еще многое не рассказала, – продолжала Гертруда, – многое, во что ты не поверишь.

– Я не желаю подробностей о том, как вы занимались любовью, – выпалила Сирена.

– Не это; что было до того, когда его держали внизу.

– Ах да! Таинственные учителя, которые жили в подвале и от которых ты его спасла, – Сирена обратилась против подруги, пользуясь неверием как оружием наступления. – А потом они исчезли, растворились без следа. Я права, не так ли ты сама говорила?

– Я заперла и заколотила все подвальные комнаты после того, как его вызволила...

– Хочешь сказать, они еще живут там? – спросила Сирена с пренебрежительным и неприятным смешком. – Или они исчезли, как Хоффман?

Глаза Гертруды вспыхнули из-за вопроса – она почувствовала, как туго натягиваются узы их дружбы.

– Ну? Верно? Это Муттер помог им пропасть? – давила Сирена – со злобой в зубах, сменяя аппетит с обороны на нападение. – От скольких ты еще избавилась, чтобы заполучить его себе? Я буду следующей?!

Истина мгновенно затушила вспыхнувший между ними гнев.

– Все было не так просто, – сказала Гертруда. – Это не люди, это машины; машины, подобные куклам.

Он натягивал струны, мягко наигрывал, чтобы их настроить. Занятие помогло собраться с мыслями. Прозаичность баланса и корректировки отделила его разум и позволила вернуться думами в Ворр. С памятью Измаила ничего не случилось. Он не пострадал от вредного воздействия. Неужели у него иммунитет к легендарному влиянию леса? Все-таки тот заморочил Цунгали, а Одногоизуильямсов явно свел с ума.

Челюсть Сирены отвисла в изумлении. Гертруда рассказала ей все, в мельчайших подробностях, с подачей скудной, без эмоций. Раньше возможности не выпадало, и девушка только сейчас освобождалась от бремени собственного неверия. Голые факты невозможного звучали в воздухе твердо и ясно, вместо того чтобы вечно перекатываться в недрах ее неуверенности, где они глодали разум и комкались, сменяя фокус, превращаясь в галлюцинацию.

Когда она закончила, обе женщины сидели молча, и внезапно тишину позолотили просочившиеся сверху звуки. Дуновения поднебесных аккордов волновались и парили по дому, придавая

истории Гертруды еще большую странность своей жуткой красотой. В этом резком резонансе изгладился всякий привкус беспокойства, и они сидели в отрешенной тишине, пока Измаил вводил все больше и больше струн устройства Гёдарта в гармонию. Вибрация проходила сквозь женщин, сквозь ворочающийся комок жизни, сквозь мебель и полы до самого колодца, где мелодия усиливалась и вилась, разжигая крошечные механизмы, которые разжигали крошечные механизмы, которые разжигали крошечные механизмы.

По дороге домой Измаил мягко выпытывал у Сирены правду об их подруге; он хотел знать суть реакции Гертруды, знать, куда дует ее порывистый ветер. Машина плавно скользила по темному городу; мысли Сирены зарылись слишком глубоко, чтобы отвечать. Странная утомленность вела ее к спячке, в сторону от того места, где они с Измаилом производили свечение, – куда-то далеко от остывающей дистанции Гертруды и от ее последних историй о затаившихся чудовищах. В этом хрупком зыбком мире, где правило зрение, Сирена не знала, во что верить и кому доверять; ей хотелось сна, тьмы и надежды, какие всегда были у нее раньше. Она оправдалась измождением, обещая поговорить об этом позже. Глубже закопалась в свое походное одеяло и глядела на мутный город, где огни окон и светлячки сочувственно дрожали под еще певшую в сердце долгострунную музыку.

* * *

Через его ничто начинали сплетаться плющ и другие растения – поменьше, поупорнее. Это приносило им удовольствие – по ним пробегала соблазнительная щекотка, почти до самых кончиков корней.

Древний призрак похлопал дремлющего внука.

– Так доспишься до пустоты.

Реакции не было, и он похлопал опять.

– Пора просыпаться и густеть. Она волнуется и движется, сбрасывает тряпки. Ты должен собраться.

Цунгали открыл один глаз, ловил смысл старика другим. Почувствовал трение от ее непокоя; он знал, что лук горел раздеться,

всеми фибрами стремясь к значению. Цунгали ненужно потянулся – с мускулами ненатруженными и отсутствующими. Если бы он мог, то забрал бы ее, унес в Ворр; ее нужно было отдать, пока лук не пожрали ярость и безумие. Пальцы невольно сжались, он взглянул на руку, и в психике что-то зашевелилось при виде того, чего быть не должно, – у его бока, выжидая, лежала призрачная рука. Теперь она казалась обычной – настолько обычной, насколько может быть мертвая рука, – но это же никак невозможно: она умерла прежде него. Так посмеет ли он взять лук?

Он знал, что дед не одобрит; старик был из того поколения, где мертвые знали свое место и шли по посмертной тропе с нестигаемой истовостью. Цунгали тихо поднялся и проскользнул к дому. Ветерок его намерений распахнул дверь крыльца на шепчущих петлях, и Цунгали преклонил колени перед луком, заговорив с ней мягким и уважительным тоном.

– Великая сестра, я из твоего народа – обычный воин, который желает только повиноваться. Я услышал тебя в нужде и прошу благословения прийти тебе на помощь. Дозволь поднять тебя и понести на твоём пути.

Ответа не было; лук оставался неподвижным. Когда он протянул дважды фантомную руку, покров спал, позволив пальцам сомкнуться на податливом бордовом чехле; тот не противился и не бежал его прикосновения. Цунгали почувствовал, как рука входит в видимое вещество, как лук хватает его, когда он хватал лук. Они сплывались без колебаний, и призрака налило теплом.

В опустевшем колчане осталась единственная стрела – белая, старая и напоенная историей; древко было твердым и искривленным; оперение лишилось бодрости и неряшливо пожелтело по краям. Цунгали достал ее с сиротливого места и вернулся к туманному предку.

Дед медленно повернулся навстречу и тут же отскочил. Секунду-другую Цунгали казалось, что старик окаменел, но потом его рот раскрылся и беззвучно раздался громогласный эфирный рев, потрясая листья, как семена в стручке. Древнее привидение заскакало с ноги на ногу, хлопая в ладоши и не находя себе места. Не этой реакции ждал внук, и все же в каком-то неопишемом смысле его рука не удивилась. Пока он стоял и постигал новое ощущение, оно распространялось,

перетекая в другую его руку и изгибаясь, чтобы охватить шею и хребет.

– Это ты, – воскликнул старик, – это ты! Ты последний! – его ноздри расширились, и он свистел короткими вдохами, охваченный радостью с ног до головы.

Руки Цунгали стали едины с луком. Он подошел к дальнему углу сада Сирены, где стена закрывала все виды, и поместил кривую стрелу на тетиву, натягивая всеми силами. Гравитация растворилась, в процессе проглотив все тело. Стрела нацелилась над стеной в направлении Ворра.

В эту секунду все замерло. К нему обернулись растения, очевиднее всего – ленивые подсолнечники, болтающие тяжелыми желтыми коронами. Розы, истекая благоуханием, подняли сонные головы, как крошечные анемоны, вытянувшие деликатные шейки. Слепые головы червей, вырвавшихся из цепких артерий грязных метров под ногами, хранили бездыханную неподвижность, и развернулись к сцене глазные стебельки улиток. На нем сосредоточили калейдоскопные линзы тысячи пчел и мух, обрывая полет крыльев, когда момент натянулся в полную длину; встали в полете птицы над головой, приковав внимание к происходящему внизу. Все выгнулось к его изготовке – от слуг в доме до граждан города. В тысячах миль отсюда вздрогнул под неверно надписанным надгробием кремированный прах мертвого фотографа.

Тогда стрела сорвалась и дыхание восстановилось – прежде, чем большинство заметило его отсутствие.

Вместе с дедом, повторяющим каждый его шаг, последний Лучник покинул дом, оставив опеку над молодым человеком. Вместе они пошли по пути стрелы, следуя за рябщей турбуленцией, гудящей песнью, вибрирующей в воздухе.

Над ними плыла твердая линия лихих ласточек, образуя неистовую параллельную тень, чтобы вести их через светящиеся улицы Эссенвальда; мимо возвышающегося собора и отеля с балконом; мимо церкви Пустынных Отцов и рабского барака; мимо воспоминаний и смысла, за городские стены, на железную дорогу, в сердце Ворра.

Мейбридж принес с собой снег с ветреной морозной улицы. Хотя бы раз город и его здания не кишели людьми; холод загнал их внутрь, уютиться в тишине и спать.

Он взобрался по знакомой лестнице на открытую лестничную клетку, где холодный камень сделался коварным ото льда. На балясинах блестела изморозь, ступени скрипели, вторя его длинным холодным костям. Мейбридж постарел на семь лет с тех пор, как они встречались в последний раз, – достаточно времени, чтобы изменилась каждая клетка в теле. По этим теням и лестницам пробирался другой человек – так почему же он чувствовал себя по-прежнему?

Тусклый латунный ключ в руке казался тем же, и все же он знал, что ее там нет. Она продала камеры и купила билет в дорогу к своим корням. Она в Африке, с солнцем и жарой. Так почему внутренности ворочались от страха, который выхолостил его на подъеме к комнатам?

Дверь поддалась легко, и он помедлил, чтобы прислушаться, выловить звуки, которые издают люди, даже когда задерживают дыхание: неуправляемые вибрации, испускающиеся даже во сне. Ничего. Комнаты пусты, их тишина – облачена и усилена снегом снаружи.

Мейбридж закрыл дверь и всмотрелся в студию; его машина все еще была там, на том же самом месте. Но нервы распускались и пресекали телодвижения: он не мог оставить без осмотра другие комнаты. Быстро прошел по ним и обнаружил, что они клинически пусты; все следы предыдущей жизни вычистили без остатка. Ее металлическую кровать раздели до основания; раковина была голой; осталась лишь посуда с их достопамятного завтрака – в ровной непрерывной стопке.

Он вернулся к машине и снял перчатки, чтобы коснуться кончиками пальцев гладких холодных механизмов. Рукоятка провернулась свободно и легко; возраст не атрофировал конструкцию. Линзы и затворы послушно вздрогнули – хотя и чересчур отзывчиво. Он наклонился и обнаружил, что все полированные поверхности чисты и свободны от пыли.

Снова коснувшись шестеренок, он почувствовал на пальцах масло. Мейбридж пригляделся: на головном ремне читался износ. Кто-то пользовался аппаратом – и далеко не один раз. Кому он мог понадобиться? И зачем? Мысли забегали. Кроме Галла и его людей,

единственным человеком с ключами была черная женщина. Он передернулся. Неужели она все еще возвращается сюда, зависимая от эффекта машины? Мейбридж снова дергано просмотрел комнаты, тербя карман, где гнезился револьвер. Ничто не двигалось.

Он вернулся к столу и обошел тот с другой стороны. Под тонким заляпанным ковром что-то бугрилось – что-то сродни долгой тонкой трубке. Он присел и откинул протертый половик. По половицам бежал черный просмоленный кабель, змеясь одним концом по внутренней стороне ножки стола, под столешницу. Он присел и заглянул, чтобы обнаружить скрытое: здесь и поджидала главная находка. Две лампы накаливания на прочных крепежах. Он снял одну и рассмотрел. Работа Эдисона: одна из его штучных электрических ламп – новенькая, уникальная и невероятно дорогая. Но откуда она взялась? И зачем причуда его аппарату?

Мейбридж встал и уставился на устройство, не выпуская из рук лампочку и провод. Представил в нем ее – безмятежную и как будто незатронутую действием – и с трудом вытолкнул из головы образы ее преобразования. Посмотрел на провод, расходящийся на две лампочки, с металлическим кольцом-держателем на каждом латунном побеге. Поискал под столешницей пальцами и быстро нашел две просверленных дырки. Поверхность возле них была обожженной, ее лак – убитым от постоянного жара электричества. Он проследил провод до пустого буфета. По его расчетам, здесь должны были храниться батареи: кто-то пользовался устройством глухими ночами. Это единственная причина для подобных трат – запускать машину и преобразовывать человека, пока всё спит. Мейбридж содрогнулся при этой мысли. Его механизм, живущий дневным светом, оказался пагубным даже при солнце, а в отсутствие создателя принял на себя зловещую, противоестественную функцию. Мейбриджу хотелось бы побеседовать об этом с всемогущим хирургом, но Галлу нездоровилось. Все попытки связаться с ним в последние месяцы наталкивались на стену молчания. Тот жил в отшельничестве.

По дороге домой сквозь медленный снег Мейбридж задумался, что, возможно, запертую комнату лучше оставить как есть – чтобы никто, кроме больного доктора, не знал о его участии. Если машиной пользуются для какой-то непотребной цели, то это не имеет к нему

никакого отношения. Он неповинен в любых ее эффектах. Да, лучше на том и оставить. Он все обсудит с Галлом, когда тот оправится.

Верный инстинкт не терял хватки на холоде и говорил, что, опять же, ему осталось всего несколько дней в этом городе преступлений и интриг. Мейбридж заляжет и позволит снегу укрыть все вопросы, пока снова не взойдет на борт. Там, между мирами, он и решит, стоит ли зайти дальше или бросить латунный ключ, как пулю, в беззвездную бурлящую воду.

* * *

В ночь своего возвращения от воссоединения с Гертрудой они занялись странной любовью. Измаил вступил в Сирену, чтобы самоутвердиться, тогда как Сирена искала успокоительный бальзам на свою душу: никто не добился своего. Гибридный резонанс, последовавший за ними в сон, еще много дней тревожил дом. И это только к счастью, что лук уже пропал; Сирена отравилась бы в напущенной ими атмосфере.

Измаил не заметил, что Цунгали и лука нет. Так погрузился он в поиски своего места в этой новой жизни, что временно позабыл о старой; не мог думать ни о чем, кроме Сирены. Ему хотелось, чтобы она увидела его истину – не то, что он безобразный или редкий, но, напротив, его растущую нормальность и заурядность. Он голодал по собственному отражению в глубине любви, которую она столь щедро расточала. Он постоянно следил за ней, когда думал, что она не замечает, чтобы разглядеть трещинки или изъяны в совершенстве ее поверхности. Он хотел доказать свое существование через ее; все остальное раньше оставалось пусто, а попытки других людей, встречавшихся на пути, неизменно проваливались; даже тщания Небсуила теперь казались напрасными. Его место в мире всегда было скользким, необоснованным, без единого намека на цель – полым, как бездонный колодец.

Сирена навещала Гертруду раз в неделю. Она старалась делать это в одиночку; так казалось проще и можно было сконцентрироваться на подруге без помех. Она находила облегчение вдали от дома, получая передышку от постоянного внимания Измаила. Его вины в том нет,

понимала она; просто он хотел близости, но она годами жила одна и большую часть времени проводила там, куда не могли по-настоящему войти другие. Разница между сейчас и тогда была как между звуком и видом ласточек. В переездах по городу ради посещения Гертруды Сирена пыталась вернуться к тем временам, и воображение и чувства радостно скользили вперед нее. Иногда предупреждали о препятствиях, но чаще задорно и нетерпеливо тянули за собой.

Дома Измаил всегда садился поближе; ее восприятие как будто не могло протянуться дальше него самого. Он душил ее чувства любовью и нуждой, и ради них обоих она искала способы как-то обогнуть его. Замечала, что он иногда следит за ней, словно выслушивает ее сердце на сбоящие удары и нерешительности. Верила, что это забота, но порою принимала ее за надзор.

Гертруда набирала силы – ту уверенную энергию, которая определяла ее с первого же дня на земле. Но теперь энергия обращалась внутрь, уже не желая вскрывать и рассматривать чужие жизни. Больше Хоффман не преследовал ее во снах – его изгнал первый же визит Сирены и Измаила. Инстинкты говорили, что причиной тому Измаил, что это как-то связано со звуками с чердака. Жутковатая музыка, без структуры и формы, проскользнула в подсознательное и открыла ранее закрытые двери и тропинки. Звуки наполнили весь дом, единственные вошли в подвал за все годы, прошедшие со времен ее вылазки.

Рассказав Сирене о столкновении с Родичами, Гертруда заметила, что воспоминания изменились, словно, поделившись историей, она получила пространство, чтобы изучить ее и разглядеть с разных ракурсов. Факты оставались теми же и события проистекали в той же последовательности, но смысл каким-то образом стал иным. Марионетки-стражи уже не казались потусторонними и несущими страх; вместо этого их действия как будто были проникнуты спокойствием, заботой и целеустремленностью, а не жестокой механической холодностью, как она машинально и испуганно истолковала ранее.

Как это возможно? Что изменилось, коли теперь она дарит им эту презумпцию невиновности? Ввиду их отсутствия она поняла, что единственной переменной была она сама. Гертруда задумалась о

растущем в ней ребенке и спросила себя, какое действие тот оказывает на ее характер, – но ведь он должен бы сделать ее настороженнее, враждебнее ко всему противоестественному или угрожающему? Может, дело в последних суровых событиях – в реальности насилия и слепой эгоистичности, что так часто это насилие разжигала. В конце концов, она наблюдала их воочию. Хоффман, Маклиш, даже Муттер вели себя омерзительно вопреки всему, что она ценила и во что верила; кровь и гнев смыли невинность с ее глаз. Уродливые замыслы и подлая ложь рубили ее сердце, пока оно не съежилось и не зарылось поглубже в свою мясную клетку. И в таком страшном окружении бурные существа превратились в сны о другом месте, в противоположность кошмарам этого.

Мысли Гертруды заходили дальше, чем она могла представить; пока она сидела и размышляла о прошлом с теплом и нежностью, неизвестными ей в детстве, замки сохли и отпадали, заколоченные двери размягчало и вело, раскрывало настежь.

Три дня назад Гертруда заручилась поддержкой Сирены и совершила трудное путешествие в родительский дом, чтобы рассказать о своей беременности. Она давно этого страшилась, и поездка в мурчащей машине подруги распалялась трепетом. Сирена держала ее за руку, позволяя прочувствовать твердость своих целеустремленности и безоговорочной поддержки.

Парочку приветствовала мать Гертруды и проводила в столовую; странный выбор, подумала Гертруда, – из множества других, более подходящих комнат.

– Твой отец скоро будет, – сказала мать жестким взволнованным голосом.

Она уже знала? Уже огорчилась и обозлилась на нее? Муттер проболтался? Гертруда чувствовала напряжение и беспокойство в белых трещинах на волнении матери. Та казалась постаревшей и измотанной. Ее мажорная легкость исчезла, сменившись отстраненностью и стрессом.

– Матушка, что-то случилось?

Ответ на вопрос избрал как раз этот момент, чтобы войти в дверь: отец съежился и сгорбился, его веки покраснели, а одежда пришла в беспорядок. Куда делся декан Тульп и что за бледная копия заняла его

место? Гертруда настороженно смотрела, как он махнул рукой на кресла.

– Садитесь, садитесь, пожалуйста, – сказал он голосом, в котором не слышалось ни широты, ни остроумия, какими он славился. – Дорогое мое дитя, тебя поражает перемена во мне; в этом ты не одинока. Иногда я поражаю сам себя. – На его лице промелькнула слабая улыбка, и он посмотрел на жену, плотно поджавшую губы, выжимая кровь куда-то в другое место. – Сказать по правде, я едва ли не дошел до ручки. Бизнес умирает, а наши сбережения пропали.

– Пропали, отец? Но куда?

– Пропали с Августом Дареном, – вставила миссис Тульп. – Он закрыл свой банк, забрал все деньги и скрылся.

– Должно быть, он предвидел коллапс, – продолжал декан Тульп. – Почувствовал неминуемый крах Гильдии лесопромышленников, упадок города и спасся, пока мог, прихватив с собой чужие сбережения.

– Но, отец, почему все это происходит?

– Потому что нет древесины, дорогая моя. Без рабочей силы некому везти из лесу бревна, так что они лежат сиротливыми горами и гниют. Никто не согласен работать. Мы перепробовали все!

Гертруда никогда не видела его в таком унынии.

– Единственное, что нам остается, – собрать все, что осталось, и уезжать, – вздохнул отец.

– Куда?

– На юг.

– Но куда?!

– Я не знаю!

Они долго просидели в тишине, пока Сирена, смущенная собственным вторжением в неожиданность подобных семейных откровений, больше не смогла сдержаться.

– Могу ли я чем-нибудь помочь?

В глазах старика блеснуло раздражение, разгладившееся, когда он покачал головой.

– Нет, спасибо, дорогая. Вы очень добры. – И тут, словно это только пришло на ум, он добавил: – Вы можете помочь в одном: присматривайте за нашей малышкой. Будьте ей другом.

Сирена кивнула с мрачной серьезностью, и на миг он просветлел.

– Впрочем, дочь моя, давай поговорим о тебе. Что за важные вести ты принесла нам сегодня?

Три дня со времен визита – достаточно времени, чтобы свыкнуться с мыслью о тяготах семьи, но она не могла стереть из мыслей гнев отца из-за ее вестей. Тот не сумел вымолвить ни слова и покинул комнату в смятении и ярости. С самого разоблачения она спала крепко только одну ночь, и то грезы наполнились урывками и концовками; не этим она намеревалась подпитывать ребенка.

Она сидела дома в одиночестве в поисках позитивной точки зрения, когда услышала звук – что-то двигалось в кухне.

– Зигмунд! – позвала она, зная, что это не он.

Она встала и направилась к двери, приоткрыла, чтобы послушать у щелки. Больше ничего не уловив, вышла в коридор и огляделась. Хотя увидела все с первого же взгляда, признать этот факт она себе не позволила. Второй же взгляд был обязательнее, и теперь факт не поддавался отрицанию: раньше белого конверта здесь не было. Она знала, что это, и страшилась при мысли о его содержании.

Г. Э. Тульп.

Период, минувший с последнего моего обращения, обнаружил себя куда более долгим, чем я предполагал; до сей поры в контакте не было необходимости. Вы превзошли мои ожидания. Ваши поведение и сообразительность выше всяких похвал, и вы будете вознаграждены.

В первую голову, не страшиться за семью. Она будет обеспечена, как и те, кто сослужил вам службу в деле, – даже герр Муттер. Никто не раскроет судьбу X, в этом можете быть покойны.

Вы останетесь в этом доме и воспитаете дитя в его безопасных стенах. Вам будет предложена помощь, но прежде чем принимать любые решения, вам должно очень аккуратно учесть все факторы. Ребенок ваш будет крепок и здоров, но несколько отличаться от остальных. Это станет благословением для всех. В следующие несколько лет вокруг вас многое переменится. Город может пасть и

возродиться, но этот дом останется прежним; так всегда было и всегда будет.

Измаил теперь живет собственной жизнью и может распорядиться ею по своему усмотрению.

Я снова свяжусь с вами после родов.

* * *

Сирена сидела на балконе, глядя на город, за стены, на далекий Ворр. Измаил принес бокал вина и мягко положил руку ей на плечо.

Было трудно поверить, что вокруг происходило столько перемен. Все казалось тем же. Измаил думал о камере-обскуре; Сирена наблюдала за чайками. Их кожа в соприкосновении была теплой и обнадеживающей. Вдвоем они выстоят.

* * *

Ветер – мне в спину, и я чувствую душевный подъем, проворно выходя на новый ландшафт путей и расколотых сферических валунов. Смоляная тень прошлого выбелена наступающим светом. Впереди встреча дорог – некий перекресток с крошечной придорожной часовней. Там стоит фигура, ждет. Тот ли это спутник, которого я чувствовал раньше, каким-то образом меня опередивший? Он следит за моим приближением, и я подстегиваю шаг.

Это мужчина, и не тот, кого я ожидал. На этом расстоянии я вижу, что с его лицом неладно. Его поза пружиниста и демонстрирует гибкую неприступную самоуверенность, пробуждающую подозрения. Я чувствую свирепость и волю. Зато у меня есть оружие, которое я взвожу в сумке перед тем, как подойти ближе.

* * *

Фигура на перепутье напрягла мускулы и выпрямилась во весь рост: в этот день здесь никто не пройдет.

Никто раньше не преодолевал лес невредимым; фигура же перед ним жила там – и миновала во второй раз без видимых усилий. Он тяжело работал и много выстрадал, чтобы сохранить жизнь этому человеку, – и скоро Сидрус овладеет всеми элементами знания и их подразумеваемой силы.

В своем изменившемся состоянии клирик извел недели на то, чтобы обойти лес опушкой и достичь этой точки перехвата. Его нервное стремление просветиться достигло пика в изувеченном теле и перевалило за него, рассылая мучительные спазмы адреналина в зарастающие раны. Эти ощущения он терпел бестрепетно; они краткосрочны. Когда он наконец войдет на святую землю с властью над Былыми и сумеет прикоснуться к святому центру, все наладится.

* * *

Боже мой, это прокаженный. Его полуразрушила какая-то чудовищная болезнь. Посреди его лица, покрытого язвами, струпьями и мешками кожи, зияет дыра. Изъеденный рот свело набок, глаза почти исчезли. Это лицо я видел на хребте, – негативный образ чернильной карты.

* * *

Сидрус не успел к флакону вовремя. Митрассия вошла в силу раньше, чем он даже вышел на окраину города: старая злобная мразь наверняка солгала об отведенных часах. Когда Сидрус заполучит знание Ворра и исцелится как следует, он не забудет вернуться и медленно вскрыть целителя – гораздо, гораздо медленнее, чем он разорвал голубя с антидотом.

Содержимое бутылка прервало смертоносное действие ужаса, но тело осталось разбитой развалиной: гениталий больше нет; три пальца ног отвалились и лишь два пальца рук остались целы; большинство зубов разъело, лицо стало гниющей кашей; четверть адреналовой системы пошла ко всем чертям. Все образуется, когда он войдет в святое ядро.

Лучник остановился, словно задетый его видом. Сидрус уже с этим сталкивался и быстро произвел мысленные правки.

– Подойди, друг, я не желаю тебе зла, – прошепелявил он, и перекошенный рот преломил напряженность слов. – Я Сидрус, Хранитель границ великого леса. Я полномочен в этих землях.

Уильямс шагнул ближе к ненасытному голоду.

– Я не пожму тебе руки. Здесь уже нет такого обычая, и в любом случае ощущение будет тебе нелюбезно. Как видишь, я стал жертвой страшной болезни. Она не заразна, и я не стыжусь своих ран. Прошу, не тревожься из-за моей внешности.

– Я не тревожусь, – ответил Уильямс почти искренне.

– Ты не знаешь меня, но мне известно о тебе многие годы. Я спас тебя от рук множества наемных убийц.

Уильямс не проявил интереса и эмоций к этим фактам и не выказал ни малейшей благодарности.

– Ты уже не несешь свой лук?

– Лук?

– Живой лук, что вел тебя много лет.

Уильямс пожал плечами и ответил:

– Об этом мне неизвестно. Думаю, ты говоришь не с тем.

Сидруса поразило бесстыдство лжи; Уильямс увидел, как разъеденное лицо приняло выражение того самого призрачного видения с клочка улетучившейся бумаги. Он принял это за предупреждение и подтянул сумку ближе.

– Ты можешь мне доверять; я многим тебе удружил, я тебя защищал.

– Это я уже понял, но ради чего? И от кого?

Сидрус наслаждался игрой в кошки-мышки лишь тогда, когда неоспоримо был кошкой; эта же демонстрация вздорного самодовольства начинала действовать на нервы, но все же он подыгрывал – сделанное невежество не смущало его стремления к главной цели.

– У тебя есть враги и противники, которые не желали, чтобы ты снова прошел через Ворр. Твои бывшие однополчане заклеили тебя дезертиром, убийцей и кем пострашнее. Они хотели тебе смерти или изгнания, чтобы ты не блуждал вольницей по краям восстания. За

твою голову назначена награда; всяческая сволочь пыталась убить тебя и озолотиться.

Уильямс осознал, что болезнь этого человека проникла глубже лица; должно быть, она сжевала и мозг.

– Я не знаю, о чем ты говоришь.

– Об Имущественных войнах?

Уильямс покачал головой, расписываясь в недоверии и равнодушии глубокими морщинами у глаз.

– О Ворре?

– О чем?

– Ворр. Великий лес.

– Какой лес?

Лицо Сидруса уже было неопишимо. В ярости он ткнул пальцем за спину Уильямса, который обернулся, посмотрел и раздраженно повел плечами назад.

– Я не вижу леса.

* * *

Он стал мировым именем; теперь другие фотографировали его. Огромное портфолио человеческих движений обрело колоссальный успех, и он наконец видел, что это стоило стараний: его место в истории утверждено. Старый век волной накатывал на рубеж, и труд Мейбриджа был на ее гребне.

Тем вечером он снова читал лекцию, и слышал по приглушенному реву, что заняты все плюшевые места. Его новый вечерний костюм поскрипывал, пока он расчесывал свою титаническую бороду, слепившую белизной на фоне блестящей черноты дорогой ткани. Он снова посмотрелся в зеркало: «оправдан». На его могучих плечах покоилось строгое достоинство науки.

Он вышел на сцену под волны аплодисментов. Для проекции приготовил новую партию снимков движения, а также старых любимцев публики, которые сделал в виде стеклянных слайдов и теперь с нетерпением ждал их первой проекции в увеличенном виде: от слонов до этюдов танцующих девушек в классических позах. Он изготовил диапозитивы всех своих этюдов, чтобы разделить их с

широкой публикой и заодно обнародовать желательность приобретения его опубликованных работ. Он чувствовал, как огромная аудитория накатывает ближе и ближе; чувствовал их восхищение и удивление так же осязаемо, как чувствуют жару или запахи моря.

Глядя на сотни лиц, уставившихся на экран позади него, Мейбридж мог тайком наблюдать за их концентрацией. Столь зачарованы они были его притягивающими изображениями, что сам он стал невидим. Он видел в распахнутом изумлении свою славу, слышал овации в пораженных вздохах. Все они – его приверженцы, его пленники иллюминации.

И тут он увидел невозможное – невозможное сидело в зале и уставилось прямо на него, не обращая внимания на экран и сменявшихся там животных и людей: Галл. Он же должен быть мертв. Кончина доктора совпала с последней отлучкой Мейбриджа из Англии – разве не это ему все говорили? Неужели все, кому он верил, лгали? Даже тот молодчик, которому он платил за чтение британских газет?! У Мейбриджа не хватало времени на всю трепотню, что печатали в эти дни; особому человеку было поручено искать статьи о нем или его опубликованные письма. Также ему предоставили список персон, представляющих интерес; о смерти Галла молодчик известил два года назад! Даже в больнице это подтвердили – и все же вот он, живее всех живых, плотное прямоугольное лицо мерцает в свете проектора.

В более частных обстоятельствах Мейбридж нашел бы, что сказать доброму доктору: на ум немедленно пришли вопросы об использовании его машины. Но слайды с животными кончились; он продолжал выступление. Нужно было заполнить короткий перерыв объяснениями, пока заряжали следующий набор фотографий. Проектор перешел на Мейбриджа, и он уже не видел публику или доктора. На миг он растерялся и забыл, что говорить. Неуютное шуршание; роптание. Он откашлялся и замычал, с заиканием раскручивая внутренний маховик. Тот провернулся, и речь потекла, заново захватывая внимание публики.

Через пять минут механик кивнул, и он подвел монолог к завершению; прожектор погас. С мерцанием ожили слайды: серия «Атлеты из Пало-Альто»; «Мужчины и женщины в движении». Он снова взглянул на Галла. Того уже не было, но в темноте, где он сидел, остались два пятна. Мейбридж напряг зрение. Кляксы напоминали

глаза, сделанные из световых разводов. Это потрясло его и смешало следующую речь. Он молча махнул механику, не доверяя себе говорить, желая только всматриваться в публику и разобраться в увиденном. «Женщины и дети»; «Бег и прыжки на скакалке»; «Танцы мисс Ларриган». Шагнул ближе, чтобы с большей определенностью разглядеть пустое место. Они по-прежнему были там, прожигали его; аморфные шары светящейся интенсивности. Почему их, парящие так близко, не видел никто из окружающих? Это Галл играет шутку с помощью своих механизмов – или Мейбриджу мерещится? Ему снова плохо? Он заглядывал в лица вокруг, но никто не отводил взгляда от фигур на экране, что дребезжали по измерительным линиям, напрягая мускулы и изгибы против неподвижности, с эхом все того же старого заряда странности между телом и временем, в которое они были облечены.

Мейбридж чувствовал глаза даже после того, как они пропали, – чувствовал в виде остаточных изображений, выжженных на сетчатке. Он тер веки, превращая разводы в темные пятна, так что, когда открывал глаза и смотрел на освещенный экран, видел две темные дыры в расфокусе, словно выкопанные камеры медлительности изобретения Маре. И снова он тер веки, злясь из-за несвоевременности.

Ему показалось, он заметил движение в конце зала; тень, метнувшуюся вниз от внимания. Возможно ли? Галл? Должно быть какое-то разумное объяснение; Мейбридж не имеет дел с привидениями. Опоздавший почесал болезненный ушиб – занывшее колено усугубляло постыдность падения посреди прохода; но ничего из этого ослепленная логика Мейбриджа не зафиксировала.

На экране танцевала мисс Ларриган – в костюме, напоминавшем одеяния с древнегреческих фриз и из возвышенных храмов. Воздушная среда передавала элегантность ритмического танца и чувственные контуры тела. В проекции такого масштаба четко отображались и твердые соски, и тень лобка; гигантская нагота протанцевала из приемлемой области на высокозаряженную арену эротики. Мейбридж не предполагал такого эффекта; публика заметно смешалась.

Упавший в конце аудитории встал спиной к экрану, несколько не замечая восхитительного видения, представшего его сотоварищам.

Друг протянул ему руку помощи, и упавший издал короткий смешок в знак того, что в полном порядке; по какой-то акустической прихоти смешок разнесся и был услышан всюду. Мейбридж развернулся на звук, воззрившись, как разгневанный Иегова.

– Кто смеет насмешничать? Это изображения от искусства и науки, а не для потехи пошлого ума! Я поработил их совершенство не ради уничтожения; я пересек Атлантический океан, чтобы продемонстрировать свою технику образованной публике, а не чтобы развлекать дерзкую чернь моралью разложения!

Возникло ошарашенное молчание. Мейбридж снова взглянул на пустое место.

– СЛЕДУЮЩИЙ СЛАЙД! – заревел он на сжавшегося механика.

В конце лекции он сорвался со сцены, пока публика старательно хлопала в виде извинения. Мейбридж покинул театр под их аплодисменты. Когда он не вернулся, хлопки постепенно иссякли, и толпа ушла молча, как понурая немая отара.

Наконец остыв, Мейбридж зарекся давать публичные речи в Англии. Вполне очевидно, что на родине его не ценят; он вернется в Америку, где умеют обращаться с людьми такого калибра. Перед отъездом он узнал, что Галл в самом деле мертв. Значит, увиденное – какой-то сложный розыгрыш в попытке подкосить его и поднять на смех. Он снова пообещал себе, что вернется только тогда, когда будет слишком стар для работы, когда достоинство потребует уложить свои кости на покой в королевской земле. Только тогда он позволит этим негодяям воздать ему по заслугам и приобщиться к его гению.

* * *

– Я положил плоть, деньги и годы на твое спасение. Я страдал, а ты смеешься надо мной?!

Сидрус неистовствовал в слезах.

Он вынул из-под плаща две черные трости.

– Я не желал тебя обидеть, – сказал Уильямс, – но то, о чем ты говоришь, не имеет для меня смысла. Там нет ничего похожего на лес;

я знаю, потому что шел целыми днями. Там только широкая мрачная трясина.

Сидрус, славившийся извечным контролем и сдержанностью, наконец вышел из себя. Истина, которую он столь долго преследовал и к которой столь близко подошел, ускользала с каждым словом. Неужели Лучник действительно все забыл и ослеп в своей иллюзии? Неужели это предельный эффект столкновения с лесом, его величайшая защитная ирония? Или все это нечестная злорадная игра, коварная ложь, чтобы не допустить Сидруса к жизни в богатстве, превосходящем любые фантазии?

– Ты когда-либо проходил через лес или жил в нем? – спросил Сидрус в поисках водораздела между истиной и ложью.

– Я смутно припоминаю уничтоженный лес; сломанные стволы и разрубленные корни; край грязи и смерти, озаренный громом и молнией, рвавшими людей на части. Но это было давно и далеко от места, где мы сейчас стоим.

Снова ложь.

– Ты был один? Какие существа там обретались, кроме людей?

Уильямс замолк, словно в размышлениях, медленно сдвигая руку в угол холщовой сумки.

– Я могу вспомнить только двух: мулов и ангелов, – механизм пистолета взвелся со щелчком, и он выхватил его, роняя сумку на землю. Но ему было не тягаться со скоростью возмущения. Не успел он заключить выстрел, как Сидрус ринулся через пространство между ними, вознося одну из тростей в дуге снизу вверх, с опытным обнаженным клинком. Тот отделил сумку и лямку, рассекая сухожилия на руке Уильямса. Сидрус кружился вокруг Лучника сплошным пятном; он оказался за его спиной прежде, чем его вскрик достиг ушей священника.

– С меня довольно твоей насмешливой лжи!

Уильямс схватился за кровоточащую руку; остальной мир ушел из-под ног.

Когда он пришел в себя, было темнее; от тени, как будто составлявшей все помещение, где он находился, разило. Уильямс подавил тошноту сознания и попытался сдвинуться. Ничто не шелохнулось; его удерживали какие-то путы. Он слышал поблизости

ветер; казалось даже, что они под открытым небом, на каком-то безлюдном пейзаже. Затем он разглядел рваный свинец и осколки света вокруг него: витражное окно, высокое, жалкое и разбитое – цветные пластинки украдены много лет назад. Уильямс вспомнил крошечную часовню за спиной фигуры на перекрестке; ее описание совпадало с рудиментарной оценкой пространства, где он вырывался из узлов: его привязали к простому алтарю.

Голос Сидруса изменился: в нем больше не было ни следа предыдущих эмоций. Гнев дистиллировался.

– Сегодня я получу от тебя ответ. Я больше не потерплю глупостей. Я был слугой Ворра всю свою жизнь; угождал его потребностям и приказам; водил дружбу с его стражами и прорезал его хищников. Я знаю, что дитя, которое звали святой Ирринипесте, открыла ему твою душу, и знаю, что ты носишь в сердце и голове его эссенцию. Мои знания о Ворре глубоки; с твоими же они станут исчерпывающими.

Уильямс давился из-за веревки, удушенный собственным незнанием.

– Если ты мне их не дашь, – продолжил клирик, – тогда я заберу их сам.

– Мне нечего дать! – вскрикнул Уильямс со всей силой.

– Тогда я буду резать и разнимать тебя, пока не останется только голос. У тебя не будет иного выбора, кроме как ответить.

В разбитое окно пролился ветер, мерцая последним светом дня. Он гнул битые фрагменты прозрачного стекла и изможденные свинцовые артерии, державшие их в своей утомительной позиции.

– Кое-кто говорит, что некоторые частички памяти обитают за пределами разума, пропитывая мускулы и проходя вдоль хребта. Я верю, что это так, и собираюсь извлечь их одну за другой; пробудить и выпустить, чтобы твои знания о ядре леса свободно достигли моих ушей.

Целеустремленный священник наложил шину на голень Уильямса. Рядом тлела жаровенка, в ее огне калилось сияющее железо. Сидрус увидел, как на него уставились испуганные глаза англичанина.

– Не будет пролито ни капли твоей драгоценной крови. Когда я закончу, ее будет в избытке для органов, которым она так преданно служила. Она хлынет и насытит твой мозг перебогащенным

кислородом; лишь твоя боль сравнится с его потребностью опустошить свою силу. И вместе они провизжат истину, которую ты отказываешься мне выдать.

Первый порез показался всего лишь нажимом, пока не освежевал нерв и в разуме Уильямса все не побелело.

Он не знал, сколько раз терял сознание и сколько раз в него возвращался. С каждым вдохом его поджидала новая агония. Пришла ночь, и ветер стих; он уже хотел снова кричать, когда почувствовал перемену в ветре – как его скорость трепещет и успокаивается до шепота.

– Сейчас, – услышал он себя. Но что – сейчас?

Уильямс что-то почувствовал – вдали от часовни, в его поисках, торопящееся к нему. Не это ли искал Сидрус? Это приближается тот самый секрет, чтобы отдаться Уильямсу и затем перейти дальше? Секрет, призванный в путь кровью? Сидрус придвинулся.

– Говори, Одиномуильямсов: твое время пришло, как я и обещал.

Свист снаружи был пронзительным и быстрым, всего в мгновениях от них. Сидрус не слышал его; он прижался своим отвратительным лицом к устам жертвы – да только в звуках, что он слышал, не было смысла.

Уильямс видел уголком глаза голос. На долю секунды тот сверкнул белым в окне, прежде чем пронзить его горло и пригвоздить слова к алтарю.

Сидрус отскочил от фонтана крови с порозовевшим от влаги лицом.

– НЕТ! – взвыл он перед умирающим, отчаянно дергая за белую стрелу, встрявшую в шее. Но все тщетно; Уильямса не стало, а стрела не двигалась с места. Сидрус обмяк, поверженный и угнетенный. Провел серой трясущейся ладонью по окровавленному лицу. Сидел, пока часовня не воспарила в сером мареве зари. По комнате прошел тонкий свет, на миг высвечивая крошечное изображение пророка с тяжелой бородой, который стоял в плоском черном пейзаже безликой настойчивости. Бесцветная призма озарила лицо мертвеца, обнажив выражение удовлетворенного спокойствия. Человек, умерший в такой боли, не должен так выглядеть. Сидрус вскарабкался на ноги и схватился за веревки трупа. Где-то в этом лице, под костью, пряталась

улыбка, работавшая как батарейка и заряжавшая выражение абсолютной безмятежности. Сидрус в гневе затряс бездыханное тело. Стрела выпала легко, словно держалась на одном честном слове.

Больше Сидрус не мог вынести. Похватав свои вещи, он спешно побросал в мешок затупленные щупы и ножи. Жаровня еще не остыла до конца, и он бросил ее, нетерпеливо выбравшись на сырой просветляющийся воздух.

Он побежал к лесу. Больше часа он добирался до его священной стены; та уже казалась другой, не такой тревожной; он чувствовал себя здесь вольно. Неужели он получил знание? Неужели эти слова – эти немногие странные слова – и есть секрет? Может ли он наконец войти глубже и связаться с Былыми напрямую, общаться с ними в каком-то осязаемом смысле? Лес потеплел и горел красотой, пока над ним поднималась полная сила солнца; Сидрус был желанным гостем. Он получил секрет. Началось.

Сидрус выронил мешок с инструментами и направился прямо в центр. Его терпение вышло: он должен найти древнее существо и очиститься от ран, которые уже носил слишком долго. Стоял полдень; огромные снопы света проливались с полога, дрожа от жизни и птичьей песни. Сидрус видел, как в небе между деревьями юркают ласточки; потом они выстроились в линию, разделившую листву; что-то зашуршало в подлеске под трель в воздухе. Проявилась великая дуга и соскользнула с облаков на лесную почву. Она приближалась быстро, едва не настигнув Сидруса раньше, чем он понял, что же визжало в дуге. Старая белая стрела изгибалась и коробилась, вращаясь навстречу земле с великой целеустремленностью. Она попала в цель – и перед Сидрусом упало серокожее создание, с силой, которая отдалась в ногах клирика. Оно вскрикнуло, на миг забилося и затихло навсегда.

Взмыли спиралью птицы, трепеща через бормочущие листья в тишину. Он наклонился, чтобы изучить серую шкуру существа, не в силах понять, человека видит перед собой или животное; оно так усохло, словно было мертво уже много лет, а не секунд. Интерес Сидруса поблек с воспоминанием о цели; он побрел вперед, не замечая двух черных призраков, приблизившихся с его уходом.

* * *

Цунгали пренебрег изувеченным путником: от этого пропащего и пустого создания нечего было взять; оно было словно белый куль, вялый и отсутствующий, стоявший торчмя только потому, что ему не хватало мудрости упасть.

Охотник и его дед подошли к мертвому существу, и старый призрак выдернул стрелу из его сухости, передал через плечо Цунгали. Глаз старика не покидал серый остов, пока сам он обводил над своей головой круг заскорузлой рукой. Казалось, Цунгали знал, что это было, но не мог поверить, насколько оно удалилось от совершенства. Подняв руку сраженного создания, старик раздвинул пальцы, снимая цеплявшийся мох и лишайник. Ногти превратились в роговые когти, два из них прошли сквозь осязаемость старого привидения, зацепились за него. Он не обратил внимания и продолжал изучение, выдергивая усики плюща, что проросли под кожей наряду с тем, что когда-то было венами. Стоило это сделать, как плоть, словно пергамент, отпала с некогда человеческой руки. Первой человеческой руки.

Цунгали поднял лук, наладил стрелу и изогнул оружие всей силой, направляя его внимание в столбы света.

* * *

С мига, когда стрела, преследуемая парой ретивых призраков, покинула тетиву, зрение стало его подводить. Звон лука отозвался за глазами Сидруса, которые, в свою очередь, завибрировали в голове и лишились фокуса. По коже поползла дрожь, что ранее была аватарой митрассии, но теперь стала чем-то еще, чем-то совершенно иным. Должно быть, это кровь, думал он, или восторг от начала его восстановления. Словно все тело кишело тысячами муравьев, бегающих по меняющейся коже и под ней, переписывая его структуру и цель. Сидрус вышел к мутному пруду и окунул белую голову в болотные воды, чтобы смыть последние следы от смерти Уильямса. Вода казалась прохладной и очищающей на пыли его воли, на его теле, объятom близостью деревьев. Он вынырнул и аккуратно вытер

изуродованное лицо рубахой, тяжело дыша в комфорте ткани. Когда же открыл свои крошечные глаза-пуговики, все, что лежало перед ним миля за милей, – черная сиротливая топь.

* * *

Руки Гертруды вспотели, а сама она зарделась от ребенка, пока шла по пустому гулкому коридору. Муттера поблизости не было. Большую часть времени тот проводил в конюшне или за уборкой двора; сейчас в дом его можно было заманить только приглашением. Теперь, когда она увеличилась в размерах, он словно стал стеснительнее, хотя и не мог отвести глаза от выпуклости.

Она подошла к двери в подвал и отперла ключом, который носила последние два часа во влажной ладони. Гвозди расшатались и выпали на пол с мягким прогнившим звуком освобождения. Она сняла навесные замки и вошла в ожидающую кухню; таинственное сердце помещения все еще баюкало тепло безразличия. Гертруда не обратила внимания на это приглашение остановиться и задуматься, упустить время, и взамен направилась к панели в нише.

Теперь она стала совсем другой формы и была вынуждена приноровиться равновесием к тесноте, спускаясь в лестничный колодец и протискиваясь в узкий проем, пока наконец не вошла в помещение, где так давно у ее ног разбилась кукла. Ее объяло воспоминание самого забытого сна. Она кралась, как кошка. На виду – ни следа тех неотвязных событий: ни пятен; ни паутины; ни истории. Вошла в следующую комнату и почему-то без удивления увидела Лулуву, которая сидела на ящике, пролежавшем открытым со времен последнего визита Гертруды; та была неподвижной и мягкой, ее твердые коричневые руки лежали на бедрах, голова – склонена. Гертруда спокойно наблюдала за ней, ожидая указаний.

– Это ты сломала Авеля, – сказала Лулува высоким напевным голосом.

– Да, – ответила Гертруда.

Лулува подняла полированную голову; между коричневых поверхностных шрамов вращались глаза в поиске вопроса, который еще не сформулировало наблюдение Гертруды.

– Я слышу ребенка, – сказала Лулува. – Я слышу бурю движения; ребенок сосет твои внутренности и машет конечностями.

Гертруда вдруг поняла, почему не отшатнулась от Лулувы мгновенно, почему не поразились ее виду. Теперь ее лицо украшали два глаза лукавой наблюдательности, окруженные шрамами – словно глазницы и веки размазывали раскаленным ножом. Ее черты изменила какая-то любительская технология, недопонимавшая совершенство как нового, так и изначального материала; это была грубая и безыскусная попытка наделить куклу большей человечностью.

– Отныне мы будем твоими слугами, – сказала Лулува. – Я и оставшиеся Родичи станем учителями ребенка.

У Гертруды кончались эмоции – или, по крайней мере, соединительная ткань, придававшая им смысл.

– Я не хотела его убивать, – сказала она.

Лулува понимающе качнула головой.

– Жизнь недолговечна. Никто тебя не винит, – она поднялась на ноги, потом снова взглянула на Гертруду. – Ты знала, что башня-камера выстроена ровно над колодцем?

Чтобы подчеркнуть это, она подошла к Гертруде и поместила одну руку ей на живот, а вторую – над головой, где обычно парит нимб. Обвела ладонями небольшие круги; Гертруда чувствовала гул бакелита Лулувы. Осознала, что они одного роста. Лулува выросла и теперь смотрела на нее – плечо к плечу, глаз к глазу.

Эпилог

*Книга была подарком,
Что лучше выкинуть – на дно
Моря, где ее прочтет сообразительная
рыба
Или нет.*

Джон Эшбери. Снежок в аду

Бельгия, 1961

Улицы разъярены от ярких машин; те как будто летят со скоростью своих сирен. Обгоревший на солнце бульвар разбух от основных цветов.

Американец снова смотрит на карту. Весь Брюссель словно основан на иррациональной сетке. Наконец он находит тупичок, подхватывает чемодан и шагает мимо подстриженных скверов – маникюра дотошного совершенства.

Чем дальше он идет, тем старше и всклокоченнее становятся здания. Он прибывает к входу в общественный дом престарелых, где встречает универсальный запах возраста – нетактичный фон мочи и прогорклой стряпни; здесь, в Центральной Европе, он еще подцвечен парфюмом и чесноком. Американец разговаривает с персоналом на слабом французском времен его старшей школы. Большинство из них – крестьяне или иностранцы с еще более странными акцентами. У него же претензия на хороший, настоящий выговор, который ему и его соученикам преподавал учитель из Монреаля.

Марокканка в заляпанной протертой форме сине-белого цвета ведет его через старый дом, забальзамированный магнолией и чистящим средством. Они поднимаются по двум безвкусным лестничным пролетам. Американец нервничает, то и дело задвигает очки на переносицу. Он месяцами представлял себе эту встречу, но договорился о ней через переписку только в последние несколько

недель; теперь она становилась реальной. Вдруг провожатая встает перед ним, и он оказывается в большом зале с множеством сидящих женщин.

– Мадам Дюфрен, ваш посетитель.

Оглядываются все старушки. Он паникует; понятия не имеет, как она выглядит. Затем от окна машет рука.

Грандиозный в прошлом зал обветшал до казенной плачевности. Американец осторожно пересекает его, огибая мокрые места и оброненные предметы, придающие новый узор вытоптанному ковру. Она более хрупкая, чем он ожидал, дважды обернута тяжелой шалью, в то время как улицы снаружи заливают солнце.

– Мадам Дюфрен, доброе утро! Позвольте представиться, – начинает он.

Шарлотта слушает и по-доброму улыбается из-за неправильной точности его французского. Он притворяется, что старается завести вежливую беседу, но быстро устает от фарса и бросается к единственному своему интересу. Следующий час он сыплет бесконечными вопросами о Французе. Большинство из них для нее невразумительны. Она утомляется от стараний его понять, все более и более путаясь, чего он на самом деле хочет.

– Можно немного поговорить о последних днях в Палермо?

Она осознает, что американец не видит ее, не смотрит в глаза. Он в таком ужасе от того, как она опустилась, что даже не может встретить уставший взгляд собеседницы. Он окапывается в вопросах и неустанно давит.

– Правда ли, что он не мог уснуть в постели, что боялся из нее выпасть? Поэтому его нашли на полу рядом с вашей дверью?

Она вспоминает о гении того человека и знает, что не это нужно большому и рыхлому американцу. Для нее блеск Француза не в книгах или словах, а в моментах, когда он становился уникальным, вдохновленным, своеобразным человеком, который делал то, что любил больше всего. Она вспоминает, как он сидел за пианино, играл, импровизировал голоса. Он мог подражать всему на свете, от скрипа трамваев до рева экзотических зверей, от оперных див до обычных уличных певцов. Как же они оба смеялись – тогда, когда он еще мог смеяться.

– У вас остались фотографии из вашего времени вместе?

Этого она ожидала и достает из шали большой и мятый манильский конверт. Зарывается в него и вскоре извлекает снимок с замятыми уголками. Они позируют, как женатая чета: она сидит в кресле, он стоит за ним; ее доброта так и лучится, даже придает красоту ее встопорщенной шляпе, напоминающей подвернутую шейку мертвого лебедя. Американец загипнотизирован: это самое лучшее изображение его литературного героя, что он видел. Здесь стоит натянутый, безупречный человек точных, хотя и крошечных пропорций.

– Это чудесно, правда чудесно!

Она видит, как возбуждение зажигает в ее госте что-то еще – и тут вдруг мелькает сходство; на нем налет того же эксцентричного самовлюбленного динамизма. Этот незнакомец – ее единственный посетитель-мужчина, и он несет сходство с тем, кем так восхищается. Она оттаивает и расслабляется. Он слушает, как она начинает разворачивать объяснения, чем на самом деле были их отношения. В зале становится тихо; прекратился даже неумолчный кашель. Дамы незаметно тянут шеи к подробностям.

Перед уходом американец вспоминает о подарке, который принес для нее, и копается в чемодане. Вынимает шоколадки и спрашивает, могут ли они еще встретиться. Она довольна и говорит, что о большем и просить не может.

Они встречаются еще четыре раза; в последнем случае он уже навещает ее в собственной комнате элегантного частного пансиона, со смиренным достоинством принявшего ее последние дни.

Американец тяжело поработал с тех пор, как в первый раз оставил Шарлотту в ее плачевном ветшании. Он задумал этот переезд – и оплатил его сюрреализм. Связался со всеми, чьи мечты ходили по этой кривой литературной дорожке или кто публиковал и распространял эти пышные образы, и накопил достаточно денег, чтобы изменить ее последние годы. Теперь она светила в своем отражающем окружении. Она просияла улыбкой, когда он пришел, и показала всю свою комнату, в том числе самое ценное имущество, последние девять лет пролежавшее взаперти на хранении. Ей хотелось рассказать все, но ему на самом деле не нужно было так много подробностей, а она уже столько позабыла. За годы не вымыло только радость и злобу; остальное отпало. Тем не менее они говорили часы напролет.

Шарлотта наслаждалась обществом мягкого бесформенного человека и не обрадовалась его финальному прощанию; американец начал рыться в чемодане – и она поняла, что он уже ушел.

Словно в разочаровывающем номере горе-фокусника, теперь шоколадки превратились в книгу. Она уставилась на нее, пока он поправлял очки.

– Я думал, вам понравится: только что отпечатано, последнее издание.

Она взяла книгу; та казалась какой-то недоделанной – без корешка и твердой обложки.

– Это первая публикация в мягкой, – радостно сказал он.

Она поблагодарила и прижала ее к себе. Они распрощались, и он ускользнул, помажав ей из уменьшающегося коридора; она знала, что больше никогда его не увидит. Прошла по мягкому ковру и легла на постель, подложив хрустящие белые подушки и погрузившись в размытые мысли о прошлом.

Голубь одолел ворона – по крайней мере, в последние дни. Она тяжело и догматично сражалась за эту победу. Его жестокость ранила, но и близко не так сильно, как птица-падальщик, без устали расклевывавшая его собственное сердце. Теперь же Шарлотта ее изгонит и будет видеть в нем только то, что хочет: подражание звездам мюзик-холла или пародию на Макса Киндера, безнадежного декадентского щеголя – снова за пианино, пальцы бегают по клавишам, а воркующий голос тускнеет до жалобного мычания.

Книга была на английском; так ее название звучало выразительней. «Африканские впечатления» – ему бы понравилось. Она представила, как он читает книгу вслух, с наигранным британским акцентом, который так любил. Улыбнулась, закрыла глаза и отложила книгу. Она никогда ее не прочитает – тем более на английском. Она не прочитала ее и на французском.

notes

Примечания

Эдвард Мейбридж (1830–1904) – английский и американский художник и фотограф. Один из создателей хронофотографии, разновидности фотографии, позволяющей записывать движение какого-либо объекта через съемку его отдельных фаз. Изобретатель зоопраксископа, устройства для проецирования фильмов, которое существовало до изобретения целлулоидной пленки и стало предтечей появления кинематографа. Практически все подробности биографии Мейбриджа, приведенные в романе, имели место в действительности. *(Здесь и далее, кроме отдельно указанных случаев, примечания переводчика.)*

Уильям Уитни Галл (1816–1890) – английский врач, директор госпиталя Гая, профессор физиологии, президент Клинического общества. Вклад Галла в медицину велик, он расширил понимание таких заболеваний, как микседема, болезнь Брайта и нервная анорексия (термин для последней, *anorexia nervosa*, он и придумал). Был личным врачом королевы Виктории. Согласно одной из конспирологических теорий, Галл либо сам был Джеком-потрошителем, либо знал его лично, что и нашло отражение в графическом романе Алана Мура «Из ада».

Мьюзы – от слова mews, «конюшни». Формат двухэтажных таунхаусов с гаражом в переулках (впервые возник благодаря переделке бывших конюшен). Дома-полумесяцы построены в виде полумесяца.

Пер. Т. Заславской.

5

Жизненное пространство (*нем.*).

«Пайдеума. Очертания учения о культуре и душе». Лео Фробениус (1873–1938) – немецкий этнограф-африканист, автор теории «морфологии культуры». Согласно теории, не культура является продуктом человека, а люди – продуктом культуры. Культура – самостоятельный организм с мистическим началом, она же «пайдеума», или в переводе – «воспитание».

Пер. А. Кравцовой.

Букв. – «госпожа удобств» (фр.).

Реймон Руссель (1877–1933) – французский поэт, писатель, драматург и музыкант. Автор романов «Впечатления об Африке» (1910) и *Locus Solus* (1914). В контексте романа надо отметить, что «Впечатления об Африке» действительно написаны Русселем исключительно на основе собственных фантазий. Он старался избегать каких бы то ни было реальных впечатлений о континенте. При жизни Руссель был практически никому не известен, большую часть своих произведений издавал за собственный счет. Тем не менее, его высоко ценили сюрреалисты, а в 1950-х годах началось настоящее возрождение творчества Русселя. Он действительно покончил с собой в Палермо.

Pitch – на английском это слово служит и названием крикетного поля, и употребляется в выражении *pitch-dark* – «кромешная тьма».

Холодный фонтан (*нем.*).

Пер. Аркадия Штейнберга.

Модоки – индейское племя, обитающее в США на границе двух штатов, Орегона и Калифорнии. В 1872–1873 годах между военными США и модоками произошла Модокская война, завершившаяся поражением модоков.

Реальный Руссель действительно за год до собственной смерти, в 1932 году, написал «Новые впечатления об Африке», большое стихотворение со сложной структурой и системой ссылок.

Растение клитория тройчатая (*индонез.*).

Леланд Стэнфорд (1824–1893) – американский политик, 8-й губернатор Калифорнии, промышленник и предприниматель, основатель Стэнфордского университета. В 1877 году Стэнфорд решил выиграть пари. Он утверждал, что конь, бегущий галопом, отрывает все ноги от земли, тогда как его оппоненты утверждали, что конь одной ногой все-таки остается на земле при любом беге. Для решения Стэнфорд нанял Мейбриджа, а на своей ферме в Пало Альто построил фотодром. С одной стороны бегового трека была установлена длинная белая стена, а с другой – 12 кабин с фотоаппаратами, затворы которых были соединены с нитями, протянутыми поперек дорожки для лошадей. Черные лошади, хорошо видимые на белом фоне, бежали по треку, задевая нити. Затворы камер поочередно срабатывали, фиксируя отдельные фазы бега. Так была впервые разработана технология хронофотографии.

Крем из яичек (*фр.*).

Kripo, от *Kriminalpolizei* – криминальная полиция (нем.).

Имеется в виду «Книга праведного», одна из древнейших еврейских книг, давно утраченная. Предполагается, что это был сборник героических поэм и гимнов, составленных в раннеизраильскую эпоху. О ней два раза упоминается в Библии. В 1625 году в Венеции был издан сборник апокрифов на темы Библейской истории от Адама до Судей под названием «Сефер Га-Яшар». В предисловии к книге говорилось, что исходная анонимная рукопись была спасена из Иерусалима во время разрушения Второго храма в ходе Первой иудейской войны.

Тувалкаин, или *Тубал-каин*, – потомок Каина, упомянутый в Библии первый мастер и кузнец по металлу, «тот, кто усовершенствовал орудия Каина».

Mirebridge – букв. «мост через болото».

Этьен-Жюль Маре (1830–1904) – французский физиолог и изобретатель, президент французской Академии наук. Помимо медицинских наук интересовался фотографией, ему принадлежит сам термин «хронофотографии», а также он, независимо от Мейбриджа, разработал хронофотографический аппарат и фоторужье, предназначенные для изучения движений животных и птиц.

Тлетворный туман, что иногда сгущается от копоти и сернистого ангидрида и становится зеленовато-черным смогом (*прим. автора*).

Название зеркальца, которое вешают на деревьях, чтобы привлекать птиц для их ловли.

Букв. «падучая болезнь», эпилепсия.

Согласно легенде, тело адмирала Горацио Нельсона после гибели в Трафальгарском сражении поместили в бочку рома. При доставке выяснилось, что в бочке осталось только одно тело – матросы выпили весь ром через трубочку (распитие алкоголя через трубочку из бочек в трюме было обычной практикой). После этого ром и грог (разбавленный подогретый ром с сахарным сиропом и пряностями) стали называть «кровью Нельсона».

Tombstone – букв. «надгробие».

«Поймай больного» (*нем.*).

Цитата из стихотворения Хорхе Луиса Борхеса «Неизвестная улица» (1972).

Николай из Отрекура (ок. 1299–1369) – представитель поздней схоластики, настоятель монастыря в Метце, магистр теологии Парижского университета. Его часто называют Юмом Средневековья. Был противником метафизики Аристотеля и отрицал доказательства бытия Бога. В 1347 году решением папской курии был принужден сжечь большую часть своих сочинений, из которых до нас дошел трактат *Exigit ordo executionem* (он же «Универсальный трактат»).

Джон Эшбери (1927–2017) – американский поэт-авангардист, сюрреалист, педагог, критик.

Эд Дорн (1929–1999) – американский поэт, чье самое знаменитое стихотворение, «Стрелок», вышло в шести частях в период с 1968 по 1975 год. Это длинная поэма о ковбое-полубоге, владелице салуна и говорящей лошади по кличке Клод Леви-Стресс. Именно в честь этой книги Стивен Кинг назвал первую часть «Темной башни».

Финеас Тейлор Барнум (1810–1891), *Джеймс Энтони Бейли* (1847–1906) – американские шоумены и создатели гастролирующих цирков XIX века, основанных на фрик-шоу и мистификациях.